

ЖЕО ВЪИ
МИИР

10

1950

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVI

№ 10

Октябрь, 1950 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР КРОН — Кандидат партии, пьеса	3
ЛЕОНИД ХАУСТОВ — Ровесница, стихи	53
ЮРИЙ ТРИФОНОВ — Студенты, повесть	56
ГЕВОРК ЭМИН — Моим друзьям, стихи. Перевод с армянского В. Звягинцевой и М. Максимова	176
ЯКОВ УХСАЙ — Облака, стихи. Перевод с чувашского Б. Иринина	179

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЕРМИЛОВ — Советская литература — борец за мир	180
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	235
А. Тарасенков. Труд и творчество. — А. Коваленков. Новая ступень. — Г. Ленобль. Героика повседневного труда. — Б. Костелянец. Новые люди Туликсааре. — В. Жданов. Горький и Сибирь. — А. Турков. Боевой жанр. — М. Мендельсон. Американские гангстеры в военной форме. — С. Кругерская. Два романа австралийской писательницы. — В. Померанцев. «Поездка на Рейн».	
<i>Международные отношения. Жизнь за рубежом</i>	264
Член-корреспондент Академии наук СССР А. Трайнин. За дело мира! — П. Крайнов. Столица народного Китая. — Кандидат исторических наук Е. Черняк. Американские космополиты — поджигатели войны. — Л. Лагин. Свидетельство очевидца.	
<i>Право</i>	273
И. Свешников. Буржуазное право — орудие реакции.	
<i>Техника</i>	276
Доктор экономических наук А. Погребинский. Роль Москвы в техническом прогрессе России.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
	278
<i>Биология</i>	
Е. Русакова. Будущим преобразователям природы.	
	231
<i>География</i>	
Доктор географических наук Э. Мурзаев. Академик Иван Иванович Лепёхин.	
	283
<i>Археология</i>	
Кандидат исторических наук Л. Липин. Книга о древнейшей истории Закавказья.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Август — сентябрь 1950 года)	286

АЛЕКСАНДР КРОН

★

КАНДИДАТ ПАРТИИ

Пьеса в 4-х действиях (6 картин)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Прокофий Андреевич ЛЕОНТЬЕВ.

Николай Прокофьевич ЛЕОНТЬЕВ, его сын.

Людмила Прокофьевна ЛЕОНТЬЕВА, его дочь.

Анатолий Акимович ВОСТРЯКОВ, товарищ Николая.

Вера Васильевна ЕРМОЛАЕВА, работница, заместитель председателя завкома.

Алексей Георгиевич ПЛОТОВЩИКОВ, секретарь парткома.

Вячеслав Алексеевич ЧАСТУХИН, главный технолог.

Лина Павловна ЧАСТУХИНА, его жена, стенографистка.

Лариса Фёдоровна ВЕНЦОВА, фотокорреспондент.

Николай Иванович КАСАТКИН, заведующий бюро рационализации.

Инспектор КОВАКО.

Инженер-полковник СТРАЖЕВСКИЙ.

ФИЛАТОВА, работница, секретарь цеховой партийной организации.

ГРОМОВА, технический секретарь завкома.

БЕНСКИЙ, дирижёр клубного духового оркестра.

Действие происходит в Москве, в наши дни.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Лето

Первая картина

Просторная, в три окна, комната в небольшом одноэтажном домике. Домик окружён палисадником и выходит фасадом на загородное шоссе, ведущее к одной из московских застав. Железная дорога проходит поблизости — гудки электрички доносятся отчётливо.

В комнате две двери — одна ведёт в парадные сенцы, другая — в смежную комнату. Посредине стоит обеденный стол, накрытый цветной клеёнкой. У стены — два плоских светлого дерева книжных шкафа, между ними на высокой тумбочке — старинного вида граммофон с трубой. Рядом висит гитара. Под окнами — поближе к свету — помещается громоздкое сооружение, напоминающее одновременно слесарный верстак и письменный стол учёного. Здесь соседствуют слесарные тисочки, миниатюрный токарный станок, несколько радиоприёмников, телевизор, микроскоп и множество других предметов, в назначении которых не так легко разобраться. Под столом деревянные стеллажи, на которых навалены горы всякого металлического лома.

На стенах комнаты развешаны фотографии, по несколько карточек под одним

стеклом, в узеньких чёрных рамках. В одной из рамок увеличенная фотография, изображающая двух женщин в белых блузках, очень похожих друг на друга.

Сквозь чисто вымытые стёкла окон видны рослые подсолнухи и ствол молодой рябины. Моросит дождь.

За обедённым столом расположилась с книжками и конспектами Людмила Леонтьева, рослая сильная девушка. Ей года двадцать три.

Часы пробили один раз. Людмила оторвалась от книги, взглянула на циферблат, охнула, легко вскочила, смахнула со стола свои тетрадки, бросила на клеёнку сложенную скатерть и выбежала.

Несколько секунд комната остаётся пустой. Затем из сеней появляется сухонькая фигурка в костюме зеленоватого цвета, поношенном светлом плаще и капитальных, устаревшего фасона, мокроступах. Вошедшему лет шестьдесят с лишком. Высокий изборождённый лоб, тонкие губы, острый нос. Многочисленно сдвинув брови и демонически усмехаясь, вошедший внимательно оглядывает комнату. Людмила на секунду заглядывает в дверь (в руках у неё горячая сковородка) и заметив пришедшего, кричит: «Папа! К тебе пришли! Слышишь, папа?..»

На зов появляется Прокофий Андреевич. Лет ему тоже за шестьдесят, он небольшого роста, лицо круглое, свежее, гладко выбритое. Держится скромно, с большим достоинством, очень внимательно слушает, говорит негромко и неторопливо, — к слову сказать, это черта семейная. Он в рабочем фартуке, ноги обуты в войлочные туфли, в руках разобранный электрический утюг.

Ковако (так зовут вошедшего). Гражданин Леонтьев, не так ли?

Прокофий Андреевич. Леонтьев, да.

Ковако. Уточняя: Леонтьев Прокофий Андреевич, шестидесяти двух лет, уроженец Московской области...

Прокофий Андреевич. Города Москвы. Рождён в столице. А позвольте узнать...

Ковако. Не торопитесь — сейчас вы всё узнаете. (Присел к столу, надел пенснэ и вынул из очень потёртого портфеля тоненькую папку.) Садитесь, Леонтьев.

Прокофий Андреевич. Ничего, постой.

Ковако. Садитесь, садитесь.

Прокофий Андреевич (кротко). Да вы обо мне не тревожьтесь — я у себя в доме. Захочу — так ведь, пожалуй, и не спросившись сяду.

Ковако. Хм... вот вы как разговариваете? Смело.

Прокофий Андреевич. Смелости большой не вижу, да ведь если подумать, то и бояться нам нечего.

Ковако. Вы знаете, кто я такой, Леонтьев?

Прокофий Андреевич. Н-нет, не признаю что-то.

Ковако. Я — инспектор Ковако.

Прокофий Андреевич (не понял). Виноват — чего?

Ковако. Общественный инспектор финансового отдела Районного Исполнительного Комитета депутатов трудящихся Тихон Аполлинарьевич Ковако. Среди налоговых работников столицы моё скромное имя пользуется некоторой известностью.

Прокофий Андреевич. Не доводилось слышать. С чем пожаловали, гражданин инспектор?

Ковако. Слушайте меня, Леонтьев. Слушайте внимательно. Поговорим начистоту, как взрослые мужчины. Я располагаю неопровержимыми данными, что вы являетесь владельцем незарегистрированной электро-механической мастерской, производящей ремонт бытовых приборов с целью извлечения прибыли, и в силу этого подлежите налоговому обложению, уклонение от какого карается в соответствии со статьями 60-й и 62-й УК РСФСР. Выводы сделайте сами. (Пауза.) Ну-с? Что скажете?

Прокофий Андреевич. Скажу, что всё это одна сплошная глупость.

Ковако. Но позвольте...

Прокофий Андреевич. Да нет уж, не позволю — я вас не перебивал. Сплошная, повторяю вам, глупость, нестоящая внимания. Только глупый и мог вам такое сказать, а ежели, допустим, вы умный человек, то вам тем более не следует повторять.

Ковако. Скажите, Леонтьев, вы знаете, что такое дедуктивный метод?

Прокофий Андреевич. Н-нет, не слышал.

Ковако. Так я и думал. Что вы держите в руках?

Прокофий Андреевич. Как, что? Утюг.

Ковако. Правильно. Утюг. Чей?

Прокофий Андреевич. Соседкин.

Ковако. Правильно. Подчёркиваю — соседкин. Зачем он у вас?

Прокофий Андреевич. Чиню.

Ковако (торжествуя). Вопросов больше не имею.

Прокофий Андреевич. Напрасно. А то спросили бы. Может, я денег не беру?

Ковако. Детские уловки, Леонтьев. Тихон Ковако — старая лисица. Вам не удастся замести следы.

Прокофий Андреевич. Позвольте, а почему вы со мной так нехорошо разговариваете?

Ковако. Извольте обижаться? Старá песня.

Прокофий Андреевич. Я не обижаюсь нисколько, гражданин инспектор, но желаю вам указать. Приходите в незнакомый дом, ещё «здрате» не сказали, вон даже калашки не потрудились снять, не полубопытствовали, что за народ здесь проживает и чем он дышит, а сразу, что называется с порога, зачисляете человека в лагерь капитализма. Никуда не годится. Зачем вы обижаете?

Ковако. Что за вздор! Пожалуйста, не учите меня.

Прокофий Андреевич. Я, гражданин инспектор, вздора сам никогда не говорю и вам не советую. А учить вас — дело совсем не моё, на это есть над вами старшие, я вас не учу, а только разъясняю свою мысль. Мысль же моя состоит в том, что во всяком деле надлежит сперва разобраться, и лишь потом действовать. Но не наоборот. Возьмите, к примеру, такой случай: вошли вы сюда не постучавшись, в отсутствие хозяев, трогаете руками разные предметы. Вот я, не разобравшись, возьму да и зашумлю: «держите его, люди добрые, вор ко мне в горницу забрался!» Ну, понятное дело, сбегается народ, кто пошустрее норовит за ворот взять, волокут всем миром в отделение... Приятно вам это будет?

Ковако. Вы шутите, надеюсь?

Прокофий Андреевич. Не знаю. Пока ещё сам не разберу — шучу или нет. (Кричит.) Людмила!

Ковако (испуганно). Что вы хотите делать?

Прокофий Андреевич. Посоветоваться желаю с родной дочерью. (Вошедшей Людмиле.) Вот послушай, Милка, что гражданин инспектор объясняет. Частники мы с тобой, оказывается. Владельцы. Буржуазия.

Людмила (Смеётся.) За что же такая немилость?

Ковако. Ваш почтенный папаша утрирует... Разъясняю: кустари в глазах закона...

Прокофий Андреевич. Не затрудняйте себя — у меня есть кого спросить. Людмила! Кустари — они кто? К чему принадлежат? Они — буржуазия?

Людмила. Мелкая, папа.

Прокофий Андреевич. А хоть бы и мелкая. Не желаю. Я рабочий человек и ни с кем, кроме как со своим рабочим государством, никаких делов не имею: я на него работаю, оно меня кормит. Во мне частного нисколько нет. Единственный случай в моей жизни, что я оскормился, был в эту войну. Получил я по талону пол-литра белой и вынес на базар продать. И сразу же меня сгребли. Привели в отделение. Лейтенант милиции, молоденький, совсем на вид мальчишечка, посмотрел на мои документы и говорит: «Не стыдно вам, папаша? Заслуженный человек, коренной пролетарий, а поддаётесь мелкобуржуазной стихии до того, что она вас захлестывает. Отдайте ему,— говорит,— его бутылку, пусть идёт». Я смолчал, не нашёлся, что сказать, даже в пот меня ударило. Выхожу на крыльцо, лицо ветерком обдуло, а уши — горят. Горят, и чудится мне, что всякому проходящему человеку это видно. А тут ещё бутылка в руках, хотел я её в карман понезаметнее сунуть, и никак в карман не попаду. И таково-то я вдруг расстроился, что размахнулся — и трах её о булыжник, только брызги полетели. Так вот с этого случая я с частной инициативой начисто покончил. Я, гражданин инспектор, сорок семь лет на одном заводе и лишь по причине острого суставного ревматизма до юбилея не дотянул. Без дела не сижу, слесарничаю, сирень развожу и в огороде копаюсь, но никакого извлечения прибыли я у себя не наблюдаю. Мне это ни к чему — я пенсию имею, и сын зарабатывает. Вот я какой человек, а вас я совершенно не знаю, может быть вы ещё и превышаете свои права, а потому покорнейше прошу предъявить свои бумаги.

Ковако (пожимая плечами). Ваше право.

Протянул удостоверение. Пока Прокофий Андреевич, надев очки, изучает его, Людмила с интересом рассматривает инспектора. Взгляд её падает на ноги Ковако

Людмила (всплеснула руками). Вот хорошо! Утром своими руками пол вымыла, а он мне всё загваздал. Как же вам не стыдно? Почему вы калоши не сняли?

Ковако (смущённо). Я сниму.

Людмила. Нет уж, сидите, а то ещё хуже натопчете. Сейчас я вам газету подстелю. (Так и сделала.) Теперь сидите и без меня не смейте вставать.

Прокофий Андреевич. Мила! Поди сюда. Читай. Ну? Он и не инспектор вовсе, а пенсионер — такой же мусорный старикан, как я. Ведь это, выходит, он шарлатан какой-то, Дмитрий-Самозванец? (Коваке, строго.) Что вы за человек? Отвечайте.

Ковако (с большим достоинством). Вы хотите знать, что я за человек, Леонтьев? Вы это узнаете. Да, я пенсионер, Леонтьев, инвалид труда. Я начал свою трудовую деятельность сорок девять лет назад, в скромной должности писца в управлении косвенных налогов. До Октября жизнь моя была бесцветной и бессмысленной, лишь Революция пробудила моё сознание. Весь свой богатый опыт я отдал делу борьбы с эксплуататорскими классами. В годы нэпа моё имя гремело, достаточно напомнить дело нэпманов Маслюкова и Бурмана, дело корсетной мастерской Брие! Передо мной трепетали, любая попытка скрыть свои доходы разбивалась об моё искусство и мою неподкупность. В эпоху реконструкции я вновь нашёл себя. В тридцать шестом году, если помните, в газете «Финансовый работник» появилась статья «Тихон Ковако — гроза нарушителей финансовой дисциплины». В годы Отечественной войны я был инициатором движения по борьбе с разбазариванием промышленных отходов. Вскоре после Победы ослабление сердеч-

ной мышцы заставило меня выйти на пенсию, но во внимание к моим заслугам и опыту я и сейчас привлекаюсь, в общественном порядке, для расследования наиболее сложных дел. Вот с кем вы имеете дело, Леонтьев. (Встал.) Вам угодно было назвать меня Лжедмитрием... (Заметив движение Людмилы.) Помню, помню, я с газеты не сойду. Ценю юмор, но не расположен шутить. Я горжусь своей профессией, и в интересах истины я обличу вас, Леонтьев!

Прокофий Андреевич. Стало быть, за свою работу вы денег не берёте? Так я вас понял? Почему же вы мне не верите?

Ковако. Факты — моё божество. (Жест в сторону рабочего стола.) Не станете же вы утверждать, что все эти предметы являются вашей личной собственностью?

Прокофий Андреевич. Здесь не моя держава. Сейчас сын с работы вернётся — он вам всё разъяснит.

Людмила. Правда, подождите. Николай всегда в это время обедает. Посидите. (Выбежала.)

Ковако. Ну что же — объявим перемирие? Но помните — вы меня ни в чём не убедили. (Разглядывает книжные шкафы.) Вы книжник, оказывается?

Прокофий Андреевич. У нас в семье все книжники — и сын и дочь. Основание библиотеке я положил. С девятьсот шестого года по шестнадцатый выписывал «Ниву» со всеми приложениями. Классиков в колёнкоровых крышках содержу — сам переплетал.

Ковако. Приятно видеть. Скажите, нет ли у вас Габорио? А Эдгара Уоллеса? Могу похвастаться: имею «Мир приключений» в комплектах с девятьсот одиннадцатого по двадцать шестой год.

Прокофий Андреевич. Этого у нас нет.

Ковако. Жаль. (Показывая на граммофон.) Увлекаетесь? Старомодная машина.

Прокофий Андреевич. Вот то-то и оно, что торопитесь судить. Модернизирован — слышали такое слово? Звук высшей очистки через адаптер. И управляется на расстоянии.

Прокофий Андреевич взял в руки стоящий на столе маленький ящичек, не соединённый проводами с граммофоном. Нажим кнопки — диск граммофона начал вращаться, иголка коснулась пластинки, и в трубе чисто зазвучал великолепный бас: «На земле весь род людской...» Нажим кнопки — всё остановилось, голос умолк.

Ковако (почтительно). Фёдор Иванович?

Прокофий Андреевич. Он. Желаете послушать?

Ковако. Хорошо. Но помните — вы меня ни в чём не убедили.

Прокофий Андреевич нажимает кнопку. Опять раздаётся: «На земле весь род людской...» Где-то рядом резко тормозит мотоцикл. Через несколько секунд появляется Николай Леонтьев. Ему лет 26, одет в чёрный бумажный свитер и суконовые чёрные брюки, на обшлагах брюк велосипедные зажимы. Не взглянув ни на кого, бросился к окну. Степ окликнул его, но Николай только отмахнулся и прильнул к стеклу. Вновь возникает треск — какой-то мотоциклист на полном ходу пронёсся мимо окон дома. И только тогда Николай обернулся. Он по-мальчишески радуется.

Николай. Опять промахнулся!

Прокофий Андреевич. Кто, Миколушка?

Николай. Чудак один из автоинспекции. Он мне ещё на прошлой неделе сказал: «Будешь без номера ездить — оштрафую и колымагу твою заберу». И вот заметь: третий раз он за мной на своём БМВ гонится, и каждый раз след теряет.

Прокофий Андреевич. Ну и возьми номер. Только этого мне и не хватало, чтоб ещё мотоциклетный инспектор сюда ввалился.

Николай (удивлён). Батя, да ты никак сердисься? Я бы рад взять — не дают. Ещё смеются, дьяволы, — это, говорят, не мотоцикл, а драндулет на заре технической мысли. Поезжай с ним за сто километров от Москвы, на просёлках коров пугать.

Прокофий Андреевич. И правильно. В столице живёшь.

Николай. Что правильно? Я не спорю — внешний вид у машины ещё не отработан, выглядит она пока довольно безобразно. А я считаю так: было бы толково, а красиво — будет. Черти! На заре технической мысли! А почему же он мою колымагу третий раз догнать не может? (С улицы доносится треск мотоцикла. Николай опять прильнул к стеклу.) Обратно покатил. Вот злитесь-то, небось. Ой-ой, остановился... К чему бы это? А-а! Пацанов каких-то спрашивает. Ну нет, брат, ничего они тебе не скажут.

Вошла Людмила с посудой, поставила посуду на стол и неслышно подошла к брату.

Ф-фу... пронесло. Ты, что, Милка?

Людмила. Что! Ничего. Поцеловать хотела своего братика. Могу?

Николай. Скажите, какие нежности. Можешь.

Людмила. Дурак. Ну, подойди ко мне теперь...

Николай. Человек хочет есть — стало быть от него чуткости не жди.

Людмила. Ах, простите. Разрешите подавать или, может быть, сперва умоетесь?

Прокофий Андреевич. Погоди, Мила. Микола, послушай-ка... тут гражданин инспектор... он тебя дожидается.

Николай. Какой ещё инспектор? (Только сейчас заметил Коваку.) Виноват. Здравствуйте. Ко мне? А что, если я всё-таки помоюсь? Вся эта операция займёт по часам три минуты. Милка, дай мне... это... ну как его?..

Людмила. Что у тебя вид такой ошалелый? Людей не замечаешь, слова забываешь.

Прокофий Андреевич. Почаще такие гонки устраивать, можно и вовсе в уме повредиться. Ну, что там у нас на заводе? Как дела идут?

Николай. На заводе? Такие дела пошли — ой-ой!

Прокофий Андреевич. Хорошие?

Николай. Как тебе сказать? Непонятно какие. Разные. (Людмиле.) Полотенце — вот что. Сама не могла догадаться?

Вышел, за ним Людмила.

Ковако. Поскольку в моём распоряжении есть три минуты, я хотел бы дослушать пластинку. Но помните — вы меня ни в чём не убедили. Наоборот, я нахожу, что ваш сын заметно не в ладах с законом.

Прокофий Андреевич третий раз нажимает кнопку. Опять раздаётся: «На земле весь род людской...» В этот момент к дому подъезжает автомашина. В дверь постучались, затем, не дожидаясь ответа, врывается Касаткин. Это плотный, добродушного вида человек лет 45-ти, улыбочивый, суетливый, размашистый. Носит усы и бородку клинышком, одет в темносерую тройку, не расстается с огромным, всегда до отказа набитым портфелем.

Касаткин. «Чтит один кумир презре-е-енный!» Каков голос? Гостей здесь принимают?

Прокофий Андреевич. Гостям всегда рады, а редкий гость — вдвойне радость. Здравствуй, Николай Иванович.

Касаткин. Здравствуй, родной. Разреши мне, так сказать, без околичностей и долгих слов, а попросту от души заключить тебя в дружеские объятия. Давай, старый хрен, поцелуемся. Э, нет, так дело не пойдёт, что ты мне нос-то подставляешь, я ведь не японец... Будь здоров, родной, поздравляю тебя. Но, но, не притворяйся, будто не знаешь с чем... Ох хитрец, ох скромняга! Я Николашку твоего, тёзку моего дорогого, с малых лет знаю, горжусь им и радуюсь за него... А тебя, старик, я люблю. Вот люблю — и всё. Уважаю, чту в тебе одного из стаи славных, основоположников так сказать, ветеранов... Я конечно себя с тобой не равняю, но ведь и я на заводе с двадцать шестого, шутка сказать, каждую щель знаю, каждого рабочего по имени-отчеству, живой свидетель роста; между прочим, зимой, как раз юбилейная дата подошла, я и забыл, жинка напомнила, и хоть бы поздравил кто, — вот ей-богу, люди! — ну да ладно, я ведь не честолюбив. Ты не думай, я зря не похваляю, я на похвалу скуп, ежели мне ты не по душе — не постесняюсь сказать, за это меня и не любят некоторые... (Коваке.) Здорово. Ты откуда? Молчи, знаю — из бухгалтерии. Я в цехах всех знаю, ну а контору-то похуже, хоть и сам стал по воле партии в некотором роде чиновником, но как был слесарёнком, комсой — таким в душе и остался. Здоровье не то, а задор прежний. Как время бежит, ох как время бежит. Кажется, давно ли Колька Касаткин был чумазым фабзайчонком, активистом, заводиловкой, а теперь вот эдакий солидный дядя, бородёнка хоть покрась, хоть выбрось, седой волос прёт — беда; руковожу, понимаешь, ответственнойшим участком, хоть и считается бюро, но на правах отдела, должность по номенклатуре главка, шутка сказать: изобретательство — раз, рацпредложения — два, разработка новых методов — всё у меня; диплома нет, вот что подрезает, сколько раз просился на учёбу, некем заменить, разве отпустят, — вот, ей-богу, люди! — ну что ж, зато я практик, ближе к массам, доверяют пока, шестой созыв член завкома, шутка сказать... К чему я всё это говорю? Забыл, вот история, понимаешь... (Растерянно озирается.) Братцы, в чём была моя мысль? Ага, вот к чему: время! Время, говорю, как бежит!

Прокофий Андреевич. Сядь, отдохни. Скажи лучше — в какие ты святцы глядел, что поздравлять меня вздумал? До именин моих ещё далеко...

Касаткин (сначала удивился, но затем захохотал). Ох хитрец! И глядит святым, будто ничего не ведает. Где Микола? Подать его сюда на расправу! С вас банкет!

Прокофий Андреевич. Ты, Николай Иванович, коли шутишь — так брось, а коли не шутишь — так говори дело. У меня и так сегодня что-то сердце обрывается.

Касаткин. А ведь и правда — не знает! Неужели Николашка так ничего и не сказал? Вот, ей-богу, характерец! Толя! Ларочка! Что вы так долго копаетесь?

Вошли Анатолий Востряков и Лариса Венцова. Анатолий — тридцатилетний атлет, держит себя уверенно. Ларисе тоже около тридцати — высокая, по-спортивному сухошавая, с жестковатым юношеским лицом. Одега в курточку из мягкой кожи, на груди «Красная Звезда», фотоаппарат на ремне. Они очень веселы, в руках свёртки, бутылки.

Востряков. Прошу извинения за нахальное вторжение... Прокофий Андреевич, милый... (Ставит на пол бутылки и идёт к Леонтьеву с распростёртыми объятиями.). От полноты сердечных чувств... Счастлив Колька, у него отец, сестра, — есть кому порадоваться... Лариса Фёдоровна, знакомьтесь — это Колькин батька.

Венцова (протягивая руку). Венцова, фотокорреспондент. Поздравляю. У вас замечательный сын.

Прокофий Андреевич. Замечательного я в нём пока не замечаю что-то, а малый ничего, честный.

Касаткин. Ребятки, а ведь он полностью не в курсе! Прошу слова для краткого сообщения.

Востряков. Две минуты!

Касаткин. Не уложусь, Толя.

Востряков. Тогда молчи.

Касаткин. Короче и ты не скажешь.

Востряков. А я и говорить не буду. Читай, Прокофий Андреевич! (Вытащил из кармана пиджака смятый плакат и развернул.) Читай вслух, с выражением читай!

Касаткин. Ну смотри-ка, сорвал всё-таки... Вот, ей-богу, люди!

Прокофий Андреевич. «Молния. Сегодня токари 1-го прецизионного цеха Н. П. Леонтьев и А. А. Востряков, выполнив по 20 годовых норм, начали работать в счёт пятой послевоенной пятилетки». Так значит, вы с Миколой теперь в совсем другой пятилетке живёте? Или вы там только работаете, а выпивать к нам возвращаетесь? Во всяком случае (рукопожатие) лестно подержаться за ручку.

Касаткин (в восторге). Ох, ехида! Этот — скажет. Остроумный, чертила! Да ты понимаешь ли, Прокофий Андреевич, масштаб событий? Министр приезжал, вместе с директором заявился в цех, лично благодарил, поздравлял. Я сразу почуял обстановку, сажусь на телефон, звоню: в ЦК Союза — раз, в райком партии — два, в газеты — три, к обеденному перерыву прилетает кинохроника, крутят на плёнку... Между прочим, Толя, чуть не забыл: завтра тебя с Колей будут прямо из цеха передавать в эфир.

Прокофий Андреевич. Куда?

Касаткин. В эфир. Сегодня у меня был человек оттуда. Оставил свой телефон. Куда же я его подевал? Караул, братцы! (Роется в портфеле.)

Прокофий Андреевич. Толя, ты человек положительный, растолкуй мне, что он болтает... И откуда у вас шальные деньги? Средь бела дня вино...

Востряков. Директор отвалил по двухмесячному окладу.

Венцова (осматривая комнату). Как интересно! Востряков, вы молодец, что уговорили меня поехать (Прокофию Андреевичу.) Не надо тревожиться. Всё очень хорошо. Это слава, настоящая слава.

Прокофий Андреевич. Слава, говорите? А вы, уважаемая, знаете ли, что такое слава, да ещё настоящая?

Венцова. Ох, даже слишком хорошо. Должность такая.

Прокофий Андреевич. Значит, не всё знаете, а вот вы послушайте старого человека. Когда я был в ваших годах, рабочего человека ежели снимали на карточку, так только для полиции, а в газете про него писали — разве уж под конку угораздит. А всё-таки слава у рабочего человека была, и он ею дорожил, потому что добывалась она годами. Живёт, скажем, человек на одном месте десяток лет, работает опять же на одном заводе, соседи к нему приглядываются и видят: человек трудящийся, обходительный, слову своему хозяин, не пьяница, ну а если и пьёт, то рассудка не теряет, человек общественный, компанейский, не шукура стало быть, и дело своё порядочно знает. Вот тогда помаленьку начинает итти про человека добрая слава. Она слава не громкая, но замечательно прочная, как всё, что не наспех сработано. Оно, конечно, приятно, что про нашего брата в газетах печатают, но только доморо-

щенной славой тоже пренебрегать не следует. Не хочу хвалиться, но вот нарочно, хотите в посёлке, хотите на заводе, скажите людям, что Прокофий Леонтьев дела своего не знает, или что он частную мастерскую открыл, или что он туркам продался, — так вам засмеются в глаза и скажут, что этого никак не может быть.

Востряков. Это уж ты что-то допотопное проповедуешь. Патриархат какой-то...

Вошёл Николай с полотенцем на шее, за ним Людмила с тарелкой супа.

Касаткин. Вот он, беглец! Ах, тёзка, опозорил ты меня перед дамой.

Венцова. Как видите, у меня характер настойчивый. Придётся сниматься.

Николай (со вздохом). Вижу. Разрешите, я только тарелку супу проглочу. (Сел за стол.) Слушаю вас, товарищ инспектор. Извините меня...

Ковако. Нет, это я прошу вас извинить. Произошло печальное недоразумение.

Касаткин. Какое недоразумение?

Прокофий Андреевич. Да вот, гражданин инспектор обличать нас пришёл, что мы частники, а налогов не платим...

Общий смех.

Ковако. Вы вправе смеяться, товарищи. Я сам смеюсь. (Людмиле.) Если вы предоставите в моё распоряжение ещё две старых газеты, я готов немедленно удалиться.

Востряков. А я полагаю — не пускать. Пусть выпьет с нами за успех.

Касаткин. Верно, Толя! Не пускать! Что такое? Суп? Отменяется. Тут у нас есть кое-что поинтереснее. Милуша, распорядись-ка, редная. Толя, давай, милый, помоги...

Востряков. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна.

Людмила. Здравствуйте, Анатолий Акимович. Сияете вы, как серебряный самовар, — приятно посмотреть.

Востряков. Разрешите считать за комплимент?

Людмила. Как вам угодно будет. Ты лососину покупал?

Востряков. Я.

Людмила. Оно и видно. Что же не попросил нарезать?

Востряков. Для скорости. (Пауза.) Вы бы хоть поздравили, что ли...

Людмила. Поздравляю. Не заносись только.

Востряков. Прохладно.

Людмила. По погоде.

Востряков. Директор — так тот меня обнял, поцеловал...

Людмила. Тем более. Куда же мне после директора... Колбасу ты покупал?

Востряков. Нет. А что?

Людмила. Ничего. Очень хорошая.

Венцова (подошла к Людмиле). Ваш брат не хочет нас познакомить, но мы обойдёмся без него, правда? Венцова.

Людмила. Очень приятно. Леонтьева. Вы не подумайте, пожалуйста, что он всегда такой, он у нас мальчик вежливый... Микола, поди сюда, не ходи как потерянный. (Обняла брата за плечи.) Он ведь у нас ещё маленький.

Николай. Не вяжись, Людмила. Отстань.

Людмила. Это он при вас хорохорится. Я же говорю — маленький.

Венцова. Разве вы старше?

Людмила. Когда была жива мама, я была младшая. А теперь приходится быть старшей.

Венцова. Давно умерла ваша мама?

Людмила (тихо). В войну. Летом сорок первого мама с тётёй Милой, младшей сестрой, поехали к бабушке под Харьков, а обратно выбраться не смогли, ну и попали под оккупацию. Угнали их в Германию. Мама там и погибла, а тётю Милу в сорок пятом привезли больную. Она сперва хорошо поправилась, а прошлой весной вдруг ей опять хуже стало, слегла и уже больше не встала.

Николай. Ну зачем ты, Милка? Ларисе Фёдоровне это совсем не интересно.

Касаткин (подошёл). О чём разговор? (Венцовой.) Я их обеих знал, и Ксению Петровну и Людмилу Петровну — умница была, а уж красавица, — Милка хороша растёт, а покойница лучше была. Эх, нет у меня литературного дара, интересный, понимаешь, роман можно бы написать — и с любовным моментом, и на высоком идейном уровне. Вообрази себе, Ларочка, секретарь нашего парткома Алексей Плотовщиков, мой друг, к слову сказать колоритнейшая фигура, страстно влюбился в ихнюю тётку, два года добивался ответного чувства, покорило сердце, двадцать первого июня — свадьба, двадцать второго — война... Интересный факт: это я ведь их и познакомил. Мила, роднуша, куда же ты?

Людмила. Некогда, Николай Иванович. Хозяйство.

Венцова. Вы очень интересно рассказываете, но боюсь, что сейчас все сядут за стол, и я ничего не успею. Николай Прокофьевич, пожалуйста сюда. Станьте здесь. Так. Теперь возьмите в руки какую-нибудь деталь.

Николай. Какую?

Венцова. Это всё равно. Востряков, подите сюда. Станьте рядом. Смотрите не на меня, а на него. На него и немножко на деталь. Как будто вы обсуждаете или спорите. Например, Леонтьев предлагает делать по-своему, а Востряков не согласен. (Востряков смеётся.) Не понимаю, что здесь смешного?

Людмила. Тяжёлую задачу вы ему задали — с Миколкой спорить.

Касаткин. Ох, Людмила, поссорись ты их!

Людмила. Я то не поссорю. Ну а бутылки — я, что ли, открывать буду?

Венцова. Чёрт! Свет никуда не годится. Придётся с магнием. (Протягивает Коваке магниевую лампу.) Держите.

Ковако. Я?

Венцова. Вы. Выше держите. Востряков, нельзя ли посерьёзнее? Так, хорошо. (Вспышка магния.) Подождите, сейчас сделаем дубль. Что вас так веселит?

Николай. По-моему, у вас затвор не закрылся.

Венцова. Не может быть. (Рассматривает аппарат, щёлкает затвором.)

Николай. Дать отвёртку?

Венцова. Как просто! Здесь ужасно сложный затвор — придётся завтра ехать к мастеру.

Николай. Как же это вы — интеллигентный человек, а станка, на котором работаете, починить не можете? Дайте-ка сюда аппарат.

Венцова. Умоляю — осторожнее. Это ведь «Контакт».

Николай. Ну и что? Стандартная продукция конвейерной сборки. (Разбирает аппарат.) Толя, дай кусочек замши. Вон в ящике...

Венцова. Вы знаете «Контакт»?

Николай. Сейчас будем знать.

К дому подъехала машина

Людмила. Товарищи, прошу... Извините, что по-студенчески...

Касаткин. Внимание! Кажется, Алексей Плотовщиков пожаловал. Я ему сегодня при людях говорю: Алексей, ты, конечно, большой человек, но отрываешься, ох, отрываешься!.. Давай, говорю, родной, заедем к старику.

Вошли Плотовщиков и Частухин. Плотовщикову около пятидесяти, рослый, ходит легко, чувствуется сила. Лицо с резкими, крупными чертами, угрюмоватое и насмешливое, лицо страстного человека. Мощный голос. Частухину лет 45, он худ, сутуловат, некрасив, но в лице угадывается ум, доброта. Очень мягкая манера говорить.

Плотовщиков (Касаткину). Ты что тут про меня болтаешь? (Всем.) Здравствуйте! (Частухину.) Заходи, Вячеслав, не стесняйся, здесь все свои. Здравствуй, Прокофий Андреевич. Давно я у тебя не был.

Прокофий Андреевич. С прошлой весны. Я и то думаю: загордился или, может, рассердился на что?..

Плотовщиков. Положим, ты этого не думаешь, не так глуп. Так что нечего зря и говорить. Трудно мне было к тебе ходить. (Взглянул на портрет.) Увеличивать отдавал?

Прокофий Андреевич. Нет, это Микола, сам.

Плотовщиков. Мила, поди сюда. До чего же ты на свою покойную тётку стала похожа... Ну, ладно. Мальчишки-то, а? Коля — Толя? Вот тебе и Коля! Счастливый ты человек, Прокофий. Завидую. Оба мы с тобой вдовцы, но у тебя — дети. И хорошие дети. (Оглядывается.) Смотрите-ка, у них тут пир горой. Вячеслав Алексеевич, мы с тобой по бокалу шампанского выпьем, я полагаю?

Частухин. Я то выпью. А ты не будешь.

Людмила. Товарищи, ну что же это такое? Торопили-торопили, а теперь все расплозлись. Папа! Толя! Дядя Лёша! (Пытающемуся ускользнуть Коваке.) Товарищ инспектор, назад! Я не разрешаю.

Касаткин (в упоении). Правильно, Людмилочка, так их!.. Прошу всех поднять бокалы! Разрешите мне...

Плотовщиков. Ставьте бокалы, друзья. Это — надолго.

Касаткин. Алексей Георгиевич, не зажимай, брат! Я и тебя не боюсь. У меня душа ликует, я должен высказаться.

Востряков. Две минуты!

Касаткин. Не уложусь. Эх ты, Толя! Брут ты после этого. Вот, ей-богу, люди! Итак, я предлагаю выпить за наших молодых товарищей, новаторов, скоростников-универсалов, добившихся следующих показателей... братцы, караул! (Роется в портфеле.)

Прокофий Андреевич. Погряз, Николай Иванович.

Николай (с набитым ртом). Николай Иванович, есть охота!

Касаткин (вытащил смятый лист). Вот. Нет, не то...

Плотовщиков. Знаем показатели. Валяй дальше.

Касаткин. Пожелаем же, товарищи, нашему дорогому Колё и не менее дорогому Толе, чтоб их имена прогремели на весь Советский Союз, чтоб они вышли в большие люди, в министры, в депутаты, в лауреаты, чтоб они прославили и себя и наш завод...

Востряков. Регламент!

Касаткин. Пожелаем же... Ну вот, перебили. В чём была моя мысль? Ну вот — теперь забыл.

Плотовщиков. Потом вспомнишь. Выпили, братцы.

Чокаются, пьют.

Касаткин. Прошу налить по второй. Закусывайте, товарищи, не стесняйтесь. Алексей Георгиевич, родной, разреши я тебе налью...

Частухин. Нет, он больше пить не будет.

Плотовщиков. Кто тебе это сказал?

Частухин. Хочешь опять нагнать давление? Пей. Я всё Нине скажу.

Плотовщиков. Ладно, отстань. Не буду. Никого так не боюсь, как твою Нину Павловну.

Частухин. А я — ни капельки. Что?

Прокофий Андреевич. Разрешите мне сказать.

Касаткин (вопит). Тише, тише!..

Прокофий Андреевич. Спасибо вам, дорогие товарищи, что пришли порадоваться нашей радости. Спасибо вам за сына. А тебе, Микола, вот мой завет: люби свой завод, держись за него, завод тебе ещё нескоро тесен станет.

Плотовщиков. Хорошо, очень хорошо. Люблю старика.

Прокофий Андреевич. И не спеши. Николай Иванович тебя в министры прочит, а ты — не торопись. Министров много не требуется, на мильон людей одного хватает, и есть из кого выбрать. Это дело беспокойное, глубокого ума требует, как посмотришь — не всякий к нему призвание имеет, а знающему рабочему везде почёт, на него цена не падает. (Снял с полки «пробу» — сверкающий стальной куб, приложил угольник.) Вот. Куб — он всегда и есть куб. Против этого не поспоришь.

Частухин. Пospорю.

Прокофий Андреевич. Любопытно.

Частухин. Дайте посмотреть. (Взял куб, приложил угольник, взглянул на просвет.) Идеально. Но точность — от силы, пять соток, а ваш сын давно уже ведёт счёт на микроны. Приходите ко мне в лабораторию, и я докажу вам, что это не куб.

Прокофий Андреевич. Не куб? А что же это?

Частухин. Неправильный шестигранник.

Востряков. Хо-хо! Сколько лет кубом величали — и вдруг разжаловали! Теперь, Андренч, и в технике дремать не велят.

Подъехала ещё машина. В дверях появилась Вера Ермолаева. Лет ей, примерно, столько же, сколько Николаю. Очень подвижная, темпераментная.

Горячий блеск глаз, звонкий голос. Её встречают восторженно.

Востряков. Верочка, иди скорее к нам! Вере шампанского!

Вера. Тише, девочки! (Дружный хохот.) Тьфу! Так привыкла своими девчонками командовать, что всё время забываюсь. Во-первых, я вам не Верочка, а лицо официальное. (Вошла.) Сергей Афанасьевич изволит укладывать чемодан по случаю вылета с профсоюзной делегацией в венгерский город Будапешт, так что теперь целый месяц отдуваться в завкоме буду я. Товарищи! По поручению нашей профсоюзной организации... Громова!!

В дверях показалась тщедушная девица, держа в руках огромную корзину цветов.

Ну, куда ты пропала? Что я тебе велела? Как скажу «товарищи!» — так сразу вноси.

Громова (виновато). Она тяжёлая, Верочка.

Вера. А шофёр на что? Дорогой товарищ Леонтьев, Николай Прокофьевич! Профсоюзная организация горячо поздравляет вас с достигнутыми показателями и желает вам дальнейших успехов на благо нашей Родины. Колечка, голубчик!.. (Поцеловала его.) Это от двух тысяч женщин и девушек нашего завода. На платок, вытри — я тебя накарсила. Толечка, а с тобой я прямо не знаю, как мне быть. Я ведь не знала, что ты здесь будешь — послала твою корзину на квартиру.

Востряков. Ничего. Соседи примут.

Вера. Нет, нехорошо. С корзиной Филатова поехала, ей поручено тебе речь сказать... Ну, ничего — она тебе завтра скажет, а я тебя поздравляю. (Поцеловала его.) Молодец, Толя, прямо не ожидала от тебя. Прокофий Андреевич, Милуша, поздравляю. Не хочу шампанского — от него зубы ломит, мне послаще чего-нибудь. Громовой налейте. Шофёру не надо, он за баранкой. (Пьёт.) Тихо, девочки! Тьфу! Ребята, внеочередное сообщение. Имеются две пары билетов в академический театр. Пьеса «На дне» Максима Горького. Партер второй ряд, за счёт завкома. Приглашайте барышень — и марш.

Востряков. Микола, время! Людмила, одевайся!

Людмила. Ну ты — хозяин! «Людмила, одевайся». Может, ещё я не захочу с тобой?

Востряков. В театр не хочешь?

Людмила. Меня братик возьмёт. Возьмёшь, Миколушка?

Николай. Брось ты Тольку дразнить.

Людмила. Ладно уж. Я — быстро. (Исчезает.)

Николай (Венцовой). Видите, не получается у нас с вами беседы.

Венцова. Жалко, не хочется откладывать. Если б вы жили в центре — мы могли бы встретиться после спектакля.

Николай. Слушайте! А если так — поедемте со мной в театр, в антракте перекурим и поговорим, а после закатимся куда-нибудь, где музыка играет? А, Толя?

Востряков. Правильно.

Николай (Венцовой). Согласны?

Венцова. С удовольствием. Но...

Николай. Вы не думайте, что я таким оборотом поеду — я перенесу. У меня эта операция хронометрирована — одна минута. (Убежал.)

Вера (заметно упавшим голосом). Толя, можешь взять мою машину. Я домой на электричке доеду.

Частухин. Мы вас отвезём, Верочка.

Вера. Нет, нет, вам надо на дачу, а мне в город. Громова, скажи шофёру...

Частухин. Едем, Алексей. Нина ждёт обедать.

Прокофий Андреевич. Просим не забывать. Заходите — всегда рады.

Появился Николай, за ним Людмила.

Людмила. В этом галстуке ты не поедешь. Слышишь, Микола?

Николай. Почему?

Людмила. Потому что не поедешь. Бедный папа, опять мы тебя бросаем.

Прокофий Андреевич. Ничего. Для нашего брата-старика — телевизор-то лучше всякого театра. Главное дело — ноги в тепле.

Все уходят. Последним уходит Ковако. В дверях он останавливается и приподнимает шляпу.

Ковако. Ещё раз — примите благодарность и мои извинения. Инспекция была введена в заблуждение. Поверьте, для меня вопрос чести — выявить клеветников. Я уйду, но я ещё вернусь, чтобы сообщить вам, что они понесли заслуженную кару. И, надеюсь, вы ещё раз заведёте для меня ту пластинку: «Люди гибнут за металл. Сатана там правит бал!»

Исчезает.

Вторая картина

Кафе-ресторан под открытым небом на террасе 15-го этажа. Ясная летняя ночь. Ярко горят рубиновые звёзды Кремля, и чётко различимы обведённые огненным пунктиром очертания высотной стройки. Угловой столик около решётки, ограждающей террасу. За столиком Людмила и Николай Леонтьевы, Венцова и Востряков. Перед ними недопитая бутылка вина, фужеры и ваза с пирожным. Невидимый джаз играет вальс.

Николай. «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша». Как он это сказал, а? Я вздрогнул даже... Скажите, Лариса Фёдоровна, а с вами не бывает так: читаешь хорошую книгу, и вдруг тебя словно током ударит — моя мысль! Моя, только я её выразить не умел, а вот писатель взял и выточил её, как деталь из драгоценного сплава, да так, что всё точно, ничего лишнего, всё сверкает — хочется взять в руки и любоваться... «Ложь — религия рабов и хозяев!» «Правда — бог свободного человека!» Замечательно.

Востряков. Тише ты, Микола. На тебя люди оглядываются.

Николай. А кому я мешаю? Я трезвый, трезвее тебя.

Людмила (Венцовой). По-моему, вам не очень понравилось?

Венцова. Нет, я люблю этот спектакль, но, честно говоря, он мне немножко надоел. Я видела его, наверно, раз восемь и в лучшем составе. А главное — я до сих пор под впечатлением дня, проведённого в цехе.

Востряков. Эка невидаль.

Венцова. Для вас. А я была потрясена: огромный светлый зал, именно зал, а не цех, умные машины, которые не грохочут, а шелестят, и около них молчаливые люди в белых халатах. Я бывала на операциях у Бурденко и Вишневого, и, знаете, у вас очень похоже на хирургическую.

Николай. Обстановка для работы терпимая.

Венцова. Мне стыдно признаваться, но я всё-таки до конца не поняла, в чём суть вашего метода.

Николай. Метод — это сильно сказано. Есть кое-какой опыт... Вам разве Толя не рассказывал?

Венцова. Рассказывал. Но, повидимому, я очень тупа. Так что придётся вам меня просвещать. Не хочется?

Николай. Не очень. Сейчас потанцевать бы... или почудить...

Людмила. Расскажи, Миколушка, ты же обещал.

Николай. Ну ладно — коротко. Суть дела? Как вам известно, наш цех изготавливает детали для точных приборов: измерительных, контрольных, управления на расстоянии и так далее. Работа нестандартная, уникальная или мелкосерийная, заказ 30—40, редко пятьдесят штук. Допуски у нас небольшие, часто порядка одного-двух микронов.

Венцова. Невероятно! Микрон — это ведь сотая доля миллиметра!

Николай. Если вам не обидно будет — тысячная. У точности есть много врагов. Грязь, неисправность станка и инструмента отматаем — этих врагов мы побороли. Но вот горе: деталь по официальной технологии проходит больше десятка различных операций, следовательно должна находиться в десятках рук, на разных станках, её приходится снимать со станка и наново закреплять — на этом теряется точность, а стало быть и время. Обычно, мы с Толей сводим несколько операций в одну.

Венцова. Каким образом?

Николай. По-разному. Например, изготавливаем для себя специальные резцы с несколькими режущими кромками.

Венцова. Сами изготавливаете резцы? Вы же токарь, а не слесарь.

Николай. Без этого нельзя. Приходится и лекала делать, и фрезеро-

вать, и нарезать зубья, и шлифовать. Так что правильнее будет сказать: я резчик по металлу. Мы с Толей вдвоём делаем работу десяти — двенадцати рабочих разных специальностей, а вскоре сможем делать то же самое врозь.

Венцова. Но это же кустарщина!

Николай. Как угодно называйте. Только факт налицо — двадцать годовых норм.

Венцова. И при этом у вас совсем не бывает брака?

Николай. Совсем.

Венцова. Представляю себе, как вас придирчиво контролируют.

Николай. Нас совсем не контролируют.

Венцова. Что за вздор! Почему?

Николай. Именно потому, что у нас не бывает брака. Вот. (Вынул из кармана стальной стерженёк.)

Венцова. Что это?

Николай. Моё личное клеймо. Ставлю своё клеймо — вот так. (Показывает.) И продукция идёт на склад мимо отдела технического контроля.

Венцова. Удивительно. (Вострякову.) У вас тоже есть такое?

Николай. Будет. А пока мы работаем вместе — продукция идёт под одним клеймом.

Людмила (Венцовой). Знаете, что директор нашему Миколке сказал? «Я бы тебя и от табеля освободил, да неудобно — разговоры пойдут».

Венцова. Последний вопрос. Кто вам устанавливает расценки?

Николай. Мы сами.

Венцова. Вы? Как же вы это делаете?

Востряков. Выражаясь научно: органолептическим путём.

Венцова. Как, как?

Николай. Органолептически. При помощи внешних органов. Попросту говоря — на глазок.

Венцова. Разве это не кустарщина? Почему вы смеётесь?

Людмила. Дайте сказать бывшей нормировщице. Очень просто — работа мелкосерийная, если выводить норму из официальной технологии — для завода получится чересчур дорого. С ними спорить трудно — их расценки всегда ниже.

Николай. Обычно мы поработаем над заказом день-два, приладимся, сообразим, сколько норм можем выгнать, на чём выиграть... На этом основании выводим свою цену: чтобы заводу накладно не было, ну и себя чтоб не обидеть.

Венцова. Послушать вас, вы у себя в цехе уже построили коммунизм. Каждому по потребностям...

Николай. В гом-то и дело, что пока ещё не каждому. Есть ещё низкооплачиваемые, многосемейные — живут трудно. А про себя скажу — мне хватает.

Востряков (вяло). Ну, заврался. Вот болтология...

Венцова. Хватает? Понимаю. Вы сыты, хорошо одеты, покупаете книги — но разве это всё? Разве вы можете приобрести комфортабельную квартиру, зимнюю дачу, настоящую машину?..

Николай. Нет, пока не могу. А как вы понимаете «каждому по потребностям»? Как в «Сказке про рыбака и рыбку» — захотел дворец из чистого золота — на? С такими рыбаками коммунизма не построишь — по брёвнышку растащат. Человек без совести — тот никогда сыт не будет, а если у человека совесть есть — она меру знает.

Востряков. Путаешь ты...

Людмила. Что такое? Сначала Микола киснул — Толя веселился, теперь братишка разошёлся — этот, как туча, мрачен.

Востряков. Я не мрачен. Только я считаю, что в ресторане надо пить, есть и танцевать, а для дел есть другое время и другое место.

Венцова. Не сердитесь, Анатолий Акимович.

Востряков. Я не сержусь, а не люблю, когда Микола впадает в телячий восторг и интеллигентщину. «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша!» Типично босяцкое рассуждение! Сделай так, чтобы работа мне была приятна... Так все лодыри рассуждают.

Николай. Чудак! Ведь мы с тобой сейчас не на дне, а вон куда забрались — на пятнадцатый этаж. В нашей стране...

Востряков. Что «в нашей стране»? Что ты меня учишь? Я сам знаю — в нашей стране труд почётен, он есть дело чести, доблести и героинства... И верно — без труда у нас не завоюешь ни власти, ни положение, за свой труд ты можешь иметь и деньги, и моральное удовлетворение, и всякое удовольствие. Но путать одно с другим — не надо. (Встаёт.) Пошли, Милка.

Людмила. Куда?

Востряков. Потанцуем.

Людмила. Видали? По-хозяйски разговаривает. Нет, Толя, не хочется.

Востряков. Что так?

Людмила. Интересный разговор. Ну, а как по-твоему?

Востряков (садясь). При чём тут — по-моему? При коммунизме стирается грань между трудом в городе и в деревне, между трудом умственным и физическим, — читали кое-что, разбираемся. А вот насчёт стирания граней между трудом и удовольствием — об этом я что-то у классиков марксизма не читал.

Венцова. А вы как думаете?

Востряков. А я думаю — при коммунизме техника до того разовьётся, что люди смогут работать не восемь часов, а один час, ну полтора. А остальное время... они будут полностью принадлежать самим себе.

Николай. Вот тоска-то! А что это значит — принадлежать самому себе? Пирожные есть? Я вот одно съел — и не хочу больше.

Венцова. Ого! Ну, ну, любопытно. А как по-вашему?

Николай. А по-моему — при коммунизме не будет труда безрадостного, однообразного, неинтересного, всю такую работу будут делать машины. А человек будет делать только то, что машина не умеет. — думать, творить. И вот поэтому-то я считаю, что люди не смогут работать один час в сутки. Нет, иногда они будут просиживать дни и ночи, забывая есть и пить, чтобы проникнуть в какую-нибудь загадку природы. Только не будут так стареть, сжигать себя на работе, здоровее будут...

Громко вступила музыка.

Людмила. Я хочу танцевать.

Все поднялись с мест. Востряков и Людмила уходят, Николай и Венцова идут за ними, но через несколько секунд возвращаются.

Венцова. Нет, я всё-таки боюсь оставлять свой аппарат без присмотра. И, если говорить честно, меня не очень привлекает эта толчея под музыку. Давайте лучше разговаривать.

Николай. Давайте. Только я боюсь, что вам неинтересно будет.

Венцова. Как вам не стыдно? Меня никто не заставлял идти с вами. Кстати, я обещала быть сегодня в Доме кино на юбилее одного режиссёра...

Николай. И вы не пошли? Из-за меня? Может быть, вы ещё успеете?

Венцова. Успею, но не поеду. Поверьте, я не много потеряла. Опять кинематографисты... Мы ещё немножко поболтаем, а затем вы проводите меня домой. Впрочем, может быть у вас другие планы?

Николай (расцвёл). Нет, что вы... Наоборот, я сам хотел...

Венцова. Что хотел?

Николай. Проводить.

Венцова. Вы очень застенчивы, Коля?

Николай. Да нет, не сказал бы. Это я только с вами.

Венцова. Со мной? А мне кажется, что со мной очень просто. Ведь я солдат — всю войну прошла простым сержантом.

Николай. Ну, теперь мне только и остаётся перед вами навытяжку стоять.

Венцова. Почему?

Николай. Я ведь... не воевал. Просился, не пустили. Это во мне как заноза сидит. Я всё понимаю: фронт и тыл едины, и так далее. А уговорить себя не могу. Всегда про это помню. Вот вы: женщина — и с боевым орденом, а я здоровый мужик, ручки-то вон какие — и не дрался.

Венцова (ласково). Выбросьте это из головы. Значит, так было нужно. Надо думать не о прошлом, а о будущем. Скажите, чего вы добиаетесь в жизни? Кем вы хотите стать?

Николай. Кем хочу стать? Как это? Никем я не хочу стать. Я рабочий и хочу быть рабочим.

Венцова. Какой вздор! Вы умный, талантливый парень, почему вам не пойти учиться.

Николай. Я учусь. Мы с Людмилой на четвёртом курсе технологического. Только она на основном, а я на заочном.

Венцова. Значит, я права? Было бы глупо, если б вы так и остались простым рабочим.

Николай. Чем быть простым инженером, по мне лучше быть простым рабочим. Я люблю резать металл, люблю копаться в механизмах. Вы посмотрите на мои руки, они созданы, чтоб делать вещи, отнимите у них работу — они отсохнут. И не люблю я, когда говорят: «Глядите, Иван-то из простых рабочих в люди вышел». А для меня рабочий — первый человек на земле. (Вскочил, подошёл к решётке.) Подите сюда. Посмотрите. Всё рабочими руками строено. И звёзды эти рабочими людьми сработаны. Другие рабочие их на башни подняли, третьи — огонь в них зажгли. Не было бы рабочих — не было бы Москвы. Вы задумайтесь: Кузнецкий мост, Плотников переулочек — почему их так называют? По кузнецам да по плотникам — по предкам моим.

Венцова. Скажите, а есть у вас какая-нибудь заветная мечта? Знаете, какая? Фантастическая, почти недостижимая, но такая, что расстаться с ней не хочется. Есть?

Николай. Есть. (Помолчав.) Я бы хотел поговорить с товарищем Сталиным.

Венцова. Ого! О чём же?

Николай. Эх, если б я знал такое, чтоб товарищу Сталину стоило послушать... В том-то и дело, что я ничего интересного сказать не могу.

Венцова. Напрасно вы так думаете. Вы — очень интересный человек. Поверьте мне — я кое-что понимаю в людях. (Пауза.) Вы мне очень нравитесь.

Николай. Я — вам?

Венцова. Мне редко кто-нибудь нравится, но когда это со мной случается, я не боюсь об этом сказать прямо. Если б на нас не глазел вон тот официант, я бы вас поцеловала. Вот что: сейчас мы с вами сбежим отсюда и пойдём бродить по улицам. Идёт? Почему вы молчите?

Николай. Думаю. Чудно. Жил человек тихо, и вдруг в один день вся жизнь его перевернулась. И хорошо... и — тревожно.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Осень

Воскресное утро на даче у Частухиных. Солнечная терраса. Перила заплетены отцветающими настурциями.

В плетёном кресле Нина Павловна Частухина — сорокадвухлетняя женщина, не молодящаяся, но моложавая, всегда очень покойная и приветливая. Перед ней рабочий столик с портативной пишущей машинкой.

На ступеньках крыльца, подставив лицо под нежаркие лучи солнца, сидит Венцова в лёгкой фуфайке и шерстяных спортивных брюках. На коленях полевая сумка, заменяющая ей портфель.

Где-то поблизости молодёжь играет в волейбол. Доносятся звонкие голоса, визг, смех, судейские свистки и глухие удары по мячу.

Нина Павловна. Лара, очнитесь. Готово.

Венцова. Как — уже? (Вскочила на ноги.) Нина, вы солнышко, я вас обожаю. Сколько страниц?

Нина Павловна. Пустяки — девять.

Венцова. Сто семьдесят шесть и девять — сто восемьдесят пять. Шестьдесят фотографий и шестнадцать чертежей.

Нина Павловна. Целая книга.

Венцова. Ниночка, я просто не знаю, как мне вас благодарить... Это такая наглость с моей стороны...

Нина Павловна. Не болтайте чепухи. Когда книгу издадут, разрешаю купить мне пробный флакон духов. Идите играть в волейбол. Я сейчас отнесу Вячеславу последние шесть страничек и приду на вас посмотреть. Когда вы на площадке — я не в силах оторвать глаз.

Венцова. Ниночка, милая, не гоните меня. Я лучше посижу с вами — можно? Честно говоря, я так волнуюсь...

Нина Павловна. Почему?

Венцова. Странно, правда? И даже нескромно — ведь метод не мой, книга тоже не моя, и вообще, что я такое — десятая спица в колеснице. И всё-таки для меня очень — поверьте, Нина, — очень важно, что нам скажет сегодня Вячеслав Алексеевич, и больше всего на свете я хочу, чтоб нашу книгу напечатали и чтоб мальчики получили Сталинскую премию... Я не могу сейчас всего говорить...

Нина Павловна. И не говорите. Я всё прекрасно вижу.

Венцова. Вы не можете видеть то, чего никто не видит.

Нина Павловна. А почему вы так убеждены, что никто ничего не видит?

Венцова. Фу, вы меня даже в краску вогнали. (Пауза.) Мы говорим об одном и том же?

Нина Павловна. Мне так кажется.

Венцова (жест в сторону площадки). О нём?

Нина Павловна. Ну, конечно же, Ларочка.

Венцова (подбежав, порывисто обняла Нину Павловну). Умница моя! Скажите, Нина, умоляю вас, — только совсем откровенно, — что вы о нём думаете?

Нина Павловна. Ничего не думаю. Просто я его нежно люблю, как, впрочем, и Милку и всю их семью. А с Людмилой Петровной я была очень дружна, она и умерла здесь, на моих руках...

Венцова. Как я рада, что вы меня не осуждаете. Да, да, да, я старше его на три года, разная среда — разная культура... всё это верно, но, в конце концов, мне совершенно наплевать, как я буду выглядеть со стороны. Я ведь не вьющееся растение, я человек независимый, привыкла жить одна, сама себя кормить и одевать — и никому не давать отчёта. Так что, вероятнее всего, замуж я за него не пойду...

Нина Павловна (вздыхнула и погладила Венцову по волосам). **Бедняжка вы...**

Венцова. Почему бедняжка?

Нина Павловна. Потому что всё это вы про себя выдумали, так в жизни не бывает. Если уж пошло на откровенность, скажите прямо, что твёрдо решили выйти замуж за Колю Леонтьева и вообще давно хотите замуж, потому что пришла пора, надоело жить бобылкой, потому что от вашей мужской независимости за версту разит одиночеством. И дай вам бог счастья, хорошего мужа и обязательно детей — без них жизнь не может быть полной. (Пауза.) Вы-то его любите?

Венцова. Да. А иногда, как подумую — н-нет. Ох, разве это можно знать?

Нина Павловна. По-моему, можно. Наверно, я очень несложная натура, но разбудите меня среди ночи и спросите: «Нина, кого ты любишь?» — я вам так без запинки и отрапортую: «Люблю своего мужа Вячеслава Частухина, считаю его самым умным и благородным из всех кого знаю. И даже самым красивым».

Венцова. Вы счастливая, вам позавидуешь. Ох, не знаю, способна ли я теперь на такое чувство — оно слишком дорого обходится. Я ведь очень любила... вы его не знаете, он большой человек, генерал, много старше меня, умница, с изумительной биографией... Мы познакомились перед войной на корте, я тогда работала тренером, а потом мы встретились на Первом Украинском...

Нина Павловна. Где он теперь?

Венцова. Кажется, в Москве. У него жена, взрослые дети. Я бы для него пошла на всё, но он сказал, что не хочет жить двойной жизнью. Он прав, конечно. (У неё на глазах слёзы.) Ниночка, поймите меня — я уже отравлена. Я не корыстолюбива, но полюбить человека неяркого, незначительного я уже не могу.

Нина Павловна. Господи, на свете столько интересных людей!

Венцова. Совсем не так много, Ниночка, поверьте мне. (Выбросила из сумки толстую пачку фотографий.) Посмотрите на мою портретную галерею. Здесь пол-Москвы: писатели, академики, шахматисты, актёры... Ниночка, все интересные люди давно женаты, страшные трусы и отвратительно избалованы. Вам смешно?

Нина Павловна (сдерживая смех). Извините меня, Ларочка.

Венцова. Пусть я тысячу раз эгоистка, но ханжой я никогда не была. Скажу вам честно — когда я увидела Колю, то сразу поняла: этот мальчик и есть тот самый драгоценный сырой материал, из которого в нашей стране делаются министры и депутаты. У Николая отличные данные, но он слишком мягок, его уже начинает эксплуатировать этот Востряков... Думайте обо мне что хотите, но я знаю, уверена: если Николай будет со мной, я сумею его направить, я в пять лет сделаю из него человека. И не беспокойтесь за него — ему будет хорошо, авторы всегда любят свои произведения, так что я буду его очень любить.

Нина Павловна. Скажите, Лара, какое у вас образование?

Венцова. Областной техникум физкультуры. Я не успела получить диплома, потому что...

Нина Павловна. Всё ясно. Незаконченное среднее. (Кричит.) Славка! Славка!

Венцова. Почему вы спросили?

Нина Павловна. Сейчас скажу. (Кричит.) Славка, пооди сюда. На минутку.

В дверях появился Ч а с т у х и н. Он в нижней рубашке с засученными рукавами, широченных лиловых в крупную коричневую клетку штанах «гольф» с заплатами на коленях из разноцветной кожи. На лбу зелёный целлулоидный козырёк. В руках железный совок.

Частухин. Ниночка? (Увидев Венцову, попятился.) Лариса Фёдоровна, извините...

Венцова. Вячеслав Алексеевич, милый, не уходите. Дайте на вас полюбиться.

Частухин. Я вижу — мои штаны произвели на вас неотразимое впечатление.

Венцова. Да, не скрою. Откуда у вас эта роскошь?

Частухин. Куплены в городе Батуми у механика английского парохода летом тысяча девятьсот двадцать шестого года. Незаменимы при садово-огородных работах.

Нина Павловна. Давно мечтаю выбросить их на помойку. Но Славка не позволяет.

Частухин. И никогда не позволю. Это наша единственная семейная реликвия. Она заслуживает того, чтобы её хранили под стеклом — в нарядном потомстве.

Нина Павловна. Ты мерзкий склочник. (Венцовой.) Ладно уж — покаюсь. Мой грех — моя покупка. Он сопротивлялся, не хотел носить — я заставила. Теперь он сводит со мной счёты.

Венцова. Ничего не понимаю.

Частухин. Это потому, что вы не видели нас лет пятнадцать — двадцать назад. Скажу вам по секрету — мы с Ниной были отвратительнейшие пижоны.

Венцова. Что значит «пижоны»?

Частухин. Как так «что значит»? Пижоны — это пижоны.

Венцова. Франты? Щёголи?

Частухин. Франты — это ещё полбеда. Пижоны — это люди, которые хотят казаться. Ряженные. Пижон — это ряженный пошляк.

Венцова. И вы были такими? Перестаньте, я никогда не поверю.

Нина Павловна. Уверю вас, Ларочка. Когда мы поженились, Славка только что окончил институт и был назначен технологом литейного цеха. А я училась на английских курсах, умела болтать о Прусте и Джойсе и очень огорчалась, что люблю такого обыкновенного и ничем не примечательного человека. Мы ходили на премьеры и вернисажи, я лезла из кожи вон, чтоб завести знакомство в артистическом кругу. Знакомым я врала, что мой муж скульптор, и одно время Славка брал уроки лепки у какого-то специалиста по надгробным памятникам.

Венцова (смеясь). Я не знала за вами таких талантов. Лепили вы, наверно, плохо.

Частухин. Если бы плохо! Ужасно. Пришлось объявить себя левым — это помогло, но не надолго. Я стал плакать по ночам, меня душили кошмары... Глину я месил с отвращением, пока мне не пришлось в голову заняться её лабораторным анализом. В результате, я разработал новую рецептуру мелкозернистых глин, применяемых в литейном

деле. Это меня спасло — я понял своё призвание. Нинка сначала куксилась и ревновала, а потом сама попросилась на завод. Сколько лет ты уже работаешь, Нинуша?

Нина Павловна. Скоро пятнадцать. Я живая летопись нашего завода. Директор так меня и зовёт — «Пимен-летописец».

Частухин. «Добру и злу внимая равнодушно»...

Нина Павловна. Ну, нет. Это не в моём характере.

Венцова (задумчиво). Наш завод... Вы очень счастливые люди. Вы мне нравитесь, и я вам завидую, но не умею чувствовать, как вы. Я не люблю своей службы, не любила техникума, в котором училась, даже на фронте я не очень любила свою 21-ю армию, почему-то мне казалось, что в соседней 22-й лучше. Я северянка — и всегда тоскую по югу. Вероятно, я — кукушка...

Частухин (смотрит на часы). Скоро должен приехать Востряков. Ниночка, а где Алексей? Почему он не завтракал?

Нина Павловна. Не знаю. Дети говорят, что у него всю ночь горел свет. Я в отчаянии — если он не будет ложиться во-время... Вы опять вчера поругались?

Частухин. Ну почему, Ниночка, поругались? Мы поспорили.

Венцова. Не могу понять вашей дружбы. Редко встречала более непохожих людей. Вячеслав Алексеевич такой, мягкий, бесконечно деликатный...

Нина Павловна. Конечно, они очень разные — это совсем не трудно заметить. Но чем больше я их узнаю, тем больше вижу, как они похожи — и в чём-то самом главном.

Частухин. Вот что: или отдайте мне последние страницы, или я ухожу рассаживать флоксы.

Вошёл П л о т о в щ и к о в. На шее полотенце, в руках два томика в коричневых переплётках и напечатанная на машинке статья.

Плотовщиков. С добрым утром! (Целует Нине Павловне руку.)

Венцова. Вот как — вы целуете дамам руки? Никогда бы не подумала.

Плотовщиков (пожимая ей руку). Исключения только подтверждают правило.

Венцова. Нина Павловна — единственное исключение?

Плотовщиков. Да, с тех пор, как умерла моя жена, — единственное... (Частухину, здороваясь.) Вячеслав, я вчера погорячился...

Частухин. Ну что ты, Алёша, как тебе не стыдно? Тем более, что ты был совершенно прав...

Плотовщиков. Помолчи. Разве я сказал, что был неправ? По существу я был очень прав. Но форма была хамская. Понятно? Извини.

Частухин. Какие пустяки.

Плотовщиков. Нет, не пустяки. Теперь не гражданская война, пора привыкать к вежливости. А ты мне прощаешь — и напрасно. Это мягкотелость.

Частухин. Знаешь что, мне начинают надоедать разговоры о моей мягкотелости.

Нина Павловна (улыбаясь). Сейчас они опять поссорятся.

Плотовщиков. Чтоб проверить себя, я ещё раз ночью перечитал твою статью. И опять повторяю: интереснейший материал изгажен, эмпирика самого ползучего сорта, одна голая техника без малейшей попытки обобщения... (Ларисе.) Человек написал статью для заводской газеты — изображает состояние техники на нашем заводе в будущем году. В четыре странички напихано столько чудес, что хватило бы на

утопический роман. Чудеса вполне реальные: уничтожение производственных шумов, постоянная температура и влажность в цехах, круглосуточный дневной свет, автоматика и пневматика — чего только нет. Техническая сторона изложена грамотно, понятно. Одного только понять нельзя — где этот завод находится? В СССР или в Америке? Кто это пишет? Советский инженер, коммунист или наёмный специалист? И вообще — во имя чего всё это делается? (Частухину.) Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю.

Частухин. Но это же само собой разумеется...

Плотовщиков. Нет. Если автор статьи сам плохо понимает, то само собой ничего не разумеется. Рабочий, прочитав твою статью, должен понять, что автоматизация нужна не для того, чтоб его вытеснить или оболванить, а для того, чтобы его освободить и возвысить. Но ведь в твоей статье человеческим духом и не пахнет. Это не статья, а безлюдная пустыня, её не только что читать — в руки взять противно...

Частухин. Ну вот, опять ты сердисься... Я же не спорю — статья никуда не годится.

Плотовщиков. Если это единственный вывод, который ты сделал из моих слов, то я зря сотрясал воздух. Статья статьёй, а не поставить ли нам на открытом партийном собрании твой доклад?

Частухин. Алексей, ты с ума сошёл. Я совершенно не приспособлен...

Плотовщиков. Коммунист обязан уметь разговаривать с массами. Я тоже не Цицерон, но твёрдо знаю одно святое правило: если ты знаешь, о чём говоришь, и веришь в то, что говоришь, — слушать будут. Так что готовься. Советую основательно почитать Ленина и Сталина. Читаешь ты их плохо...

Частухин. Позволь...

Плотовщиков. Не спорь. Плохо. Неглубоко. Подзубриваешь, как школьник... Мне мой покойный отец, всю жизнь таскавший мешки на Саратовских пристанях, говорил: «Если б мне кто из верных людей сказал, что есть такая книга, где объясняют, в чём смысл моей жизни и как достигнуть жизни справедливой, я бы за этой книгой на край света на карачках пополз». А вот теперь, когда эту книгу можно на каждом углу свободно купить за шесть с полтиной, находятся такие умудрённые интеллигенты, что заглядывают в неё только по средам, и то потому, что четверг — день политучёбы. Это уж называется — зажаться...

Частухин. Не знаю, Алёша. Доклад — это так трудно...

Плотовщиков. Надо сделать над собой усилие.

Венцова. Господи, наступит ли время, когда можно будет не делать усилий?

Плотовщиков. Могу вас успокоить — оно никогда не наступит. Мышцы и, в особенности, мозги требуют постоянного упражнения, иначе они зарастают жиром, и человек становится домашним скотом. Усилие тем и прекрасно, что оно преобразует, оно делает человека сильнее и умнее. (Частухину.) Это ещё древние греки хорошо понимали: подтверди, скульптор.

Венцова. Значит, трудности будут и при коммунизме?

Плотовщиков. Не будет трудностей с растительным маслом и шёлковой подкладкой. Но проникать в загадки вселенной, писать великие произведения, ставить спортивные рекорды и даже завоевать сердце хорошей женщины будет попрежнему трудно. И хорошо, что так, — иначе не стоило бы жить. (Отдаёт Частухину оба тома.) На, возьми. Обрати внимание, там у меня подчеркнуто. До слёз хорошо. (Пауза.) Пойду посмотрю, как ребята играют. (Уходит.)

Частухин. А я пошёл дочитывать последнюю главу. (Тоже уходит.)

Венцова (смотрит вслед Плотовщикову). Он занятый. Мужчина с головы до пят.

Нина Павловна. Удивительный человек. Вы знаете, до семнадцати лет он едва умел расписываться, а теперь у него за плечами два вуза — инженерный и партийный. При этом, участвовал в трёх войнах, и весь изранен, проводил коллективизацию на Кубани... Жизнь всегда требовала от него напряжения всех сил, размениваться он не умеет. И любил так же — раз в жизни и на всю жизнь.

Венцова. Не дай бог иметь его своим врагом. А другом — слишком утомительно. Чего только не приходится от него выслушивать.

Нина Павловна. Милая Ларочка, вам очень недостаёт именно такого друга.

Венцова. Как? А вы?

Нина Павловна. Я? Нет. К сожалению — я либералка.

С площадки доносится взрыв смеха и крики: «Автор!».

Венцова (нервно). Что такое? Кто сейчас кричал «автора»?

Нина Павловна. Это на площадке. Кто-нибудь перебросил мяч через забор. (Уводит Венцову.)

На несколько секунд терраса пустеет. Затем появляются Востряков и Касаткин. Востряков в дорогом светлом костюме и шелковой рубашке с галстуком. Он заметно пополнил и стал ещё вальяжнее. Касаткин с неизменным портфелем.

Востряков. Никого. Все на площадке. Садись.

Оба садятся на ступеньки, снимают пиджаки, развязывают галстуки.

Ф-фу, замучился... Вчера был на встрече знатных людей промышленности с композиторами. Всё как полагается: заседание, концерт, потом посидели скромненько... (Зевнул.) Однако до трёх утра.

Касаткин. Ты выступал, Толя?

Востряков. Заставили. Ну, я им выдал, как следует. Жизни, говорю, не знаете, товарищи композиторы, мало бываете в цехах. Приходите, посмотрю, к нам на завод, я вам покажу наших людей, напишите о них песни, они этого стоят.

Касаткин. Правильно, Толя! Вот, ей-богу, люди! (Расстёгивает портфель.) Вот — видал? Газетные вырезки, письма. Рабочие пишут, интересуются вашим опытом.

Востряков. Батюшки, когда же я всем отвечать буду? Вот книга выйдет — пусть читают. (Просматривает вырезки.) Неужели это я? Хм... (Запихнул вырезки и письма обратно в портфель.) Ладно, после разберёмся. Когда перевыборы завкомов?

Касаткин. Теперь скоро уже.

Востряков. Сергей Афанасьевич не останется?

Касаткин. Нет. В распоряжение ВЦСПС.

Востряков. Здорово. Кто же на его место? Верка Ермолаева?

Касаткин. Откажется.

Востряков. Почему?

Касаткин. Говорит: не чувствую себя достаточно подготовленной.

Востряков. Врёт. Что-то не то.

Касаткин. Ты знаешь, что она про меня на днях сказала: давно бы надо выгнать Касаткина из БРИЗ'а, да администрация его крепко подерживает. Вот дрянь!

Востряков. Скажи пожалуйста! А мне директор вчера говорит: давно бы мы погнали Касаткина, да неудобно — член завкома, раз его

массы выбирают, значит любят или привыкли... Ты, дядя, оказывается, не дурак — умеешь...

Касаткин. Как тебе, Толя, не стыдно...

Востряков. Я смеюсь. Ты в ЦК Союза был?

Касаткин. Был. Установлена новая должность — инструктор по обмену передовым опытом. Но... предполагают Николаю предложить.

Востряков. Да? Ну что ж, я за Миколу рад. Должность с перспективой. (Помолчал.) Ладно, назначать инструкторов дело не наше, — скажи-ка лучше, как ты наш метод продвигаешь? Книгу ждёшь? Когда книга выйдет, мы без тебя обойдёмся — всякий сам прочтает.

Касаткин. Знаешь, Толя, мне прямо обидно тебя слушать. Вот, ей-богу, люди! — стараешься для них, так они же тебя потом... А кто печать организовал? Радио? Кино? Теперь возьми мероприятия по заводу: цеховые совещания проведены? Листовки в цеха спущены?

Востряков. Несолодно работаешь. Всё с налёту: шум, треск, а на поверку — ничего. Мельчишь, разбрасываешься...

Касаткин (обижен). Что значит — я разбрасываюсь? И там с утра до ночи волчком верчусь. Ты ведь не один у меня.

Востряков. Вот, вот. Я правильно говорю — разбрасываешься. А надо так: хватайся за основное звено, остальное пока побоку... Решил нас поднять — так уж сделай дело до конца, — подыми как знамя!

Касаткин. А другие предложения, изобретения — бросить? Должен я их продвигать?

Востряков. Вот и видно, что ты привык смотреть на всё только со своей колокольни. Нету у тебя государственного мышления.

Касаткин. Ах, нету? Так, так... Ну что ж, Толя, поучи.

Востряков. И поучу. Ты что же, дядя, думаешь: кроме Алексея Стаханова во всей стране передовых шахтёров не было? Кто их знает? Хорошо, если десятки тысяч. А Стаханова — весь мир. Что, кроме Зои и краснодонцев, комсомольцы подвигов не совершали? Тысячи. Однако памятники не всем ставят. Сделай вывод.

Касаткин (задумчиво). Растёшь ты, Толя, здорово. На глазах. Только вот направления — не пойму.

Нина Павловна за руку ведёт с площадки опечаленного Плотовщикова.

Нина Павловна. Нет, не будете играть, не будете. В будни я не могу за вами уследить, но в воскресенье я требую полного отдыха. Поймите вы, дикий человек, что для вас убийственны ваши ночные бдения, что всякое лишнее волнение для вас яд...

Плотовщикова (ворчит). Хоть бы мне кто-нибудь объяснил, которое волнение лишнее, а которое — нет. Может быть, мне в отставку прикажете подать? Меня ведь для того и выбрали, чтоб я волновался.

Вбегает запыхавшаяся В е р а.

Вера. Здравствуйте, Нина Павловна. Простите, что без приглашения...

Нина Павловна. Что случилось, Верочка? Почему вы так бежали?

Вера. Сама не знаю. К поезду бежала — боялась, что уйдёт, а как слезла с поезда, опять побежала — это уж, наверно, по инерции. Алексей Георгиевич, я к тебе по делу.

Нина Павловна. Не понимаю — неужели нельзя потерпеть до завтра? (Плотовщикову.) Ну-ну, хорошо, не смотрите на меня с такой яростью. (Вере.) Только недолго, Верочка, — хорошо?

Вера. Я — минутку. Только на бороду нажалуюсь. Николай Иванович, прислушайся, чтоб ты потом не говорил, что я тебя за глаза ругаю.

Касаткин (благодарно). А что случилось, Верочка?

Вера. Ничего не случилось. Чересчур замечательно работаете.

Касаткин. А-а, так, так, понятно. (Вздыхает.) Ну, говори, говори — слушаем.

Вера. Можешь обижаться сколько угодно — на меня не действует. Я, Николай Иванович, с твоим порочным стилем мириться больше не намерена.

Касаткин. Какой у меня, значит, стиль? Ах, порочный? Ну что же... Стерпим... История рассудит.

Востряков. Ермолаева, ты зря словами не бросайся. За них отвечать приходится.

Вера. Я — отвечу. А тебе, Толя, вот уж не стоило бы заступаться. Я твоё же доброе имя защищаю. Тебя девчонки из второго прецизионного просили вечером к ним зайти? Почему ты не был?

Востряков. Не мог, потому и не был.

Вера. Жалко. Полюбовался бы, как ваши методы осваивают. Николай Иванович пропагандирует передовой опыт: радиоузел гремит, все цеха листовками залеплены...

Касаткин. Что же в этом плохого?

Вера. Плохо, что всё тям-ляп... Вчера в вечерней смене девочки из бригады Терентьевой инструмент поломали и браку наделали.

Касаткин. Ах, чертовки, подвели. Вот, ей-богу, люди! А ты уже и напугалась? Хочешь без издержек? Нет, голубушка моя...

Вера. Я напугалась? Нет, дорогой мой, начинать с брака да поломок — это плохая пропаганда. Ты вчера после гудка хватить портфель, машину забрал, да и укатил в высшие инстанции, а я до полуночи из цеха не вылезала и всякого наслушалась. Теперь ожглись — так знаешь, как заговорили... с подковырочкой.

Востряков. А вы, товарищ предзавкома, уже в плену отсталых настроений? Нехорошо.

Вера. Алексей Георгиевич, ну зачем он так говорит? А председателем ты меня можешь не называть. Я фигура временная, сплю и вижу тот день, когда меня в цех отпустят. Я и заместителем ни за что не останусь.

Плотовщиков. Ну, ну. Останусь — не останусь. Ты — коммунистка, оставят — так останешься. Дисциплина для вас существует?

Вера. Существует. Я дисциплины ничуть не хочу отрицать, но ведь надо и меня понять. Раз я чувствую, что выдыхаюсь...

Плотовщиков. Что значит — выдыхаюсь?

Вера. Авторитет кончается — вот что это значит. В 43-м году у меня действительно был авторитет: комсомолка — начальник ПВО объекта, двести девок под началом, и каждая тебе в рот смотрит, а тут ещё медаль военная за тушение зажигалок, — Верочка была на заводе первый человек. Теперь я вас спрашиваю: сколько можно на этом ехать? Сейчас зажигалки не играют, сейчас давай производительность труда, совмещение профессий, экономию, качество... А что я могу дать, если я из каждого квартала по два месяца в завкоме сижу? Что я на сегодня из себя представляю? Ничего решительно. Я уж по тому догадываться стала, что мои девчонки мне дерзить начинают, и я молчу... (На глазах у неё слёзы.)

Плотовщиков (улыбается). Ну, хорошо, пойдём ко мне — обсудим положение. (Уводит Веру.)

Появился успешный переодеться Ча́стухин. В руках у него большой никелированный поднос.

Частухин. Все в сборе? Чудесно. (Ударяет в поднос, как в гонг.)
Здравствуйте, товарищи.

Касаткин. Вячеслав Алексеевич, дорогой... Ну — как? Общее впечатление?

Частухин. Что ты, Николай Иванович? Это ведь не стихи.

Бежит Людмила, вбегает на террасу.

Людмила. Здравствуйте... Руки не подаю — грязная...

Востряков. Постой. Ты что же вчера не приехала?

Людмила. Некогда, Толя. У Миколы в заочном зачётная сессия.

Востряков. Жалко. Интересный вечерок был.

Людмила. Не жалей, Толя. Я ведь не очень люблю смотреть, как ты красуешься.

Востряков. Ты вообще последнее время не любишь на меня смотреть.

Людмила. Нет, почему же? Когда в волейбол играешь — люблю. Смотри, Толя, не отрывайся от нашей команды — у тебя живот растёт. (Скрывается внутри дома.)

Идут Николай и Венцова. Николай весел, разгорячён игрой.

Венцова. Коля, постойте... (Они остановились.) Посмотрите на меня. Что вы улыбаетесь?

Николай. Просто так. Смешная игра была. Интересно, почему люди злятся, когда проигрывают?

Венцова. Господи, он ещё весь там! Меня поражает ваше легкомыслие. Неужели вы не понимаете, что от мнения Частухина зависит очень многое — директор ему очень доверяет.

Николай. А я ещё больше.

Венцова. Коля, я хочу, чтоб в сегодняшнем разговоре вы вели себя как настоящий мужчина. Вы должны отстаивать свои убеждения и отстаивать до конца. Помните, что я в вас верю.

Николай (сжал её руку). Спасибо, Ларочка.

Венцова. За что?

Николай. За эти самые слова. Очень ко времени. Я вам сейчас ничего не скажу. Одно обещаю — краснеть за меня не будете.

Поднимаются на террасу. Идёт с площадки Прокофий Андреевич, принадлежащий по-праздничному. Остановился в нерешительности.

Частухин. Прокофий Андреевич, пожалуйста сюда. У нас секретов нет.

Прокофий Андреевич. Если разрешите...

Прокофий Андреевич поднимается на террасу. Вернулась Людмила. Все рассаживаются. Нина Павловна взяла блокнот и приготовилась стенографировать.

Касаткин. Ох, разгромит! По глазам вижу.

Частухин. Ниночка, право я не знаю, стоит ли записывать... Впрочем, как хочешь. Итак... начну с некоторых частных замечаний. Книга снабжена большим количеством фотографий, изображающих авторов на различных этапах производственного процесса. Сами по себе фотографии выполнены превосходно...

Касаткин. Ага! Что я говорил? Слышишь, Ларочка?..

Востряков. Погоди, Николай Иванович. Не мешай.

Частухин. Боюсь, однако, что познавательная роль их невелика.

Кроме того, в таком обилии фотографий есть нечто нескромное и даже отдающее саморекламой.

Николай. Верно. Карточки эти — ни к чему.

Востряков. Значит, долой? Ну что ж — я не возражаю.

Частухин. А вы, Лариса Фёдоровна?

Венцова (пожав плечами). Вы одной фразой зачеркнули мою трёхмесячную работу. Но если так нужно для дела — не смею спорить.

Частухин. Второе замечание. Как известно, Николай Прокофьевич и Анатолий Акимович работают совместно. Я берусь доказать следующее: всё, что товарищи делают вдвоём, может быть сделано, а многое уже и делалось ими, с равным успехом, порознь.

Прокофий Андреевич. Позвольте мне, Вячеслав Алексеевич, одно только замечание дать. Совершенно правильная ваша мысль — могу подтвердить. Весной Толя выезжал на курорт, и Николай один управлялся.

Частухин. Отсюда напрашивается вывод: у нас нет никаких оснований возражать против того, чтоб товарищи работали вместе, но возводить спаренную работу в правило и пропагандировать обезличку, с моей точки зрения, не нужно.

Востряков (тихо, Касаткину). Слыхал, как клинья вбивает? Ловок. Для чего это только ему?..

Частухин. Вы что-то хотели сказать, Анатолий Акимович?

Востряков. Да нет — молчу. Я потом скажу.

Частухин (Николаю). А вы?

Николай. Не знаю, что вам ответить, Вячеслав Алексеевич. У нас с Толей до сих пор недоразумений не было, потому что мы друзья. У нас всё общее и всё пополам, даже продукцию метим одним клеймом. А если шире посмотреть — так, может, вы и правы.

Частухин. Но всё это, повторяю, частности... Перехожу к основному вопросу, вызывающему у меня наибольшие сомнения.

Касаткин. Ты уж не пугай нас, Вячеслав Алексеевич. Что-то ты не того — начал как будто за здравие...

Частухин. В основе книги лежит большой и ценный опыт. Но сумеет ли рабочий применить его, принесёт ли книга в том виде, как она есть, реальную пользу? Я в этом не убеждён.

Касаткин. Помилосердствуй!

Частухин. В книге подробнейшим образом, с протокольной точностью, шаг за шагом, описан процесс изготовления различных деталей. Быстрота и точность вашей работы зависят, с моей точки зрения, от двух решающих факторов — высокой производственной культуры и универсальной подготовки. Высокая культура, талант и знания позволяют вам, в каждом отдельном случае, находить наиболее эффективное технологическое решение, другими словами — подойти к задаче творчески. Универсальная подготовка позволяет вам совмещать много различных операций. И вот, читая книгу, поневоле приходишь к парадоксальному выводу: рабочему, который не обладает вашей культурой и универсальными навыками, книга не нужна — он не сумеет у вас ничего перенять. Рабочему, который всем этим обладает, — она тем более не нужна. Учтите, что вы делаете уникальную работу, и ваш опыт не может быть просто скопирован. Нужна не рецептура, а метод, принцип.

Касаткин. Но позволь, Вячеслав Алексеич, родной мой... Но метод же есть?..

Частухин. Милый Николай Иванович, боюсь, что разговор о методе был начат несколько поспешно. Ведь метод — понятие не только техническое, но и идейное, философское, политическое, наконец. Попробуйте

обобщить практику Леонтьева и Вострякова — и вы увидите, что она опрокидывает многие наши привычные понятия, в частности наши представления о разделении труда. Ведь если пойти по их пути, то естественно будет признать, что в ближайшем будущем ведущим на производстве должен стать тип разносторонне подготовленного рабочего-универсала, который вытеснит носителей узкой специальности... Всё это очень увлекательно, но ведь на эти вопросы книга никакого ответа не даёт, и пусть авторы, положа руку на сердце, скажут: готовы ли они сейчас к тому, чтоб этот ответ дать?

Николай (вскочил). Вот! В самую сердцевину вы попали. Тут, если задуматься, такой узелок завязан... И как подойти — не знаю, я прямо измучился... Вот возьмите — меня некоторые кустарём дразнят. Какой же я кустарь, если я самой передовой техникой владею? Нет, говорят, тебе бы по ювелирной части пойти, а для производства это не нужно...

Востряков. Постой, Микола, об этом после... Вячеслав Алексеевич, можно вам вопрос задать?

Частухин. Пожалуйста.

Востряков. Простите, конечно, за прямоту... Вот вы старый опытный специалист, мы вам доверяем, сколько раз с вами советовались, — и вы нас не только что не остерегли, а, ежели припомните, поздравляли и шампанское пили за наши успехи. А теперь стоило сороке на хвосте слушок принести, будто какие-то девчонки браку наделали, — и вдруг вас осенило? Неудобно как-то получается...

Частухин (растерянно). Какой слушок? Я ничего не знаю... Мне не очень понятен ваш тон, Анатолий Акимович, но я готов вам отвечать. Да, я старый опытный специалист, но, к сожалению, очень молодой марксист, лишь недавно мне пришлось по-настоящему задуматься о том, какая связь существует между техникой и идеологией. Не хочу себя оправдывать — у меня и раньше были сомнения, мне казалось, что с разговорами о методе следовало бы повременить, но в тот момент печать уже прогремела, и я... побоялся.

Востряков. Так. Струсил, значит?

Прокофий Андреевич. Нехорошо разговариваешь, Анатолий. Грубо.

Частухин. Да, струсил, если нужно, чтоб было произнесено более резкое слово. Скажу больше — здесь проявилась моя отвратительная мягкотелость. Лышу себя надеждой, что в сегодняшнем нашем разговоре я, в какой-то мере, сумел её преодолеть.

Востряков. Ясно. Так помогите нам, а? Мы-то простаки — нам бы сразу к вам обратиться. Вроде как к руководителю работ. Где двое, там и трое — неужто не потеснимся? Микола, ты как? Ведь не в деньгах дело, — главное, людям пользу дать. Вячеслав Алексеевич, у вас уж наверно всё продумано, что и как обосновать?.. А то ведь сроки на нас жмут, надо, чтоб в этом году вышло... В три недельки не управитесь?

Частухин. Я не понимаю — вы что же... хотите купить мою помощь? Вы берёте меня в долю? Я готов вам помогать, давайте искать вместе, причём, конечно, ни о каком соавторстве не может быть и речи... Но поверьте мне: связывать себя определёнными сроками нельзя, всякая топорливость в серьёзном деле неуместна.

Востряков. Так, так. Ну что ж, спасибо вам, товарищ Частухин. Наше рабочее спасибо; низко кланяемся. Где уж нам с суконным рылом книги писать. Хотя вы и в партию вступили, а, видно, старое-то в вас ещё крепко сидит. Только ведь мы не из пугливых. И без вас дорогу найдём. А будете мешать — ну тогда уж не обессудьте...

Николай. Ты что — с ума спятил?

Частухин. Что же это такое, товарищи? Как он со мной говорит? Я не хочу его слушать. Мне не приходилось выгонять людей из дому, так что вы, пожалуйста, оставайтесь, но разрешите мне уйти... Я так не могу. (В волнении убегает вглубь дома.)

Общая растерянность.

Касаткин. Ребятки, ну как так можно? Вот, ей-богу, люди! — не умеют говорить спокойно.

Николай (встал, говорит очень тихо). Ну вот что, Толя: иди, проси прощенья.

Востряков. Ты — не командуй.

Николай. Иди, иди. Скажи: простите меня, дурака. А не простит сразу — ещё раз попроси.

Востряков. Может, ещё на колени стать? Нет, уж это вы простите. Пускай я груб, зато ты чересчур ласков. Вопрос принципиальный. Опорочить метод не дам — драться буду. Ты — как знаешь, а я своей новаторской роли недооценивать не позволю!

Николай. А я тебе говорю — иди. Скажи спасибо за науку, за правду, за то, что от стыда избавил. (Пауза.) Николай Иванович!

Касаткин. Слушаю, родной.

Николай. Давай обратно рукопись. И — кончай шумиху. Поигрались — и хватит. Отбой.

Касаткин. Что? Не дам. Хоть дерись — не дам. Шуточное дело — возглавили движение, весь мир на нас смотрит, а мы вдруг на попятный? Да это же политический скандал, мы с тобой костей не соберём.

Николай. Ничего, переживём. А людей с толку сбивать — это лучше? Я писем получаю что ни день, то больше — а что отвечать?

Касаткин (в отчаянии). Ребятки! Микола, Толюшка, послушайте меня, я вам дурного не скажу. Ну, мне-то вы верите? Толечка, родной, я тебе прямо скажу — ты погорячился. Вячеслав Алексеевич замечательный человек, честнейший, но он недопонимает. Он сам учёный человек, кандидат наук, у него склад ума теоретический, а мы с тобой люди рабочие, практики, мы не научные труды пишем, а поднимаем производительность труда. В указах правительства вот именно говорится... (Роется в портфеле.) За разработку и широкое внедрение новейших методов...

Николай. Правильно. А метод не разработан, опыт не внедрён. На год работы.

Востряков. Гд! Маленький ты, что ли? Перехватят идею, а мы останемся в стороне. А приоритет? Я не о себе хлопочу — о заводе.

Касаткин. Коля, голубчик, молчи, не отвечай. Я тебя люблю, но ты тоже неправ. Я тебе объясню, почему. Потому, что ты смотришь на вопрос со своей, так сказать, сугубо индивидуальной колокольни. А я вижу его с государственной колокольни и торжественно заявляю тебе: Коля, родной, ты не имеешь никакого морального права забирать рукопись. Я тебе поражаюсь, тёзка! Пойми: ты — наше знамя.

Николай. Что? Какое знамя?

Касаткин. Знамя движения. И я не могу допустить никакого ущерба твоему авторитету, не могу давать пищу отсталым элементам... Поверь: мне с государственной точки зрения виднее...

Николай. Знаешь что, Николай Иванович? Брось звонить. Ты, конечно, ответственный товарищ, но ведь я тоже не лавочку держу. Почему это ты можешь государственно мыслить, а я не могу? Почему ты знаешь, чего хочет государство, а я не знаю? А я вот чувствую, что не

ты прав, а я. А раз я прав — стало быть я говорю от имени государства, а не ты.

Востряков (ехидно). Кажется, французский король Людовик так говорил: «Государство — это я».

Николай. Не знаю, почему он так говорил, а я, слава богу, не король — я за свои слова отвечаю.

Людмила. Знаешь, Толя, был ещё другой Людовик, похуже. Тот говорил: «После меня — хоть потоп».

Прокофий Андреевич. Верно, Милка! Был такой, только вот я его номер позабыл. Не ему ли, в аккурат, башку-то оттяпали?

Востряков. Понятно. Семейство Леонтьевых выступает единым фронтом. Знаете что, Людмила Прокофьевна, давайте поговорим начистоту. Я вашими намёками сыт по горло.

Людмила. Намёками?

Востряков. Да. Я себя с Миколой не думаю равнять, но из милости состоять при их особе я тоже не желаю. Я себе цену знаю, и не будь меня — ещё неизвестно как бы дело обернулось, ржавел бы он, как чудаки, в неизвестности... (Николаю.) Отбой бьёшь? А меня ты спросил? На меня ты плюёшь, ладно — Лару всё-таки не грех бы спросить, она книгу-то писала.

Николай. Что ты о Ларе беспокоишься? Лара сама за себя скажет.

Венцова. Я не хотела говорить при всех... Я не оправдываю грубости Анатолия, но мне она кажется более понятной и простительной, чем ваша растерянность при первом же натиске. Вы вели себя, как тряпка.

Прокофий Андреевич (тихо). Та-ак. Из знамён да в тряпки. Скоро.

Николай (Венцовой). С вами у меня отдельный разговор будет, а вот Толе я отвечу. Слышали, как он заговорил? Меня, мол, не спросили. Верно, нехорошо. Это ведь оттого, Толя, что до сей поры ты со мной не часто спорил, — поневоле избалуешься.

Касаткин. Коля, родной, вот за это хвалю — самокритично подходишь. Ребятки, помиритесь...

Николай. Это плохо, когда люди не спорят. Зато как заспорили — всё вдребезги. Ну что ж, дело поправимое — мы не наглухо склёпаны, разойдёмся без аварий. Делить нам нечего, разве что славу делить захочешь, так и тут недоразумений у нас не будет — забирай хоть всю, а я, признаться, сыт. Я тебе не препятствую: выступай с речами, снимайся в фас и в профиль, хочешь книгу печатать — вали, только чур за одной своей подписью.

Венцова. Вы с ума сошли, Коля? А как же вы?

Николай. А я, Ларочка, устал от шумного света — и с завтрашнего дня возвращаюсь в исходное положение. Отработал смену — и домой. Заходите, если не скучно с простым рабочим, — адрес прежний. А то выходите за меня замуж, Лара? Зарабатываю прилично, во хмелю смирен, только что в знатные не вышел.

Востряков. Ну, ладно. Пора кончать. (Вскочил и быстрыми шагами вошёл внутрь дачи.)

Прокофий Андреевич. Не расстраивайся, Микола. Будем жить, как прежде жили. От цирка этого подальше — оно даже лучше.

Людмила. Перестань, папа. Ты опять за своё? (Подошла к брату.) Мы с тобой к экзаменам будем готовиться, — верно, Миколушка?

Касаткин (прислушивается). Пошёл всё-таки. Не выдержал. Уговорил я его. Вот ей-богу, люди! Шумят, нервничают, а чего? — сами не знают.

Нина Павловна (перестала стенографировать, встала и тоже прислушалась). Товарищи, до сих пор я ни во что не вмешивалась, даже

когда Востряков оскорблял моего мужа. Но я решительно требую, чтобы Алексея Георгиевича оставили в покое. Скажите Вострякову, чтоб он не смел к нему ходить.

Но уже поздно, в дверях появился Плотовщиков. За его спиной — Востряков.

Плотовщиков (отыскал глазами Николая). То, что мне сейчас сказали, — правда?

Николай. Правда.

Плотовщиков. Как хорошо! Прямо диву даёшься: рабочий, кандидат в члены великой партии большевиков, новатор производства, через пятилетки шагает, а чуть погладили его против шерсти — он и скис: «Ничего не хочу, ничего не желаю — отработал смену и домой!» Такой скромный, такой простой... Только меня не проведёшь. Бывает скромность паче гордости, простота хуже воровства. (Прокофию Андреевичу.) Это ты парня мутись, я тебя насквозь вижу... (Николаю.) Ты брось фокусы. Незаменимых нет. Я ведь не погляжу, что мы в свойстве...

Николай. Знаете что, Алексей Георгиевич? Вы думайте про меня, что хотите, а голоса не повышайте — понятно вам? Я вас очень уважаю, но я сегодня выходной — и не желаю.

Плотовщиков. Лёвко! Что же, по воскресеньям твоя коммунистическая совесть спит? А еще хочешь быть членом партии! А ты знаешь, что такое коммунист? Настоящий коммунист — это человек, который в коммунистическом Завтра был, видел счастливую гармоническую жизнь на земле, прикоснулся уже к этой жизни... Что смотришь, думаешь я заговариваться стал? В мыслях своих переносился, внутренним взором видел, сердцем прикоснулся. И отпущен он оттуда на короткий срок, для того чтоб рассказать о ней людям, сказать, что близко она, и дорогу указать. А придётся с боями итти — биться в первом ряду, вдохновлять и вести, жизнь положить, если надо... Я в тебя, как в родного сына, верил, думал, ты — настоящий, а ты... Иди ты от меня... к богу. Я знать тебя не хочу.

Пошатываясь, уходит. Пауза.

Нина Павловна (Анатолию). Зачем вы это сделали? Что вы ему наговорили?

Востряков. Сказал, что было.

Нина Павловна. Проверю. Имейте в виду — у меня записано каждое слово, сказанное здесь. С сегодняшнего дня я очень переменяла своё мнение о вас.

Вбегает В е ф а.

Вера. Товарищи, что тут у вас было? Алексею Георгиевичу плохо.

Все бросаются в комнаты.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Зима

Просторная комната на втором этаже заводского клуба, выходящая окнами во двор завода. Сквозь зеркальные стёкла окон видны покрытые снегом ветви деревьев и яркие вспышки в расположенном напротив термическом цехе. Комната окрашена в светлые тона и хорошо освещена. В простенках между окнами четыре портрета: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Посредине комнаты стоит длинный стол, накрытый темнокрасным сукном. Справа две небольшие обшитые клеёнкой двери — это каби-

нет секретаря парткома и председателя завкома. Слева большая двустворчатая дверь, выходящая на хоры клубного фойе. Между дверями кабинетов небольшой письменный стол и столик с телефонами — здесь обычно сидит технический секретарь завкома Громова. Над столом в деревянном зажиме писанная трафаретом афиша. Текст: Открытое партийное собрание прецизионного цеха. Повестка дня: 1) приём в партию, 2) доклад главного технолога т. Частухина «Завтрашний день нашего завода». Начало в 7 часов вечера.

Громова собирает со стола газеты и журналы, раскладывает листы чистой бумаги и карандаши.

За стеной на хорах репетирует клубный духовой оркестр. Слышны нестройные звуки марша.

Из двери завкома выходит В е р а. Садится за стол Громовой и прижимается лицом к настольному стеклу.

Вера. Ой! Сил моих больше нет...

Громова. Устала, Верочка?

Вера. И устала, и зла, как пёс. Мамочка, когда же это кончится? Сергей Афанасьевич всё время на пленуме, Алексей Георгиевич меня из завкома не отпускает, а из цеха я сама уходить не хочу. У тебя зеркальце есть?

Громова. В сумке возьми.

Вера (рассматривает себя). Н-да. Незавидная невеста. И обтрепалась — стыдно людям показаться. Синий костюм второй месяц в мастерской лежит, и некогда на примерку съездить.

Форте оркестра.

Громова, скажи ты этому Бенскому, чтоб он не зверствовал.

Громова вышла. Вера берёт трубку зазвонившего телефона.

Завком. Нет, не Громова. Ермолаева говорит. Здравствуйте, Яков Миронович. Собрание в семь. Сначала приём. Николая Леонтьева из кандидатов в члены. А потом доклад товарища Частухина. Придёте? Алексей Георгиевич у себя. Сейчас соединю. (Переключает телефон.)

Входит Б е н с к и й — верзила вдохновенного вида в флотской тужурке без погон. Длинные косые бачки, усики. В руках дирижёрская палочка. За ним идёт Г р о м о в а.

Бенский. Я слушаю, Верочка.

Вера. Что там у тебя происходит?

Бенский. Разучиваем «Стахановский марш». Задумано исполнить перед началом собрания.

Вера. Роман, у тебя совесть есть? Сто раз одно и то же. Отдохни.

Бенский. И повторю ещё сто. Верочка, репетиция эст матер студюорум — повторение мать учения. Ты меня знаешь — я не бракодел.

Вера. А почему так громко?

Бенский. Ничего не могу сделать. Так написано в партитуре. «Форте» — это значит «громко».

Вера. Не надо быть бюрократам. Скажи, Роман, а есть что-нибудь среднее... между «форте» и «пиано»?

Бенский. Ты имеешь в виду «меццо-форте»?

Вера. Вот, вот, вот. Товарищ Бенский, заводской комитет категорически предлагает вам до 19.00 придерживаться в своей работе «меццо-форте». И прекратить пререкания. Вы свободны.

Бенский исчезает, через несколько секунд трубные звуки возобновляются, но уже тише.

Сейчас директор звонил Алексею Георгиевичу. Ой, я так переживаю за Миколу...

Громова. Неужели отберут личное клеймо?

Вера. Ничего не знаю. Знаю одно: заказчик вернул бракованную деталь, а на ней стоит Колькино клеймо. И Николая жалко, и за завод обидно — такое пятно...

Из своего кабинета вышел Плотовщиков с журналом в руках.

Плотовщиков. Громова, вызови стенографистку. Вера! Я говорил с директором. У него сейчас находится представитель ЦК Профсоюза небезызвестный вам товарищ Востряков Анатолий Акимович. Разбор дела поручается тройке в таком составе: от администрации Частухин, от парткома Филатова, от завкома Ермолаева.

Вера. Ну зачем это?..

Плотовщиков. Что такое? Ты что — не уверена в своём беспристрастии?

Вера. Алексей Георгиевич, я член партии, и если Коля виноват — я сама против него выступлю.

Плотовщиков. Если!.. Клеймо вещь серьёзная, не отопрёшься.

Вера. Я понимаю. И всё-таки мне не верится. Я теперь занимаюсь у него в группе, вижу, как он работает, — нет, не может он ошибиться.

Плотовщиков. Сколько человек у вас в группе?

Вера. Двенадцать. Всё молодёжь, пятый-шестой разряд. Занимаемся через день. Тяжеловато, конечно, но все наши очень довольны, и я по себе чувствую — я теперь совсем другой человек. Раньше я работала, как заводная, а теперь я умею думать в металле.

Плотовщиков. Как, как?

Вера. Думать в металле. Вячеслав Алексеевич рассказывал нам про какого-то знаменитого скульптора, что он умел думать в мраморе, и Миколу очень понравилось. А мы, говорит, должны научиться думать в металле.

Входят нерешительно Прокофий Андреевич и Людмила.

Плотовщиков. Это ещё что за явление природы? Зачем пожаловали?

Прокофий Андреевич. До сей поры меня на все открытые собрания не только что пускали, а приглашали даже. Это со вчерашнего дня такая перемена?

Плотовщиков. На собрание — милости прошу. А здесь вам делать нечего. У нас сейчас совещание начнётся.

Прокофий Андреевич. Про это нам известно.

Плотовщиков. Откуда?

Прокофий Андреевич. Свет не без добрых людей. Николай Иванович сказал.

Плотовщиков. Не без болтливых, скажи, — это вернее будет. Садись, коли уж пришёл.

Людмила. Дядя Лёша, что ж это будет? Неужели это верно... про клеймо?

Плотовщиков. Говорят, верно.

Прокофий Андреевич (садясь, бормочет). Ах, стыд какой. Вот позорище-то... Дожил. И ведь говорил я Миколу...

Людмила (подошла к Вере). Верочка, голубушка, как же это так?.. Что за деталь такая? Ты хоть её видела, эту деталь?

Вера. Нет, не видела. Да что толку смотреть, это ведь не кузнец лошадь заковал, простым глазом всё равно ничего не увидишь. Ох, Милуша...

Неожиданно для самих себя они обнялись.

Прокофий Андреевич. А послушать нам можно, как вы его тут судить будете?

Плотовщиков. Нет, нельзя.

Прокофий Андреевич. Почему же?

Плотовщиков. Потому что здесь не дача, и дело это не семейное. А болейщиков тут и без вас хватает. (Пауза.) Там в фойе выставка стахановская... замечательная выставка. Подите, посмотрите.

Прокофий Андреевич. Спасибо. Ты лучше нас с Милой на самую выставку чучелами поставь. Для обозрения публики. И надпись сделай: «Семья бракодела».

Вера. Пусть они до собрания у меня в завкоме посидят. Милуша, Прокофий Андреевич, пойдёте. (Уводит их.)

Плотовщиков (смотрит на часы). Громова, позвони в лабораторию, пусть поторопятся.

Вошёл Востряков. Он стал ещё внушительнее, увереннее.

Востряков. Алексею Георгиевичу привет. С благополучным выздоровлением.

Плотовщиков. Спасибо. (Здороваются.) Садись.

Востряков. Как самочувствие?

Плотовщиков. Здоров, как видишь.

Востряков. Долгонько ты хворал. Ты в какой больнице лежал?

Плотовщиков. В Боткинской.

Востряков. Почему не в Кремлёвке?

Плотовщиков (помолчав). Лекарства всюду горькие.

Востряков. А после больницы... в санатории был?

Плотовщиков. В санатории.

Востряков. В каком?

Плотовщиков. В Перхушкове.

Востряков. Это что же — правительственный?

Плотовщиков. Нет, подмосковный. Ты что расспрашиваешь — лечиться, что ли, собираешься?

Востряков. Да понимаешь, сердце что-то пошаливает.

Плотовщиков. Рано. Заработался?

Востряков. Работы хватает. А тут ещё в совет при издательстве ввели, в редколлегию «Юного техника»... Одиннадцать нагрузок.

Плотовщиков. Почтенно. Тебя, говорят, в секретари прочтат?

Востряков. Всея народа. Выберут — отказываться нельзя.

Плотовщиков. Повезло тебе, что я захворал. Я бы тебя не отпустил с завода.

Востряков. Я сам не хотел уходить. Обстановка так сложилась: Колькина кандидатура отпала — предложили мне, я было упёрся — ЦК Союза нажал на партком... Пришлось подчиниться.

Плотовщиков. Я и говорю — повезло. (Пауза.) А что с книгой? Забросил?

Востряков. Не забросил, а руки не доходят.

Плотовщиков. Не ладится без Николая?

Востряков. Я пробовал с ним говорить — бесполезно. Характерец! По человечеству, мне его жаль...

Плотовщиков. Ну? А ты не жалея.

Востряков. Нет, всё-таки... Перед самым приёмом в члены партии. Нехорошо.

Плотовщиков. Чего хорошего.

Востряков. Как ты решил — снять вопрос с повестки?

Плотовщиков. Не имею права.

Востряков. Почему?

Плотовщиков. Устав не позволяет. Про демократический централизм слышал?

Востряков. Слышал. Ну так что ж — централизм же?..

Плотовщиков. Да, но демократический — вот ведь какая история.

Вошла Филатова, работница лет за 30.

Филатова (озабоченно). Начало седьмого, а народу набилось — не продохнуть. Человек семьсот.

Плотовщиков. Будет полторы тысячи. Из других цехов придут. Вы что не здорваетеесь?

Востряков. Мы уже виделись.

Плотовщиков. Татьяна Семёновна, Анатолий Акимович интересуется — будет ли бюро отменять своё решение о приёме Леонтьева в члены партии?

Филатова. В партию принимает не бюро, а партийное собрание. Мы Леонтьева рекомендовали. Если мы ошиблись — организация нас поправит.

Востряков. На открытом собрании?

Филатова. А мы беспартийных не боимся.

Вера (вышла из кабинета). Товарищи, в чём же дело? Где Вячеслав Алексеевич?

Филатова. В лаборатории с заказчиком акт составляет.

Вошли Нина Павловна и Венцова, Нина Павловна молча здоровается и раскладывает свои принадлежности.

Венцова (громко). Добрый вечер! Вера Васильевна, могу я присутствовать на заседании комиссии?

Вера. А кто вам сказал, что будет заседание?

Венцова. Николай Иванович.

Вера. Не знаю, Лариса Фёдоровна, что вам ответить. Заседание у нас не торжественное, фотосъёмки не предвидится.

Венцова (улыбаясь). Скажите, Вера Васильевна, почему вы со мной всегда так нелюбезны?

Вера. Я, Лариса Фёдоровна, обязана быть с вами вежливой. Я с вами вежлива. А любезной быть я не обязана.

Плотовщиков. Вера, что ты там ворчишь?

Вера. Лариса Фёдоровна просит разрешения присутствовать, а я ей объясняю, что здесь для неё ничего интересного нет.

Плотовщиков. Я прошу разрешить.

Вера (пожимая плечами). Пожалуйста.

Врывается возбуждённый Касаткин с неизменным портфелем. За ним следует инженер-полковник Стражевский, пожилой человек внушительной наружности. За ними идёт Частихин в парадном костюме с орденом и медалью лауреата. Он чешёт в руках поднос, прикрытый марлей. Несколько любопытных заглядывают в комнату, но Николай Иванович сразу захлопывает дверь.

Касаткин. Видели, что теорится? Аншлаг, как на боевике сезона. Алексей Георгиевич, родной, считаю своим долгом сигнализировать тебе — в народе уже всё известно, идут различные толки... Интересно было бы выявить — у кого это такой длинный язычок? Вот, ей-богу, люди! (Стражевскому.) Виноват, полковник, проходи, знакомься с людьми и вообще чувствуй себя, как дома...

Стражевский. Весьма польщён, но позвольте мне чувствовать себя входящим при исполнении служебных обязанностей. (Щёлкнул каб-

луками и наклонил голову.) Инженер-полковник Стражевский. Кому я должен предъявить документы?

Плотовщиков. Плотовщиков. Пройдёте ко мне, товарищ инженер-полковник.

Стражевский. Я уполномочен ознакомить членов комиссии с актом лабораторного исследования.

Плотовщиков. Прошу ко мне, товарищи.

Пропускает в дверь своего кабинета Стражевского, Вострякова, Филатову, Частухину и Веру. Касаткин, поколебавшись, устремляется за ними.

Венцова (бросается к Нине Павловне). Ниночка, умоляю,— что вам говорил Вячеслав Алексеевич?

Нина Павловна. Клеймо, вероятно, отберут.

Венцова. Бог с ним, с клеймом. Я боюсь проработки. Он не сказал вам, что же, в конце концов, решено?

Нина Павловна. По-моему, ничего ещё не решено.

Венцова. Ах, оставьте, Нина, я ведь не девочка. Плотовщиков взъелся на Николая, и, будьте покойны, он сумеет продиктовать комиссии любое решение.

Нина Павловна. Лара, я вас очень прошу: не говорите гадостей о моём муже и моих друзьях. Мне это неприятно.

Венцова. Ниночка, извините, я взволнована и поэтому резка...

Нина Павловна. При чём здесь резкость?

Вошёл Николай Леонтьев. Он в белом рабочем халате и такой же шапочке. Огляделся, снял шапочку, не торопясь пригладил волосы.

Николай. Ася, скажи Алексею Георгиевичу, что я пришёл.

Громова пошла к Плотовщикову.

Здравствуйте, Нина Павловна.

Нина Павловна. Здравствуйте, Миколушка.

Венцова. А со мной ты не здороваешься?

Николай. Где ты была вчера вечером? Тебе передали, что я звонил?

Венцова. Ты отлично знаешь, я не привыкла, чтоб у меня требовали отчёта, да ещё в таком тоне.

Николай. Не хочешь отвечать — не надо.

Венцова (после паузы). Ну, хорошо — сейчас не время ссориться. Я была у Анатолия.

Николай. Я так и думал.

Венцова. Если ты ревнуешь — это глупо. Я поехала к нему, чтоб посоветоваться насчёт твоих дел.

Николай. С ним? Насчёт моих дел? Каких моих дел?

Венцова. Он ещё спрашивает! Весь завод знает, что заказчик возвратил бракованную деталь с твоим личным клеймом. Как это некстати, только ты начал опять немножко подниматься...

Николай. Сегодня знает весь завод. Но вчера вечером, кроме дирекции и ЦК Союза, об этом никто не знал. Кто же тебе сказал? (Венцова молчит.) Анатолий?

Венцова. Да.

Николай. Скажи, Лара, чем я тебя обидел? Неужели я такой грубый, такой подозрительный, такой чужой тебе человек, что мне нельзя говорить правды, а приходится обязательно врать?

Венцова (смущённо). Мне показалось, что для тебя нужнее...

Николай. Для меня вчера было нужнее всего на свете, чтоб ты приехала ко мне. Я хотел, чтоб ты меня **отругала**, а потом поплакала и

утешила, как умеет всякая душевная русская баба. Вот что дорого, а на чёрта мне твоя дипломатия? (Помолчав.) Да что говорить — когда мне плохо, тебя никогда нет.

Венцова (расстроена). Да, теперь я сама вижу, что надо было сразу поехать к тебе. Если бы ты позвонил на полчаса раньше...

Николай. Если бы... Когда человек любит, ему ничего говорить не надо, он всё сам понимает, а если нет — хоть говори, хоть кричи...

Венцова (быстрым шёпотом). Тише, мы не одни. Мы обо всём поговорим потом, и я докажу тебе, что ты ошибаешься. А сейчас ты должен понять, что твоё положение очень серьёзно. Вчера Анатолий говорил о тебе в доброжелательном тоне, он до сих пор сожалеет о вашей ссоре и очень тебе сочувствует. Но имей в виду — выступать он будет резко, иначе нельзя. Плотовщиков настроен против тебя, и Анатолию неудобно занимать примиренческую позицию. Ты только не задирай никого и не спорь, признавай всё, что будут говорить, тогда обойдётся: приём в партию отложат, клеймо на год отнимут, — это обидно, но всё-таки лучше, чем публичный скандал. Ты всё понял?

Николай. Понял, да.

Венцова. У тебя совершенно отсутствующие глаза. Ты всё понял?

Николай. Всё. Нет, вру — ничего не понял. И наверно не пойму. Мудрено. Ты иди, Лара, я уж как-нибудь сам... отвечу.

Вернулась Громова. Она ставит на стол накрытый марлей полнос и снимает марлю. На подносе отшлифованная до ослепительного блеска круглая деталь из серебристого металла. Вслед за Громовой вышли из кабинета Вера Ермолаева, Частихин, Филатова, Стражевский, Востряков, Касаткин, Плотовщиков. Первые трое занимают место во главе стола, остальные рас-
саживаются по его длине.

Плотовщиков. Присаживайся, Николай Прокофьевич. В ногах правды нет.

Николай. Ничего, постою.

Плотовщиков. Садись. Будешь отвечать — тогда встанешь. Ермолаева, начинай. Нина Павловна, прошу вести парламентскую.

Вера. Пожалуйста, товарищ полковник.

Стражевский. Буду предельно краток. Мы — ваши постоянные заказчики — привыкли с глубочайшим уважением относиться к марке вашего предприятия. Тем печальнее данный казус. Казус, насколько мне помнится, беспрецедентный в практике наших отношений. Вот передо мной два документа, с ними все присутствующие уже знакомы. Технические условия заказа и акт лабораторного исследования. (Надел очки.) Наименование детали: маховичок-эксцентрик со скользящей втулкой, материал — сплав РТ-200, количество — 30 штук. Актом лабораторного исследования установлено: наличие биения вокруг оси вала при допуске до 2-х микрон — 6 микрон, непараллельность плоскостей... Я полагаю, нет необходимости оглашать полностью? Здесь собрались взрослые, технически грамотные люди, которым незачем разъяснять, что в нашем деле подобное и даже менее значительное нарушение установленных допусков могло, в том случае, если бы оно осталось незамеченным, привести к последствиям, мягко говоря, пагубным. Вот всё, что я считал своим долгом заявить.

Вера. Вопросы?

Филатова. Вопрос к Леонтьеву. Твоя работа?

Николай. Клеймо моё.

Филатова. Скажи, Николай, как это могло случиться, что ты сделал брак, да ещё поставил на нём свою подпись?

Николай (помолчав). Не понимаю.

Востряков. Это не объяснение.

Николай. Не объяснение? В таком случае, объясняю своей преступной халатностью. Подходит?

Вера. Микола, не огрызайся. Отвечай спокойно.

Николай. А я всё сказал.

Вера. Вопросов больше нет? Кто хочет слова?

Касаткин. Разреши мне, Верочка.

Вера (поморщившись). Пожалуйста, товарищ Касаткин. Покороче, если можно.

Касаткин. Я — схематично. Товарищи! С тяжёлым чувством, но с одновременным сознанием выполненного долга, я возвышаю свой голос против Николая Леонтьева. Я его любил и — не постесняюсь это сказать — люблю до сих пор. Лично я Колю знал мальчиком, всегда смотрел на него, как на свою достойную смену, гордился его успехами, — если говорить откровенно, кое в чём он этими успехами обязан и мне, но кто это помнит? — это так — к слову, не в этом, как говорится, суть...

Плотовщиков. Вот и переходи прямо к сути.

Касаткин. Перехожу. Суть же, товарищи, вот именно заключается в том, что кандидат партии Николай Леонтьев начал свой кандидатский стаж с получения личного клейма, а кончил тем, что положил, если можно так выразиться, клеймо позора на всех нас. Проанализируем — отчего же это произошло? В чём, так сказать, суть?

Плотовщиков. Ну, ну, добирайся уж до сути-то.

Касаткин. Я скажу. Это произошло лишь только потому, что мы все, если говорить в порядке самокритики, необдуманно вознесли этого человека на ненадлежащую ему высоту, в результате чего, как совершенно правильно указал Анатолий Акимович, в его психологии развились элементы индивидуализма и самоуспокоенности самим собой...

Вера. Анатолий Акимович, насколько мне известно, ещё не выступал и ни на что не указывал.

Касаткин. Не перебивай. Указал в личной беседе. Исходя из этого... Ну вот — сбила...

Вера. Никто тебя не сбивал. Что ты предлагаешь?

Касаткин. Я предлагаю... минуточку!.. (Роемся в своих записях.) Значит так: рекомендовать дирекции завода специальным приказом лишить Леонтьева Н. П. права личного клеймения продукции. Далее: рекомендовать партийному комитету отменить решение партийного бюро цеха...

Филатова. Ну, это уж ты хватил!

Касаткин. Хорошо, не настаиваю. Но, в таком случае, я считаю своим долгом довести до твоего и до всеобщего сведения, что я, как мне это ни тяжело и ни грустно, вынужден снять данную мною Леонтьеву рекомендацию. (Садится.)

Востряков (поднялся с места). Я думаю, товарищи, что никого из нас не удовлетворили объяснения Николая Леонтьева. Это была типичная отписка, но не тот прямой, честный, открытый разговор, который надлежит вести рабочему-коммунисту перед лицом своих товарищей. Товарищ Касаткин пытался тут что-то об этом сказать, но со своей обычной непоследовательностью только всё запутал. Между прочим: уважаемый Николай Иванович почему-то счёл нужным сослаться на меня, и весьма неудачно, — я вам, насколько мне помнится, никаких указаний не давал. И вообще, между нами говоря, что это за стиль: «как правильно указал Анатолий Акимович» и тому подобное? Я пока ещё не столь руководящая фигура, чтоб меня стоило таким образом цитировать, я такой

же скромный работник, как и вы. Не надо так, товарищ Касаткин, — это производит плохое впечатление.

Касаткин (почти с восхищением). Вот это — продал! Уста немеют.

Востряков. Все вы знаете, что я связан с Николаем Леонтьевым длительной совместной работой и дружескими отношениями. Я с большим правом, чем некоторые другие, мог бы сказать, что мне тяжело выступать против него, но не в моём характере прикрываться жалкими словами. Нет, именно потому, что Леонтьев — мой товарищ, человек очень способный, человек, к мнению которого прислушиваются, я обязан со всей резкостью осудить его. Мы оказались бы политическими слепцами и обывателями, если б за технической ошибкой не увидели её идейных, я бы даже сказал политических корней. Товарищу Леонтьеву желательно рассматривать свой тяжчайший проступок, как случайный срыв, причины которого — видите ли — он сам не понимает. А вы задумайтесь, товарищ Леонтьев, и постарайтесь понять, если же у вас на это нехватит мужества — мы вам поможем.

Касаткин. Как говорит! Как говорит!

Востряков. Спору нет, Николай Леонтьев — токарь самой высокой квалификации. Он человек культурный, теоретически подготовленный, обладает редкой универсальной широтой. Всё это качества неплохие, плохо, когда они превращаются в самоцель. Леонтьева уже не устраивает звание токаря, он именуется резчиком по металлу, утверждая, что в области обработки металлов резанием он умеет всё и может заменить любого рабочего. Возможно, это так и есть, но кому и зачем это нужно? Это нужно прежде всего самому Леонтьеву, чтоб люди ахали и охали, говорили про его золотые руки, сравнивали с тульским оружейником Левшой, Кола Брюньоном и прочими литературными типами и поражались его неповторимому искусству. Но советский завод не цирк и не кунсткамера, это современное предприятие, основанное на разделении труда, и центральной фигурой в нём является не кустарь и не фокусник, а обыкновенный рабочий, подчинённый ритму конвейера. Леонтьев с презрением относится к рядовому рабочему, той самой рабочей лошадке, которая тянет воз и даёт план. До неё он не снисходит. Рядовой рабочий не подхватил его метода, стало быть плох не метод, а рабочий, и Леонтьев, вместо того чтоб пересмотреть свой метод, упростить его, приспособить к реальным возможностям среднего рабочего, — дезертирует, начинает вести себя, как истеричный хлюпик, отказывается от пропаганды своего опыта и в конечном счёте дискредитирует и себя, и завод, создавший ему славу.

Вера. Что ты предлагаешь?

Востряков. Я полагал, что для Леонтьева будет достаточным предупреждением, если у него будет отобрано личное клеймо, а вопрос о его приёме в члены партии будет снят с повестки сегодняшнего собрания. Алексей Георгиевич со мной не согласился. Подумавши, я вижу, что прав-то был он, а я, грешным делом, слиберальничал. Если кандидат партии Леонтьев не откажется от своей порочной позиции — она должна быть разгромлена. Пусть собрание скажет своё веское слово. (Садится.)

Вера (заметив, что Николай поднялся с места). Будешь отвечать?

Николай (не сразу). Не хотел я говорить, но, как видно, молчать тоже не приходится. Не подумайте, что я защищать себя хочу или препираться, — этого у меня даже в мыслях нет. Наоборот, заявляю вам вполне официально: со всеми предложениями товарища Вострякова я целиком согласен.

Венцова (тихо). Хорошо.

Николай. Востряков правильно говорит: обманул доверие — положи на стол клеймо. Не могу понять, что со мной приключилось, видно был в тот день не в своей тарелке, затмение нашло... Однако признаю чисто-сердечно, а вас, товарищ инженер-полковник, заверяю честным словом, что свою вину в дальнейшем заглажу самоотверженным трудом. Ну, а до той поры, значит, — вот.

Вынул из кармана стальной стержень, вздохнул и, неловко поклонившись, положил на стол.

Венцова (тихо). Очень хорошо.

Николай. Это ты, Толя, верно сказал: пусть собрание скажет своё вешнее слово. И я говорю — пусть скажет. Вон там за стеной полторы тысячи рабочих, коммунисты и беспартийные, цвет нашего завода. Пусть они нас рассудят.

Востряков. Насколько я понимаю, вопрос обо мне не стоит.

Вера. Товарищ Востряков, ты говорил — тебя не перебивали.

Николай. Пусть нас рассудят. Ты меня дезертиром назвал. Я солдатом не был, не довелось мне воевать, — и, может быть, оттого страшнее, обиднее для меня слова нет. Враг мой не додумался бы меня таким словом уколоть, — на это только бывший друг способен. Врёшь, я не дезертир!

Вера стучит карандашом о графин.

Я никуда не сбежал. Растерялся спервоначала — это верно. Где уж тут движение возглавлять, дай бог самому с мыслями собраться. Чего же, думаю, стоит мой опыт, если он никому не светит? А ведь я от людей ничего не таил, сколько я объяснял и показывал: пока над душой стоишь — как будто дело и на лад идёт, а чуть отойдёшь — человек тушется, теряет точность... Дело прошлое, я ведь и тебя, Толя, на помочах водил, а выучить толком не сумел, ты из цеха во-время ушёл, одному бы тебе — не сдобровать...

Востряков. Председатель!

Вера опять стучит карандашом о графин.

Николай. Виноват. (Помолчав.) Стал я крепко задумываться: что же я за человек, верно ли я работаю, и как мне работать завтра, потому что человеку обязательно надо видеть свой завтрашний день. А что такое наш завтрашний день? Это коммунизм. Стало быть, ничего я про себя понять не смогу, пока не пойму главного — каким должен быть труд рабочего при коммунизме?

Касаткин. Ну и как — понял?

Николай. Как умел, так и понял. Понял, что с развитием техники перед рабочим есть только два пути. На одном пути рабочий становится рабом машины, он не может её ни любить, ни понимать, он ей служит. От него не требуется ни ума, ни таланта, ни умения, он продаёт своё время, свою силу, свои нервы на вес. Теперь скажите мне — может быть человек счастлив при такой жизни? Я говорю: нет, не может. А ведь при коммунизме всякий труд должен быть радостью. Значит, наш путь другой. Конвейер! А кто сказал, что конвейер вечен? Придут на смену конвейеру автоматические поточные линии, они освободят человека от однообразного нетворческого труда — и труд рабочего станет равным труду художника и учёного. Рабочий будет властвовать над машиной, но для этого он должен быть человеком образованным и мастером на все руки. И если мы хотим, чтобы средний рабочий этого достиг, его надо не на-

таскивать, как медведя, а учить и воспитывать. Это я-то презираю рядового рабочего? И как у тебя язык повернулся мне такое сказать? Это ты всё думаешь, как над ним возвыситься, а я хочу, чтоб ему было так же интересно жить и так же интересно работать, как интересно жить и работать мне. И если я стремлюсь стать передовым рабочим сегодня, так это для того, чтобы иметь право войти, как рядовой, в проходную завода при коммунизме.

Плотовщиков. Молодец!

Востряков. Слова хороши. Каковы-то дела?

Николай. А вот мои дела: с тех пор, как я стал работать один, — даю продукции в полтора раза больше. Весной оканчиваю институт и остаюсь у станка. Через три месяца будет первый выпуск моей стахановской группы, сдадут испытания двенадцать человек. И каждый из них сможет делать всё, что делал до сих пор я.

Касаткин. Вот видите — и тут кустарщина! Официально заявляю, что эта группа создана помимо меня, и я её рассматриваю, как подпольную.

Смех. В двери стучат.

Филатова. Николай Иванович, не смей людей. Партийное бюро в курсе работы группы. (Громовой.) Ася, с кем ты там шушукаешься?

Громова (приоткрыв дверь, вполголоса переговаривается через щель). Сейчас, сейчас. (Филатовой.) Татьяна Семёновна, семь ровно. Народу набежало — яблоку упасть негде.

Филатова. Скажи, чтоб давали звонки. Вера! Товарищи! Время.

Вера. Вячеслав Алексеевич?

Частухин. Я в сложном положении, товарищи. Николай Леонтьев мой ученик. Дальше — уже несколько месяцев я являюсь ближайшим помощником Николая Прокофьевича по руководству стахановской группой. Наконец, я сам стал его учеником, правда тринадцатым и самым неспособным, но таким же убеждённым, как остальные двенадцать. Неудивительно, что я полностью разделяю взгляды Николая Прокофьевича и, сознаюсь вам, намерен развивать весьма близкие взгляды в своём сегодняшнем докладе.

Звонки.

Плотовщиков. Даю справку: партийный комитет утвердил тезисы товарища Частухина.

Вера. Пожалуйста, товарищ полковник.

Стражевский. Я с большим интересом слежу за разгоревшейся дискуссией. Мне знакомы эти проблемы в применении к воспитанию личного состава Армии и Флота, и мои симпатии полностью на стороне товарища Леонтьева. Но разрешите вернуть вас на землю. Комиссия создана для того, чтоб решить один конкретный вопрос, и ей надлежит принять то или иное решение.

Плотовщиков. Полковник прав. У меня есть несколько вопросов. Можно?

Вера. Пожалуйста.

Плотовщиков. Вопрос к Леонтьеву. Где, когда и сколько раз ставится личное клеймо на готовой продукции?

Николай. После шлифовки. Только на нерабочей поверхности и только один раз.

Плотовщиков. В таком случае, чем объяснить, что на возвращённой заказчиком детали клеймо поставлено дважды? (Вынул из кармана лупу.) Желаящие могут убедиться.

Николай. Не понимаю.

Плотовщиков. Вопрос к Филатовой. Установлена дата изготовления бракованной детали?

Филатова. Двадцать пятого сентября.

Плотовщиков. Что за день?

Нина Павловна. Понедельник. Вы заболели в воскресенье, двадцать четвёртого.

Плотовщиков. Тяжёлый день. Теперь я хотел бы задать вопрос товарищу Венцовой.

Венцова (поражена). Мне?

Плотовщиков. Так точно. Я не случайно просил вас остаться. В журнале «Юный техник» от пятого октября помещено фото, изображающее знатного токаря товарища Вострякова в момент, когда он ставит личное клеймо на изготовленной им детали. Ваша работа?

Венцова. Да.

Плотовщиков. Не помните, когда сделан снимок?

Венцова. Боюсь ошибиться. Вероятно, между двадцать пятым и тридцатым сентября.

Плотовщиков. Скажите, товарищ Венцова, вы знали, что у Вострякова не было своего личного клейма и что в эти дни Востряков и Леонтьев уже не работали вместе?

Венцова. Знала. Я не придавала этому большого значения. Мне было известно, что Востряков должен был получить клеймо в самое ближайшее время. Я сама взяла клеймо у Леонтьева...

Плотовщиков. Зачем же надо было устраивать такую спешку? Разве нельзя было подождать, пока Вострякову будет присвоено личное клеймо?

Венцова (мнётся). Это верно... но...

Плотовщиков. Я вам скажу, почему вы спешили. Потому что Востряков должен был со дня на день уйти с завода. И вы об этом знали. Последний вопрос. Не помните, как выглядела деталь, которую вы снимали?

Венцова. Нет. Как это можно помнить?

Плотовщиков. Взгляните. (Пододвигает поднос с деталью и перебрасывает ей журнал.) Узнаёте?

В дверь опять стучат. Громова со счастливым лицом бежит к двери.

Филатова. Ася, скажи, чтоб давали последний звонок.

Венцова (упавшим голосом). Теперь я вспоминаю... Я снимала дубль и заставила Вострякова ещё раз приложить клеймо. Это ваша деталь, Анатолий Акимович.

Нина Павловна. У нас на волейбольной площадке в таких случаях обычно кричат: «Авторал!»

Востряков (встал, голос его дрожит). Товарищи! Я совсем забыл об этом случае. Прошу мне верить, что я без всякого умысла...

Филатова. Товарищ Востряков, будь покоен, мы во всём объективно разберёмся, только не сейчас. Мы не можем больше задерживать собрание.

Звонки.

Вера. Решений никаких выносить не будем?

Плотовщиков (протянул Николаю стальной стерженёк). На, возьми. Береги.

Нина Павловна (бросилась к Николаю). Миколушка, голубчик!..

Счастливого Николая окружают Нина Павловна, Частухин, Вера, Филатова, здесь же Прокофий Андреевич и Людмила, которые уже давно, приоткрыв дверь завкома, жадно слушали. В дверь ломятся. Сияющая Громова еле сдерживает напор. Все двигаются к выходу.

Филатова. Товарищи, минуточку. Как же быть? В деле Леонтьева теперь нехватает одной рекомендации.

Плотовщиков. Если товарища Леонтьева устроит рекомендация члена партии с двадцатого года Алексея Плотовщикова, то можешь открывать собрание.

Наконец под напором толпы дверь распахнулась. Молодёжь выстроилась по сторонам, образуя проход. Кто-то махнул платком — грянул марш, и под его ликующие звуки Николай Леонтьев вышел на хоры навстречу приветствующим его рабочим.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Весна

Первая картина

Знакомая по первому действию комната в домике на шоссе. Ночь. Неяркий свет висящей над стелом электрической лампы. На столе накрытый салфеткой ужин, стакан с блюдцем и термос. Людмила сидит, завернувшись в вязаный платок, и, перебирая струны гитары, вполголоса напевает. Из соседней комнаты выглянул Прокофий Андреевич. Он в очках, в руках книга.

Прокофий Андреевич. Который час?

Людмила (не оборачиваясь). Скоро двенадцать. Ты бы лёг, папа.

Прокофий Андреевич. Да нет уж подожду. (Позёвывает.) А дождь всё моросит. Зато завтра денёк будет погожий. Не так жаркий, но ясный, солнечный...

Людмила. Псчему ты думаешь?

Прокофий Андреевич. Не думаю, а знаю. Закат нынче был хороший. Москва вроде как в венчике... Ты что поёшь, Милка?

Людмила. Это старинное. В «Бесприданнице» поют.

Прокофий Андреевич. Хорошо. Сюжет не так чтоб весёлый, но мелодия хороша. (Ущёл.)

Людмила, задумавшись, перебирает струны, затем опять запела. В дверях появился Востряков. Остановился, слушает.

Людмила (оборвала пение, улыбнулась). Миколушка...

Востряков. Нет, это я, Мила.

Людмила (вскрикнув, обернулась). Ох, как ты меня перепугал. Разве можно так?

Востряков. Почему дверь не заперта?

Людмила. Николая ещё дома нет.

Востряков. А где он?

Людмила. На заводе. Сегодня его группа сдаёт испытания.

Востряков. Войти не приглашаешь?

Людмила. Заходи. Только ноги вытри получше.

Востряков (вытер ноги, снял плащ, вошёл. Оглядывается). Всё как будто попрежнему?

Людмила. Как будто.

Востряков. А я в новую квартиру переехал. Двухкомнатная, газ, ванна. Тридцать метров.

Людмила. Поздравляю. Теперь тебе уж обязательно жениться надо. Ты всё в ЦК Союза работаешь?

Востряков. Нет. Ущёл.

Людмила. Ну да? Почему же?

Востряков. Долго рассказывать. Плотовщиков тут нехорошую роль сыграл. Переслал руководству одну фотографию, потом стенограмму... В общем, кляузная история.

Людмила (смеётся). Бедный Толя. Слова не скажи, шагу не ступи — всюду следы остаются. Куда же ты теперь? Обрати на завод?

Востряков. Ну нет. Я теперь в министерстве работаю.

Людмила. Скажите! И кем же? Не министром ли?

Востряков. Заместителем управляющего делами. Для начала.

Людмила. Ну что ж — хорошо. Управляющий — это должность по тебе. И сам начальник, и к высшему начальству близко, и пешком ходить не надо.

Востряков. Злая вы стали, Людмила Прокофьевна.

Людмила. Ты меня доброй не видел.

Востряков. Это верно. Я к тебе всей душой, а ты — эх!.. Только мучила меня. А зачем?

Людмила. Зачем? Когда мучила — не знала зачем, иной раз сама удивлялась, какой бес меня за верёвочку дёргает. И жалко тебя станет, и прощенья хочется просить. А вот теперь — знаю. А затем, Толя, что нравился ты мне и полюбить тебя хотелось, а всё-таки сердце мне говорило, что верить тебе нельзя. А ты как думал, почему девушки парней мучают? И хочется полюбить, и боязно, — вдруг плохой человек? Умат столько не нажито, чтоб сразу распознать, а коли понравился парень, недолго и последнего решиться. Вот одна защита и остаётся — помучить вволю. А сама думаешь: если человек настоящий и меня любит — он всё преодолет, и от этого мне ещё больше полюбится, а если плохой — обязательно он себя выдаст, где-нибудь да прорвётся... Много я из-за тебя слёз пролила, но благодарю свою судьбу, что во-время опомнилась.

Востряков. Мила, неужели я, по-твоему, на любую подлость способен? Запорол деталь, а потом нарочно чужое клеймо тиснул, чтобы человека подвести? Ведь что тогда получилось: деталь сложная, раньше Микола рядом был, а то его нет, ну и ошибся я, не проверил толком. А тут, как на грех, Лариса с аппаратом... Я против Николая, может быть, и неправильно выступал, но только мне и в лоб не вскочило, что это мою деталь вернули, в этом я жизнью тебе клянусь.

Людмила. Не клянись, в этом я тебе, пожалуй, и без клятвы поверю. Только много ли мне радости от того, что ты не жулик? А человек ты мне всё равно чужой, и доверия настоящего у меня к тебе нет.

Востряков. Так. Нет, значит, доверия?

Людмила. Нет.

Востряков. Как это понимать? Личного доверия нет... или, может быть, политического?

Людмила. Человеческого. А если хочешь, то и политического. Это ведь одно и то же.

Востряков. Любопытное заявление. Что же я, по-твоему, враг Советской власти? Хочу восстановления капитализма? Так? Тогда уж будь принципиальной до конца, ведь ты комсомолка: заяви куда следует об известных тебе фактах, а то как-то неудобно получается — чуждый элемент, а ответственные посты занимает. Вот ты и докажи...

Людмила. Тише, тише, не ершишь. Заявлять мне нечего, и доказывать я тебе тоже ничего не обязана. Что хочу, то и говорю, а тебя слушать никто не неволит, хочешь — так слушай, а не хочешь — прощай.

Востряков. Ну, говори. Послушаем.

Людмила. Советской власти ты не враг, да она тебе ничего, кроме хорошего, и не сделала. Капитализм восстанавливать тебе тоже ни к чему, потому что ещё не известно, как бы он для тебя обернулся. Ну, выбился бы ты в кулачки или старшие приказчики, — так ведь это жизнь довольно серая, ты лучшую видел. А ты человек с головой, соображаешь, — от тебя не только вред, а и польза может быть, только присматривать за тобой надо хорошенько. И всё-таки ты нам чужой.

Востряков. Кому это — нам?

Людмила. Нам. Мне, отцу, Миколе.

Востряков. Ты за Миколу не говори. Кабы не твои старания, мы с Николаем давно поладили бы.

Людмила. Нет. Разные вы... во всём.

Востряков. Например?

Людмила. Да что ни возьми. Микола весь в работе, он без неё дышать не может, а ведь ты, если правду говорить, своими руками работать не очень-то любишь, тебе больше по душе — посматривать да покрикивать. Микола — он будущим живёт, не своим только будущим, а общим, нашим. А на тебя я смотрю — и думается мне: а зачем тебе, Толя, коммунизм? Тебе и в переходный период неплохо живётся, человек ты властный, самолюбивый, а таланта большого нет, ты своего потолка достиг — и тебе сегодняшней день милее завтрашнего. И вот — доказать не умею, а по-женски чувствую: хоть ты парень и самоуверенный, а в будущее с опаской поглядываешь, как бы тебя по ходу движения не потревожили. И если тебя как следует потревожить, ты ведь и злым можешь быть.

Востряков. Ладно. Хорошенького понемножку. Хоть ты и сама знаешь, что разговор твой безответственный, но всему должна быть мера. Будьте здоровы. (Пошёл к двери.)

Людмила (не оборачиваясь). Счастливо.

Востряков (надевая плащ.) Н-да, сильны ещё в нашем сознании эти самые пережитки. Это ведь ревность в тебе говорит, обида. Донесли уж небось тебе про нас с Ларой?

Людмила. Я доносов не слушаю. Женишься? Женись — она тебе пара.

Востряков (постоял в дверях). Больше ничего мне не скажешь? (Молчание.) Ну что ж, прощай. (Уходит.)

Прокофий Андреевич (выглянул). Ушёл? Хорошо ты его от нас... наладила. (Помолчал, ожидая ответа.) Ты что, Людмила? Никак плачешь? (Подошёл, тихонько погладил рыдающую Людмилу.) Ну поплачь, поплачь.

Слышно, как к дому подкатил мотоцикл. Людмила быстро вытерла заплаканное лицо. Вошёл Николай. Вид у него усталый и хмурый.

Людмила. Ну, что, Миколушка? (Пристально взглянула на брата и горестно всплеснула руками.) Неужто плохо?

Николай. Почему плохо? Всё очень хорошо.

Взял полотенце, ушёл мыть руки. Отец и сестра переглянулись.

Прокофий Андреевич. Нет, что-то у него там нескладно получилось.

Вернулся Николай.

Людмила. Проголодался, Миколушка?

Николай. Нет, есть не хочу. Чаю только.

Людмила. Может, стопочку выпьешь?

Николай. Стопки мне мало. (Налил чаю из термоса.)

Людмила. Все твои сдали?

Николай. Все. На самую высшую отметку. Даже Вячеславу Алексеевичу разряд присвоили.

Людмила. А посмотреть на тебя — можно подумать, что все провалялись.

Николай. Не вяжись, Милка. Видишь, человек устал. Я, как торжественная часть кончилась, сразу уехал, а там ещё бал, танцы...

Людмила (подошла вплотную, заглянула брату в глаза). Не расскажешь мне?

Николай. Вот пристала! Да нечего рассказывать. Лару я там видел. Ну вот... поговорили...

Людмила. Вот оно что... А здесь Анатолий был.

Прокофий Андреевич. Н-да... Тоже... поговорили.

Людмила (обняла Николая и заплакала). Ох, Миколушка, ну почему мы с тобой такие несчастные?

Прокофий Андреевич (помолчав). Несчастные, говоришь? Это вы потому так думаете, что вы несчастья мало в жизни видели. Мать ваша в молодых годах от злодейской руки погибла — так это, действительно, можно сказать, что большое несчастье. А больше никакого несчастья я у вас не вижу.

Николай. Ладно, батя, зачем зря говорить. Этого ты знать не можешь

Прокофий Андреевич. Почему же не могу? Взять хоть бы тебя. Вся твоя жизнь на моих глазах, и все твои чувства мне понятны. Конечно, год этот выдался для тебя трудный, всего попробовал: и под облака возносился, и мостовую понюхал, опять же побили тебя малость, кто за дело, кто за компанию... Так разве это называется несчастье? Это — испытание человеку, вроде как кандидатский стаж или проба на высший разряд.

Николай. Я ведь не жалуясь, батя. Но обидно. Обманываться в людях — вот что тяжело.

Прокофий Андреевич. А что ты потерял? Все твои друзья при тебе и остались, ещё новых двенадцать душ прибавилось. А о тех, кто тебя в трудное время покинул, горевать не стоит, от них всё едино никакой радости, пусть идут от нас подальше, и чем скорее, тем даже лучше. Ничего ты не потерял, а, вернее сказать, приобрёл: был ты раньше мальчик, а теперь ты человек взрослый, зрелый, и не несчастный, а если по справедливости рассуждать, то очень счастливый человек.

Людмила (поцеловала отца.) Как ты хорошо сказал папа: это испытание.

Слышно, как к дому подъехала машина. Встревоженная Людмила бежит в сени и возвращается с Плотовщиковым.

Плотовщиков. Здравствуйте. Не спите?

Людмила. Что вы, дядя Лёша! Микола только что перед вами приехал. Раздевайтесь, будем чай пить.

Плотовщиков. Ни, ни, ни — я на минутку. Время спать, а не чай распивать. В другой раз как-нибудь...

Прокофий Андреевич. Опять, значит, через год?

Плотовщиков. Ты, старик, брось язвить. Умный человек, а того не понимаешь, что мне противно к вам в дом ходить после того, как я вас из своего дома чуть не в толчки выгнал.

Николай (смеётся). Неужели вы ещё про это помните?

Плотовщиков. Помню. Это только пустые люди одно приятное про себя помнят. А ты как думал — новатором быть легко? Мало того, что

ещё есть на свете дураки и враги, — будь готов к тому, что умные люди и друзья твои тоже не всегда тебя сразу поймут. (Постоял молча перед портретом двух женщин.) Так вот какое дело: завтра к 14 часам к заместителю председателя Совета Министров вызвана группа руководящих работников нашего завода. Стоит вопрос о техническом перевооружении предприятия в связи с новыми задачами, которые ставит перед нами правительство. Усвоил?

Николай. Усвоил.

Плотовщик. Тогда слушай дальше. Ровно в 13 часов быть в кабинете у Якова Мироновича. Поедешь с нами.

Николай. Я? Куда?

Плотовщик. На глупые вопросы отвечать не обязан. Мила, выгладь ему завтра галстук, или пусть другой наденет. Когда институт кончаешь?

Людмила. Скоро. Дядя Лёша, возьмёте меня обратно на завод?

Плотовщик. Обсудим. Ребята, проводите меня до машины. Там Вячеслав с Ниной. (Негромкий звук клаксона.) Легки на помине. (Протянул руку Прокофию Андреевичу.) Будь здоров. Счастливый ты человек, Прокофий Андреевич. Дети — это...

Не нашёл слова, обнял Николая и Людмилу за плечи и вышел.

Прокофий Андреевич (нажал кнопку, загорелся зелёный глазок радиоприёмника. Стоит прислушиваясь). А знаешь ли ты, Алексей Плотовщик, что самый счастливый человек — это ты. Такую богатейшую жизнь прожил — и ещё не стар. Ты ещё... увидишь.

В комнату врывается шум Красной площади и торжественный перезвон курантов.

Вторая картина

Знакомая по первому действию терраса на 15-м этаже. Столы не накрыты — ещё очень прохладно. Ясный весенний день. Воздух прозрачен, и Москва видна во всём её великолепии.

За столиком сидят Нина Павловна и Прокофий Андреевич. Перед ними бутылка с минеральной водой и стаканы. Людмила стоит у решётки и безотрывно смотрит в сторону Кремля. Бьют часы Спасской башни — пять часов.

Нина Павловна (взглянула на свои ручные часы). Да, пять. Как долго!

Прокофий Андреевич. Дела государственные — не вдруг решаются. Людмила, что ты там высматриваешь? Отсюда всё равно никого не увидишь.

Людмила. Знаю, что не увижу, а оторваться не могу.

Нина Павловна. Всю эту неделю Яков Миронович, главный инженер и Вячеслав готовили материалы, и мне пришлось многое перепечатывать. Если нам утверждают хотя бы половину того, что они написали, то в будущем году вы завода не узнаете.

Прокофий Андреевич. Да его и так уж который год не узнаю. Разве на этот завод я мальчонкой пришёл наниматься? Старую кузню кирпичную знаете? Вот и всё, что от того завода осталось.

Людмила. Что ты, папа, старую кузню ещё в позапрошлом году снесли. Забыл?

Прокофий Андреевич. Забыл. (Смеётся.) И ведь знаю, что снесли, а всё чудится мне, будто она ещё стоит. Как оглянешься вокруг, то сразу заметно становится — устарел.

Людмила. Перестань, папа. Как будто в возрасте дело! Николай Иванович моложе тебя, а вот он — устарел. Он не меняется. Мне кажется, что он всегда таким был и всегда таким останется.

Нина Павловна. Как, разве вы не знаете? Вчера подписан приказ: снять с работы. Он совершенно убит — мне его даже жалко стало. Ну куда ему теперь идти — он решительно ничего не умеет. И ведь он добрый человек, только слабый и не очень умный.

Прокофий Андреевич. А я вам скажу, Нина Павловна, — не жалейте. Нет, не жалейте. Иной злой столько дров не наломает, сколько такой вот слабый. Чиновник он — одно слово. Ничего в нём рабочего не осталось.

Людмила. Ну так что ж — он теперь служащий. Почему если служащий, а не рабочий, то обязательно чиновник?

Прокофий Андреевич. Ничего не понял. Настоящий служащий — это рабочий человек. Скажем, Тихон Аполлинарьевич — могу я его чиновником назвать? Никогда.

Нина Павловна. Кто это — Тихон Аполлинарьевич?

Прокофий Андреевич. Старичок один, фининспектор по специальности. Я к нему полгода присматривался — и могу сказать: хороший человек. Одно мне в нём не нравится: иногда заходится — и начинает из себя Конан-Дойля какого-то изображать. Но это найдёт и пройдёт, а человек хороший, и дело своё до тонкости понимает.

Нина Павловна (встала). Идут.

Вошли Николай, Вера, Плотовщиков и Частухин, весёлые, радостно возбуждённые. Людмила и Нина Павловна бросились им навстречу и повели к столу. Прокофий Андреевич тоже привстал. Пришедших не расспрашивают — все трое сразу поняли, что произошло какое-то значительное событие.

Плотовщиков. Мы видели товарища Сталина.

Людмила и Нина Павловна вскрикнули.

Прокофий Андреевич. И... близко?

Плотовщиков. Как тебя. Да что — мало сказать видели, товарищ Сталин с твоим Николаем о делах говорил.

Прокофий Андреевич (беспомощно). Микола, а? Правда, что ль?

Николай. Правда.

Плотовщиков. А ты думал — я шучу?

Нина Павловна. Да рассказывайте же скорей, не мучайте.

Плотовщиков. Вячеслав, расскажи. (Налил себе воды, жадно пьёт.)

Частухин. Обсуждение началось ровно в два, ни на минуту позже. Сначала докладывали референты, после них мы, а затем нам стали задавать вопросы. Короче говоря, нас разгромили.

Нина Павловна (ахнула). Ну, что ты говоришь...

Частухин. Вдребезги. Я давно не получал такого удовольствия. Не оставили камня на камне. Ты помнишь, Ниночка, мой доклад на партсобрании? Меня тогда основательно пощипали...

Нина Павловна. Отлично помню. Но тогда говорили, что ты очень робко намечаешь перспективы.

Частухин. Совершенно верно. Мы это учли, и тем не менее сегодня всё повторилось с самого начала. Оказалось, мы оперируем совсем не теми масштабами. И нам всё время твердили: Смелее! Шире! По-революционному!

Людмила. Как хорошо!

Частухин. Министр обратился ко мне за какой-то справкой, и я встал, чтобы ответить. В этот момент дверь открылась, и вошёл Иосиф Виссарионович.

Прокофий Андреевич. Ну, ну? Какой он был?

Частухин. В сером кителе с отложным воротником и без погон — такой, как до войны. Спокойный и весёлый. В руках он держал толстый цветной карандаш и нашу записку — я узнал её по переплёту. Он поздоровался с нами, сел, раскрыл записку, и я увидел, что на полях много пометок. И потом всё время очень внимательно слушал. Затем... Алексей, помоги мне. Кто тогда говорил?

Плотовщиков. Говорил министр. Когда он кончил, товарищ Сталин слегка постучал кончиком карандаша по столу, а может быть нам это послышалось, но только всем стало понятно, что он будет говорить.

Частухин. Мне кажется, я почти всё запомнил. Вот что сказал товарищ Сталин: реконструкция завода своевременна и необходима. Машины мы вам дадим. Достаточно ли вы подумали о людях? Для того, чтобы ваш завод смог выполнить возложенные на него задачи, вам нужны сотни рабочих самой высокой квалификации, рабочих, дошедших в своём мастерстве до искусства и обладающих научными знаниями. Есть ли у вас такие рабочие?

Людмила. Ну, и что же ответил министр?

Плотовщиков. Что такие рабочие на заводе есть, и назвал Николая. Тогда товарищ Сталин заговорил с Николаем и стал его подробно расспрашивать.

Прокофий Андреевич. Охо-хо! Отвечал-то он хоть толково?

Людмила. Ты очень смутился, Миколушка?

Вера. Знаешь, Милуша, — нет. Мне очень понравилось, как Николай говорил. Не заикался и не спотыкался, а как с родным отцом — прямо и просто. И по-моему, с товарищем Сталиным только так и надо говорить.

Николай. Уж не знаю, хорошо ли, но на все вопросы я ответил. Тогда товарищ Сталин улыбнулся и спрашивает: скажите, а много у вас на заводе Леонтьевых? Я сразу смекнул, что вопрос не про нашу фамилию, отвечаю: есть не один десяток, а скоро будут сотни. А он мне: чем докажете? И смеётся. Я говорю: делом докажу. Я двенадцать человек подготовил и ещё могу подготовить. Вот, например, Ермолаева — вчера сдала испытания... И на Веру показываю.

Людмила. Ой, Вера!

Прокофий Андреевич. Ну, и что же Иосиф Виссарионович тебе на это ответил?

Плотовщиков. Иосиф Виссарионович посмотрел на него долгим взглядом, будто запомнить хотел. Потом сказал: может быть, из всего того, что вы до сих пор создали, самое драгоценное и самое новое — вот эти люди. Помолчал и добавил: напишите об этом, поделитесь своим опытом. Это будет интересная книга.

Пауза.

Частухин. А затем товарищ Сталин сформулировал наши задачи. Очень коротко, очень ясно и необыкновенно увлекательно. Я не имею права рассказывать всего, достаточно вам сказать, что в ближайшие годы автоматика будет внедряться в промышленность в невиданных масштабах, и на наш завод ложится задача создать для этой цели точнейшую аппаратуру и приборы управления. Наш завод расширяется в несколько раз, при нём организуется филиал института и техникум, переподготовку должен пройти весь коллектив завода. Будем учить, перучивать и учиться сами... Эх, да что говорить, друзья, мы провели три часа на такой вышке, откуда виден весь мир и будущее человечества. Куда годится ваш пятнадцатый этаж, пойдёмте отсюда.

Николай. Помнишь, Мила, как мы прошлым летом сидели здесь, и нам казалось, что мы забрались так высоко, что выше не бывает, и что счастливее быть уже невозможно. (Смеется.) Чудаки.

Частухин. Поедьте все к нам?

Нина Павловна. Да, да, обязательно к нам. И за обедом я заставлю вас рассказывать всё с самого начала.

Вера (у решётки). Не хочется уходить. Уж очень хороша сегодня Москва. (Смотрит вниз.) Мила, поди-ка сюда. Смотри — на том углу. Узнаёшь?

Людмила. Да. Как смешно — это Лара. Ты не видишь, что она там делает?

Вера. Кого-то ждёт.

Людмила. Ага, кто-то подошёл к ней. Кажется, мужчина.

Николай (подошёл, всматривается, затем говорит спокойно). Это Анатолий.

Людмила. Да, да, смотрите-ка... Ах, если бы они только знали, что мы на них смотрим отсюда. Как в телескоп.

Вера. Вернее, как в микроскоп. Подъехала машина. Не понимаю, что они делают. Ага, складывают покупки в багажник.

Людмила. Как ты хорошо различаешь, Верка. Я еле вижу, больше догадываюсь.

Вера. Закрыв багажник. Подсадил её в машину. Сам садится. Захлопнул дверцу. Покатили. Сеанс окончен. Чудеса!

Обернулась к Николаю и громко рассмеялась, и вместе с ней засмеялись Людмила и Николай.

Плотовщиков (подошёл к ним). Что вы там смешного увидели, ребята?

Николай. Ничего, пустяки. Маленьких человечков.



ЛЕОНИД ХАУСТОВ

★

РОВЕСНИЦА

Слушай, ровесница, слушай, девчонка!
В поле заснеженном скачет зайчонка,
Тот, из цветистой растрёпанной книжки...
Нет, не поймать нам косоного зайчишки!

Слушай, ровесница, девушка, слушай!
Ветер, летящий над морем и сушей,
Волосы треплет, щекочет ладони.
Хочешь, его мы с тобою догоним?

Слушай, ровесница, милая, слушай!
Встанем над юностью нашей минувшей.
Строго в глаза мы друг другу заглянем,
Так, что себя никогда не обманем.

Руки — ты ими солдат бинтовала,
Губы — блокадных сирот целовала,
Песня — ты с нею шагать не устала,
Ты моим сердцем и совестью стала.

★ ★
★

Мы были с тобою рядом
В пламени той зимы,
И одного снаряда
Слышали грохот мы,
И у одной времянки
Ужинали кипятком.
Набережная Фонтанки.
Куйбышевский райком.
Там на прохладном кафеле
Наш неостывший след.
Факты из биографии,
Нужные для анкет.
Вот он — великий город,
Сияющий наяву.
Кировский мост, «Аврора»,
Впаянная в Неву.
Воздух весенний влажен,
Музыка над Невой.

Мирное время наше,
Годы мои с тобой.

СТУДЕНТКА

Ждёт не дожждётся лето
 Машеньку в Барнауле,
 Стремительные рассветы
 Сказочного июля.
 Выбежишь в сарафане,
 Сшитом ещё на школьницу,
 К прячущемуся в тумане
 Берегу за околицей.
 Выкупаешься в речке,
 Свежей до удивления,
 Усядешься на крыльчке
 С книжкой на коленях.
 День наплывает знойный:
 Лень шевельнуть рукою,
 И всё-таки беспокойно
 Маше в степном покое.
 Прислушаешь, веселя,
 Радио вечерами.
 Новости из Кореи
 Прокомментируешь маме.
 Ты как-никак историк,
 Пусть будущий, но неважно.
 Ждёт тебя лёгкий столик,
 Лампа под колпаком бумажным...

Льётся дороги лента:
 Едут домой студенты.
 Мостики. Косогоры.
 И поднимают руки
 Тонкие семафоры —
 Вехи твоей разлуки.
 Где-то сейчас Володя?
 Должно быть, приехал в Горький.
 В той же, наверно, ходит
 Выгоревшей гимнастёрке.
 Он ей письмо напишет
 Свидания не короче,
 В котором она услышит
 Всё, что только захочет.

Мне б тоже в тебя влюбиться,
 Так же тобой гордиться,
 Тревожиться и тревожить...
 Да я эти годы прожил.
 Просто скажу сейчас я,
 Вспомнив о встрече нашей:
 Очень большого счастья
 Тебе я желаю, Маша!

ЗА ОКОЛИЦЕЙ

Собрались. И вправо-влево
 Закружился хоровод.
 Ждут, как водится, заповок.
 Кто ж тут первым запоёт?

«Я иду, а трактор пашет,
 Тракторист платочком машет.
 Мне платочком не маши,
 Аккуратнее паши!»

То бледнея, то краснея,
 Вот одна выходит в круг.
 И когда следишь за нею,
 Даже боязно.

Все глядят на тракториста
 Самого проворного.
 Ну и ловко, ну и чисто
 Паренька продёрнула!

И вдруг:

«Эх, туфли мои,
 Носки выстрочены.
 Не хотела выходить,
 Сами выскочили!»

И платочком помахала
 И ногой притопнула.
 Вроде будто всё сказала,—
 Ничего подобного!

Подняла с платочком руку,
 Улыбнулась, славная,
 И пошла она по кругу
 Медленная, плавная.

«Гляну влево, гляну вправо:
 Со своей горы видней.
 Мне не нужен кучерявый,
 Если он без трудодней».

Гармонист за ней следит
 Пальцами послушными.
 Чем подружка удивит?
 Пой, а мы послушаем.

Парни весело смеются,
 Говорят между собой:
 «Трудодни у нас найдутся,
 Дело только за тобой».

А она как бы устала
(Хитрость тут особая) —
Вызывать подругу стала,
Каблучками топя.

И выходит в круг другая,
Маленькая, шустрая,
Берегись, мол, дорогая,
Покажу искусство я!

«Ли Сын Ману помогает
Трумэн из Америки.
Скоро будет удирать
В Вашингтон на венике!»

Хоть и вовсе не речистый,
Говорит, вступая в круг,
Статный парень гармонисту:
«Дай-ка жару, милый друг!»

И тотчас, стряхнувши лень —
Не унять горячего, —
Он присядку в пять колен
Начал заворачивать.

На травах настоенный вечер,
Как будто в июне, хорош.
У нового клуба в заречье
Опять собралась молодёжь.

И поднятая каблучками
Порхает горячая пыль.
Площадка гудит под ногами —
Такая сегодня кадрили.

У девушки щёки румяны,
Летает платок голубой,

И характером крутой,
Попусту не мешкая,
Он частушку спел для той,
Что стоит с усмешкою:

«Хорошо девчонка жнёт,
Аккуратно вяжет.
Ну, а с кем домой пойдёт,
Никому не скажет!»

И в глаза они до дна
Глянули друг дружке
Так, что спряталась она
За спину подружки.

Может, вправду им итти,
Позабыв тревоги,
Чтобы счастье найти
На одной дороге,

Слов заветных не тая,
Правду сердцем зная...

Радость звонкая моя,
Сторона родная!

* *
*

И два знаменитых баяна
Стараются наперебой.

А там, в голубом поднебесье,
Бесследно растаяв вдаль,
Над улицей сельской, над песней
Прошли косяком журавли.

А ты ведь и петь мастерица.
Сама этой песне подстать:
«Летят перелётные птицы,
А я не хочу улетать!»



ЮРИЙ ТРИФОНОВ

★

СТУДЕНТЫ

Повесть

Глава 1

Две остановки от дома он проехал в троллейбусе—в новом, просторном, жёлто-синем троллейбусе,—до войны таких не было в Москве. Удобные кресла были обиты мягкой кожей шоколадного цвета и узорчатым плюшем. Троллейбус шёл плавно, как по воде. А он не ездил в троллейбусах пять лет. Он не видел московского кондуктора пять лет.

Пять лет не спрашивал он деловитой московской скороговоркой: «На следующей не сходите?» И когда он теперь спросил об этом, голос его прозвучал так громко и с таким неуместным ликованием, что стоявшие впереди него пассажиры—их было немного в этот будничный полдень—удивлённо оглянулись и молча уступили ему дорогу.

Гармошка пневматической двери услужливо раздвинулась перед ним, и он спрыгнул на тротуар.

И вот он идёт по Москве...

Июльское солнце плавит укатанный уличный асфальт. Здесь он кажется синим, а дальше, впереди, серебристо блестит под солнцем—будто натёртый мелом. Дома слева отбрасывают на асфальт короткую густую тень, а дома справа залиты солнцем. Окна их ослепительно пылают.

Из-за угла выползает громадный голубой жук с раскрытыми водяными крыльями. В каждом крыле, сотканном из миллиардов брызг, переливается радуга. Асфальт влажно чернеет и дымится, а дождь на колёсах медленно ползёт дальше, распространяя вокруг себя облако прохлады.

Москва!

Он идёт по Москве!

Здесь всё знакомо и незабываемо с детства, здесь его родина, та простая человеческая родина, которую вспоминали солдаты на войне, каждый—свою. В полуночном Венском лесу и в диких горах Хингана ему вспомнилось: Замоскворечье, Якиманка, гранитные набережные, старые липы Нескучного сада...

И вот—всё вернулось к нему. Всё, всё, что так бережно хранила память. Вон в том особняке, у Спасо-Наливковского, осенью первого военного года он служил в пожарной команде Ленинского района. Служил! Шестнадцатилетний мальчишка... Теперь на особняке опять, как и до войны, вывеска: «Детский сад № 62». Из раскрытых окон выглядывают лаковые листья фикуса, поёт радио.

Он идёт всё быстрее, почти бежит.

Он выходит на мост, перекинутый через канал—знаменитую москов-

скую «Канаву». Возле кинотеатра «Ударник» толпится народ, всё почти молодёжь, — ну да, теперь ведь каникулы.

Москвы-реки ещё не видно, но уже чувствуется её свежее дыхание, угадывается её простор за рядами домов. Когда-то он жил здесь, на Берсеневской набережной, а учился на Софийской, прямо напротив Кремля. Он ходил в школу под аркой моста — там всегда было сумеречно и гулко, и можно было вызывать эхо. А после уроков они занимались «закалкой воли»: ходили по каменному парапету набережной, расставив руки для равновесия. Потом это заметил кто-то из учителей, и попало всему классу.

Он останавливается на могучем бетонном взгорье — на середине моста.

Большой Каменный!

Самый красивый мост в мире. Теперь он не сомневается в этом, он видел мосты в Праге и в Вене и множество других мостов в разных странах.

Отсюда город кажется беспорядочно тесным — улиц не видно, дома воздвигаются один над другим в хаосе жёлто-белых стен, карминных крыш, башен, облепленных лесами новостроек, искрящихся на солнце окон.

Но по отдельным знакомым зданиям можно угадать улицы: вон блестит стеклянная крыша Пушкинского музея, левее, у самого берега, раскинулась строительная площадка Дворца Советов, — как огромные зубья, торчат в круге массивные опоры фундамента.

А по правую руку — высоко на холме Кремль. Старинные башни, подёрнутые сизой, почти белой у подножья патиной, и гряда зелени за стеной, на кремлёвском дворе, а над зеленью — стройный, белогрудый дворец с красным флагом на шпигеле.

Сколько раз до войны видел он эти башни и ели, и этот гордый дворец, видел зимой и летом, на солнце и под дождём, из окна троллейбуса и с набережной, — сейчас у него такое ощущение, словно он видит всё это впервые. И впервые видит сказочную красоту Кремля, чудесней которой нет ничего на земле.

Потом он идёт через площадь Боровицких ворот к библиотеке Ленина.

Он вглядывается в лица встречаемых людей и удивляется: почему не видно знакомых? Ему кажется, что он всех должен увидеть сегодня же, встретить на улицах.

Сейчас он поднимется на Красную площадь. Уже близко, близко...

Он в центре Москвы. Город окружает его неутраченным звонким гулом, голосами и смехом толпы. Перед ним возвышается белый утёс гостиницы «Москва» и налево, в гору, уступами многоэтажных домов взбегает самая людная и живая, сверкающая зеркалами витрин улица Горького.

Как он мечтал об этом дне!

Он идёт между людьми, касается их плечами, влюблённо заглядывает им в глаза, вслушивается в разговоры. Ведь всё это москвичи — его земляки, к которым он вернулся сегодня после пятилетней разлуки. И этот широкоплечий мужчина в сером плаще и шляпе, и веснушчатый мальчуган в теннисной майке, и румяная женщина с ребёнком на руках, и другая, в очках, с портфелем подмышкой, из которого торчит бутылка молока, и девушки — их так много! Девушки в белых, розовых и сиреневых платьях, загорелые и быстрые, глаза их блестят, и они всё улыбаются ему, а он им. Он улыбается им в ответ, и ему кажется, что все эти люди — его старые знакомые, он просто немного забыл их за пять лет. Вероятно, и он изменился. Но они вспомнят друг друга, очень скоро!

Брусчатка Красной площади отливает раскалённой синевой неба. Он идёт, выпрямившись и подняв голову. Здесь всё попрежнему, как до войны, — торжественный строй голубоватых елей вдоль кремлёвской стены, два солдата застыли у дверей великой гробницы. Их юные лица строги.

Медленно, с бьющимся сердцем, он проходит через площадь и всё время смотрит направо. Он видит, как на часах Спасской башни прыгает золотая стрелка, и в ней на одно слепящее мгновение вспыхивает солнце.

А когда он спускается на набережную, к нему подходит молодой парень, скуластый и черноглазый, тоже в гимнастёрке и сапогах, и спрашивает с виноватой запинкой:

— Случайно не знаешь, товарищ, как мне в Третьяковскую галерею пройти?

— Как, не знаю! — почти кричит он, чему-то вдруг очень обрадовавшись. — Конечно, знаю! Я сам бы с тобой пошёл, но я уж решил — Третьяковку на завтра. Вот слушай: иди через Каменный, нет — лучше через Москворецкий мост...

И он старательно и подробно объясняет парню, как пройти в Третьяковскую галерею. Тот уходит, благодарно кивая. А он смотрит вслед и улыбается счастливо и изумлённо: подумать только, завтра и он пойдёт в Третьяковку! А если захочет, то пойдёт и сегодня. Стоит ему захотеть -- и через пятнадцать минут он будет в Третьяковке!

И вот он в вестибюле метро, залитом рассеянным электрическим светом, от которого мраморные стены, одежда и лица людей приобретают матово-оранжевый оттенок.

Напористый людской поток проносит его к одному из двух эскалаторов.

Ему явственно кажется, что он спускался по этому эскалатору совсем недавно — неделю назад, вчера. Здесь всё знакомо, ничто не изменилось со вчерашнего дня — который был пять лет тому назад...

Люди легко сбегают с эскалатора и расходятся в разные стороны. В однообразное гуденье эскалатора и шум множества разговоров вплетается — и стремительно разрывает все эти звуки — нарастающий ляг и громыханье. Это подходит ещё не видимый поезд.

Кто-то трогает его за рукав — деревенская старуха в платке.

— Сынок, а на Арбатскую мы здесь посадимся, ай нет?

— Что вы? Нет, нет! Вы не туда идёте: вам надо подняться обратно и перейти на другую станцию! Вы сейчас...

Но чей-то бас спокойно прерывает его:

— Вовсе не обязательно. Спускайтесь, бабуся, и пройдёте по новому переходу на станцию Площадь Революции.

— Какому переходу? — спрашивает он высокомерно, уязвлённый тем, что кто-то вздумал поправлять его. — Вы путаете. Это на Библиотеке Ленина есть переход.

— Я никогда не путаю, товарищ. Если не в курсе, не надо учить других. А вы, бабуся, не слушайте его, а спокойно идите по новому переходу и своего достигнете.

Да, ведь верно! Он же читал в газетах о новых станциях, открытых ещё в войну, и о новом переходе в центре. Надо немедленно всё это осмотреть.

После июльской жары так приятна эта мраморная свежесть подземелья! Он идёт по новому переходу, пытливо и по-хозяйски разглядывая алебастровые украшения, выложенный цветными плитками

пол, и с наслаждением вдыхает знакомый, всегда присутствующий в метро чуть сыроватый запах — запах свежей извёстки или влажных спилок.

Он идёт медленно, и все обгоняют его. Кажется, он единственный праздный человек в этой торопливо бегущей толпе.

Через час, утомлённый всем виденным, он выходит на своей любимой станции. Площадь Маяковского ослепляет его голубизной и солнцем, окунает в зной.

Он читает афиши: выступление ансамбля железнодорожников... Армянский хор... Гастроли польского скрипача, профессора Варшавской консерватории... Вечер юмора... Командное первенство по борьбе...

Вдруг кто-то хватает его за плечи.

— Вадим!

Круто обернувшись, он видит Сергея — Серёжку Палавина, своего самого старинного друга, ещё со школьной скамьи. Вот она, встреча! Он будто чувствовал, что это должно случиться сейчас.

Они обнимаются растроганно и неловко и в первые секунды не находят слов.

— Я звонил тебе утром, — говорит Вадим.

— Знаю, знаю! Ну, как ты? Чёрт! — Сергей стискивает Вадима в объятиях, трясёт его и хохочет. — И здоров же ты стал! Нет, ты смотри, какой здоровый! Отъелся на армейских харчах, р?

— Да и ты не из тощих.

— Ну-у, куда мне! И в лице у тебя этакое бывалое, солдатское... Как мы встретились-то, а? Блеск!

— Я думал вечером зайти...

— Ну вот и встретились!.. У тебя, значит, Красная Звезда и медали в два наката, — нормально!

Вадим смотрит в сияющее лицо друга: в общем, Сергей не изменился, только вырос, стал шире в плечах. Такие же пушистые светлорусые волосы, голубые глаза с весёлым татарским разрезом, а загорелый выпуклый лоб слегка рассечён морщинами — их не было пять лет назад. Вид у него глубоко штатский и праздничный: летний костюм кремового цвета и сандалеты из белой кожи. Ну как же! Серёжка всегда любил пофрантить.

Они идут по Садовой, оба счастливые и взволнованные этой долгожданной и такой внезапной встречей. Смущение первых минут прошло, они говорят теперь, перебивая друг друга.

Что можно рассказать в первые полчаса? Ровно ничего. Они рассказывают о том, что давно знают из писем. Сергей работал до конца сорок третьего года в Свердловске, в научно-исследовательском институте, потом его призвали и направили на Северо-Западный фронт, там он и служил до конца войны. С декабря сорок пятого — вот уже больше полугода — он в Москве.

— Ну, а где наши ребята? — спрашивает Вадим. — Где Ромка, Людочка? Где Митя Заречный?

Сергей видел одного только Ромку — он в Москве, работает на часовом заводе. Людочка уехала куда-то с мужем — кажется, в Казахстан. Митя Заречный служит в оккупационных войсках, в Берлине. А вот Петя Кирсанов погиб. Ещё в сорок втором.

— Да, я знаю, мне писали. Жаль Петьку... — Вадим помолчал. — А что ты делаешь, Сергей? Учишься?

— С этого года начну.

— Где?

— Ещё не решил. Или в МГУ или где-нибудь ещё. — Сергей вздыхает и озабоченно покачивает головой. — Пора, пора начинать! Я же полгода без дела болтаюсь, надоело...

Вадим давно решил — он поступит в педагогический, на литературный факультет. Но ему пока не хочется говорить о себе.

— Не женился, надеюсь? — спрашивает вдруг Сергей.

— Да нет, где же...

— Ну, правильно, — говорит Сергей наставительно. — Нам, брат, с тобой нельзя раньше времени обзаводиться семейством. Никак нельзя. Теперь начнём учиться, пробиваться, как говорят, в люди, а это легче одному, необременённому, так сказать...

Вадим плохо слушает, точнее — он плохо понимает Сергея. Радостное возбуждение этого огромного солнечного дня всё ещё не покидает его и кружит голову.

Потом они приходят к Сергею — в большой старый дом на улице Фрунзе, с угловыми башенками, карнизами, балкончиками. Четыре верхних этажа — современная надстройка из красного, ещё не оштукатуренного кирпича.

Их встречает мать Сергея, Ирина Викторовна. Она заметно состарилась, сгорбилась, чёрные волосы её потускнели, но она всё такая же — та же необычная для её рыхлой фигуры подвижность, та же привычка разговаривать шумно и неустанно, перебивая других. Ирина Викторовна встречает Вадима, как сына, — целует, разглядывает ревнивым и пронзительным взглядом, умиленно восклицает:

— Господи, да ты совсем мужчина! Боже, какие плечи, голос!..

В квартире суетливый беспорядок, какой бывает, когда собирают кого-то в дорогу, — Ирина Викторовна держит в руках шпагат, на выставленном в коридоре чемодане лежит свёрнутое летнее пальто, а на столике под телефоном блестит никелированной макушкой термос. Оказывается, сегодня отправляют в пионерлагерь Сашу — младшего брата Сергея. Вот он и сам вбегает в коридор, что-то напевая и шлёпая себя по лбу крышкой от волейбольного мяча. Увидев Вадима, Саша сконфуженно застывает на месте.

— Сашуня, а этот дядя — Вадим. Ты не узнаёшь?

Саша смотрит на Вадима исподлобья и качает круглой, стриженной, будто обсыпанной золотыми опилками, головой. Нет, он не узнаёт Вадима. Да и Вадим не узнал бы Сашу, — пять лет назад это был четырёхлетний карапуз, а теперь уже школьник третьего класса.

Из комнат доносится женский голос:

— Ирина Викторовна, а где мыльница? На комодe нет!

— Возьмите в ванной, Валюша! — отвечает Ирина Викторовна поспешно. — Возьмите мою, розовую!

В дверях появляется темноволосая, худенькая девушка лет двадцати, она близоруко щурится, увидев Вадима, и неуверенно кивает.

— Это Вадим, ты знаешь его по моим рассказам, — говорит Сергей. — А это Валя.

— Я вас представляла совсем другим, — говорит Валя, протягивая Вадиму очень красивую, белую, обнажённую до локтя руку.

— Интересно, каким?

— Почему-то чёрным, низкорослым, таким крепышом. И в очках.

— Воображаю, что Серёжка нарассказал про меня! — смеётся Вадим.

— Нет, он просто говорил, что вы очень серьёзный и положительный человек. Он часто говорил о вас.

В разговор вступает Ирина Викторовна:

— Валюша, это же друзья детства! Я помню их вместе ещё вот такими, — она дотрагивается до Сашиного живота, от чего Саша недоверчиво усмехается. — Серьёзно, Саша, я помню Вадима таким крохотным! Мы жили на даче. Помню, как они носились с этими змеями, какой-то телефон проводили, помню... да, господи, чего только не было! А потом школа. Дом пионеров. И слёзы были, и ссоры—всё-таки пятнадцать лет! Ребята, и опять вы вместе! А? Ну, не чудеса ли? Оба живые, орденоносные... Ну, обнимитесь же!

— Я, кстати, не орденосный, а только медаленосный, — бормочет Сергей, усмехаясь, и притягивает Вадима к себе за плечи. — Эх, Вадька, мать-то у меня какая сентиментальная! Прямо сказительница...

— Ну, идите, ребятки, идите в комнаты! Поговорите!

Валя извинилась, сказав, что ей надо помочь Ирине Викторовне по хозяйству, и ушла в глубь коридора.

— Кто это — Валя? — спрашивает Вадим, оставшись с Сергеем в его комнате наедине. — Родственница ваша?

— Нет, знакомая просто... Учится в медицинском. Очень толковая девушка, умница.

В комнате Сергея на редкость чисто и прибрано — так всегда бывало на его столе в школьные годы. Два больших застеклённых книжных шкафа аккуратно заставлены книгами. Переплёты так безукоризненно пригнаны один к другому, так свежи их краски, что библиотека похожа на выставку — кажется, нехватает таблички: «руками не трогать».

— А ты, я вижу, в отцовский кабинет переселился, — говорит Вадим, с удовольствием оглядывая знакомую комнату, — ведь это кабинет Николая Степаныча? А где ружья охотничьи, — я помню, вот здесь висели? — Он показывает на стену, где висят теперь несколько фотографий артистов, и среди них портрет Лермонтова. — Николай Степаныч, наверно, в командировке? Всё разъезжает?

Сергей чуть хмурится.

— Папаша-то с нами не живёт. Забыл?

— Ах, да... я забыл, — бормочет Вадим, смутившись. И как это он, в самом деле, забыл!

Перед войной родители Сергея разошлись. Вадиму вспомнился жаркий июньский день — экзамен по алгебре в девятом классе, — когда Серёжка пришёл в школу бледный, с красными глазами и говорил всем, что пережарился на солнце и заболел. Экзамен он сдал на «посредственно». А после экзамена признался Вадиму, что вчера вечером он провожал отца и потом не спал всю ночь. Отец его уехал навсегда в другой город, на Кавказ... Через три недели после этого экзамена по алгебре началась война.

Вадим и Сергей садятся друг против друга, закуривают. И оба молчат, словно обо всём уже наговорились. И кажется, уже не о чём говорить.

Вадим замечает под стеклом на столе карандашный портрет Сергея — коротко подстриженный, улыбающийся подросток в курточке с молнией. Это Сергей, не то в восьмом, не то в девятом классе, и рисовал его сам Вадим. Под рисунком надпись «Кекс», и ещё ниже, почему-то по-латыни: «riņx. W. B.»¹.

— Кекс! — Вадим улыбается, глядя на рисунок. — Вот мы и встретились, Кекс... Кстати, я уже забыл, почему тебя так прозвали?

— И я не помню. Меня уже много лет никто так не называет. Действительно, почему Кекс?

¹ Riņx. W. B. — рисовал В. Б.

Вадим с недоумением пожимает плечами.

— Странно. Совсем вылетело из головы...

— Да, многое позабылось... А я помню, когда ты делал этот портрет — в восьмом классе, для новогодней газеты.

— Это-то и я тоже помню.

Они молчат некоторое время, и оба серьёзно и внимательно рассматривают рисунок. Этот листок из тетради в клетку, чернильный след пальца в углу вмиг оживляют в их памяти многое, многое из той светлой, шумной и уже далёкой жизни, которая называлась — школа...

— Ты хорошо рисовал, тебе бы учиться этому делу, — говорит Сергей задумчиво. — А фронтовые зарисовки у тебя есть?

— Есть кое-что, мало.

— Ну, понятно. Ты, значит, дошёл до Праги? Ты был на Третьем Украинском?

— Нет, на Втором. Мы шли через Румынию, Венгрию...

— И Будапешт брал?

— В первых уличных мы не участвовали. Нас бросили на север, к Комарно, а в это время Третий Украинский завязал бои в Будапеште. А потом... Ты помнишь, немцы подкинули к Будапешту одиннадцать дивизий?

— Да, да, да! Как будто припоминаю...

— Ну вот, и мы рванули, значит, обратно к Будапешту. На танках. Вообще-то это был рейд, на Комарно...

— Ты в танках всё время?

— Да, я в танках...

И начинается долгий разговор о войне.

За окном синий с золотом душный вечер московского лета. Как много рассказано в этот вечер и как мало. Разговор будет продолжаться завтра, и послезавтра, и ещё много дней.

Вадим выходит на улицу. Завтра они пойдут с Сергеем в Третьяковку. И надо уже готовить документы для института, сходить туда и всё узнать, достать программы, купить книги...

Улицы полны людей — это уже не дневные, торопящиеся пешеходы, а вечерняя, плавно текущая толпа. Лица людей — оживлённые, молодые, весёлые, озарены сиянием фонарей световых реклам. И звёзд, щедро рассыпанных по высокому синему косогору.

С Гоголевского бульвара веет пахучая волна запахов — зелени и цветов. Бежит через площадь, позванивая, совсем пустой трамвай, — москвичи в такой вечер предпочитают ходить пешком.

И Вадим идёт домой пешком.

Идёт по бульвару, через Метростроевскую и Крымский мост...

Он как будто пьян, и даже трудно сказать — отчего. От рюмки водки, которую он выпил за ужином у Сергея, или от сладкого чая, или от этого родного московского вечера, плывущего над городом в облаке тепла, в зареве уличных светов и в шуме человеческих голосов, смеха, сухого шороха ног по асфальту, музыки из распахнутых окон?

Вчерашний старшина Вадим Белов пьян главным образом от счастья.

Он счастлив оттого, что вернулся в родной город, к своим старым и ещё не известным друзьям, и к новой жизни. К той мирной и трудовой жизни, о которой он мечтал на войне, ради которой он вынес столько лишений, одолел так много трудностей и прошёл в кирзовых сапогах полсвета.

Здравствуй, новая жизнь, которая начинается завтра!

Глава 2

И Вадим Белов, так же, как и Сергей Палавин, работал теперь за отцовским письменным столом. Осенью, в холодные дни, в дождь, он надевал кожаное отцовское пальто с широким поясом и такими глубокими карманами, что руки в них можно было засунуть чуть ли не по локоть. Это было старое, но очень крепкое пальто; отец купил его ещё на Дальнем Востоке.

Над письменным столом висит фотография отца в этом пальто — он без шапки, седоватые волосы вьются буйно и молодо над широким лбом, а глаза чуть прищурены, улыбаются насмешливо и пронизательно, всё видя, всё понимая... Глаза у отца были темносиние, а на фотографии они совсем чёрные, южные, очень живые.

Старые знакомые часто говорят матери:

— Дима стал очень похож на отца. Вылитый Петр Андреевич!

Вадиму приятно это слышать — ему хочется быть похожим на отца. А Вера Фадеевна, улыбаясь грустно и сдержанно, отвечает:

— Да, много общего... есть...

Отец погиб в начале войны, в декабре сорок первого года. Это была его третья война, хотя профессия у отца была самая мирная — учитель. Последние пятнадцать лет он работал директором школы. Когда отец вместе с другими ополченцами уезжал на фронт — это было в июле, на Белорусском вокзале, — провожать его пришло много учителей и школьной молодёжи. Все они стояли вокруг отца шумной, тесной толпой, говорили, перебивая друг друга, тёплые прощальные слова, а завуч отцовской школы Никитина, седенькая старушка в очках, даже всплакнула, и отец утешал её и обнимал за плечи.

Сам он был спокоен, говорил шутливо:

— Я же с немцами третий раз встречаюсь. Третий раз не страшно...

Вадиму непривычно и странно было видеть отца в тяжёлых солдатских сапогах, со скаткой шинели на плече, в пилотке. И пахло от него незнакомо: грубым сукном, кожей, табаком — он снова начал курить. Вадиму казалось, что отец весь как-то неуловимо и сурово изменился, и хотя они стоят рядом, держась за руки, но отец уже очень далёк от него, уже не принадлежит ни ему, ни матери, ни этим многочисленным добрым друзьям. Тот незнакомый, скуластый паренёк в гимнастёрке, туго заправленной за пояс, с двумя кубиками на петлицах, который пробежал мимо, хрипло покрикивая: «По вагонам, по вагонам, товарищи!», — был теперь во сто раз ближе к отцу, чем все они, вместе взятые.

Прощаясь с Вадимом, отец сказал:

— Главное — крепко верить, сынок. Это самое главное в жизни. Крепко верить — значит наполовину победить. — И сильно, по-мужски, сжав руку Вадима, добавил вполголоса: — Мать береги. Ты, брат, глава семьи теперь, опора...

Когда возвращались с вокзала, Вадим первый раз взял маму под руку. С другой стороны Веру Фадеевну держала под руку старушка Никитина — новый директор школы — и что-то бесконечно рассказывала о своих сыновьях-лётчиках, о муже, погибшем ещё в гражданскую, о трудностях школьной работы... По привычке школьных учителей она говорила очень подробно, каждую мысль повторяла и разъясняла много раз.

— Мы должны быть вместе, Вера Фадеевна. Держаться друг друга, помогать друг другу. Мы, женщины, проводившие мужчин на войну, должны взяться за руки — вот так. Если вам что-нибудь будет нужно, Вера Фадеевна...

Вадим всю дорогу молчал. Он думал о словах отца: «Ты теперь глава семьи, опора». Значит, он уже не мальчик, отец поручил ему беречь мать. Отец и раньше, уезжая в командировку или на курорт, говорил Вадиму нарочито громким и строгим голосом: «Смотри — маму береги!» Сегодня он это же сказал тихо и назвал маму необычно, сурово — мать... Да, теперь начнётся для Вадима новая жизнь, полная забот и ответственности. И Вадим раздумывал: когда же и с чего именно начинать ему эту новую жизнь?

А на следующей неделе «глава семьи» тайком от семьи пошёл в военкомат и попросился на фронт. Ему отказали, так как у него ещё не было паспорта, никто не поверил его словам, что ему уже семнадцать лет. Об этой неудачной попытке он не сказал никому.

Наступил сентябрь. Вадим должен был бы заканчивать в этом году десятый класс. Но занятия всё не начинались. Он поступил вместе с Сергеем в молодёжную пожарную команду Ленинского района и два месяца трудился день и ночь: ночью стоял на дежурстве, тушил зажигалки, ловил ракетчиков, а днём работал вместе со всей командой на дровяном складе, на разных вокзалах, чаще всего на речном — разгружал баржи с боеприпасами. Спать приходилось то вечером, то утром.

Стоя осенней ночью у чердачного окна в каком-нибудь доме на Полянке или на Коровьем валу, глядя на вспышки зениток в небе и мгновенно возникающие розовые нити трассирующих пуль, Вадим проникался новым ощущением — он был уже опорой не только семьи, но и опорой всей своей улицы, всего района, десятков, сотен семей, невидимо спящих или бодрствующих в кромешном мраке затемнённого города. Он отвечал за жизни тысяч людей, за целость их домов. Позже, на фронте, это чувство ответственности ещё больше укрепилось в нём, и уже не улица, не город, а вся страна, казалось ему, стояла за его спиной, и он был её опорой и отвечал за её судьбу.

В конце октября молодёжная команда Ленинского района была расформирована; ребята призывного возраста ушли в армию, а кто помоложе — на военные заводы в Москве. В это время учреждение, где работала Вера Фадеевна, эвакуировалось в Среднюю Азию, и Вадим, крепя сердце, уехал вместе с ней в Ташкент.

Вера Фадеевна была по специальности инженер-зоотехник, она окончила Тимирязевскую академию. В Ташкент её направили работать главным зоотехником в большой пригородный совхоз в трёх километрах от города. Она по неделям не бывала дома — в маленьком домике, сложенном из саманного кирпича, где они жили с Вадимом.

В середине года Вадим поступил в десятый класс, благополучно его закончил и весной получил аттестат, написанный на двух языках — русском и узбекском.

В Ташкенте, шумном, многоязыком, страшно перенаселённом в ту пору и грязно-дождливом — снег там почти не выпадал, а было промозгло и сыкотно, — Вадим чувствовал себя неважно. Город, сам по себе, был неплохой и даже красивый — с живописными базарами, то полями, с выложенными кирпичом арыками вдоль тротуаров. Верблюды с огромными тюками хлопка плелись по улицам, равнодушные к гудкам автомобилей. Трамвай вдруг останавливался на полпути, потому что на рельсы улёгся ишак, и ни погонщик, ни милиционер не в силах его поднять... Всё это было ново и в другое время показалось бы интересным и забавным, но Вадим ничего не замечал как следует и ничему не удивлялся. Самым ярким впечатлением ташкентской жизни были свежие, пахнущие краской полосы «Правды Востока» с фронтowymi сводками.

И хотелось в Москву. Вадим часто видел Москву во сне, просыпался

среди ночи — и не узнавал своей низенькой тесной комнаты на окраине Ташкента: в окно глядело незнакомое чёрное небо с очень крупными, выпученными звёздами, сонно кричал ишак, пели лягушки в арыке... Тоска томила неотступно. И не было писем от отца. А в марте пришлось извещение о том, что отец погиб.

В Ташкенте уже была весна, пахло цветущим урюком и джидой, бегущая с гор речонка Боз-су стала ещё злее; пожелтела и вздулась, заливая мостки...

— Я чувствовала... — сказала Вера Фадеевна шёпотом, прижимая скомканный листок к глазам, и беззвучно заплакала, затрясла головой. Вадим обнимал её, сжав губы, подавляя отчаянные, рвущиеся из горла рыдания. Он должен был молчать. Он был главой семьи, опорой, и уже не временной, а навсегда... Он только сказал угрюмо, подумав вслух о своём:

— Подожди вот... встретятся они мне...

Но «они» встретились с ним нескоро — через два года. Ему шёл семнадцатый, и он только летом получил приписное свидетельство. А армия сражалась далеко на северо-западе, за тысячи километров от среднеазиатской столицы...

Вадим поступил на чугунолитейный завод на окраине Ташкента. Сначала работал гвоздильщиком на станочке «Аякс», делал гвозди, болты, потом перешёл в литейный цех и стал формовщиком. На заводе были две маленьких вагранки, и производились чугунные печки-временки, небольшие тигли и ещё какие-то несущественные предметы. Работа, да и сам заводик с двумястами рабочих казались Вадиму слишком мелкими, обидно незначительными. Он решил перейти на один из крупных заводов, которых было много в Ташкенте как местных, так и эвакуированных с запада. Но эта мечта его не осуществилась, зато осуществилась другая: в мае сорок третьего года Вадима приняли в военное училище, готовившее стрелков-радивистов. Он уехал в маленький городок на севере Казахстана.

Училище находилось за городом, и сразу за ним лежали голые пески с редкими колючими кустарниками. В летние месяцы в этих местах стояла нестерпимая жара, а зима была свирепая, с сорокаградусными морозами, снеговыми буранами. Занятия в училище шли ускоренным темпом — двухгодичная подготовка проходила за шесть месяцев. От раннего утра до позднего вечера учились курсанты трудным солдатским наукам: шагали в песках по страшной азиатской жаре с полной выкладкой, рыли окопы, учились пулемётной стрельбе, вскакивали сонные по тревоге и шли куда-то в ночь, в степь, десятикилометровым маршем, причём обязательно в противогазах. И ежедневно по многу часов отрабатывали надоевшую «ти-та-та» — морзянку. Вадим считался лучшим радистом в роте.

В ноябре шестимесячный курс обучения закончился. Весь выпуск направили на формирование. Эшелон остановился на одной из подмосковных станций — это было дачное место, где Вадим отдыхал однажды летом в пионерском лагере. Теперь, зимою, всё здесь казалось чужим, впервые увиденным: вокзал, переполненный военными, заколоченные ставни дач, пустые, холодные под снегом поля... И всё-таки это было Подмосковье! И где-то совсем близко — Москва!

В первый же день Вадим взял увольнительную и на пригородном поезде поехал в Москву. Он хотел увидеть маму. Она уже три месяца жила в Москве и работала на прежнем месте — в Наркомземе.

Военная Москва встретила Вадима неприветливым морозным утром. Был час перед первой рабочей сменой — люди спешили, обгоняя друг

друга, в метро и на трамвайные остановки, и только военные патрули с красными повязками на рукавах расхаживали по улицам неторопливо и степенно. Витрины магазинов были забиты фанерой, завалены мешками с песком. По Калужской везли огромный серебристый аэростат, он чуть колыхался и был похож на фантастическое животное.

Вадим всю дорогу бежал, боясь, что Вера Фадеевна уйдёт на службу. Телефона в доме не было, его сняли в начале войны. Лифт не работал. Вадим одним духом влетел на шестой этаж, вбежал в квартиру — и остановился перед замком на своей комнате. Вера Фадеевна ушла... Он сел на сундук в коридоре, обессиленный, злой, несчастный. Попробовал замок, подёргал дверь. Потом выломал фрамугу над дверью и, словно вор, пролез в свою комнату. Там всё было попрежнему: книги на полках, пианино, покрытое вышитой дорожкой, старинные бронзовые часы и его кровать, аккуратно застланная зелёным одеялом. На столе, прикрытая салфеткой, стояла тарелка с сухим ломтём хлеба, головкой лука, яичной скорлупой...

Под лампой на комод Вадим увидел недописанное письмо: «Здравствуй, дорогой мой мальчик! Однако ты не держишь своего слова — писать раз в неделю. Ты писал, что, возможно, будешь в Москве. Когда, примерно, тебя ждать...»

На этом же листке бумаги Вадим быстро написал письмо, которое начиналось так:

«Мама! Я уже в Москве, вчера приехал. Видишь, как я заботлив: твоё письмо ещё недописано, не отправлено, а ты уже получаешь ответ. И ты ещё обижаешься на меня...»

Так он и не повидал Веру Фадеевну в этот день. Нехватило времени, надо было возвращаться в часть... И только на обратном пути с вокзала Вадим позвонил ей на службу.

— Что? Это кто? Кто говорит? — услышал он знакомый голос почему-то очень испуганный. — От Димы?

— Мама, я — Дима! Слушай...

— Кто это? Кто?

— Я — Дима! Я — Дима! — повторял он терпеливо, по привычке радиста.

Вера Фадеевна переспрашивала, не веря. Она заволновалась, голос её вдруг ослаб, и разговор получился жалкий, бессвязный, торопливый. Люди, стоявшие у автомата в очереди, стучали гривенниками в стеклянную дверь.

— Береги себя, сын!..

— Хорошо, мама.

— И... пиши! Счастливо...

Она заплакала. А может быть, ему это показалось.

Через несколько дней Вадим в составе новой, только что сформированной части отправился на Второй Украинский — танковым стрелком-радистом.

Вадим попал на фронт в тот великий год, когда сокрушительные сталинские удары отбрасывали врага всё дальше на запад. Вадим участвовал в разгроме немцев под Корсунью и в августовском наступлении под Яссами. Стремительный марш на Бухарест и потом через Трансильванские Альпы в Венгрию, битва за Будапешт и кровопролитные бои у озера Балатон, взятие Вены и освобождение Праги — вот путь, который прошёл Вадим со своим танком по Европе.

Он оказался счастливым — ни разу не был ранен. Только однажды его контузило: под Яссами, летом, во время позиционных боёв.

После победы над Германией танковый полк, в котором служил Вадим, перебросили на Дальний Восток. Началась война с Японией — труднейший марш через безводную, сожжённую солнцем пустыню и Хинганские горы, бои с самурайскими бандами в Маньчжурии и, наконец, Порт-Артур.

И на Тихом океане
Свой закончили поход..

пели на набережных Порт-Артура наши моряки, высадившие в городе десант ещё до подхода танков.

На краю материка, в городе русской славы завершила Советская Армия свой великий победоносный путь.

Два военных года закаляли Вадима, научили его разбираться в людях, научили смелости — быть сильнее своего страха. Они показали ему, на что способен он, Вадим Белов. Кое на что, оказывается, он был способен. В бою под Комарно его танк был подбит и окружён врагами, из экипажа в живых остались двое — Вадим и тяжело раненный башнёр. Вадим отстреливался до ночи, побросал из люка все гранаты, а ночью вынес башнёра из танка и с пистолетом в руках пробился к своим.

Каждый день войны требовал от него напряжения всех сил, терпеливого и самозабвенного труда.

Он очень окреп физически, вырос, лицо его огрубело, стало таким же широким, большелобым, обветренно-смуглым, как у отца. На войне он научился многому из того, что было необходимо не только для войны, но и просто для жизни. На войне он увидел свой народ, узнал его стремления и характер — и понял, что это его собственный характер, собственные стремления. Он повидал за границу — не ту, о которой он читал в разных книгах, что была нарисована на красивых почтовых марках и глянцевиных открытках, — он увидел за границу живые, потрогал её на ощупь, подышал её воздухом. И часто это бывал спёртый, нечистый воздух, к которому лёгкие Вадима не привыкли. Он видел нарядные, белоснежные виллы на берегу озера Балатон и чёрные, продымленные лачуги на окраине Будапешта; он видел упитанных, багровых от пива венских лавочников и ребятишек с голодными, серыми лицами, просивших у танкистов хлеба; под Пильзенем он видел, как толпа американских солдат избивала чернокожего шофёра, а два офицера стояли поодаль и посмеивались; он видел жалких продажных женщин, оборванных рикш на улицах Порт-Артура и потрясающую нищету китайских кварталов в Мукдене.

Да, многое следовало переделать в этих странах, раскорчевать, вспахать, засеять; многому ещё предстояло научиться людям, живущим за чертой нашей границы.

В Европе окрепло у Вадима решение стать учителем. Оно созревало исподволь, бессознательно, с того горького дня, когда он узнал о гибели отца. Он, Вадим, должен был заменить отца, продолжить его дело. Во время войны дело отца было — воевать, защищать свою землю. Но вот смолкли пушки — мирная жизнь наступила не сразу, но она была теперь близка, и о ней стоило подумать.

Вадиму нравилось работать с людьми, быть всегда в большом, дружном коллективе — то, к чему он привык в армии. Его глубоко волновала сложная и разнообразная жизнь людских масс, тысячи несхожих меж собой судеб и характеров, могучей волей слитых воедино и порождающих в своём единстве волю титанической силы. Мерный шаг идущей в походном строю колонны до сих пор — на третий год военной службы — вызывал в нём почти вдохновенный трепет. Он любил хоровые

солдатские песни и завидовал запевалам. Он завидовал своему полковому командиру, которому солдаты — и он вместе со всеми — верили беспредельно.

Высшим проявлением человеческого гения, казалось ему, был гений вождей, умение внушать людям волю к высокой цели и вести за собой. И теперь Вадим вспомнил слышанные им в детстве слова отца о воспитании людей — новых людей, борцов за коммунизм. Отец говорил, что это дело, вероятно, самое нелёгкое, требующее самого большого упорства, таланта, ума из всех дел человеческих.

Почти год после победы над Японией прослужил Вадим в армии на маленьком, заброшенном в сопках забайкальском разъезде. Его демобилизовали в срок шестом, и он поехал в Москву с твёрдым, окончательно сложившимся намерением посвятить свою жизнь учительству.

Первые месяцы студенческой жизни дались нелегко. Пришлось всё начинать сначала, вспоминать позабытое, приучаться заново — и к учебникам, которые надо было читать, вникая в каждое слово, да ещё конспектировать, и к ежедневным занятиям дома или в библиотеке, и к слушанию лекций, к сосредоточенному вниманию... И всё же не учебные трудности были главными трудностями для Вадима. На первой зимней сессии у него была одна тройка — по английскому языку, весеннюю сессию он сдал хорошо, а на втором курсе уже стал отличником.

Трудности другого порядка осаждали его в первые месяцы студенческой жизни. В педагогическом институте, куда поступил Вадим, девушек было значительно больше, чем ребят, а от этой шумной, юношески весёлой, насмешливой, острой среды Вадим, надо сказать, здорово отвык в армии. Он и раньше-то, в школьные годы, не отличался особой бойкостью в женском обществе и на школьных вечерах, на именинах и праздниках держался обычно в тени, занимал позицию «углового остряка», чем, кстати, сам о том не догадываясь, он и нравился девочкам. Танцевать он кое-как выучился, но не любил это занятие и предпочитал наблюдать за танцующими или — ещё охотнее — подпевать вполголоса хоровой песне.

Придя в институт и сразу попав в непривычный для него, шумный от девичьих голосов коллектив, Вадим сначала замкнулся, напустил на себя ненужную сухость и угрюмость — и очень страдал от этого фальшивого, им самим созданного положения. Из ребят его курса было несколько фронтовиков, остальные — зелёная молодёжь, вчерашние десятиклассники. Но Вадим завидовал этим юнцам — завидовал той лёгкости, с какой они разговаривали, шутили и дружили с девушками, непринуждённой и весёлой развязности их манер, их остроумию, осведомлённости по разным вопросам спорта, искусства и литературы (Вадим от всего этого сильно отстал) и даже — он со стыдом признавался в этом себе — их модным галстукам и причёскам. Вадим целый год проходил в гимнастёрке и только ко второму курсу шил себе костюм и купил зимнее пальто. И стригся он всё ещё под добрый, старый «полубокс» и никак не решался на современную «польку».

Первый год в институте был годом присматривания, привыкания к новой жизни, был годом медленных сдвигов, трудных и незаметных побед и — главное, главное! — был годом радостного, несмотря ни на что, и жадного наслаждения миром, работой, ощущением верно начатого, основного для жизни дела. Иногда на лекции, в читальне, или вечером дома за письменным столом, где он читал газету или перелистывал книгу, а Вера Фадеевна, усталая после работы, дремала на диване, и у соседей тихо играло радио, и с улицы доносились гудки машин и дет-

ские голоса, — внезапно охватывало Вадима ощущение неподдельного, глубочайшего счастья. Ведь как он мечтал сначала в эвакуации, а потом в армии об этом мирном рабочем столе, о книгах, о тишине лекционного зала, обо всём том, что стало теперь повседневной реальностью и буднями его жизни!

Уже ко второму курсу это ощущение полноты достигнутого счастья, сбывшейся мечты стало тускнеть, пропадать и, наконец, забылось. И об этом не следовало жалеть. Новая жизнь пришла с новыми заботами, устремлениями, надеждами. Зато исчезли постепенно и всяческие помехи и затруднения первых дней (над ними можно было теперь посмеяться), все эти ложные страхи, вспышки копеечного самолюбия, неуклюжая замкнутость и угловатость — всё вошло в норму, уравнилось, уютилось, и жизнь потекла свободнее, легче и, странное дело, быстрее.

Вадим по-настоящему стал студентом только на втором курсе — до этого он всё ещё был демобилизованный фронтовик. Он прочно и накрепко вошёл в коллектив и одинаково легко дружил теперь со своими ровесниками и с теми, не нюхавшими пороха юнцами, на которых он когда-то косился и отчего-то им втайне завидовал. Студенческая жизнь с общими для всех интересами уравнила и сблизила самых разных людей и укрепила их дружбой. Вот когда стало легко учиться. Несравнимо легче, чем в первые дни и месяцы. И появился подлинный вкус к учёбе, и уже рождалась любовь к своему институту.

Теперь лучшие минуты, которые проводил Вадим в институте, были не одинокие вечерние занятия в читальне (как ему казалось прежде), а шумные собрания в клубном зале, или весёлые субботние вечера, или жаркие споры в аудиториях, которые продолжались потом в коридорах и во дворе. Лучшие минуты были те, когда он бывал не один.

Во многом помог ему Сергей Палавин. Вадиму повезло, он пришёл в институт вместе с другом, — Сергею не удалось поступить в университет, и он решил, чтобы не терять года, пойти в педагогический.

Серёжка был человеком совсем иного склада. Никаких трудностей, кроме обычных экзаменационных, для него не существовало. Он сразу, удивительно легко и свободно включился в студенческую жизнь, быстро завязал знакомство с ребятами, сумел понравиться преподавателям, а с девушками держался по-дружески беспечно и чуть-чуть снисходительно, и уже многим из них, вероятно, вскружил голову.

Вадим гордился тем, что у него такой блестящий, удачливый друг. В присутствии Сергея он чувствовал себя уверенней, на лекциях старался садиться с ним рядом и первое время почти не отходил от него в коридорах. А Сергей, наоборот, стремился как можно быстрее перезнакомиться со всеми окружающими: с одними он заговаривал о спорте, с другими авторитетно рассуждал о проблемах языкознания, третьим — юнцам — рассказывал какой-нибудь необычный фронтовой эпизод, девушкам улыбался, с кем-то шутил мимоходом, кому-то предлагал закурить... Вадим поражался и даже слегка завидовал этой способности Сергея мгновенно ориентироваться в любой, самой незнакомой компании.

— У тебя, Серёжка, просто талант какой-то! — искренне говорил он другу. — Как ты скоро с людьми сходишься!

— Ну, брат!.. — самодовольно усмехнулся Сергей. — Я же психолог, человека наскрозь вижу. А сходить с людьми, кстати — проще простого... Расходиться вот трудновато.

Сергей часто бывал у Вадима дома, они вместе ходили в кино, на выставки, иногда даже вместе готовились к экзаменам и семинарам, но это бывало редко: Вадим не любил заниматься вдвоём. По существу, у Вадима, когда он вернулся из армии, были лишь два близких чело-

века: мать и Серёжка Палавиз. Из старых школьных друзей в Москве никого почти не осталось, а с теми, которые и были в Москве, встречаться удавалось редко.

Веру Фадеевну Вадим нашёл очень изменившейся — она постарела, стала совсем седая. Работала она помногу, как и прежде, уходила рано утром, приходила поздно. Часто уезжала в далёкие командировки — в поволжские колхозы, в Сибирь, на Алтай. Часто приезжали в Москву её знакомые по работе, зоотехники и животноводы из тех краёв, и останавливались на день-два в их квартире. В большинстве это были люди немолодые, но здоровые, загорелые, простодушно-весёлые и очень занятые. Все приезжали с подарками: кто привозил арбузы, кто мёд, а один ветеринар из Казахстана привёз как-то целый бараний окорок. Днём они бегали по своим делам, приходили поздно вечером, усталые и голодные, и вместо того, чтобы сразу после ужина устраиваться на диване спать, обычно заводили с Верой Фадеевной разговоры до полуночи — о ремонте телятников, травосеянии, о настригах, привесах, удоях... Потом они уезжали, обязательно приодевшись в столице, и если не в новом пальто, то в новом галстуке, с чемоданом московских покупок и гостинцев. И вскоре приходила телеграмма: «Доехал благополучно привет сыну ждём гости».

С матерью у Вадима давно уже установились отношения простые и дружеские. Вера Фадеевна и в детстве не баловала сына чрезмерной лаской, не сюсюкала и не тряслась над ним, как это делают многие «любящие» матери. С юношеского возраста он привык считать себя — потому что так считала Вера Фадеевна — самостоятельным человеком...

Так, в работе, постепенной и упорной, проходили дни Вадима. Вначале, на первом курсе, он занимался, пожалуй, больше, усидчивей и азартней, чем впоследствии, когда студенческая жизнь вошла в привычку, и он научился экономить часы и понял, что на свете, кроме конспектов и семинаров, есть ещё множество прекрасных вещей, которым тоже следует уделять время.

И вот окончился второй курс. Полдороги осталось за плечами, а то, что предстояло, казалось уже нестрашным, не пугало ни трудностями, ни новизной.

И на рубеже третьего курса, в эту пору студенческой зрелости, пришла вдруг к Вадиму любовь. Была она неожиданной и несколько запоздалой — первая любовь в его жизни, и потому много в ней было странностей и несуразностей, и трудно было разобраться Вадиму, что в ней — горечь, и что — счастье...

Глава 3

Вадим барабанил в дверь. Долго не открывали, наконец зашлёпали в глубине коридора войлочные туфли: это Аркадий Львович, сосед, — как медленно!

— Что вы грохочете, Вадим? Пожар?

— Я опаздываю в театр! — радостным и прерывающимся от бега голосом проговорил Вадим. — Через сорок минут. А мне ещё надо к Смоленской площади. Представляете?

— Заприте дверь как следует, — сказал Аркадий Львович, удаляясь. Однако у дверей своей комнаты он остановился и спросил с интересом. — Как вы думаете ехать на Смоленскую площадь?

Аркадий Львович был поклонником всяческой рационализации и особенно в области транспорта. У него всегда были какие-то оригинальные идеи на этот счёт и целая система самых быстрых и экономичных маршрутов в разные концы города, которую он пропагандировал. Зная эту

страсть Аркадия Львовича, Вадим ответил отрывисто и категорично, чтобы сразу кончить разговор:

— На метро.

— На метро? — изумлённо произнёс Аркадий Львович. — Вы с ума сошли! Я вам укажу чудесное сообщение: вы едете до Калужской на любом, идёте через площадь...

— На метро, на метро!.. — сказал Вадим, скрываясь в своей комнате.

Но Аркадий Львович продолжал настойчиво советовать под дверью:

— Вадим! Вы бежите к Парку Культуры, это две минуты, вскакиваете на десятку или «Б»... — дверь отворилась и в комнату просунулась голова Аркадия Львовича, в очках, с чёрной шёлковой шапочкой на бритом черепе. — Послушайте: ровно семнадцать минут...

— Не хочу слушать, я опаздываю! Скажите точно: который час?

— Вы просто безграмотный москвич! — воскликнул Аркадий Львович, рассердившись, и захлопнул дверь. Потом он вновь заглянул в комнату и таким же разгневанным голосом крикнул: — Без двадцати семь!

На письменном столе Вадим увидел записку: «Задержусь на работе, собрание. Если очень голоден, пообедай без меня. Чайник с кипятком под подушкой. Мама».

Хотя он с завтрака ничего не ел, сейчас даже думать о еде не хотелось. Это было странно похоже на приподнятое нервное состояние перед экзаменами. И главное — он опаздывал!

«Какую надеть рубашку: голубую или в полоску, с пристежным воротничком? — напряжённо думал Вадим, расставляя на столе бритвенный прибор. — Голубую, конечно! С воротником закопаешься, эти запонки... А где же билет?

В десятый раз он пугался, что потерял билет, и шарил по всем карманам.

Вадим с минуту разглядывал в зеркале своё лицо — разгорячённое, с красными от мороза носом и щеками и бледными скулами. Темнорусые волосы, примятые надо лбом шапкой, торчат с боков жёсткими густыми вихрами — какой жутовской вид! Надо как-то пригладить их, смочить...

Когда он намыливал щёки, пришёл Сергей.

— О-о! «Надев мужской наряд, богиня едет в маскарад»? Я, кажется, не во-время, — сказал Сергей, остановившись на пороге.

— Ничего, проходи! Раздевайся, — сказал Вадим, не отрываясь от зеркала. — Я уйду в театр. Через десять минут.

— С Леночкой Медовской?

— Да, да.

Он произнёс это «да, да» так равнодушно и будто бы механически, словно это было нечто само собой разумеющееся, хстя на самом деле вопрос Сергея уколол его и удивил: «Откуда он знает?»

— Да-с, с Леночкой Медовской, — повторил он с той же напускной рассеянностью. — А, кстати, как ты угада?

— А Лена вчера говорила кому-то в институте, что ты рыцарски преподнёс ей билет. Я случайно услышал.

— Даже рыцарски?

— Да, но вся грусть в том, что я совсем забыл об этом и пришёл к тебе по делу. Обидно.

— Какое дело? Надолго?

— Десять минут, конечно, не устроят. Ну, ладно... — Сергей вздохнул и стал снимать пальто. Потом он сел в кресло рядом с Вадимом и

вынул из кармана какую-то свёрнутую толстую рукопись. — Это реферат Нины Фокиной о повестях Пановой. Я ведь назначен оппонентом и должен на той неделе выступать в НСО. А реферат тусклый — ой, какой тусклый! Ругать буду.

— Тусклый? Странно. Ведь Нина девица серьёзная, «умнеющая», как выражается Иван Антоныч...

— Да что — серьёзная! Слушай, она взяла своё сообщение, какое мы все делали на семинарах советской литературы, слегка расширила его и преподносит в виде научной работы. Где тут серьёзность? Общие места, фразеология, ни одной своей мысли... А ведь НСО — это как-никак научное общество, пусть студенческое, но научное! Что ни говори, а такими работами смазывается вся идея НСО. Чем оно отличается тогда от наших бесконечных семинаров и коллоквиумов? Ничем! Ты не согласен?

— Н-да... конечно, — ответил Вадим. Он слушал Сергея невнимательно, потому что порезал щеку и теперь всеми силами старался обновить кровь и как-то сделать порез незаметным.

— Я хотел тебе прочитать кое-что из этого «научного» труда и посоветоваться. Ну — услышишь сам на обществе... Выступать я буду резко. И вообще всё это навело меня на очень мрачные размышления.

— Что, о брэнности всего живого?

— Хуже, — Сергей серьёзно покачал головой. — На мне ведь тоже висит реферат, а я и не брался. И никакого желания нет. Стимула нет.

— Это, действительно, хуже.

— Не шути, Вадим. А я начинаю сомневаться — стоит ли дальше тянуть эту резину? Ты уверен в том, что наше общество на самом деле научное?

— Мы должны его сделать таким, — сказал Вадим. — Всё зависит от нас.

Сергей иронически усмехнулся.

— Ты отвечаешь, как на пресс-конференции. По-моему, научное общество должно как-то обогащать науку, а это пока не в наших силах. Мы пересказываем друг другу давно известные науке вещи. Одни пересказывают более грамотно, другие менее грамотно, вот и всё. Получается «Дом пионеров».

— И ты, что же... — сказал Вадим, хватая полотенце и мыло и стремительно направляясь в ванную, — собираешься уйти из общества?

Когда он вернулся из ванной, влажно-раскрасневшийся и взлохмаченный, Сергей ответил:

— Уходить я пока не собираюсь, но считаю, что надо как-то преобразовать всё дело. А вот реферат, если я его буду писать, я постараюсь написать по-другому. Это будет совсем не то. И потребует времени.

— Ну, дай бог. Серёжка, точно — который час?

— Без семи семь... Нет, ты ответь мне: я прав?

— В общем, да. Работа, конечно, идёт не блестяще, — торопливо сказал Вадим. — Ох, я опаздываю! Она уйдёт без меня...

— Может быть, дело в том, — сказал Сергей, — что в общество записалось много лишних людей? Надо оставить самых деятельных, одарённых, а всю бездарную шуштуру, балласт — отсеять безжалостно. Конечно, будут шум, вопли, но это необходимо для пользы дела. Не все же способны к научной работе, в конце концов!

— Да, да... Кинь-ка мне галстук! Лежит под словарём!

Сергей подал ему галстук и безнадежно махнул рукой.

— Нет, ты сейчас невменяем. С тобой невозможно говорить.

— Ничего подобного! Я слушаю очень внимательно, — возразил Вадим. — И, например, не согласен: как ты можешь определить сейчас, кто шушера, а кто не шушера? НСО существует только полтора месяца, многие ещё никак себя не проявили.

— Вот это и плохо. Ну ладно, поговорим завтра, а то ты трясешься от страха, что опоздаешь на минуту. Если б ты так тряся, чтоб на лекцию не опоздать...

— Чудак, она же уйдёт без меня!

Вадим быстро надел костюм и причесался перед зеркалом.

— Ну, как я парень — ничего? — спросил он, зачем-то встав к зеркалу боком.

— Ничего, ничего. Вполне.

— А галстук как? Ничего?

— И галстук ничего. Только никогда не застёгивай пиджак донизу. — Сергей подошёл к нему и расстегнул нижнюю пуговицу. — Однобортный пиджак застёгивается на одну среднюю.

Они оделись и вышли на улицу. Вадим вдруг вспомнил, что забыл взять платок, и Сергей дал ему свой — шёлковый, в яркозелёную и коричневую клетку.

— Ну, всех благ! — сказал Сергей, подмигивая. — Передай Леночке привет от меня.

Лена Медовская училась на литературном факультете педвуза, вместе с Вадимом. До третьего курса Вадим как-то не замечал её, вернее он относился к Лене так же, как и к остальным двадцати трём девушкам своей группы.

Но однажды, осенним днём, он понял, что это было ошибкой. Это случилось совсем недавно, в начале года. И ему самому ещё было не ясно, что произошло: то ли изменилась после летних каникул Лена, то ли он сам стал другим. А может быть, его надумили ребята с чужих факультетов, его знакомые, — так тоже бывает.

Они часто спрашивали его, отведя в сторону: «Что это у вас за дивчина в группе — кудрявая такая, всё время смеётся?» Он догадывался: «А-а, Леночка? Есть такая! — и шутливо предлагал: — Хочешь познакомлю? Чудесная девочка, весёлая, поёт замечательно». Потом он стал сдержанней: «Это Лена Медовская. Между прочим, неплохая девушка». И совсем равнодушно в последнее время: «Кто? А, это отличница наша, Медовская, член редколлегии».

С театром всё получилось неожиданно. На прошлой неделе Лена и Вадим оставались делать курсовую стенгазету — Вадим был главным художником газеты, а Лена возглавляла сектор культуры и искусства.

Одна из девушек рассказывала о спектакле, который она недавно видела в театре оперетты.

— Я так смеялась, девчата, просто безумно! И всё время боялась, что завтра буду целый день плакать. И не плакала — удивительно, правда?

Редактор газеты Максим Вилькин, или попросту Мак, худой остролицый юноша в очках с толстыми стёклами, всегда ходивший в синем лыжном костюме, поднял от стола кудрявую голову.

— В таком случае, Лена хитрее всех нас. Она смеётся целыми днями — ей просто некогда плакать.

— Что ты, Мак?! — воскликнула Лена со смехом. — А над твоими остротами? Это же чистые слёзы! Ох, мальчики, плохо острить вы умеете, а никто вот не догадается купить билет в театр, пригласить своих — ну, скажем, подруг по учёбе. А? Вы не бледнейте, это можно в календарный план внести, как культмассовую работу. И для отчёта пригодится.

— А мы не бледнеем, — сказал Вадим, который, лёжа на полу, рисовал карикатуру. — Вот возьмём да и купим!

— А вот слабó!

Спустя мгновение Вадим поднял голову и увидел, что Лена смотрит на него. Он задержал свой взгляд в её глазах — яснокарих и как-то серьёзно поддразнивающих — немного дольше, чем этого требовала шутка. И усмехнулся своему внезапному решению.

На следующий день в городской кассе Вадим купил два билета на ту самую вещь, о которой говорили.

— Вот твой билет. На субботу, — сказал Вадим на другой день, пойдя к ней в коридоре института.

Лена ничуть не удивилась.

— Серьёзно? Вот молодец! — она даже рассмеялась от удовольствия. — Сколько я тебе должна?

— Ничего, пустяки.

— Какие пустяки? Ты покупал билеты?

— Нет, ну... Ничего ты мне не должна.

Лена решительно качнула головой и протянула билет обратно.

— Тогда я не пойду. Новости ещё!

— Ну, хорошо... — Вадим вдруг смутился. Он подумал, что, может быть, надо уменьшить цену, но потом решил, что это будет вовсе глупо. — Билет стоит восемнадцать рублей. Я думал, что лучше поближе...

— Чудесно! Я тебе отдам в стипендию — согласен?

Ну конечно, он был согласен!

— Я так рада, Вадим, — сказала Лена, улыбаясь. — Правда! Я давно не видела ничего весёлого.

...И вот он стоит, запыхавшийся и не очень смелый, с только что зажжённой папиросой в зубах, перед знакомой дверью. Он был у Лены однажды по делам стенгазеты. Но тогда... тогда-то он ни о чём не думал и трезвонил в квартиру, как к себе домой.

Ему открыла мать Лены, Альбина Трофимовна, миловидная и ещё не старая женщина с белокурыми косами, уложенными вокруг головы короной, — эта причёска ещё более молодила её, — и с очень чёрными ресницами.

— Здравствуйте, здравствуйте! — сказала она, приветливо улыбаясь. — Снимайте пальто, Вадим, проходите. А Леночка только встала, спала после обеда.

— Как? Она ещё не готова?

— Не беспокойтесь, Леночка умеет очень быстро собираться. Не в пример другим девушкам.

Пока Лена с помощью Альбины Трофимовны одевалась в своей комнате, Вадим сидел на диване в столовой и перелистывал свежий номер «Огонька» — не читалось. Он отложил журнал. Он был взволнован — но вовсе не тем, что грозило опоздание в театр, и надо бы, наверное, уже ехать в метро, а Лена всё ещё наряжалась... Нет, он и думать забыл о часах. Пристально и внимательно оглядывал он эту комнату с нежно-сиреневыми обоями и лёгким, как облако, розовым абажуром над столом, тяжёлый буфет, пианино, на котором выстроилась целая армия безделушек и лежала, заложённая ленточкой, книжка в старомодном, с мраморными прожилками, переплёте — Вадим издала прочитал: Данилевский. «Наверное, Альбина Трофимовна увлекается, — подумал он, — Лена говорила, что её мать очень много читает, и особенно любит историческое». И Вадиму почему-то понравилось то, что Альбина Трофимовна увлекается Данилевским (хотя узнал бы он это о своей матери —

наверно бы посмеялся), и вообще она показалась ему приятной, образованной женщиной, и счень красивой — похожей на Лену.

Всё в этой комнате, до последней мелочи, казалось Вадиму необычайным, исполненным особого и сокровенного смысла. Ведь здесь живёт Лена, здесь она завтракает по утрам, торопясь в институт и поглядывая на эти часы в круглом ореховом футляре, и вечером сидит за чаем, и лицо её — смугло-розовое от абажура, здесь она играет на пианино, читает, забравшись с ногами на диван, — вот так же сидит она в институте на подоконнике, поджав ногу... И Вадиму никуда вдруг не захотелось уходить отсюда — зачем этот глупый театр, что в нём? — он с радостью отдал бы оба билета Альбине Трофимовне, лишь бы остаться здесь, побыть хоть немного с Леной вдвоём.

В это время из соседней комнаты раздался весёлый, повелительный голос Лены:

— Вадим! Можешь войти!

Он машинально взглянул на часы — прошло пятнадцать минут, на первое действие они безусловно опоздали.

Лена стояла перед зеркалом в длинном темнозелёном платье, оттенявшем нежную смуглость её обнажённых рук и открытой шеи. Она казалась в нём выше, стройнее, женственней. Вадим, удивлённый, остановился в дверях — он и не знал, что она такая красивая.

— Вадим, скорее советуй! Что лучше: эта брошка или ожерелье? — она повернулась к нему, приложив к груди круглую гранатовую брошь, и кокетливо склонила голову набок. — Ну, хорошо?

Глядя не на брошку а на её светлое и радостное лицо, Вадим сказал убеждённо:

— Хорошо, очень хорошо, но первое действие погибло.

— Так я же давно готова! — воскликнула Лена, беря с подзеркальника флакон духов и капая себе на ладонь. Она быстро провела ладонью по груди, потом капнула ещё и так же быстро пошлёпала себя за ушами.

— За ушами дольше держится, знай, — объяснила она деловито. — Тебя подушить?

— Нет, не люблю.

Наконец они оделись, попрощались с Альбиной Трофимовной и вышли на улицу. К подъезду вдруг подкатила «Победа», остановилась, и из машины быстро вышел человек в широком чёрном пальто и в шляпе. Лена подбежала к нему.

— Папка! Можно нам доехать до Маяковской? Мы опаздываем в театр, а это Вадим Белов из нашей группы, познакомься!

Человек в шляпе молча пожал руку Вадиму и сказал без особого сочувствия:

— Опаздываете в театр? Это неприятно... Я не знаю, спросите у Николая Фёдоровича, если он согласится — пожалуйста. Если у него есть время.

Вадим как будто почувствовал в его тоне сдержанное неодобрение, и ему показалось даже, что Медовский поздоровался с ним не слишком дружелюбно. Лена принялась уговаривать шофёра, называя его «Коленькой» и «голубчиком», и дело решилось в две секунды.

Они быстро сели на заднее сидение. Вадим захлопнул дверцу, и машина понеслась. Замелькали освещённые окна, фонари, неразличимые лица прохожих... На повороте их качнуло, и Лена на мгновение прижалась к Вадиму и вскрикнула засмеявшись: «Ой, Коленька, осторожней!» А Вадиму хотелось сказать, чтобы Коленька только так и ездил и как можно дольше не подъезжал к театру.

Через несколько минут машина остановилась перед театром, и Вадим и Лена с третьим звонком влетели в зрительный зал.

И вот они уже сидят в партере, близко от сцены. Занавес ещё не поднят. В зале шум, скрип кресел, шмелиное гудение разговоров — всё это понемногу стихает. Касаясь плечом Вадима, Лена разглядывает в бинокль ложи.

— Знаешь, я люблю смотреть на людей в театре, — говорит она вполголоса, — и угадывать: кто они такие, как живут? Это очень занятно... Правда? Вот, например... — Лена вместе с биноклем придвинулась к Вадиму и заговорила таинственно: — Вон сидит молодой парень... рабочий, наверно... Это его премировали билетом, да? Потому что он один... А вон студентки болтают, справа — видишь? Обсуждают кого-нибудь из своей группы. Вроде нас, мы тоже — соберёмся и давай обсуждать... Наверно, с биофака МГУ, у них там все в очках.

Люди из переднего ряда стали оборачиваться на Лену, одни с любопытством, другие осуждающе. Но все, кто оглядывался на неё, не сразу отводили глаза — мужчины особенно долго и внимательно смотрели ей в лицо, а женщины изучали, главным образом, платье. Лена точно не замечала всех этих взглядов, а Вадим испытывал чувство некоторой неловкости и одновременно — гордости. Ему было приятно сидеть рядом с этой красивой девушкой, на которую все обращают внимание.

— Фантазёрка ты, — сказал он, кашлянув в ладонь. — На тебя уже солидная публика оглядывается.

— Почему, кто? Ну и пусть! — сказала Лена беспечно и заговорила громче: — Знаешь, я хотела бы иметь много-много друзей, как в этом зале. И от всех получать письма...

Она не договорила, потому что потух свет и стал подниматься занавес. В оркестре что-то зазвякало и зашипело — очевидно, изображался поезд, потому что сцена представляла собой вокзал. Лена закончила шёпотом:

— ...получать письма, ездить к ним в гости. И встречать их в Москве на вокзале... Я так люблю встречать!

Вадим взял руку Лены и сжал её в тонком запястье.

— Вадим! Что это значит? — спросила Лена строго и довольно громко.

В переднем ряду зашикали. Вадим пробормотал, смутившись и радуясь темноте:

— Я, просто... надо уже смотреть...

На сцене произошло что-то смешное — в зале смеялись, на балконе кто-то даже аплодировал. Вадим не понял, в чём дело, и всё первое действие он понимал плохо, потому что смотрел на сцену, а думал о другом. Там кричал и суеился какой-то толстячок в узеньких штанах, каждое его слово зал встречал хохотом. Два красавца — один усатый, а другой с бакенбардами, ухаживали за высокой блондинкой с гордым лицом.

— Ведь она же старуха! Это не её роль! — прошептала Лена. — Какие у неё костлявые руки, смотреть противно!

Вадим кивнул, хотя блондинка вовсе не казалась ему старухой, — наоборот, она казалась ему изящной, очаровательной женщиной. Потом он понял, что по-настоящему любит её только бедный юноша, аптекарь, который стоял всё время в стороне и молчал. В пьесе было много смешного, но Вадим всё никак не мог сосредоточиться и понять, над чем смеются. Он в смятении думал о том, каким тупицей он, должно быть, выглядит со стороны. Лена хватала его за руку от смеха. На глазах её были слёзы. Она вытирала их платочком, а потом вдруг начинала махать им, обдавая Вадима нежной волной духов.

И Вадим был занят тем, что во-время подставлял Лене руку. Только один раз он расхохотался довольно удачно, но как раз в этот момент зал вдруг затих.

Ему было жарко. Душно пахло деревом декораций и густой смесью разных духов, витающих над залом. Когда окончилось действие, они пошли в буфет, и Вадим купил два пирожных и бутылку фруктовой воды. Лена, весёлая, улыбающаяся, напевала только что услышанные мелодии и спрашивала оживлённо:

— А как тебе сцена на перроне понравилась? А как полковник — правда, хорош?..

Потом они ходили по фойе и рассматривали фотографии артистов. Лена знала почти всех — кто когда начал, где играл прежде, кого в чём надо смотреть. Вадим был позорно малосведущ в этой области и почувствовал облегчение, когда зазвенел звонок.

В последних действиях Вадим уловил несложный водевильный сюжетец пьесы. Оба красавца строили коварные планы против блондинки. Она ничего не подозревала и любила одного из обманщиков — с бакенбардами. Толстяк в узеньких штанах, её отец, тоже был слеп и — добрый, смешной человечек! — любил обманщиков, как детей. Но вот всё раскрылось! Старик разорён, дочь обманута...

Вадим смотрел на сцену, следил за действиями героев, но у него было такое чувство, словно всё это он видит во сне; и люди на сцене — из сна, воздушные, ненастоящие, и он сочувствует им и горячо их любит не за их нелепые, смешные страдания и вымышленную любовь, а за то, что они каким-то необъяснимым образом изображают его собственные чувства, которые переполняли его теперь. Он смотрел на блондинку с гордым лицом, и она казалась ему прекрасной, потому что на её месте он видел Лену. И когда бедный одинокий аптекарь ушёл ночью от любимой, которая не поверила ему, и прогнала прочь, — Вадим вдруг почувствовал, что к горлу его подкатил тёплый ком и в глазах зарыбило.

Но конец был счастливым, и снова толстячок всех смешил, и Вадим смеялся вместе со всеми.

Его только угнетала мысль, что после всего этого яркого и весёлого он сразу покажется Лене очень скучным, будничным. О чём они будут говорить?

Когда всё кончилось, как обычно вызывали артистов, но Вадим уже потерял всякий интерес к ним. Он покорно стоял в проходе и хлопал, безучастно глядя на артистов, которые со страшно озабоченными лицами убегали со сцены и тут же возвращались, скромно и сладостно улыбаясь.

— А всё же пустая вещичка, — сказала Лена, когда они вышли на улицу. — Сегодня смеялись, а завтра и не вспомним, над чем. И музыка средняя.

— Да, — согласился Вадим. — В общем чепуха.

Он поехал на метро проводить Лену. Оба долго молчали.

— Вот так всегда, пересмеёшься, а потом грустно отчѐго-то... — сказала Лена, зевнув.

У неё был усталый вид, и она то и дело закрывала глаза, покачиваясь на мягком сиденье вагона. Вадим искоса поглядывал на неё. Она казалась ему ещё красивее теперь — побледневшая, с длинными тяжѐлыми ресницами. Когда они вышли на площадь, Вадим сказал фразу, которую долго обдумывал в метро:

— Мы должны пойти с тобой на что-нибудь серьёзное.

— Да, — Лена кивнула и переспросила: — Что?

— Я говорю: нам надо пойти на что-нибудь серьёзное. Во МХАТ, в Малый...

— Аа... Да, только времени теперь не будет. Коллоквиумы начались. У нас в понедельник Козельский?

Вадим кивнул.

— Я его так боюсь! Он придирается ужасно. И вообще он смотрит на нас свысока — ты заметил? Как на героев посредственного писателя. Лагоденко до сих пор ему не сдал?

— Нет.

— Вот видишь! Я так боюсь...

— А ты не бойся. Он к девушкам не придирается.

Снова замолчали.

— Ты, Вадим, странный стал на третьем курсе, — сказала вдруг Лена, — раньше такой простой был, всегда шутил. А теперь каким-то молчаливником стал. И со мной держишься, как новичок. Что с тобой, а?

— Это тебе кажется.

— Да нет! И Серёжа заметил, мы с ним как-то говорили... А уж он-то тебя знает, слава богу!

Вадим не ответил. Он с тревогой и удивлением убеждался в том, что не находит слов для продолжения разговора. И вообще не находит слов — какая-то неуверенность, робость сковывала его движения, мысли, слова. Молча он злился, называл себя мальчишкой, но преодолеть это дурное и раздражавшее его состояние не находил в себе сил.

— Да, Сергей тоже это заметил, — повторила Лена. — Он даже высказал одно предположение... конечно, глупое...

Лена умолкла, закусив губы, как будто в замешательстве, но Вадим чувствовал, что она умолкла намеренно, ожидая, что он заговорит на эту тему или, по крайней мере спросит: что за предположение высказал Сергей?

Однако Вадим сказал:

— Кстати, тебе привет от него. Он заходил сегодня ко мне.

— Спасибо... Он часто к тебе заходит? Вы, кажется, друзья детства?

— Да, ещё со школы.

— Как хорошо — учиться вместе в школе, потом в институте, потом работать вместе! Он, наверное, настоящий твой друг, — сказала Лена задумчиво.

— Серёжка? Ещё бы! Конечно, настоящий! — Вадим почувствовал неожиданное облегчение и прилив энергии, он заговорил горячо: — Знаешь, мы с ним встретились два с половиной года назад как раз возле этого театра, где мы были сегодня. В тот день я только что приехал в Москву, бродил по городу, и вот мы встретились. Совершенно случайно — понимаешь?

— Представляю, как вы обрадовались!

— Мало сказать — обрадовались! Ошалели! От неожиданности, радости, от всего этого... — Вадим засмеялся, покачал головой. — Вообще, тот день мне запомнится на всю жизнь... Сергей хотел поступать в МГУ, на филологический.

— Я знаю.

— Да, туда он не попал и, чтобы не терять год, решил итти вместе со мной. Он очень способный человек! Он будет большим учёным, я абсолютно в этом уверен. Ты знаешь, какая у него память? Он может прочесть один раз хронологический список в нашем учебнике по всеобщей истории — и сразу повторить его наизусть! Представляешь? Серьёзно! Ведь два языка он знает в совершенстве, а сейчас изучает третий — французский. Язык для него пустяки...

— Правда? — с интересом спросила Лена. — Какой молодец...

— Да, да. И потом он вообще талантлив — он и стихи пишет, а в школе писал и прозу, рассказы. И очень удачно. Ты читала его стихи в стенгазете?

— Читала, мне понравились. Насчёт Уолл-стрита?

— Да, политические. Но у него есть и лирика. И потом, Сергей технически образован, он работал во время войны техником по инструменту. В научном институте — это не шутка! Недаром ему два года броню давали. Нет, Серёжка определённо талантлив, и многосторонне. Он и спортсмен...

Вадим долго и с искренним увлечением говорил о Сергее. Он превозносил его начитанность, остроумие, знание наук и искусств, его характер и практический ум — и хотя сам Вадим уже начинал понимать, что берёт лишку, и тревожно предчувствовал в этом разговоре смутную опасность для себя, он почему-то не мог остановиться. И продолжал, доставляя себе странное удовольствие, наделять друга всё новыми качествами и добродетелями.

Лена слушала его очень внимательно.

— Я где-то читала, что русский человек, если ему нечем похвалиться, начинает хвалиться своими друзьями, — вдруг сказала она, улыбнувшись, — я шучу, конечно! А в детстве вы так же дружили?

— Ну, ещё бы! У нас была масса историй, приключений. Мы ходили с ним в туристические походы, лазили по пещерам, один раз чуть не заблудились в старых каменоломнях, вообще... Много было всего!

— А я в детстве любила дружить с ребятами, у меня все друзья были мальчишки. А девчачьи игры, всякие сплетни, пересуды, эти «дочки-матери», «молву» я прямо терпеть не могла!

— Это, кстати, все девушки говорят, — сказал Вадим.

— Почему ты так думаешь? Наоборот, другие очень любят...

Лена обиженно умолкла. Они уже долго шли по широкой, пустынной в этот час улице, которая блестела под фонарями тускло, как заледевшая река. К вечеру ударил морозец, на тротуарах образовалась гололедь, и идти было скользко. Вадим вёл Лену под руку.

— А у Сергея, между прочим, красивое лицо. Тонкое, — сказала Лена, — хотя для мужчины это не главное.

Вадим усмехнулся:

— Спасибо. Ты великодушна.

— Вадим, ты начинаешь говорить глупости! — строго сказала Лена.

Они вошли в переулочек и остановились перед двухэтажным домом. В окне за оранжевым тюлем горел свет.

— Ну, вот и пришли! Мама не спит, ждёт меня.

Они стояли у подъезда — Лена на ступеньке, он внизу. Её лицо неясно светлело в темноте, и пепельно-русые волосы, выбившиеся из-под шапочки, казались совсем чёрными. Вадим словно ждал чего-то. И как в дремоте — не мог ни шагнуть к ней, ни уйти...

— Я очень рада, что мы пошли с тобой, — сказала Лена тихо и протянула ему руку.

— Пошли или пришли?

Лена не ответила и покачала головой. Она улыбалась. Вадим не различал её улыбки, но чувствовал, что она улыбается, и даже знал как: верхняя губа чуть вздёрнута, зубы тонко белеют, и среди них один маленький серый зуб впереди.

— Правда, Вадим, очень... — она сказала это совсем тихо.

Он всё ещё держал её руку в своей. И так они стояли — на одно мгновение потонувшие в бездонной ночной тиши переулочка.

— А что для мужчины главное? — пробормотал Вадим и вдруг обнял Лену за плечи, с силой привлёк к себе. Она прижалась к нему на секунду, пряча лицо, но сразу упёрлась ладонями в его грудь и откинула голову.

— Нет, это тоже не главное, пусти! — быстро прошептала она, — Не надо, Вадим! Мы же друзья, правда?

— Конечно, друзья, Леночка...

— Ну вот, а это... это другое. И так не бывает, нельзя, понимаешь? — она говорила всё это шёпотом, и так мягко и убеждающе, словно разъясняла что-то ребёнку. — Это не бывает так просто, сразу...

— Почему же сразу? — тоже шёпотом и растерянно спросил Вадим. — Мы знаем друг друга третий год.

Но руки его уже разжались. Лена выпрямилась и, стоя на верхней ступеньке, поправляла шапочку. Он смотрел снизу вверх в её улыбающееся лицо, которое отчего-то ещё больше потемнело — от смущения или от мороза?

— А ты, оказывается, сильный... Ну, до свиданья! До послезавтра!

— Лена!

Но она уже вбежала в подъезд и на лестницу. Вадим подошёл к дверям.

— Лена, но мы пойдём на что-нибудь серьёзное?

— На что-нибудь серьёзное? — Лена помолчала, остановившись на ступеньках, и вдруг сказала весело: — Ну, безусловно, Вадим! Как только сдадим коллоквиум, пойдём хотя бы в Большой. На «Раймонду» — пойдём?

Вадим кивнул. Лена помахала ему рукой и скрылась за поворотом лестницы. А в морозном воздухе подъезда остался томительный, нежный запах её духов, который — Вадим теперь знал это — может держаться очень долго, если с ними обходиться умело.

Глава 4

— Когда я вижу, что на моей лекции засыпает студент, я повышаю голос, чтоб разбудить нахала! — вдруг слышит Вадим рокочущий бас. Это излюбленная шутка Кречетова.

Он вскидывает голову — голубые, хитро прищуренные глаза Кречетова смотрят на него, и все студенты тоже обернулись к нему, смеются.

— Что вы, Иван Антоныч? Даже не думал, — говорит Вадим смущённо. — «Трагедии Пушкина явились воплощением его мысли о...» — пожалуйста!

— Ну-ну, — Кречетов кивает головой, от чего его очки на мгновение пронзительно и ядовито вспыхивают. — Допустим, это вам приснилось. Шучу, шучу. Ну-с, дальше...

Кречетов ведёт спецкурс по Пушкину. Записывать за ним невозможно: он говорит быстро, горячо, стремительно перебрасываясь от одного образа к другому. Следить за ним трудно и увлекательно. Однако Палавин, сидящий перед Вадимом, всю лекцию что-то неумоимо пишет. Вадим заглядывает через его плечо, — длинные листы исписанной бумаги, над одним жирная надпись печатными буквами: «Глава первая». А он же говорил на днях, что начал писать какую-то повесть!.. Зачем он принёс её в институт? Сергей изредка оборачивается к окну, покусывая ногти, думает. Лицо у него необыкновенно озабоченное.

Староста курса — толстая, пучеглазая Тезя Великанова — пересылает Вадиму записку: «Вадим, скажи своему другу, чтобы он не грыз ногти. Очень неприятная привычка». Вадим пожимает плечами — какая

чепуха! Только слушать мешает. Эта толстая Тезя строит из себя классную даму, всем делает замечания.

Вадиму любопытно знать: что это за новое увлечение у Сергея — повесть? О чём она? В глубине души ему не очень-то верится, чтоб у Серёжки открылся вдруг писательский талант. И всё же... Серёжка такой человек, что от него всего можно ожидать. Однако на расспросы Вадима Сергей отвечал уклончиво: «Потерпи, брат! Скоро, скоро узнаешь...»

В перерыве Вадим спрашивает у Сергея:

— Ну как, закончил «Войну и мир»?

— Нет, что ты! Я принёс первую главу, хочу отдать нашей машинистке перепечатать. Но там надо было кое-что доделать, отшлифовать, а я вчера не успел. Вот и пришлось на лекции, к сожалению. Ты же знаешь, как я люблю Ивана Антоныча...

Подошла Лена. Она сегодня в новом платье и волосы уложила по особому, с большим бантом сзади. Она стала похожа на десятиклассницу.

— Кто закончил, какую главу? — спрашивает она живо.

— Сергей повесть пишет.

— Ты, Серёжа! Ой, как интересно! О чём, о войне?

— Нет, Леночка.

— А о чём же? Или это секрет?

— Нет, это вовсе не секрет. Но дело в том, что повесть далеко не кончена, что выйдет — неизвестно. Может быть, и ничего не выйдет.

— Почему это?

— Ну, почему... — Сергей скромно улыбается и разводит руками. — Талант нужен, Леночка. А шут его знает, есть ли он? Вот я и не говорю раньше времени.

«Ишь, как скромн! — думает Вадим, усмехаясь. — А сам, небось, уверен, что талант у него есть». Ему вдруг хочется подшутить над новоиспечённым писателем. Он подмигивает Лене и говорит серьёзно:

— А ты заметила, с каким подъёмом читал сегодня Иван Антоныч? Шутка ли, даже Палавин стал записывать!

— Правда? А он писал свою повесть? — Лена смеётся. — Нет, а я действительно хочу почитать. Может быть, ты станешь когда-нибудь великим писателем, лауреатом, будешь разъезжать по разным странам...

К Лене подбегают несколько девушек и сразу начинают говорить очень громко, торопливо и все вместе. Громче всех, конечно, Люся Воронкова — голос у неё крикливый, пронзительный, тонкие руки так и мелькают в воздухе.

— Лена, ты записываешь Кречетова?

— Да, немного.

— Вот видишь! Это просто ужасно. Я его очень люблю, но подумай сама — нам же его сдавать! Этот фейерверк, сравнения, импрессионизм какой-то...

— Да-да, Люся, правда! У меня пальцы отнялись...

— Лекции слушают мозгами, а не пальцами, — говорит Ница Фокина, плотная, широколицая девушка в роговых очках.

— Ах, как умно! Не все же такие гении, как ты.

— Вот Козельский читает, — говорит Воронкова, — и не спецкурс, а общий курс, и — пожалуйста! Всё ясно, определённо...

— Разжёвано, да? — перебивает Фокина. — Ивана Антоныча с Козельским даже сравнивать нельзя!

— А сдавать? А сдавать как?

— Девочки, вы не правы, — говорит Лена. — Мы же не в школе,

верно? Пушкин родился в 1799 году, умер в 1837. У него была няня, он учился в лицее, и так далее... Иван Антоныч предполагает, что мы достаточно знаем и биографию Пушкина, и его творчество. Он разговаривает с нами, как со своими коллегами.

В разговор ввязывается Сергей:

— Что вы галдите? Если для вас Кречетов не понятен, это факт вашей биографии. Зачем же весь курс тянуть назад?

— Конечно, — говорит Вадим.

Раздаётся звонок, и в аудиторию входит Кречетов с группой студентов, продолжая с ними начатый ещё в коридоре разговор.

— А ты, Вадим, молчи! — кричит Воронкова, отбегая к своему месту. — Ты-то, ясно, будешь Леночке подпевать!

Вадим хмурится, краснеет, бормочет что-то невнятное о «бестолковых кликушах» и садится.

Зимнее утро сумеречно, как вечер. В аудитории жидкий электрический свет, его потушат после второго перерыва, когда посветлеет.

«Я? Нет. Я звал тебя, и рад, что вижу.

...Я гибну — кончено. О, донна Анна!»

(Проваливаются.)

Вадим много раз, и в детстве и недавно, перечитывал эту пушкинскую трагедию, и всегда её последнее слово — «проваливаются» — звучало для него неожиданно иронически. Теперь он ощущает вдруг глубокий смысл этого конца. Дон Гуан «проваливается» оттого, что впервые в жизни полюбил! А он — неизменный счастливчик и герой бесчисленных лёгких побед — не имел права на счастье. Он должен умереть. Вадим представляет себя на месте Дон Гуана. В то мгновение, когда руку его сжимает каменная рука командора, он даже видит своё лицо: бледное, искажённое смертельной тоской и страхом. Да, бесстрашный и всегда улыбающийся перед лицом смерти Дон Гуан дрожит от страха за свою жизнь... А как несчастна эта жизнь, и как одинока! Никто не видит её конца. Даже Донна Анна: она, кажется, упала в обморок...

Лена изредка что-то записывает. Лица её не видно. Белый бант отсвечивает холодной синевой окна. Он так аккуратно разглажен, этот единственный на курсе бант. «Дон Гуан Пушкина — это человек страсти, это не мольеровский волокита...» О чём она думает сейчас? Локти её, круглые и полные, так спокойно лежат на столе. Вот она обмакнула перо, сняла с него волосок, вытерла пальцы о промакашку. Ведь о чём-то она думает?

Вадим держал портфель Лены, пока она надевала боты и шапочку. Потом он помог ей надеть пальто. Лицо её покраснело оттого, что она долго стояла нагнувшись и кровь прилила к щекам.

— Ну вот, спасибо, — сказала она, натягивая перчатки и внимательно на их разглядывая. — Здрасьте, уже рваться начали.

— Перчатки? — спросил Вадим.

— Ну да! Папка купил, какую-то дрянью... Вы, мужчины, ничего не можете толком купить! — Лена шутливо ударила Вадима перчаткой и сказала назидательно: — Учти, когда женишься, сам ничего жене не покупай! Только конфеты и билеты в театр.

— Так точно-с, учту-с! — сказал Вадим, выпучив глаза и козыряя. — А кого же она, в таком случае, пилить будет за плохой товар? Это ж для неё полное неудобство...

Шутливый тон разговора был Вадиму в тягость. Он отдалял его от Лены, а ему надо было заговорить серьёзно. Этим пустым фатовским языком почему-то было принято болтать с девушками, но Вадиму никогда не удавалось это искусство. А с Леной и вовсе выходило фальшиво, грубо. Когда они вышли из ворот, он сказал:

— Можно посмотреть сегодня новую картину. В газетах хвалят. Сценарий, между прочим...

— Да, я знаю, — сказала Лена. — Я её видела на просмотре, в Доме кино.

Они прошли несколько шагов молча. Потом он сказал, уже без всякой надежды:

— Я так давно не был в Пушкинском музее...

— И я, — сказала Лена.

— Нам велели сходить туда по курсу Возрождения.

— Я бы с удовольствием, Вадим, но я сегодня занята. Я не смогу.

— Занята, — повторил он машинально, не зная, о чём ему теперь говорить.

— У меня что-то голова разболелась, — сказала Лена, томно вздохнув. — В аудитории ужасно топят...

Вадим усмехнулся.

— Ты видела её на просмотре. Ты сегодня занята. У тебя что-то разболелась голова, и, наконец, — в аудитории ужасно топят.

— Ну и что? Зачем ты меня цитируешь?

— Просто так, из любви к анализу.

— Глупо! — Лена пожалала плечами. — Если ты вздумал обижаться, это очень глупо... Сегодня я занята, пойдём в субботу. Ну, в субботу — хорошо?

Её правдивые, яснокарие глаза стали вдруг очень серьёзными, на мгновение почти испуганными. И он глядел в них уже примирённый, всё простивший за это одно мгновение. Вот чего не могли бы сделать никакие слова.

— Ну? Хорошо? — настойчиво повторила Лена и тронула его за руку.

— Хорошо, — сказал он и улыбнулся. — Кстати... Если бы мы пошли в кино, у меня бы на обед нехватило.

Между первой и второй сменой в столовой обычно часы пик. Весёлая теснота, пахнущая паром и котлетами. Бодрый обеденный шум, беготня официанток. С разных сторон разговоры: о зимней сессии, которая вот-вот, о ссревнованиях по боксу, о последнем романе Федина, о том, что Трумэн всё же лучше Дьюи, о том, что оба прохвосты, о Новом годе, о Курильских островах, о мухе-дрозофиле, о любви и о мясных тефтелях.

В громкую русскую речь вплетаются мягкий украинский говор, гортанный смех и голоса кавказцев. За одним из столиков сидит группа молодых албанцев, поступивших в этом году на первый курс. Они говорят о чём-то весело, очень быстро и все сразу — кажется странным, что они понимают друг друга. Потом к ним подсаживается русская девушка, и голоса албанцев сразу стихают — они старательно и медленно выговаривают русские слова, помогают один другому и больше смеются, чем говорят.

Вадим и Сергей пришли в столовую, как обычно, вместе. Они подсадились к столику Кречетова. Рядом с профессором сидел Се Ли Бон — юноша-кореец со второго курса, худенький, большоголовый, со смуглым серьёзным лицом. Он уже кончил обедать и разговаривал с Кречетовым, держа на коленях толстую пачку книг. Увидев Вадима и Сергея, Ли Бон поспешно поднялся.

— Садитесь, товарищ, я кончился,— сказал он, вежливо улыбаясь,— пожалуйста, до свиданья!

— Чудесный малый, этот Ли Бон! — сказал Кречетов, глядя ему вслед. — Вы помните, в прошлом году он не знал по-русски ни слова. А теперь уже Пушкина читает, Горького. Удивительно упорный человек. Он прочёл недавно «Полтаву» — сейчас расспрашивал меня о Петре, о Мазепе. У нас, говорит, тоже есть Мазепа — Ли Сын Ман, но мы его всё равно бросим в море, как собаку. Он — «продаватель народа». И так он, знаете, грозно и с гневом это сказал, что я даже не поправил его. А что ж — слово выразительное, не правда ли? — Иван Антонович обратился к Сергею: — Ну-с, а как поживает ваш реферат о Гейне?

Сергей сказал, что реферат «поживает прекрасно» и будет готов через две недели. Работать ему трудно, времени нехватает, но реферат будет готов в срок. Он сказал это серьёзно и с таким убеждением, что Вадим удивился про себя: «Ведь он говорил недавно, что ещё не брался за работу, и никакого желания нет».

— Пospешайте, Палавин, поспешайте, чтобы кончить до сессии, — говорил Кречетов. — «Гейне и фашизм» очень серьёзная тема, я бы сказал — философская. Вы у Нины Аркадьевны консультируетесь? Обратите внимание на высказывание Гейне об Америке в «Людвиге Верне» — он говорит о расизме в этой «богом проклятой стране». Обязательно найдите это место! А главное, будьте смелее, делайте обобщения, не копайтесь в пустяках. Это беда начинающих — вы пьянеете от бытовых мелочей, мемуарного хлама, анекдотов. Это всегда уводит. А вы держитесь магистрали. У вас получится, я в вас верю! — он ободряюще хлопал Сергея по плечу. — Ну-с, я покидаю вас, юноши. Заседание кафедры в три часа, опаздываю. Да, а у вас как с рефератом, Белов?

— Я, вероятно, не успею до Нового года, — сказал Вадим.

— Что так?

— Не успею, Иван Антоныч.

— Не успеете? А жаль. Я на вас надеялся. Ну, мы ещё поговорим! — Иван Антонович сурово погрозил пальцем и, взяв портфель, пошёл к выходу. Портфель его всегда был так набит, что замок не закрывался, и Иван Антонович носил портфель подмышкой.

— А почему, собственно, ты не успеешь? — спросил Сергей.

— Я всегда работаю медленно, ты же знаешь.

Да, он работал медленно, упорно и кропотливо, постепенно подчиняя себе материал, — и не умел иначе. Сам себя он называл тугодумом, и ему казалось, что его метод и стиль слишком тяжеловесны, скучны, обыкновенны, что он никогда не сумеет в своих работах блистать лёгкостью языка, полемическим задором, неожиданной и остроумной мыслью — всем тем, чем отличался Сергей.

И однако Вадим сказал не полную правду. В последнюю неделю он работал более чем медленно, дело совсем застопорилось. Он слишком много думал о Лене. Как только он оставался один и садился дома за стол, он начинал думать о Лене. Если бы каждый день он не встречался с нею в институте, ему было бы легче. Вот и сейчас Сергей что-то оживлённо рассказывал, шумно прихлёбывая суп, а он уже не слышал его, потому что думал о Лене...

К столику подошёл Андрей Сырых — громоздкий, плечистый юноша в очках, с застенчивым лицом. В руке он держал стакан компота.

— Ну, жара... — сказал он, садясь и снимая запотевшие очки. Лицо его без очков стало совсем отроческим и кротким. — Невозможная жарница!..

— Не надо так много кушать,— сказал Сергей. — Тебе надо худеть. Ты безобразно жирный.

— Я жирный? Чудак! — Андрей беззлобно рассмеялся и, наклонив лицо к стакану, вытянул правую руку: — На, потрогай, какой это жир.

— Всё равно ты слишком мясной. И поэтому тебе в любви не везёт,— верно, Вадим? Мужчина должен быть сухопарым.

— Это справедливо. Мне не везёт.

— Сгоняй вес! Когда боксёрам не везёт, они сгоняют вес и выступают в другой категории. А почему тебе не везёт?

— Не знаю даже... времени нехватает. — Андрей допил компот и вытер губы бумажной салфеткой. — Вот мне и не везёт,— повторил он, глядя на Сергея и улыбаясь. — Я живу за городом, на дорогу три часа уходит. И потом: кружки, научное общество... теперь ещё в агитколлектив ввели. Так вот и не везёт.

— Да... хороший ты парень,— сказал Сергей задумчиво,— знаешь, ты на чеховского Дымова похож. Такой же наивный и положительный. И очень здоровый — как рыбий жир. А? Ха-ха...

— И такой же противный, как рыбий жир?

— Ну что-о ты, что ты, брат! Я бы хотел такого мужа своей двоюродной сестре. Родной, к сожалению, нет...

— Что-то ты расшалился сегодня,— сказал Андрей, добродушно усмехаясь. — С чего бы это веселье?

У столика появился вдруг Алёша Ремешков, которого все называли Лесик — долговязый кудрявый парень, весельчак и острослов третьего курса. Он с живостью обратился к Андрею.

— А ты разве не знаешь? Он же повесть пишет! Повести!

— Какую повесть?

— Ну да! Говорят, нечто гениально-эпохальное. А другие говорят, нечто эпохально-гениальное. Идут страшные споры. А он, между тем, пишет и пишет. Повести! — И Лесик продолжал громко, на всю столовую: — Палавин пишет повесть! Повесть Палавина! В печать!

С соседних столиков начали оглядываться с любопытством. Кто-то крикнул издали:

— Алло, кто там повесть пишет?

— Палавин! По буквам: Пушкин — Алигер — Лермонтов...

— Ну хватит, чёрт! — хохотал Сергей, хватая Лесика за рукав. — Перестань, чёрт же...

Андрей встал и попрощался. Его тоже зачем-то вызвали на заседание кафедры. Грузный, широкоплечий, он осторожно двигался между тесно стоящими столиками, боясь кого-нибудь случайно задеть, и, по привычке сильных людей, широко растопыривая локти. Сергей, прищурясь, смотрел ему вслед.

— Он похож на комод моей тётушки,— сказал Сергей неожиданно. — Всегда молчалив, замкнут, и неизвестно что там, под очками. И комод моей тётушки всегда заперт на все замки и такой же широкий, тяжеловесный... Я никогда не видел его открытым, и мне почему-то казалось в детстве, что там должны быть какие-то чудеса, удивительные вещи. А там, может, и не было-то ничего — пустые полки, какое-нибудь старое тряпье... А?

Они уже кончили есть, и Вадим поднялся.

— Идём?

— Да, идём. Подожди минутку! По-моему, это неплохо, с комодом. Надо его... — Сергей вынул записную книжку и что-то быстро записал. — Пригодится. Я теперь всё записываю. Если не записывать, многое забывается,— сказал он озабоченно. — Ты знаешь, я в последнее время

научился как-то по-новому всё видеть. Ты заметил, как у нашего официанта блестит лысина? А мне сразу пришло в голову: «Лысина была единственным светлым пятном в его жизни». А? Ха-ха-ха... Это уже образ. А? Вадим?

— Ничего,— сказал Вадим.

Столовая находилась в доме напротив института, через улицу. Пока они одевались в вестибюле, потом вышли на улицу и шли через голый, с пустыми скамейками институтский сквер, Сергей всё рассказывал о различных сравнениях и образах, которые приходят ему в голову, о том, как он трудно пишет и какая это увлекательная работа. О теме своей повести он так и не сказал. «Вот буду читать, тогда узнаешь». Уже второй день Сергей курил не папиросы, а красивую прямую трубку с янтарным мундштуком. И пахло от него хорошим табаком.

Вадим слушал его рассеянно. Он думал — в том, что Лена сегодня занята, нет ничего удивительного. Она всегда много занимается, зубрит иногда целыми днями, и, кроме того, у неё — «вокал». Хм, «вокал»... Ему долго казался смешным, чересчур торжественным и пышным этот консерваторский термин, и он подтрунивал над Леной, а она обижалась: «Что за глупые шутки? Так все говорят, это принято в нашей среде». Как бы там ни было, а этот «вокал» требует времени. Не каждый может и учиться, и заниматься общественной работой, и «вокалом». Нет, она молодец! Но какое это отвратительное слово — «занята»... И как ещё далеко до субботы! Три дня!

И однако, несмотря на то, что Вадим тщательно объяснил себе, почему Лена была сегодня занята, осталось в нём чувство досады за испорченный день. Да, день был испорчен. И всё оттого, что он раньше времени строил разные планы относительно сегодняшнего дня и теперь всё порушилось. И никто в этом не виноват. А что порушилось, в сущности? Просто он уже настроился, а теперь надо расстраиваться. Лучше всего прийти домой и сесть за «Капитал». Самое трудное в этой сессии — политэкономия. Надо сегодня же сесть и законспектировать одну-две главы. Сразу же, не откладывая на вечер... Но ведь у Лены «вокал» по средам и понедельникам, а сегодня — вторник?

Когда Вадим и Сергей, миновав сквер, вышли к бульвару, их кто-то сзади окликнул. Нина Фокина быстрым шагом догоняла их и махала рукой:

— Подождите! Сергей!

Вадим и Сергей остановились.

— Серёжа, моя работа с тобой? — спросила Нина, запыхавшись. Её широкое веснушчатое лицо покраснелось от быстрой ходьбы, и очки сползли на середину носа.

— А что такое? — спросил Сергей. — Поправь окуляры, а то упадут...

— Дело в том, что я хочу отложить завтрашнее обсуждение. Я дала прочитать Андрею, и он мне сделал несколько замечаний, очень серьёзных. Он даже вызвался помочь мне развить одну тему — о судьбе личности в социалистическом обществе, у меня это только намечено. А тема эта настолько важна, тем более в работе о Пановой, что её нельзя мимоходом — понимаешь? Он совершенно прав! И он обещал дать мне некоторые теоретические материалы, журнальные статьи, о которых я не знала. Так что ты мне верни, я переработаю...

— У меня его нет с собой, — сказал Сергей. — И вообще... Мне кажется, это не метод.

— Что не метод?

— Да вот — брать назад, перерабатывать не во-время, срывать заседание. Ты что — боишься, что тебя будут критиковать?

— Нисколько. Я как раз хочу, чтобы меня дельно критиковали. Но зачем выносить на обсуждение то, что меня уже не удовлетворяет? Если я вижу ошибки и вижу, как их можно исправить, — почему не сделать это до обсуждения?

— Да потому, что ты срываешь заседание! — сказал Сергей раздражённо. — Я читал, думал над твоей работой, составил конспект выступления, потратил время, и всё попусту? Придут люди, понимаешь... Все знают, готовятся... Почему нельзя провести заседание, выслушать критику и потом перерабатывать?

— Нет, я этого не хочу. В четверг я встречаюсь с Андреем, мы с ним вечер посидим, и на той неделе я всё закончу. А завтра можно другую какую-нибудь работу...

— Да где её взять?!

Нина молчала, растерявшись от резкого тона, каким заговорил вдруг Сергей.

— Отчего ты кипятишься? — спросил Вадим, удивлённо глядя на приятеля. — Нина права, если она хочет взять работу, чтобы доделать её, и ничего страшного тут нет.

— Да пожалуйста! Делайте, что хотите!.. Только второй раз я оппонировать не буду.

— Это, по-моему, неумно.

— Позволь уж мне знать, Вадик!

— Ну, хорошо, — сказала Нина, помолчав. — Я тебя предупредила. Если ты считаешь, что зря потратил на меня время, — извини, конечно... А завтра не забудь принести. До свиданья!

Сергей шёл, нахмуренно глядя под ноги, и носком ботинка подталкивал перед собой обледенелый камушек. Вдруг он ударил ногой с размаху, и камушек отлетел далеко вперёд.

— Вот бестолочь! Всё мне расстроила...

— Да что она тебе расстроила? — спросил Вадим, всё ещё недоумевая.

— Как что? Ты пойми — я же собирался говорить не только об её реферате, но и о всей нашей работе. А её реферат был как раз иллюстрацией к моей мысли — об отсутствии мысли. Ясно тебе?.. Да я уверен, что ничего существенного она там не изменит, разведёт воды ещё на десять страниц — и всё! Просто перетруссила. И Андрей ещё тут, благодетель... Ох! — Сергей сокрушённо вздохнул и сделал рукой жест полной безнадежности. — Научное общество, н-да... Один другому что-то подписывает, подделывает.

— Да что подделывает? Если Андрей взялся помочь...

— Ну, ясно! Иначе мы не можем! — перебил Сергей насмешливо. — Привыкли друг у друга всё списывать — и английские экзерсисы, и конспекты, теперь и научные работы будем скопом писать!

— Да подожди! Не скопом, а, так сказать... Не понимаю, неужели тебе надо простые вещи объяснять? — сказал Вадим, уже начиная сердиться. — Чепуху ты городишь.

— Я не против помощи, но это надо делать во-время! Во-время! — проговорил Сергей тем особым, резким и довольно гнусавым голосом, который появлялся у него внезапно в минуты раздражения.

— Ещё бы ты был против!

— Я против школярства — понял? Школярства!

— Да где школярство? Ты сам не знаешь, против чего ты — да, да! А просто ты... захотелось тебе завтра блеснуть, а вот не придётся.

— Ну, посмотрим!

— Дело-то ведь не в выступлениях, Серёжка, не в разгромах. Что бы ты запел, если бы тебя заставляли выступить с работой, которую ты сам считаешь неготовой?..

Они спорили долго и шли по улице от остановки к остановке, забывая, что им надо садиться в троллейбус. Сергей понемногу сдавался и, наконец, заявил: может быть, он и не прав, требует невозможного, но просто ему хочется, чтобы научное общество было действительно научным. А с Ниной он, правда, переборщил — надо бы повежливей. Характер дурной, чёрт его знает, нервы... В общем, он недоволен тем, что срывается завтрашнее заседание, но выступать завтра он будет всё равно.

Вадим слушал всё это молча, с удовлетворением чувствуя, что Сергей немного растерялся от его неожиданного отпора, и теперь ему неловко, он даже старается замять разговор.

Помолчав и псопев трубкой, Сергей сказал со вздохом:

— Нет, а вот Андрей для меня действительно закрытый комод... Как студент он поразительно способный. Ты помнишь, как он сдавал историческую грамматику. Наш старик глаза вытаращил.

— Я помню. Ты тогда чуть не засыпался.

— Да, я эту схоластику терпеть не могу. И всё же вытянул на четвёрку — помнишь? Книжки в руках не держал. Но Андрей... и всё-таки он скучный человек.

— Ну, неправда.

— Да, скучный. Не спорь, Вадим, ты теперь споришь по инерции. Он скучен потому, что он всё делает с одинаковой старательностью. У него нет главного предмета, нет своего. Учёба вообще, понимаешь? Как процесс. И ты не спорь, он ограничен. Что? Да-да, он знает, что говорили и писали другие, а вот самому раскинуть мозгами... Аппарат звукозаписи. В будущем это компилятор, если он будет учёным.

— Что ты вдруг набросился на него? — спросил Вадим удивлённо.

— Ты споришь, а я доказываю. Я против него ничего не имею. Он очень хороший парень, добрый, честный, но... скучный. Да и ещё потому, что он слишком помногу молчит. И неизвестно — всё ли он понимает, или ему нечего сказать.

— Просто он никогда не говорит о себе.

— Ну... это уж не аргумент!

— Нет, милый Кекс, он способнее всех нас, а ты... Уж не завидуешь ли ты этому «скучному человеку», а?

— Я? Завидую?! — Сергей расхохотался. — Вот уж глупость! Чему же мне завидовать?.. Тому, что он целыми днями чахнет над своими толстыми тетрадами в коленкоровых переплётках? «Прожигает жизнь» в библиотеках? У меня другие методы учёбы, а знает ли он больше меня — сомневаюсь! Я завидую! Блеск! Ха-ха-ха... Я только сказал, что Андрюшка скучен. Я не мог бы близко дружить с ним, стал бы зевать через два дня.— Помолчав и сделав пару затяжек трубкой, он добавил:— Самое страшное в дружбе, когда человек становится скучен. Это та ржавчина, от которой нет спасения.

— Запиши в книжечку,— сказал Вадим, усмехнувшись.

Они вышли к площади. Памятник Пушкину был весь седой от инея. Но снег ещё не выпал, и земля была сухая и твёрдая, как камень. Сергей постукал трубкой о чугунный столб фонаря и спрятал её в карман.

— «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе...» — сказал он, глядя на памятник. — Да, гнусная погода... Ты чудак, Вадим! Я, глав-

ное, завидую... хм, чудак! Я его люблю, Андрюшку, так же, как и все на курсе. Его же все любят. А это, кстати, скверно, когда человека все любят.

— Ещё афоризм. Запиши.

— Нет, Вадька, я непримирим, понимаешь? — продолжал Сергей с жаром. — Я не терплю обидённости, золотой середины. И не верю в ангелов. Посмотрим, кто из нас добьётся большего — Андрей, безгрешный, как святая Цецилия, или я, с тьмою недостатков.

— Которые ты, кстати, не считаешь недостатками.

— А считать мы будем, когда подведём черту. Так?

— Когда — через сорок лет?

— Может быть, раньше. Даже этой зимой.

— То есть, когда ты закончишь повесть? Это ты имеешь в виду?

Сергей не ответил, уклончиво покачав головой и усмехнувшись с таким видом, словно хотел сказать: «Ну, брат, ты ничего не понял, и объяснять тебе, видимо, бесполезно». У остановки Вадим вместе с Сергеем подождал, пока подойдёт трамвай.

— Я хочу, чтобы ты забежал как-нибудь, послушал отрывки.

— Обязательно. Мне интересно самому, — сказал Вадим серьёзно.

С площадки трамвая Сергей крикнул:

— А завтра я выскажусь и уйду! Можете сами там, как хотите...

Глава 5

Научное общество студентов литературного факультета организовалось в начале года. Председателем его был выбран старшекурсник Фёдор Каплин, один из тех многознающих и начитанных юношей, которых ещё в школе называют «профессорами» и с первого курса уже прочат в аспирантуру. Научным руководителем НСО был профессор Козельский, читавший русскую литературу девятнадцатого века.

В общество сразу записалось много студентов, и одним из первых — Вадим. Его обрадовала возможность попробовать свои силы в самостоятельной исследовательской работе, хотя будущность учёного-теоретика почти не привлекала его — он готовил себя к деятельности практической.

Когда-то в детстве, в школьные годы, Вадим по собственному почину изучал разные науки — геологию, астрономию, палеонтологию. И даже писал «научные труды», например — о вулканах, о вымерших рептилиях, для чего безжалостно вырезал картинки из старых энциклопедий и наклеивал их в тетради. «Труды» эти обсуждались в разных кружках, кочевали по школьным выставкам, и Вадим гордился ими и в тринадцать лет твёрдо считал себя будущим учёным. А теперь ему казалось, что для того, чтобы быть настоящим учёным, необходимо иметь такое множество разнообразных дарований, о котором ему, тугодуму, не приходилось и мечтать.

И всё же Вадим вступил в НСО и решил работать в нём серьёзно. Школа, которую он прошёл на войне, научила его ценить простые вещи — мир, работу, книгу, научила его каждое дело своё делать основательно, честно и видеть в нём начала новых дел, предстоящих в будущем.

Часто Вадим спорил с Сергеем. Тот говорил, что учительская работа — удел людей особого склада, ограниченных по своим творческим способностям. «Ты не должен идти в учителя, — говорил он. — С твоим упорством, дотошностью, с твоей памятью ты будешь прекрасным учё-

ным. Тебе надо итти в аспирантуру». О себе самом он не задумывался ни на секунду: он-то безусловно будет учёным. Вадим всегда злился, когда Сергей заводил этот разговор.

— Зачем ты пошёл тогда в наш институт? — спрашивал он с раздражением.

— Чтобы получить, во-первых, образование, а затем — поступить в аспирантуру. А здесь это легче, чем в университете. На общем фоне.

И действительно, на общем фоне фигура Сергея Палавина выглядела весьма заметно. Он скоро завоевал уважение профессоров своей эрудицией и способностью сдавать экзамены бойко, самостоятельно, без натушливых ученических бормотаний — что всегда нравится экзаменаторам.

В работе НСО Сергей сразу принял активное участие. Его кандидатура на пост председателя выставлялась наравне с кандидатурой Каплина, и последний взял верх только благодаря своему четвёртому курсу и тому, что он имел уже несколько курсовых работ, одобренных кафедрой, в то время как у Сергея таких работ на третьем курсе ещё не было. Однако спустя два месяца Сергей вдруг остыл к обществу, стал пропускать заседания и заговорил о них скептически. Вадим, в общем, понимал причины этой перемены. Честолюбию Сергея пришлось пережить два удара: сначала выборы Каплина, а потом реферат Андрея Сырых, получивший на обсуждении самую высокую оценку. У Сергея уже была к тому времени написана небольшая работа — о Грибоедове — довольно поверхностная, торопливая и прошедшая незаметно.

И Сергей заговорил о необходимости перестройки, о школярстве, кустарщине, о лишних людях и прочем. Вероятно, кое-что в этой критике было правильным. Но Вадиму казалось, что все недостатки происходят от одного, главного — от руководства. Профессор Козельский не сумел ещё сделать общество тем, чем ему следовало быть: центром увлекательной, творческой работы студентов. Не сумел — и сумеет ли когда-нибудь? Вадим за последнее время начинал в этом всё больше сомневаться...

Очередное заседание НСО происходило в самой светлой и просторной аудитории, где обычно занимался первый курс. Вадим и Сергей вошли вместе.

— Вперёд пойдём, к окну, — сказал Сергей, потянув Вадима за рукав и добавил тише: — Мне надо всех видеть...

Он собирался сегодня выступать. Вадим и Сергей прошли к окну и сели рядом с Петром Лагоденко, тоже третьекурсником — приземистым смуглым крепышом сурового вида, одетым во флотские клёши и фланельку. Лагоденко не был членом общества, но приходил на все последние заседания и часто выступал в обсуждениях. Прямо перед ними за длинным столом сидел внушительно строгий Федя Каплин, гладко выбритый, толстощёкий, с кругло покатыми плечами, — что-то непрерывно писал, не поднимая головы. Пришла сегодня и Лена — в качестве гостыи — и села сзади, вместе с девушками. Вадим слышал её голос за спиной, даже шёпот — она шепталась о чём-то с Ниной Фокиной — потом смех. Он не оглядывался, но ему было приятно, что Лена здесь, хотя она сидела далеко от него, и они, может быть, не скажут сегодня друг другу и слова. В аудитории было шумно, все разговаривали между собой, пока не вошёл Козельский.

Профессор Борис Матвеевич Козельский выглядел довольно молодо для своих пятидесяти с лишним лет. Он был высок, ходил быстро, голову с гладко зачёсанными назад, седоватыми волосами держал гордо, подбородком вперёд — и казалось, на всех, даже на людей выше его ро-

стом он смотрит сверху вниз. Цвет лица у него был неизменно свежий, румяный — профессор Козельский занимался спортом — играл в теннис.

На первом курсе Вадиму казался интересным этот высокий седой человек с выправкой спортсмена, всегда куривший трубку и окружённый ароматным запахом «Золотого руна». На первом курсе Козельский ещё не читал лекций, и Вадим наблюдал его издали, встречаясь с ним в коридорах. Читать он начал с четвёртого семестра и тоже первое время нравился Вадиму — главным образом колоссальной своей памятью и многознанием. Козельский никогда не читал по конспекту, на его кафедре не было ничего, кроме пепельницы. Иногда он цитировал наизусть целые страницы прозы.

Но чем ближе узнавал Вадим Козельского, тем меньше этот профессор ему нравился. Профессорское многознание, если оно не оживлено остроумной, свежей, пылкой мыслью, бывает подчас раздражающим, невыносимым. Вскоре Вадим убедился, что сдавать зачёты Козельскому очень нелегко. Козельский спрашивал придирчиво, требовал буквальных формулировок и не любил самостоятельных мнений, споров, вопросов — вообще не любил шума. Сам он был очень спокойный человек и никогда не повышал голоса.

Войдя в аудиторию, Козельский поздоровался со всеми кивком головы и быстро прошёл к своему столу. Федя Каплин сейчас же вскочил и, наклонившись с озабоченным лицом к профессору, заговорил с ним вполголоса. Козельский слушал его, удивлённо подняв брови.

— Фокина! — спросил он негромко. — Ваш реферат, оказывается, не готов?

— Да, Борис Матвеевич, я прошу извинить меня, — сказала Нина, вставая. — Я решила ещё поработать. На той неделе представлю.

— Так... Ну что же, ваше право, — благосклонно согласился Козельский, и Вадиму показалось, что он даже обрадовался этому обстоятельству: можно пораньше уйти. — Ваше право, ваше право... — задумчиво повторил Козельский, набивая трубку. — Ну что ж, подождём недельку... Ведь у вас, кажется, реферат о произведениях Караваевой?

— О повестях Веры Пановой, Борис Матвеевич.

— Ах да, совершенно верно... Скорее критическая статья, не так ли? Ну, мы всегда успеем её прочесть, обсудить, это не проблема.

Сергей уже несколько минут нетерпеливо ёрзал на месте, циркал что-то карандашом в блокноте и, наконец, попросил слова. Он заговорил с места, полуобернувшись к аудитории:

— Товарищи, сегодня по вине Фокиной наше рабочее заседание не состоится. Но это, вероятно, к лучшему. Давайте поговорим. Нам давно пора серьёзно обсудить нашу работу, поговорить начистоту. Я считаю, товарищи... — Сергей заглянул в блокнот, захлопнул его и небрежно бросил на стол. — Я считаю, что до сих пор, товарищи, мы работали из рук вон плохо. Почему? Причины тут много. У нас нет единого плана, который вытекал бы из научного плана кафедр. Такой перспективный план необходим, а то ведь работа ведётся у нас настолько стихийно, беспорядочно, что никакого толку от этой работы — простите меня, товарищи, за резкость — нет и не будет. Ведь как несерьёзно берутся у нас темы рефератов! Один товарищ, например, взялся писать об Ульрихе фон Гуттене, две недели сидел в библиотеке, а потом вдруг заявил: «Ты знаешь, что-то мне Гуттен надоел. Скучища какая-то. Возьму, что ли, Маяковского». Смеётесь? «Над кем смеётесь?..» Да, товарищи, грустно... А другая девушка взялась исследовать купринский «Поединок». Спрашиваю — почему именно «Поединок»? Там, говорит, интересно про любовь написано, и потом он коротенький...

В аудитории засмеялись, кто-то спросил громко:

— Как фамилия?

— Фамилия ни к чему. Я говорю о фактах. Конечно, эти случаи единичны, но они показывают, куда ведёт такая бесплановость в работе. И ещё — эти случаи говорят о том, что в обществе записалось много людей, которым здесь не место. Да, да! У нас, товарищи, не научное общество получилось, а какой-то литературный кружок — записываются все, кому не лень. Оттого и работы пишутся ученические: общие рассуждения, натасканные из учебников, популярные статейки без проблеска оригинальной мысли. Кому это нужно, я спрашиваю?.. Вот я был оппонентом Фокиной, знаю её работу о повестях Пановой. Правда, я знаю вариант, забракованный самим автором. Но всё равно скажу тебе прямо, Нина, — ты пишешь научную работу, а не рецензию в журнал «Дружные ребята». И это отнесится не только к Фокиной, но и ко многим другим товарищам. Одним словом, я кончаю: если положение в обществе не изменится, то я лично не вижу большого интереса для себя в такой работе. Просто, знаете ли, жалко времени. У нас, студентов, не так-то его много... Я кончил, товарищи.

Сергей сел, с решительным видом засовывая блокнот во внутренний карман пиджака.

— А кто виноват, что такое положение создалось? — низким басом, глядя не на Сергея, а в сторону председательского стола, спросил Лагоденко.

— Мы сами виноваты, — быстро ответил Сергей, — в том, что у нас беспорядок. И сами должны исправлять.

— Сами-то сами... — пробурчал Лагоденко.

— Лагоденко, ты хочешь что-то сказать? — спросил строго Федя Каплин.

— Погожу пока...

Придвинувшись к Сергею, Вадим сказал вполголоса:

— Пётр прав — не только мы виноваты. А Козельский? Он же руководитель, его дело интересно работу поставить...

— Да нет же, нет! — досадливо сморщившись, прошептал Сергей. — То есть в какой-то мере — конечно... Но Борис Матвеевич милейший человек, он готов хоть весь институт в общество записать. А сейчас надо вычистить половину...

— Так что же ты, Палавин, конкретно предлагаешь? — спросил Каплин.

— Конкретно вот что: сократить число членов общества в два раза. Лучше меньше, да лучше! Многим серьёзная научная работа не по плечу, и они тянут назад остальных, и от этого заседания у нас такие убогие, неинтересные. Пусть меня товарищи правильно поймут...

— Мы тебя поняли, — сказал Лагоденко.

Несколько человек заговорило сразу, вперевод:

— Что ж, это общество — для избранных?

— Да прав он! Слишком нас много...

— Ну и хорошо!

— Чепуха, не в количестве дело!

— А кто будет отбирать, не Палавин ли?..

— Фёдор, дай мне слово! — сказал Лагоденко, поднимаясь. И все сразу притихли: просто потому, что когда говорил Лагоденко, всё равно никого больше не было слышно. — В выступлении Палавина была, я бы сказал, обычная его «палавинчатость». Тш, не смейтесь!.. Он прав, говоря, что в нашем НСО работа идёт несерьёзно, беспорядочно и нудновато. Это так оно и есть. Но он не прав, когда объясняет это тем, что

людей много. Глупости, не в том секрет! А в том... — Лагоденко трубно кашлянул, расправил плечи и засунул обе ладони за свой широкий ремень с бляхой, — в том, что руководство общества, и уважаемый Борис Матвеевич, и почтенный Фёдор, очень мало по-настоящему интересуются нашей работой. Я говорю «нашей», потому что хотя я ещё не вступил в общество, но думаю вступить, и меня это дело кровно задевает. Темы рефератов берутся у нас не только случайно, беспланоно, но и безидейно — да, в том смысле, что они слишком уж академичны, литературны и очень мало связаны с современностью. Вот корень всего. А ведь задача руководства предлагать студентам темы...

Лагоденко говорил по своему обычаю самоуверенно, напористо и несколько даже нескромно. В его речах всегда звучала басовая нота поучительства — Вадим не любил этого тона, как вообще не любил ничьих поучений. И всё же Лагоденко был более прав, чем Сергей, и глубже понял, в чём суть. Федя Каплин слушал его, хмуря тонкие рыжеватые брови, вздыхая, покашливая, и всем своим видом выражая беспокойное недовольство. Козельский же, казалось, и вовсе не слушал Лагоденко — невозмутимо курил свою трубку, рассеянно оглядывал аудиторию, потом принялся листать какой-то лежавший на столе журнал.

Когда Лагоденко кончил и шумно уселся на место, выступил наконец Козельский. Он говорил так, будто и действительно не слышал ничего, кроме выступления Палавина. Но этот приём мог обескуражить кого угодно — только не Лагоденко.

— У меня есть одно добавление к горячей и очень содержательной речи Серёжи... нашего уважаемого товарища Палавина, — поправился Козельский, улыбнувшись. — В части выбора тем для рефератов я считаю целесообразным такой принцип: студент должен выбирать темы, которые совпадают с темами историко-литературного курса, который он в данный момент прослушивает. Это будет полезней и для реферата и для студента — он легче усвоит лекционный материал. Как вы находите?

— Что ж, это разумно, Борис Матвеевич, — с серьёзным видом кивнул Сергей.

— Не правда ли? Работа над рефератом будет, так сказать, естественным продолжением прослушанного в аудитории.

— Профессор, у меня вопрос! — вновь загудел неугомонный Лагоденко. — Есть одно «но». Не каждого привлекает то, что он сейчас слышит на лекциях. Мне читают, сказать к примеру «Остромирово евангелие», а меня интересует, допустим, Новиков-Прибой. Так? Безусловно, что так оно и бывает. И получится, что, например, работы по советской литературе будут писать только четверокурсники, потому что советская литература читается на последнем курсе...

— Справедливо, но позвольте, — быстро сказал Козельский, повернувшись к Лагоденко. — Хочу напомнить вам, так сказать, «ab ovo»¹: для чего организуются в институтах научные студенческие общества, подобные нашему? Для того, чтобы привить студентам любовь к науке, обогатить их опытом самостоятельной работы над материалом. Если мы слишком увлечёмся произведениями современности, наша цель не будет достигнута.

— Это почему же не будет? — спросил Лагоденко удивлённо.

— Потому, молодой человек, что произведения современности слишком пахнут типографской краской. Они не обросли ещё библиографией, критики сами часто путаются, ошибаются в их оценке. А вам тем более будет трудно.

¹ «Ab ovo» (лат.) — с самого начала.

— Добро. Чем трудней, тем интересней, — сказал Лагоденко. — Но больше всего нас интересует наша литература, вы понимаете?

— А меня интересует дать вам навыки научной работы, — сказал Козельский, чуть заметно повысив голос, — дать вам знания. Это моя задача — давать вам знания. Развлекаться философствованием вы можете в другие часы, на других семинарах, а у меня извольте учиться. Я делаю из вас учёных и педагогов, а не краснобаев. Вам понятна моя мысль, Лагоденко? Вот, не ловите меня на слове, а постарайтесь понять: хоть вы и бородаты, и, возможно, имеете потомство, но вы ещё школьники, вы учитесь. А учиться надо на классических образцах, вокруг которых накопились пуды литературы, скрещивались мнения, гремели споры. В этом вы должны уметь разобраться и вынести своё самостоятельное суждение. Попутно вы будете приобретать фактические знания, пополнять свой багаж. Это серьёзная, кропотливая работа. А поверхностные статьи, где одна голая идея, и даже не идея, а тенденция, и никаких конкретных фактических знаний, — мне они не нужны. Прошу вас, увольте! Газетного рецензента можно натаскать за месяц, а учёный формируется годами. — Козельский помолчал мгновение, пригладил ладонью свои и без того гладко зализанные волосы и, вздохнув, сказал негромко, но с чувством: — Наука — это труд, напряжённейший ежедневный труд. Кто не может или не хочет понять это — грош тому цена, он никогда ничего не добьётся.

«Всё-таки он позёр, — думал Вадим, неприязненно глядя на Козельского. — Учёный? Нет, он играет в учёного, в нём всё показное. И эти величественные жесты, и трубка, и эти благородные седины, и его знания — он и знания свои носит напоказ. Ну да, наряжается в знания, как в этот свой вязаный жилет с красными костяными пуговицами...»

— Так. Правильно, конечно, — заговорил Лагоденко, и Вадиму уже нравились его самоуверенный тон, его неуступчивость, резкость. — Но почему же, профессор, вы не считаете советское литературоведение наукой?

— С чего вы взяли? — нахмурился Козельский. — Кто вам сказал? Вы передёргиваете, это не допустимо. Ещё раз повторю: я всячески приветствую работы о произведениях современности, но серьёзная работа в этой области вам ещё не под силу.

— Вы, профессор...

— Лагоденко, прекрати! — сказал Каплин, неожиданно вскочив и покраснев так, что его румяное лицо побагровело. — Если хочешь спорить, возьми слово. А что это за базарная переключка? И с кем — ты отдаёшь себе отчёт?..

Козельский спокойно перекатывал в зубах мундштук трубки, пристально глядя на Лагоденко. Вдруг он спросил голёом ещё более ровным и тихим, чем обычно:

— А кстати, Лагоденко, почему вы посещаете заседания НСО? Мне кажется, у вас нет для этого оснований. Вы, вероятно, знаете это и сами.

Лагоденко промолчал, насупившись. Все поняли, что имел в виду Козельский: в весеннюю сессию Лагоденко провалил экзамен Козельскому, его перевели на третий курс условно. В октябре он сдавал вторично — и опять не сдал. Отношения между ним и профессором, и без того натянутые, обострились за последнее время до крайности.

Вадим удивлялся упрямству Лагоденко: как тот мог при всех обстоятельствах приходить на заседания, выступать так свободно, почти докторально и даже спорить с профессором!

— Вы думаете сдавать мне экзамен? — спросил Козельский.

— Не беспокойтесь, профессор, я сдам, — отчётливо проговорил Ла-

годенко. — Не вы от этого страдаете, а я — сижу без стипендии. На той неделе сдам.

— Хорошо. Я беспокоюсь за вас, а не за себя.

В этот день так ничего и не решили по поводу перестройки общества. Козельский с полчасика ещё поговорил со студентами об их работе над рефератами, потом взглянул на часы и заторопился уходить. Он уже взял портфель, направился к двери, как вдруг остановился и досадливо тряхнул рукой:

— Да, чуть не забыл! Совсем вы меня с толку сбили... — сказал он, улыбаясь, и поставил портфель на стол. — Я должен был сообщить вам следующее: вчера я разговаривал с директором по поводу нашего общества, и он сказал, что им получено в министерстве разрешение на... — Козельский выразительно умолк на мгновение и произнёс торжественно, выделяя каждое слово: — ...издание — отдельного — сборника — научных — студенческих — работ! Размером до десяти листов, товарищи. Это не маленький размер. Но, конечно, печатать мы будем только лучшие работы, наиболее интересные, — так что вам открывается широкое поле для соревнования.

Студенты, которые уже повставали с мест, окружили профессора, заговорили оживлённо и весело, все разом:

— Борис Матвеевич, а когда должны выпустить? В конце года?

— А это точно? Знаете — сбещать можно...

— А как печатать, на стеклографе?

— Нет, нет, товарищи! — сказал Козельский, серьёзно покачав головой. — Если я говорю — я зря не скажу. Совершенно реально. И это будет настоящая книжка, отпечатанная в типографии одной из московских газет.

— Бра-аво! — крикнул Федя Каплин восторженно и, забыв о своей председательской солидности, вскочил на стул и захлопал в ладоши.

Несколько студентов закричали «ура!» и, вдруг схватив Федю, начали его качать.

— Стой... За что? За что меня? — со смехом кричал Федя, отбиваясь. — Бориса Матвеевича качайте! Бориса Матвеевича!

Сергей тоже подошёл к Козельскому, деловито спросил:

— А какой, интересно, предполагается тираж?

— Ну, тираж, конечно, небольшой. Двести — триста экземпляров, больше незачем. Продавать же мы его не будем. — Козельский даже позволил себе лукаво улыбнуться: — Разве только родственникам или знакомым девушкам...

— Скажите, Борис Матвеевич, а кто будет составлять сборник и редактировать?

— Вероятно, Иван Антонович Кречетов, профессор Крылов и я. Так намечалось, а может, что-либо изменится...

Вадим долго издали наблюдал, как менялось лицо Сергея, приобретающее всё большей озабоченности и напряжённого интереса. Наконец он спросил громко:

— А что ты, Серёжа, интересуешься? Ты-то в сборник не попадёшь!

— Это почему? — насторожился Сергей.

— Да ведь ты уходишь из общества.

— Да, да! Как же, как же! — подхватил Козельский, засмеявшись. — Вы же нас покидаете? Говорите — времени жалко? Досадно, но что ж...

— Ну не-ет! — Сергей шутливо замотал головой. — Теперь-то я просто так не уйду, дудки! Ха-ха-ха... — И сейчас же серьёзно: — Я, кстати, не собирался в буквальном смысле... И моя критика — что ж, я от неё не отказываюсь. Вы же со мной согласились, Борис Матвеевич?

— Да, безусловно — частично. Я сейчас тороплюсь, товарищи, но на следующем заседании мы подробно обсудим всё о сборнике. До свидания, друзья!

— До свидания, Борис Матвеевич! — хором ответили несколько голосов.

Козельский ушёл, но большинство студентов осталось в аудитории. Всем хотелось ещё поговорить о сборнике, высказать свои догадки, предположения, — новость была неожиданной, радостной для всех, и в аудиториях сразу стало шумно и весело. Вадим посматривал на Лену, которая в группе девушек говорила особенно громко и оживлённо:

— А ведь замечательно, что у нас будет свой журнал, — правда, девочки? Как жалко, что я не член общества!

— Кто мешает тебе вступить? — спросила Нина.

— Нет, Ниночка, я никак не могу. У меня же «вокал», совершенно нет времени... Ребята, а как мы его назовём? Надо же назвать журнал, обязательно — и как-нибудь оригинально!..

Сергей подошёл к Лагоденко, который, усевшись на столе, курил с задумчивым видом и сосредоточенно разглядывал свою ладонь.

— А ты, Пётр, напал на старика не очень-то честно, — сказал Сергей укоризненно — Действительно передёрнул...

— Это что же?

— Ты не понял или не захотел понять его: он советует нам обращаться к темам классической литературы для того, чтобы мы приобрели опыт, литературоведческие познания, — понимаешь? Нам будет легче тогда работать над современными произведениями. Это же элементарно!.. Ну, а какая могла быть у него другая причина? Ну?

Лагоденко разглядывал свою ладонь — вертел её перед глазами, раздвинув пальцы, собирал горсткой, потом сжал руку в кулак и тяжело опёрся им о стол.

— Другая? Да очень простая, — он сощурил на Палавина упрямые, угольно-чёрные зрачки. — Он равнодушен к советской литературе. Даже просто не знает её, не читает.

— Во-первых, по советской литературе у нас есть специальный консультант — доцент Горликов. А во-вторых, это не верно, ложь! Он выписывает на дом все толстые журналы! Я знаю, видел! Да как может профессор русской литературы...

— Выписывать-то он выписывает, — перебил его Лагоденко. — Ясно, он должен быть в курсе событий. Но главным образом он читает рецензии на книги, это не так утомительно.

— Да откуда ты знаешь?!

— Так. Чую. — Лагоденко с серьёзным видом потянул носом. Он притушил папиросу в чернильной лужице на столе, спрыгнул на пол и с хрустом выпрямил своё плотное, широкое в груди тело. — Вы вот щебечете: ах! ах! сборник!.. Ах, Борис Матвеевич!.. А Борис Матвеевич только лишний раз доказал своё равнодушие к нашим делам — чуть не забыл о самом главном сказать. Хорош руководитель!

Аспирантка Камкова, величественная полная блондинка в очках, похожая лицом и бюстом на мраморную кариатиду, внушительно отчеканила:

— Я вам всё-таки советую, Лагоденко, уважительнее говорить о своих профессорах. На третьем курсе излишний гонор вредит.

— Когда вы были на третьем курсе, девочка, я был уже на последнем курсе войны, — сказал Лагоденко, смерив Камкову небрежным взглядом. — Но дело не в том. Я что толкую — у меня не лежит душа писать тысяча первую работу об Иване Сергеевиче Тургеневе, тем более, что ничего оригинального об Иване Сергеевиче я сказать пока не могу.

А я хочу подумать над новыми советскими книгами, постараться понять, что в них хорошо, что плохо, и пусть моя работа будет ещё не глубокой, не всегда убедительной, но она будет искренней, верно направленной и нужной. И главное, интересной для меня! В тысячу раз более интересной, чем тысяча первое разглагольствование о Базарове или Данииле Заточнике!

— Петя, это уже крайность, — сказала Нина.

— Лучше эта крайность, чем обратная!

— Нет, не лучше! Это опасная, это вредная крайность! — взволнованно и сердито заговорил Федя Каплин, подступая к Лагоденко. — Что значит «мне интересней»? Что за вкусовщина? У нас здесь научное общество, а не гастроном! Мы учиться должны, работать!.. А то, подумаешь, выискался защитник советской литературы! Это демагогия!.. Да и, в конце концов... в обществе ты не состоишь, а только всех баламутишь! Довольно! Мы не позволим тебе наскакивать на Бориса Матвейча, и вообще... всех тут разлагать!

— Ну, Федя, ты уж слишком! — сказал Сергей примирительно. — Пётр никого не разлагает...

— А надо бы, — усмехнулся Лагоденко. — Пора кой-кого разложить.

— Так вот, изволь вступить в члены общества, тогда и будешь говорить. Всё ему нипочём, никаких авторитетов — подумаешь, сверхличность! Учиться надо, вот что!

Сергей вздохнул и закивал озабоченно:

— Это главное, конечно. А тебе, Пётр, особенно важно учиться, не забывай...

Вадим заметил, что Лагоденко помрачнел вдруг, хотел что-то ответить, но — сжал губы, только желваки напряглись на скулах. И Вадиму стало неприятно, точно эти обидно снисходительные слова относились к нему самому.

— Да что вы напали на него? Учителя! — сказал Вадим, решительно шагнув к Лагоденко. — Напали, и грызут, грызут... Ведь он же прав в основном? Прав! Козельский, действительно, равнодушный к нам человек. И вообще равнодушный. И относится он к нашему обществу так же, как к новой литературе, — иронизирует в душе. Я в этом на сто процентов убеждён. Формалист он, кладовщик от науки — вот он кто!

— Да с чего ты взял? — возмутился Федя. — Где доказательства?

Вадим не особенно любил затевать споры, но если уж затевал — не умел сохранять при этом хладнокровия, быстро раздражался, повышал голос. Он и теперь сразу же нахмурился, заговорил резко:

— Да, он не считает советское литературоведение наукой! А советское литературоведение, может быть, в сто раз многообразней и сложнее, чем его излюбленная классика! Там-то, конечно, спокойней: есть установочки, формулировочки, всё много раз обговорено, гремели споры — слава богу, давно отгремели. Там безопасно! А здесь самому надо думать, спорить — того гляди ошибёшься. И главное, неинтересно ему это. Ведь воспитан он на классической русской литературе...

— А мы на чём воспитаны? — спросил Сергей. — Мы-то с тобой...

— Всякое бывает воспитание, — жёстко перебил Вадим. — Советская литература не на пустом месте выросла, тоже на русской классической воспитывалась. А как же?.. Но ещё больше — на новых идеях, на коммунистических идеях...

Разговор перешёл к последним советским романам. С пристрастием обсуждали их удачу и слабости, спорили о каждой мелочи до хрипоты. Сергей и Каплин наседали на Лагоденко:

— Нет, а основное отличие соцреализма от критического?

— Да возьмите Горького...

— Только без цитат — своими словами!..

— Ну, я вижу вы тут до ночи засели,— сказала вдруг Лена, которая долгое время молчала и задумчиво сидела среди споривших. — Мне домой пора.

Она поднялась, перекинула через плечо свою кожаную сумку на ремне, с монограммой «Е. М.» и попрощалась. Вадиму хотелось сейчас же пойти за ней, но почему-то он не мог встать с места. Он уже не слушал спора. Несколько бессмысленных минут просидел он в аудитории и вдруг встал с такой поспешностью, словно куда-то опаздывал.

— Я, пожалуй, пойду. Время позднее... — пробормотал он, глядя на часы.

— Ты уже наполовину ушёл, — сказала Нина, усмехнувшись.

Никто, кроме Вадима, который так потерялся, что не сумел ответить, не услышал этого замечания. Сергей и Лагоденко рассеянно пожали ему руку.

Он вышел в коридор. Из аудитории нёсся ему вдогонку раскатистый голос Лагоденко:

— ...не доказательство? Ну, хорошо. Ли Бон! Кого из русских писателей тебе было интересней всего читать?.. Да, на родине?

Ли Бон заговорил что-то невнятно и взволнованно, тонким голосом. Торжествующий бас Лагоденко прервал его:

— Ты понял? Советская литература стала мировой, потому что всему миру интересно узнать нашу жизнь... — Вадим шёл по коридору, и голос Лагоденко быстро затихал: — И это простые люди, не формалисты...

Вадим выбежал из дверей института на двор. Лены нигде не было. Она ушла и была уже далеко, наверно ехала в троллейбусе.

Голые деревья тихо шумели на ветру в пустом сквере. Вадим остановился возле ограды. Ему захотелось теперь вернуться обратно, в аудиторию, где шёл интересный и увлекший его спор, но нелепое, ложное чувство неловкости удерживало его, и он знал, что не вернётся.

«Я веду себя глупо, — подумал он с раздражением. — Нет, надо быть проще. Ведь так или иначе, все уже видят...»

Известие о подготовке сборника сразу оживило деятельность НСО. Заметно оживился и Сергей Палавин — он уже не заговаривал о своём выходе из общества, активно выступал на заседаниях и, по собственным его словам, «как проклятый» сидел над рефератом. Всем хотелось, попасть в сборник, а Сергею особенно. Неудача с первым рефератом, о котором многие, вероятно, давно уже забыли, мучила Сергея до сих пор, сидела в его честолюбивой памяти, как заноза.

Реферат Нины Фокиной прошёл успешно, и этот успех ещё более подстегнул Сергея. На следующее заседание он не пришёл и сказал Вадиму, что явится в НСО, как только закончит реферат.

Но в конце ноября он неожиданно заболел, простудившись на катке.

Глава 6

Вадим работал над рефератом о прозе Пушкина и Лермонтова в оценке Белинского. Он не написал ещё ни одной строчки самого реферата — до сих пор перечитывал Пушкина и Лермонтова, читал других русских писателей того времени: Карамзина, Марлинского, Одоевского. Работа, намеченная им, была так обширна, что, казалось, он не закончит её не только к новому году, но и к весне. Вадим не спешил. Он не стремился попасть в первый сборник, да и вообще не забился с том,

чтобы куда-либо попасть, — работал планомерно, спокойно, никуда не торопясь, и получал от этой работы полное удовольствие.

Между тем уже близилась зимняя сессия и предшествующие ей различные «малые» испытания: коллоквиумы, семинары, контрольные работы. Всё меньше времени оставалось для реферата.

В середине декабря должна была состояться контрольная работа по английскому языку. Для Вадима это было большим и грозным испытанием. У него не было такого счастливого дара к языкам, каким обладал Сергей. То, что Сергей схватывал на лету, давалось Вадиму ценой многочасовых упражнений памяти, упорным трудом. Сергей носил с собой и читал в троллейбусе английский «detective story»¹ в триста страниц, в то время как Вадим мучился со словарём над брошюрой адаптированного — то есть изувеченного до неузнаваемости «Тома Сойера». Для того чтобы лучше запоминать слова, Вадим придумывал всяческие ухищрения: завёл себе словарь-блокнотик и всегда носил его в кармане, читая где попало, выписывал слова на отдельные листочки — на одной стороне английское, на другой русское, и играл сам с собой в детское лото. Всё это приносило постепенно свои плоды.

Преподавательница английского языка Ольга Марковна уважала Вадима за то единственное, за что преподаватели языков уважают студентов, — за трудолюбие. К Сергею она относилась придирчиво. Стоило ему согрешить в контрольной или случайно не выучить какое-нибудь «grammatical rule»², заданное на дом, Ольга Марковна обрушивалась на него безжалостно. Она распекала его по-английски, и очень сердито, а Сергей оправдывался тоже по-английски, улыбаясь и шеголяя своим произношением. Часто такой разговор был понятен только им двоим, и это было для Сергея, очевидно, самым приятным.

Вообще Ольга Марковна была женщина справедливая, энергичная и с выдумкой. Со студентами она говорила исключительно «на языке» и умела каждую лекцию построить по-новому, интересно, избегая шаблонов. Она устраивала на лекциях игры в шарады, литературные викторины, обсуждения институтских событий, последних советских книг и кинокартин. И в эти часы Ольга Марковна была весела, насмешлива, любознательна, с молодым увлечением принимала участие в играх и спорах.

Но как изменялась она в дни экзаменов или контрольных! В её остроносом, напудренном, добром лице сорокалетней женщины появлялось неизвестно откуда выражение непреклонной, почти надменной суровости и что-то, как говорил Сергей, «робеспьеровское». Она теряла чувство юмора, переставала понимать шутки и всем своим видом олицетворяла латинскую поговорку: «да свершится правосудие, пусть хоть погибнет мир».

Весь курс, кроме Палавина, Андрея Сырых, Фокиной и ещё нескольких завязанных отличников, ожидал декабрьской контрольной с привычным трепетом.

В первое декабрьское воскресенье группа Вадима решила совершить экскурсию в Третьяковскую галерею. Собралось человек пятнадцать, и к ним присоединились ещё несколько студентов других курсов, соседей по общежитию. Единственный человек, кто шёл в Третьяковскую галерею первый раз, был Рашид Нуралиев, молодой узбек, в этом году только поступивший в институт.

¹ Detective story (англ.) — детективный роман.

² Grammatical rule (англ.) — грамматическое правило.

Вадим успел уже подружиться с ним. Вадиму нравился этот юноша, широколицый, плечистый с могучими ладонями потомственного кетменщика, его скуластое, весёлое, очень народное лицо, его неизменная жизнерадостность, его улыбка, сверкающая всеми зубами — белыми и плотными, как зёрна в кукурузном початке. Рашид всё хотел знать сейчас же, подробно, не стеснялся казаться невежественным или смешным и всем надоедал вопросами — и никому не надоедал. Он ведь приехал в Москву учиться и занимался этим делом добросовестно, не теряя ни минуты.

Жил Рашид Нуралиев в общежитии, в комнате, где жили Лагоденко, Лесик и Мак Вилькин, и потому Вадим так скоро с ним познакомился. Он знал уже всю двадцатилетнюю жизнь Рашида — отец его был колхозником, Рашид закончил среднюю школу в Янги-Юльском районе, мальчишкой работал водоносом на Ферганском канале, а во время войны участвовал в стройке Северного ташкентского канала, уже бригадиром кетменщиков. Тогда же он вступил в комсомол. В кишлаке у него осталась невеста — Рапихэ, дочь кузнеца.

— Совсем молоденькая, а уже десятый класс кончает! — с гордостью говорил Рашид. — А красивая, знаешь! Брови такие — у нас говорят, как арабская буква лим. Большая красавица! А умная — вай, вай! Умнее меня на три головы...

Вместе со студентами пошёл в Третьяковку и Иван Антонович Кречетов. Всю дорогу он шёл с Андреем, держа его под руку, — Андрей был любимцем профессора. «Надежда кафедры!» — шутиливо называл его Иван Антонович.

Идя по широкому тротуару Каменного моста, Кречетов рассказывал о художнике Поленове, которого знал лично. От Ивана Антоновича ни на шаг не отставала Лена. Вадим шёл сзади и то и дело слышал её смех и оживлённый голос, перебивающий профессора, очень звонкий на свежем воздухе.

День был безветренный, не по-зимнему тёплый. Белое небо — одно бескрайное облако — склонилось над городом, и, казалось, не солнце, спрятанное где-то в вышине, освещает землю, а это прозрачное белое небо, похожее на огромную лампу дневного света под матовым абажуром. В этом ровном небесном свете терялись краски, оставались одни полутона, и общий на всём налёт дымчатой голубизны — одни дома чуть желтее, другие чуть сероватей.

Возле кино «Ударник» река не замёрзла. Вода была чёрной, тяжёлой и в стелющихся клубах пара казалась кипящей. Над куполом «Ударника» с криком носились галки, и лишь эта птичья суетня в небе нарушала ощущение покоя и безмятежности. В Москве это ощущение очень редко — оно бывает только зимой, и только в такие тихие, слабо морозные воскресенья, в какие-то неуловимые промежутки дня, между двумя и четырьмя часами...

По пути в Третьяковку Вадим рассказывал Рашиду о Москве — они шли мимо Кремля, Дома правительства, к Кадашевской набережной. Вадим заранее радостно предвкушал, как он будет водить Рашида по лабиринту залов, знакомых ему, как его собственный дом, рассказывать о художниках, наблюдать за восхищением Рашида. Как в детстве он любил показывать товарищам свой альбом марок, интересные книги из отцовской библиотеки, так теперь он нетерпеливо ждал минуты, когда он покажет Рашиду свою галерею, с лучшими в мире и любимыми своими картинами — точно готовился сделать ему драгоценный подарок...

И вот он — узенький, скромный, выбегающий к гранитному борту канавы, знаменитый Лаврушинский переулочек.

Как всегда по воскресеньям, в переулке былолюдно — одни торопились в галерею, другие медленно шли навстречу. Пробежала стайка ребятишек-ремесленников в чёрных форменных шинелях; громко стуча ботинками, по середине переулка прошагала, обгоняя студентов, группа матросов, за нею медленно ехала какая-то посольская машина с иностранным флажком.

До Вадима доносился голос Кречетова:

— ...в девяносто втором году они передали галерею в дар Москве. Было уже больше тысячи картин, сотни рисунков, скульптура, гобелены — неплохой дар, а? В миллион триста тысяч рублей оценили всё собрание. Павел Михайлович был замечательный человек...

За оградой появилось невысокое красно-белое здание, похожее на старинный княжий терем, со славянской вязью на фасаде.

Каждый раз, входя в этот чисто асфальтированный двор, Вадим вспоминал своё первое детское посещение Третьяковки, лет пятнадцать назад. Необъятность жизни, которую он, мальчишка, вдруг открыл для себя в один день, потрясла его тогда почти до головокружения.

Потом он часто бывал здесь с Сергеем. Состязались: кто лучше знает художников. Сергей всегда знал лучше, — он был находчивей и легче запоминал фамилии. Вспомнился школьный учитель рисования Марк Аронович — «Макароныч». Смешной был старик, слезливый и сентиментальный. А бас у него был оглушающий, и он любил театрально восклицать. В Третьяковке Макароныч изучал: «Искусство надо чувствовать спиной. Если, глядя на Сурикова, вы не чувствуете божественного холода в спине, значит вы не дети, а куча дров». В сорок первом году Макароныч ушёл в московское ополчение и погиб под Ельней.

— Приготовьте студенческие! — крикнула Лена, обернувшись.

— Билеты, да? Зачем? — спросил Рашид.

Вадим объяснил ему, что входная плата для студентов втрое ниже. В гардеробе густо толпились посетители — много молодёжи, военных, пионеров. Бородатые старички с кроткими нестеровскими лицами не успевали подавать и принимать пальто.

В первый зал, поблёскивающий многовековым золотом икон, студенты вошли все вместе, и сразу — словно очутились в другом воздухе, — начали двигаться осторожно, бесшумно, заговорили шёпотом. Потом компания постепенно разбрелась. Иван Антонович с Леной и Андреем остались позади, в залах древнерусского искусства. Лесик, Нина и Мак Вилькин пошли вперёд.

Вадим остановился вместе с Рашидом у картины Верещагина: «Перед атакой под Плевной».

— Плевна, Болгария... — сказал Рашид тихо. — У меня брат в Болгарии воевал, Джалэль-ака. Ранен был, без ноги пришёл.

Он пристально вглядывался в лица русских солдат, лежащих густыми рядами в своих темносиних мундирах, со скатками шинелей через плечо и винтовками, изготовленными для штыкового боя. До свистка атаки остались короткие часы, может быть минуты. Тёмное предрасветное небо тревожно, и тревожная суровость во всём — в насупленных лицах солдат, их сутулых спинах, надвинутых на глаза фуражках... Готовится, очевидно, одна из последних атак на редуты Осман-паши, глухой осенью.

— Верещагин тоже был ранен в Болгарии, — сказал Вадим. — А мы прошли северней, через Румынию. Я только на болгарской границе был, на Дунае у Калафата.

Рядом висела другая картина Верещагина: «Нападают врасплох», из эпохи завоевания царизмом Средней Азии. Те же усатые русские сол-

даты, только в белых рубахах и шароварах, похудевшие, с коричневыми от загара лицами отражают внезапное нападение бухарцев. Они сейчас только выбежали из палаток, сбились маленькой группой, ошетились штыками, а бухарцы летят на них конной лавой. В лицах русских — отчаянная решимость биться до конца, и они не дрогнут, будут биться прикладами и штыками пока не изойдут кровью, падут все до единого на жаркий песок, затоптанные конями, порубанные кривыми азиатскими саблями.

Долго стояли Вадим и Рашид перед этой страшной картиной. И думалось каждому: может быть, тот высокий, с русыми кудрями солдат без фуражки, застывший впереди своих с обнажённым клинком в руках, — дед Вадима, а дед Рашида, чернобородый, в зелёной чалме, мчится ему навстречу со злобно перекошенным лицом и взнесённой для смертельного удара саблей. Через секунду сойдутся они — и оборвётся хриплая русская брань или пронзительный крик мусульманина...

Это было семьдесят лет — один только человеческий век назад.

— Да-а, старинная картина! — с уважением сказал Рашид, прищипнув языком. — Очень историческая.

Они постояли некоторое время молча, потом Рашид взял Вадима за руку, и они перешли в соседний зал. И сразу пахучим и васильковым обняло их очарование русской природы — перелески во влажной дымке, светлая шишкинская даль...

Вадим подумал о том, что в Третьяковку надо ходить не часто. Тогда испытываешь то удивительное чувство обновления, какое бывает весной, когда впервые после долгой зимы выедешь за город, в зелень. Много раз в жизни ты видел прозрачное небо весны и вдыхал запах земли, молодых трав и речной свежести, но каждый раз это волнует по-новому. И эти тихие светлые залы каждый раз волнуют по-новому.

Здесь словно вся Россия, великая история родины: вот васнецовские богатыри, дымное утро стрелецкой казни, и сивоусые русские мужики, ползущие через альпийский лёд; вот снежная Шипка, и немая тоска Владимирки, и понурые клячи у последнего кабака, и гордое, белое во мраке каземата лицо умирающего. И вот — октябрьское кумачёвое небо, матрос с железными скулами, победные клинки Первой Конной, и Владимир Ильич в скромном своём кабинете, созидающий великое государство, и Сталин, ведущий это государство в солнечный край коммунизма.

...Сквозь стеклянный потолок уже густо синело вечернее небо. В залах зажглись лампы. Посетителей к вечеру стало ещё больше — то в одном, то в другом зале встречались экскурсии, много людей ходили с блокнотиками в руках, что-то озабоченно записывали. В нижнем зале, на выставке советской графики, Вадим и Рашид встретили свою компанию.

Когда все вышли на улицу, Лена сказала:

— Вадим, у нас тут спор возник. Андрей говорит...

— Нет. постой! — перебил её Андрей. — Пусть сначала он сам выскажется. Вот слушай: Репин написал «Бурлаков». Был он счастлив, закончив эту картину?

— Ну, разумеется!

— Так. Примерно в то же время, ну... скажем, Верещагин написал картину «Торжествуют». Чудесно выписал орнамент на мечети, пестроту халатов, шаровар, эти отрубленные головы на шестах...

— Я знаю картину. И что?

— Так вот, был ли и Верещагин счастлив, закончив «Торжествуют»?

— Вероятно, да.

— И последнее, — с азартом закончила Лена. — Что такое счастье художника? И вообще счастье?

Нина и Лесик засмеялись.

— Н-да, спор солидный... — сказал Вадим, озадаченно улыбаясь.

Лена взяла Вадима под руку и заговорила громким, энергическим голосом, так что слышно было всему переулку:

— Я утверждаю, — вот слушай, Вадим! — что и Репин и Верещагин были одинаково счастливы, потому что оба они испытали счастье художника, закончившего творение. Ведь верно? А Андрюшка говорит, что Репин был счастлив более полно, глубоко, что он испытал счастье не только художника, но и гражданина, общественного деятеля. А я считаю, что счастье нельзя делить и измерять, как варенье. Это горе может быть большим или меньшим, а счастье — что-то абсолютное...

— Ещё Толстой отметил, — поспешно вставил знаток первоисточников Мак Вилькин. — Все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные...

— Ну как, Вадим? Я права? — спросила Лена, настойчиво дёргая Вадима за рукав пальто.

— Ты?.. По-моему, нет, — сказал Вадим, стараясь собраться с мыслями и ответить как можно обстоятельней, серьёзней, — проще говоря, Андрей утверждает, что счастье достигается художником, который создаёт народные произведения, для народа? Ты это имел в виду, Андрей?

— Да.

— Ну, бесспорно. Но почему ты Верещагина противопоставляешь Репину? Ведь он как раз изображал народ на войне, русских солдат! И сам участвовал в трёх войнах и в последней погиб. Ты знаешь, что он отказался от звания профессора, присуждённого ему царской академией художеств? Его же исключили за это из членов академии!

— Не знал. А почему отказался?

— Он говорил, что чины и отличия в искусстве вредны. Я читал его биографию...

— А-а! — рассмеялся Андрей. — Ну, ясно! Значит, он отказался от почётного звания не потому, что ему предлагала это звание царская академия, а потому, что — «чины и отличия в искусстве вредны». То есть искусство стоит выше всякого общества, всякой политики, всего мирского, суетного. Это, по-твоему, не принципы «чистого искусства»?.. А насчёт того, что он изображал народ, — это не совсем правильно. Не народ он изображал, а — людей. Понимаешь?

— Что-то не совсем...

— Да ведь воевали-то люди? Значит, ему и приходилось изображать людей. Неважно каких — турок, русских, индусов, узбеков... людей «вообще». Людей в крови, в агонии, в смертельном напряжении. У Воровского приводится один случай из жизни Верещагина — ему надо было для какой-то картины наблюдать за человеком, которого ведут на казнь, и он упросил Скобелева повесить специально для него нескольких пленных турок. Вот тебе и «чистое искусство». Ну, прав я?

Вадим чувствовал в спокойной, настойчивой речи Андрея правоту и уже мысленно начинал с ним соглашаться. Помолчав некоторое время из упрямства, он махнул рукой и пробормотал:

— Ладно, прав, сдаюсь... Я же забыл, что зарёкся с тобой спорить.

— Да почему прав? Почему? — возразила Лена с горячностью. — Ясно, что Репин прогрессивнее Верещагина, но разве об этом спор?

Я говорю, что оба они были одинаково счастливы, заканчивая картину. Как художники — ну?!

— Художник бывает счастлив тогда, — сказал Андрей, со своей удивительной способностью просто и убеждённо, безо всякого стеснения высказывать всем известные вещи, — когда он своим творчеством приближает к счастью народ, пусть на шаг, на полшага.

— Да? А я думала, что народ ни при чём, — сказала Лена насмешливо. — Такие истины, Андрюша, ты можешь приберечь до экзаменов. Кстати, люди, которые так прекрасно всё понимают, никогда почему-то счастья не достигают. Скажи, Андрюша, ты был хоть раз в жизни счастлив?

И сейчас же чему-то обрадовался Мак:

— Леночка, это у Гёте есть! Ещё Гёте сказал: «суха, мой друг, любая теория, но вечно зелено дерево жизни!» Это гётевское...

— Так, Андрюша, ты был хоть раз счастлив? — спросила Лена, лукаво прищурясь.

Андрей неожиданно смутился и, покраснев, пробормотал:

— То есть... в каком смысле...

— А, вот видишь? — торжествующе рассмеялась Лена. — Теперь ты спрашиваешь, в каком смысле? В том-то и дело! Потому что я знаю одно, и вы меня не переубедите: человек живёт один раз, и личное счастье для человека — очень много, почти всё!

— Правильно, — согласился Вадим.

Нина Фокина и Мак, которые шли сзади, возмущались в один голос:

— Как же правильно, Вадим?

— Поймите, — сказал он. — Всё дело в том: как понимать личное счастье.

— А как ты, например?

— Я скажу. Давайте по порядку. Кто у нас... — Вадим обернулся и, увидев Рашида, молчаливо шагавшего рядом с Иваном Антоновичем, хлопнул его по плечу. — Вот самый молодой! Ну-ка, ваше мнение о счастье, дитя юга?

— Наше? — переспросил Рашид и, нахлобучив на лоб меховую шапку, начал храбро: — Я скажу, хоп! Ну, когда была война, я думал, что счастье — это конец войны, победа, мой отец и братья — все живые, и все приезжают домой. Потом это счастье наступило. И я стал думать, что счастье — другое, это когда я кончу десять классов, аттестат зрелости в руках, полный порядок. Потом и это счастье наступило. И я решил, что настоящее счастье будет тогда, когда я приеду в Москву и поступлю учиться в московский институт. И вот... — и, блеснув в темноте зубами, он вдруг сорвал шапку с головы и широко взметнул её в сторону. — Видите? Счастье? Конечно, да! Таких счастливых, по-моему, у человека должно быть очень много, разных. Вся жизнь. И чем больше, тем лучше, — вот как, по-моему.

— А Достоевский говорил, — заметил Мак, — что человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья.

— Ну, Достоевский! — Лена махнула рукой. — Это устарело. Никто не знает, что такое счастье. И вообще мне надоело спорить.

Она быстро пошла вперёд и взяла под руку Лесика.

— Лесь, что нового в спортивном мире? — громко спросила она. — Ты уже был на хоккее, видел чехов?

Вадим смотрел сзади на длинное зимнее пальто Лены с меховой оторочкой внизу, которое волнисто развевалось при каждом её шаге, и подумал вдруг, что спортивный мир интересуется её так же мало, как и разговор о художниках. И неожиданно сердито он сказал:

— А ты, Мак, набит чужими афоризмами, как... чёрт знает что. Общий разговор сам собой прекратился. Вышли на мост, там было ветрено, промозгло, и все шли скорбившись, наклонив головы, пряча лица от ветра в поднятые воротники. Кречетов вдруг спросил:

— Что же замолчали, молодёжь? С таким интересом вас слушаю... А?

— Слишком долгий разговор, не для улицы, — сказала Нина. — А ваше мнение, Иван Антонович? Как вы смотрите на счастье?

— Оптимистически, — сказал Кречетов, улыбнувшись. Он отогнул рукою угол воротника и обернулся к Вадиму: — А знаете ли вы, от чего происходит слово «счастье»?

— Счастье! Что-нибудь — часть... участь...

Лена остановилась впереди и обрадованно произнесла:

— Я же и говорю: часть, частное! Ну — частная жизнь, личная... Да, Иван Антонович?

— Да нет, не совсем. Счастье — это «со-счастье», доля, пай. Представьте, что какое-то племя закончило удачную охоту. Происходит делёж добычи. Каждый член племени или рода получает свою долю — своё «со-счастье». Понимаете? Значит, уже древнее слово «со-счастье» имело общественный смысл. Если для всего рода охота была удачной — каждый член рода получал своё «со-счастье», если была неудачной — не получал ничего. Стало быть, для достижения своего «со-счастья» каждый человек должен был всеми силами участвовать в общей охоте, в общем труде. То есть, то что называется — участвовать в общественной жизни. Вот вам и философия личного счастья.

— Как здорово-то, Иван Антонович! — воскликнула Нина, захлопав в ладоши. — Ленка, ты слышала?

— Точно! Личное сливается вместе с общественным, — сказал Рашид убеждённо.

— Вы гений, Рашид! И тогда у человека бывает настоящее личное счастье. Которого, кстати, никто не отрицает.

Иван Антонович остановился на углу и стал прощаться. Но студенты не отпустили его, проводили до автобусной остановки, и стояли там, оживлённо разговаривая и развлекая этим всю очередь, пока не подошёл автобус.

На обратном пути и Алёша Ремешков высказался по спорному вопросу:

— Я тоже вот думаю — какое счастье, что у нас завтра «окно» на первых часах. И какое, думаю, несчастье, что староста у нас в комнате этот чёртов Лагоденко. Всё равно ведь, зверь, в семь часов утра подымет, одеяла сорвёт и заставит гимнастику делать. А как бы славно поспать.

Лесик вздохнул и с унынием покачал головой.

Проходя по улице Фрунзе, студенты решили проведать Сергея Палавина. Вадим и Лена поднялись на четвёртый этаж, а остальные решили зайти в «пиво-воды», купить каких-нибудь пирожков, а потом ждать Вадима и Лену внизу у подъезда.

Как только Вадим нажал кнопку звонка, дверь сейчас же открыли. В передней стояла Ирина Викторовна и Валя — та самая приятельница Сергея из мединститута, с которой Вадим уже несколько раз встречался. Она была в пальто и надевала шляпку, собираясь уходить. Ирина Викторовна обрадованно поздоровалась с Вадимом и учтиво познакомилась с Леной, окинув её быстрым и зорким, чуть бесцеремонным взглядом.

— Мы на минуту. Нас ждут внизу, — сказал Вадим почему-то извиняющимся тоном

— Пожалуйста! Раздевайся, Вадим! Очень хорошо, что зашли, — воодушевлённо откликнулась Ирина Викторовна. — Раздевайтесь — Лена, да? Пожалуйста, Леночка, вот сюда...

Валя кивком поздоровалась с Вадимом и прошла мимо него к двери молча, поджав губы. «Не узнала, что ли? — подумал Вадим, испытав на секунду холодок неприязненности. — Она ведь близорука, и очков не носит, стесняется». Последнее время он редко встречал Валю у Сергея, и Сергей почти не говорил о ней.

Лена ушла в комнату, а Вадима Ирина Викторовна задержала на минуту в коридоре.

— Вадик, стой, — шепнула она, многозначительно подняв брови. — Они повздорили сейчас, так что ты не спрашивай ни о чём, не надо...

— Кто?

— Да с Валюшей он! Я ведь прихожу поздно, а Валюша зашла — помочь ему, разогреть, мало ли что... А он ужасно брюзгливый делается, когда болен. И чем-то обидел девушку.

— Обидел?

— Ну да! Пустяки, конечно. С ним надо уметь, терпеливо... — Ирина Викторовна взяла двумя руками галстук Вадима, подтянула его, заботливо расправив ворот рубашки, и неожиданно, так же шёпотом спросила: — А тебе нравится Валюша?

— Мне? — переспросил Вадим с недоумением. — Да, хорошая девушка... Серьёзная.

Ирина Викторовна вздохнула.

— Ты знаешь — очень хорошая! И такая жалость, что она Серёже не пара.

— Почему, Ирина Викторовна?

— Вадик, у ней с лёгкими не всё благополучно, — Ирина Викторовна сказала это совсем тихо, горестно наморщив лоб. — Ты понимаешь? А у Серёжи дед умер от туберкулёза. Ужасно жалко... Ну иди, Вадик, иди, — она подтолкнула Вадима к дверям комнаты. — Эта Лена — ваша студентка, да?

— Да, наша.

— Симпатичная мордашка.

Сергей полулежал в кровати, курил и, томно сощутив глаза, смотрел на Лену, которая что-то оживлённо рассказывала о Третьяковке. Шея его была замотана тёплым шарфом, но лицо не производило впечатления особой особей недужности, хотя и было несколько бледным и давно не бритым.

— Как твой реферат о Гоголе? Идёт? — спросил Сергей, как только Вадим вошёл в комнату.

— Слабо идёт. Видно, во втором семестре кончу.

— Что ты? Вадим! — Сергей даже привстал испуганно. — Ты же в сборник не попадёшь!

— Ну, не попаду. Во второй попаду, невелика беда.

Но Сергей с горячностью принялся убеждать Вадима, что ему необходимо попасть именно в первый сборник и надо приложить к этому все усилия.

— Это же позор! Чёрт-те кто будет печататься, а ты не попадёшь? Позор! Я, больной, и то работаю, глаз не смыкаю. Ты знаешь, я изменил тему, я пишу о драматургии Тургенева. Борис Матвеевич посоветовал. Да! — Сергей вдруг обрадованно хлопнул ладонью по одеялу. — Знаешь что? Я же могу тебе дать свой старый реферат о Гейне, все материалы, планы. Конечно! Он наполовину сделан, может быть не наполовину — на треть...

— Да зачем мне?

— Ты его докончишь за две недели и успеешь подать для сборника. А свой будешь спокойно писать во втором семестре. Это же идея — а? Блеск!.. Правильно, Леночка?

— Конечно, правильно. Берись, Вадим!

— Нет, незачем, — сказал Вадим, качнув головой. — Зачем мне чужое доделывать? Я своё напишу.

— Да почему чужое? Моё, а не чужое! Ты ведь сам говорил, что мы должны помогать друг другу, — помнишь? Андрей же помогал Нине Фокиной.

— То было другое дело. Нет, это не пойдёт.

— Ну, как хочешь, — Сергей пожал плечами и, обернувшись к Лене, сказал огорчённо: — Ты видишь, какой он? Из-за своего этого ложного самолюбия, гордыни-навыворот, всегда в тени остаётся. Я же добра тебе желаю, дурья башка!

— Да нет, глупости. Успокойся, брат ты мой, тебе вредно волноваться.

— А что мне? Твоя забота... — проворчал Сергей, укладываясь на подушки. — Обидно! Андрей печатается, Фокина, синечулошница, а Вадим Белов, понимаешь...

— Белов не пропадёт, — сказал Вадим, улыбаясь. — Ещё всем вам носы утрёт, будь спокоен.

Лена взглянула на часы и быстро встала со стула.

— Ой, Дима, мы уже пятнадцать минут просидели! Идём. А то ребята наши уйдут!

— Да подождут, ничего...

— Нет, Дима, это нехорошо. Идём сейчас же!

Вадим поднялся неохотно. Он как раз надеялся, что ребята не дождутся их и уйдут. Да разве они на это способны! Это ж «не по-товарищески»...

— Мы твоего доктора встретили, — уже в дверях сказала Лена. — Это доктор была — девушка такая бледненькая, невзрачная?

Сергей взглянул искоса на Вадима и кивнул.

— Доктор.

— А молодая какая...

— Да. А надоела мне, как... — Сергей слабо шевельнул кистью и усмехнулся невесело, — хуже микстуры... Спасибо, ребята, что зашли. Вадим, не забудь книги мне взять — Меринг и Луначарский!

Он вытянул ноги, укрылся одеялом до подбородка и сразу стал похож на больного. Ирина Викторовна на цыпочках вошла в комнату с кастрюлькой в руках, в которой дымилось молоко и плавали жёлтые пятна масла.

Да, Вадим надеялся напрасно — ребята терпеливо ждали их у подъезда и даже сохранили для них два пирожка. На обратном пути Лена сейчас же взяла под руки Нину Фокину и Лесика и ушла вперёд. Вадима это не огорчило, даже наоборот — ему показалось это хорошим признаком. В последнее время в кругу ребят он чувствовал себя легче, свободней, когда находился в некотором отдалении от Лены.

Он стал думать о предложении Сергея, о том, как Сергей возмущался его отказом, и о том, что помощь всё-таки предложена была из благих и дружеских побуждений. И это было приятно. Ведь всякое проявление дружбы, пусть самое незначительное и смешное, бывает для человека радостным и делает его счастливым.

И он ощутил внезапный прилив радости, от того, что шёл с друзьями,

и их было много, таких разных, весёлых и настоящих, и среди них была Лена, которая пела звонче и слышнее всех:

На весёлый студенческий ужин
Собрались мы сегодня,
Друзья...

и все встречные мужчины внимательно смотрели на неё, а женщины улыбались.

Мороз к вечеру поутих. Небо очистилось и было таким глубоким и звёздным, как на картинах Куинджи. Но только небо. Ни люди, идущие навстречу, ни шумные, в озарении многоцветных огней перекрёстки, ни скверы, в которых кипела бурливая сложная жизнь детворы, — ничто не напоминало Вадиму ни одну из виденных им картин, оставаясь удивительным и неповторимым, полным новизны.

Слух у Вадима был неважный, и всё-таки он пел, и по временам даже довольно громко.

А в общежитии их ожидала новость: Лагоденко сдавал сегодня русскую литературу и опять провалился — в третий раз! Козельский принимал у себя дома, и Лагоденко прямо в профессорском кабинете поругался с Козельским, сказал ему, что он ничего не понимает в литературе, что он педант, схоласт и «мелкий, жёлчный человек». Всё это рассказала Рая Волкова — девушка, с которой Лагоденко дружил.

— Ребята, что ж теперь с Петькой будет? — спрашивала она, растерянно. — Какой дурак, а? Ой, дурак же...

Самого Лагоденко в общежитии не было. Рая говорила, что он пришёл от профессора злой и мрачный, рассказал обо всём сквозь зубы и ушёл куда-то «бродить по городу».

Глава 7

Он стал часто простуживаться в последнее время. День начинался с насморка, кончался головной болью. Должно быть, влияла погода — на дворе была то слякоть, то подмораживало, то сеялся робкий маленький снежок. Настоящей зимы всё не было.

— Ты стал какой-то гнилой, — говорила ему Валя. — У тебя плохой обмен. Надо больше спортом заниматься.

Но она, конечно, говорила это только для того, чтобы досадить ему, уязвить, — есть такие особы, которые под видом дружеской откровенности любят говорить неприятные вещи. Уж кто тогда спортсмен на курсе, если не он? Первый нападающий сборной института по волейболу!

Мать была убеждена, что дело в тёплых носках и в том, что Серёжа слишком много курит. Она надоедала ему своей суетливой заботливостью, бесконечными советами и замечаниями, которые, как ему казалось, ничем не отличались от тех советов и замечаний, какие она давала ему десять лет назад. Иногда он говорил ей раздражённо: «Я был в армии, спал чёрт-те где, под открытым небом, в болотах — и ни одна болячка не пристала. А как вернулся, и начались эти твои заботы, причитания, ахи да охи — так и я почему-то стал простуживаться. Ну, почему, как по-твоему? Почему?»

Больше всего его раздражало то, что мать, через три года после его возвращения из армии, как будто совсем забыла, что он прошёл фронт, видел столько страшного и жестокого, что он стал на войне настоящим мужчиной и знает о жизни такое, что ей и не снилось.

Первое время мать относилась к нему с уважением, наивно волнуясь слушала его рассказы о фронте и гордилась им. Ему это было приятно.

Но потом вспоминать стало нечего, а если и всплывала вдруг какая-нибудь упущенная история, то не было желания её рассказывать. Он чувствовал, что и мать, и даже маленький Сашка слушают его теперь только для того, чтобы сделать ему приятное.

Сергей был один в доме — Ирина Викторовна ещё не вернулась с работы, Сашка ушёл с товарищами на каток.

Температура второй день была нормальной, но в институт Сергей ещё не ходил. До сих пор его донимал насморк, и от этого было скверное настроение. Ничего не хотелось делать, всё валилось из рук. А дел как раз было много, и главное — он должен был писать.

Он лечил себя сам: пил кальцекус, обвязал шею шарфом; балконную дверь он завалил ковром, чтобы не дуло, и старался пореже выходить в коридор.

И всё же ни черта не получалось с работой. Он сидел два часа за столом — и не написал ни строчки. Заниматься он тоже не мог. Впрочем, с занятиями у него была своя система, действовавшая безотказно. Перед экзаменами он садился на пару ночей, запасался табаком, таблетками феномина, и почти всегда сдавал на пятёрки.

Днём неожиданно пришла Люся Воронкова. Она отставала в английском языке, и Сергей помогал ей. Это была одна из его общественных нагрузок.

— Ну как, поправляемся? — спросила Люся, глядя на его замотанную шарфом шею и сонное лицо.

— Мало-мало...

— Стрептоцид пьёшь? Кальцекус чепуха, пей стрептоцид. Или вот, слушай... — она заговорила своим обычным, напористо-деловым тоном: — Берёшь в аптеке шиповник, завариваешь, как чай, — исключительно помогает! А нос надо ментолом мазать. И не вешать. И стрептоцид возьми — завтра другим человеком станешь. Вид у тебя неважненький. А заниматься будем?

— Будем, конечно. Снимай пальто.

К Люсе Воронковой он относился в глубине души иронически, главным образом оттого, что не видел в ней женщины. Она вся была какая-то угловатая, сухая, и голос у неё был резкий и слишком громкий и самоуверенный для девушки. Волосы она стригла коротко, и всё же всегда они лежали неряшливо. Люся была членом профкома, состояла в активе клуба и всегда была в курсе всех институтских событий.

— В понедельник будет контрольная, — сказала Люся, — если я завалюсь, меня до экзамена не допустят. А я наверняка завалюсь. Ольга страшно злая, говорят, она с мужем разводится.

Сообщив тем же деловым тоном ещё несколько подробностей из семейной жизни «Ольги», Люся села в кресло и разложила перед собой тетради. Начали заниматься. Сергей прохаживался по комнате и гундосым, насморчным голосом читал по учебнику упражнения:

— «Я пью каждый вечер чай с бисквитами... Пью ли я каждый вечер чай с бисквитами?» — В конце концов, вовсе неплохо, что она пришла. Писать он всё равно не писал, и не занимался. — «Нет, я не пью этого... Питёе чаа с бисквитами очень полезно...» — И главное, это необременительно, времени много не отнимает, а всё же в некотором роде — товарищеская помощь... — «Любите ли вы по временам пить чай с бисквитами?»

Люся писала скверно, читала она ещё хуже. Она, очевидно, считала, что чем невразумительней выговаривать, тем будет выходить правильной, и так ворочала языком, точно у неё был флюс.

Они занимались с час, и Люся сказала, что она больше не может.

— Если я занимаюсь языком больше часа, у меня начинается мигрень. Почему я такая бездарная к языкам, а, Сергей? Я же не тупица какая-нибудь, правда?

— Да нет, — сказал он снисходительно. — Был такой Уарте, испанский философ, который считал, что память и разум рождаются противоположными причинами. Память развивается только за счёт разума, а разум — за счёт памяти. Так что утешайся тем, что в тебе слишком много разума.

— Серьёзно? Был такой философ? — обрадовалась Люся. — Вот умница! Как, ты говоришь, его фамилия?

Потом они пили чай — Люся отказывалась, но Сергей настоял на своём очень решительно, ему самому хотелось пить. За чаем Люся по секрету рассказала Сергею, что его хотят выдвинуть на стипендию имени Белинского. Его и Андрея Сырых. Кому из них дадут — это решит Учёный совет. Но его выдвинут, это она знает точно. Она не может сказать, кто ей это сказал, но это точно. А Андрея Сырых очень поддерживает Кречетов.

Для Сергея сообщение это было неожиданным.

— Ну что ж, Андрюшке стоит дать, — сказал он, вставая, чтобы скрыть внезапное волнение, и прошёлся по комнате. — Он парень хороший, его все любят. Ему и дадут.

— Почему? Вполне могут тебе дать.

Сергей махнул рукой.

— Да нет, я не надеюсь! Дождёшься от них...

Помолчав и шагая по комнате всё быстрее, он сказал задумчиво:

— Дело, конечно, не в деньгах... Честь дорога! Белинский, как-никак — а? Ну ладно, ничего пока не известно, и не будем об этом.

Но ему уже было тепло и весело от мысли, что скоро — вероятно, в следующем месяце — он получит персональную стипендию — он был уверен, что дадут ему, а не Андрею. Сначала вывешат приказ, и все будут его поздравлять, потом, двадцатого числа, он придёт в бухгалтерию. «Вы, кажется, персональник?» «Не кажется, а именно так!» Кассирша достанет отдельный небольшой списочек — на глаза у всей очереди, которая получает по общему списку, огромному и скучному, как телефонная книга. Дело, конечно, не в деньгах, но всё же... Лишние полторы, две сотни — разве плохо?

Он снова пошёл на кухню ставить чайник. На этот раз он уже не испытывал жажды, но ему не хотелось отпускать Люсю — может быть, она ещё что-нибудь расскажет, вспомнит какие-нибудь подробности.

Но относительно стипендии Люся больше ничего не смогла сказать, кроме того, что это «строго между нами, смотри никому не говори, потому что подведёшь и меня и одного человека. Но это точно».

Сергей улёгся на диван, а Люся сидела в кресле, положив ногу на ногу, и курила. Ноги у неё были худые, с острыми коленями. Подбородок у неё тоже был острый. И нос тоже. Говорила она не переставая и всё какие-то пустяки. Её присутствие уже начало тяготить Сергея. Впрочем, нет, она сообщила ещё одну важную новость: на среду назначено комсомольское собрание, где будет обсуждаться поступок Лагоденко. Объявления ещё нет, будет в понедельник. Об этом поступке Сергей знал по рассказам Вадима: Лагоденко при сдаче экзамена нагрубил Козельскому, но как и что именно он сказал профессору — Сергей не знал. С Лагоденко у него были старые счёты, они не любили друг друга.

— Я давно этого братишку балаганного терпеть не могу, — сказал он. — Правильно, надо его проучить.

— Да, да! Необходимо! Прочитать всем коллективом, чтобы он почувствовал! — с неожиданным пылом заговорила Люся. — Ставит себя выше всех — подумаешь, персона! А ведь найдутся, чего доброго, защитники на собрании.

— Кто?

— Ну кто — многие... Андрей Сырых, его дружок, Райка Волкова, ребята из общежития. У нас в общежитии, у девочек, второй день споры идут. Собрание шумное будет, вот увидишь! Ведь не только о Лагоденко будут говорить, но и о Борисе Матвенче, а его и так кое-кто недолюбливает. Понимаешь?

— Андрей будет защищать Лагоденко?

— Защищать-то, пожалуй, он не будет, но он начнёт говорить о Козельском. Ну и... понимаешь, он может восстановить против себя профессуру. Очень свободно. В конце концов, не наше дело вмешиваться в преподавание, учить профессоров...

— Да, не всегда уместно.

— Это просто глупо будет, нетактично! Если, допустим, Борис Матвеевич ошибается в чём-нибудь — его и без нас поправят. Есть кафедра, дирекция, есть, наконец, партийный комитет.

— Да, да, — сказал Сергей, нахмурившись. — Я, вероятно, выступлю на собрании. По ходу дела.

— Ну да, там видно будет. Но по поводу Лагоденко ты наверняка можешь выступить. Ты даже обязан выступить, как старый комсомолец, активист — понимаешь? Тебя уважают, к твоему мнению прислушиваются, ты не должен молчать.

— Да, я выступлю, — Сергей кивнул.

Совсем стемнело. За стеной, в соседней квартире три раза коротко пискнуло радио — семь часов. Люся стала торопливо собираться. Сергей тоже оделся, чтобы провезти её до метро.

— Нет, нет, не надо! Сиди дома, ты же простужен, — запротестовала Люся. — Что я, маленькая?

Однако Сергей и на этот раз был настойчив, и проводил Люсю до метро. Ему нужно было купить табак.

Вернувшись домой, он сел за стол и снова попробовал писать. Улица освежила его, и голова болела меньше. В последние два дня Сергей временно отложил реферат — устал от книг — и взялся за свою повесть.

Писать Сергей Палавин начал ещё на фронте — сотрудничал некоторое время в армейской газете. В институте он изредка печатал в стенной газете стихи и фельетоны, подписываясь «Сергей Лавин». На втором курсе начал было писать пьесу из студенческой жизни, но, видно, слишком долго собирал материал, слишком много разговаривал с приятелями о своей пьесе — и дальше планов и разговоров дело не пошло.

Однако все в институте знали, что Палавин человек пишущий, что он «работает над вещью», и так как других пишущих в институте не было, по крайней мере никто не знал о них, то вся масса непишущих испытывала к Палавину нечто вроде уважения.

Месяц назад он принял за повесть из жизни заводской молодёжи. Редактор армейской газеты, в которой Сергей когда-то пописывал, работал теперь в московском журнале и обещал помочь напечатать. Сергей начал работать с воодушевлением. За десять дней он исписал своим бисерным почерком сорок страниц, а до конца было далеко. Но затем дело пошло не так гладко и быстро. Герои его, бывшие в первых главах жизнерадостными, энергичными людьми, превратились вдруг в каких-то бездарных истуканов, которые не желали двигаться, туго соображали, говорили пошлости...

Вот и сегодня он просидел над бумагой до полудня и, кроме двух абзацев, в конце концов перечёркнутых, и галереи чернильных уродцев на полях, ничего не создал. Очевидно, он просто переутомился за эти дни. Надо сделать перерыв.

Он закрыл чернильницу, лёг на диван и закурил. В это время вошла мать — у неё был свой ключ.

— Ты один, Серёжа? Как твой грипп? — спросила она, кладя портфель.

Он сказал, что грипп всё так же. Ирина Викторовна сразу же принялась за приготовление обеда — побежала на кухню, потом прибежала обратно, опять на кухню, зазвякала там посудой, застучала картошкой, звонко бросая её из ведра в миску. «Теперь уж наверняка не сосредоточишься», — с досадой подумал Сергей. Он ещё надеялся сосредоточиться и поразмыслить над повестью. Иной раз на диване ему приходили в голову неплохие мысли.

И вдруг его осенило — повесть надо отставить! Да! Отставить до второго семестра. И сейчас же, немедленно, сесть за реферат и закончить его как можно скорее, чтобы успеть прочитать его до Учёного совета в НСО. Это очень важно. Главное сейчас — реферат!

Войдя в комнату, Ирина Викторовна спросила:

— Ты работаешь? Думаешь?

— Да, — сказал он.

Он думал о том, как жаль, что ему не дадут стипендию Белинского в этом месяце. Было б как раз под Новый год.

— Хорошо, я буду тихо...

Стараясь не шуметь, Ирина Викторовна достала из буфета посуду и ушла на кухню. За обедом Ирина Викторовна вдруг сказала оживлённо:

— Да, совсем забыла! Ведь у меня сегодня Валюша была!

— Где это у тебя? — спросил он, от удивления перестав жевать.

— На работе. Она пришла как раз в обеденный перерыв. Мы с ней проболтали полчаса...

— Ну?

— Ну, я ей рассказывала...

— А что ей нужно было?

— Я не понимаю, отчего ты сердисься, Серёжа?

— Я не сержусь, а спрашиваю: что ей нужно было у тебя? — повторил он раздражённо.

— Ну, просто зашла проведать... Спрашивала про тебя, как твоя работа. Она очень занята, её куда-то там выбрали... И потом она принесла мне голубую шерсть, что обещала.

— Какую шерсть?

— Ах, господи! Да помнишь, я говорила при ней, что хочу вязать тебе свитер, да не знаю, где взять цветной шерсти. Из белой очень марко. Валюша мне и пообещала. Вспомнил? Ну, и принесла вот... Серёжа, ешь с хлебом, что за еда без хлеба.

Он хмуро смотрел на мать и не видел её, углублённо думая о своём. Потом бросил со звоном вилку.

— Не нужно мне никакого свитера! И незачем было брать у неё шерсть. Не хочу я этого, ты понимаешь? Не хочу... Что ты суёшься не в своё дело, в конце концов?

— Ты просто, Серёжа, ужасный сегодня, — сказала Ирина Викторовна растерянно. — Хоть ты и больной, знаешь...

— Я не больной, а меня выводит из себя — это... вот это ханжество! Как будто в Москве нельзя достать шерсть, кроме как у Вали!

— Если ты хочешь...

— Я хочу, чтобы ты отдала ей шерсть обратно! И всё!

— Ну да, сейчас же побегу к ней! Не пообедав...

— А я говорю — отдай! Пришла тебя проведать... благотельница тоже...

— Не благотельница, а очень милая, обязательная девушка, а ты стал невыносимый брюзга! Это отвратительно в твоём возрасте! — сказала Ирина Викторовна рассерженно. — И, вообще, если ты против шерсти...

— Вообще я не против шерсти, — усмехнулся Сергей. — Я не люблю только, когда меня гладят против шерсти. Запомни это, пожалуйста.

Вдруг успокоившись собственным каламбуром, он взял вилку и принялся есть. Ирина Викторовна тоже начала было есть, но она так разнервничалась, что у неё пропал аппетит. Она отодвинула тарелку и встала из-за стола.

— А ты, пожалуйста, ничего у меня больше не проси! И делай свой свитер где хочешь!

Сергей не ответил и продолжал с аппетитом есть котлеты, густо намазывая их горчицей. Когда он кончил второе, пришёл Саша. Он размялился после катка, весь пунцово светился, и чёрные глаза его блестели влажно и радостно. От него сразу пахнуло свежестью, морозным простором улиц.

— А вот и я! — весело крикнул он, бросая коньки возле дверей. — Ох, мам, и накатался я! Ноги не держат! Мы с Лёвкой на спор бегали... Как здорово там — музыка играет, фонари, народищу жутко сколько! А есть я хочу-у!

— Сейчас же положи на место коньки! — сказала Ирина Викторовна, ставя на стол третий прибор, — что за мерзкая привычка бросать где попало! Сколько раз тебе говоришь, говоришь — горох об стенку.

Саша удивлённо посмотрел на мать, потом на брата.

— Что это вы... какие-то?

— Какие — какие-то? Не говори глупостей. Мой руки и садись живо! Ирина Викторовна вышла на кухню.

— Серёжа! — сказал Саша, подойдя к брату. — Что это у вас...

— Ничего у нас! — грубо ответил Сергей. — Мал ещё. Иди мой руки, уроки делай и помалкивай.

— Подумаешь... какой сердитый! — Саша озадаченно замолчал, потом проговорил решительно: — Ну, ладно! А я тебе не скажу, кого я на катке видел!

— Пожалуйста. Как-нибудь переживу.

Он подошёл к книжному шкафу и, взяв томик Герцена, лёг на диван. Некоторое время в комнате все молчали.

Потом Саша спросил суровым голосом:

— Чай пить будешь?.. С печеньями.

— Ты хочешь сказать — с бисквитами? — усмехнулся Сергей. — Нет, я не пью этого.

Он повеселел, вспомнив о Люсе и о персональной стипендии, и с наслаждением потянулся на диване.

Пообедав и став добрее, Саша всё же не утерпел:

— Ладно, так и быть, скажу, кого я видел — Вадима и эту девчонку, которая приходила к тебе... Лена, что ли?

Сергей заинтересованно привстал.

— Лену? Они что... вместе были или как?

— Ну да, друг с дружкой катались! А у Лены этой свитер такой с оленями, как в кино, знаешь...

Сергей промычал что-то и снова уткнулся в книгу. Перевернув пару страниц, он спросил:

— Они про меня не спрашивали? Вадим не спрашивал?

— Нет. Он только рукой мне помахал.

Не прочтя и десяти строк, Сергей бросил книгу, повернулся лицом к стене и лежал так некоторое время, рассматривая обои. Потом встал с дивана и ушёл в свою комнату спать.

А Вадим в это время шёл через Крымский мост. Он только что проводил Лену до метро и возвращался домой пешком.

На мосту было ветрено, как всегда. Громады стальных колонн изморозно светлели у подножий, а вершины их были невидимы. Они терялись во мраке неба, которое было не чёрным, а грифельным, белёсым от московских огней и казалось подёрнутым паром.

Полночная Москва, необъятно раскинутая перед Вадимом, была теперь городом огней. Днём здесь жили люди, теперь — огни. Всё вокруг было населено роями огней. На горизонте огни клубились, переливались, как фосфоресцирующая морская волна, и дальше — там тоже были огни, но их уже не было видно, и только светлой стеной в небе стояло их мощное зарево.

Парк лежал за мостом, курчавый и тихий, опустелый. Огромный каток возле набережной, ещё час назад полный стремительной и бурной жизнью, был теперь безлюден. Молчали оглушительные репродукторы, без конца повторявшие песню про фонарики: «Гори, гори, гори-и-и...» Отсюда нельзя было различить той маленькой тёмной аллеи, куда они заехали отдохнуть.

...Скамья стояла на повороте, рядом с большой аллеей. Лёд возле неё был обколот и выщерблен коньками, а посередине аллейки стоял полосатый фанерный бакен, вроде речных бакенов, обозначающих мели, с надписью: «Лёд повреждён». Вадима душила жара — он размотал шарф и сдвинул на затылок шапку с мокрого лба.

— Я кружусь, ох... У меня кружится голова, я пьяная! — Лена тихо смеялась, откинувшись на спинку скамьи. — Вадим, положи руку мне под голову, а то очень жёстко.

Он сел к ней ближе, вытянув руку вдоль спинки скамьи, и она положила на неё голову. От густого румянца лицо её казалось совсем тёмным, лишь влажно блестя губы. Мимо по большой аллее всё время пронеслись люди. Мальчишки подкатывали вплотную и прямо перед их скамьёй со старательным скрежетом делали крутые повороты. Проехал степенным шагом дежурный милиционер на коньках. Как все милиционеры на льду, он двигался как-то чересчур прямо, с хозяйственной солидностью растопырив руки и сурово поглядывая по сторонам. Отталкивался он одной ногой. Толстый дядя в очках, одетый, как заправский спортсмен, но, очевидно, впервые в жизни ставший на лёд, медленно ехал вслед за милиционером. Он то и дело сгибался в поясе, точно отвечивая кому-то короткие поклоны. Вдруг остановившись, дядя начал страшно вибрировать всем телом и то что называется «бить копытом», потом взмахнул руками и молча шлёпнулся навзничь.

Лена захохотала, глядя на него, и выпрямилась как раз в то мгновение, когда Вадим решил обнять её.

— Ты помнишь наш спор? Насчёт счастья? — вдруг спросила Лена. — Ты ведь так ничего и не сказал...

Ему не хотелось сейчас говорить об этом, и вообще не хотелось говорить. Ему хотелось обнять её. Никакие слова не годились для этого и были только помехой. Лена придвинулась к нему и, раздумчиво склонив голову, сказала:

— Счастье? Это... знаешь что? — И, помолчав, она напевным, выразительным шёпотом прочитала:

Есть минуты, когда не тревожит
Роковая нас жизни гроза.
Кто-то на плечи руки положит,
Кто-то ясно заглянет в глаза..
И мгновенье житейское..

Лена полузакрыла глаза и чуть слышно, одним дуновением закончила:

...канет,
Словно в тёмную пропасть без дна.
И над пропастью медленно встанет
Семицветной дугой тишина.

— Да, да, это счастье... — пробормотал Вадим, обнимая её, целуя её закрытые глаза, щёки, её холодные, обжигающие губы. Опять к ним подъехали мальчишки и демонстративно закрутились возле самой скамейки.

— Здесь не отдохнёшь. Пойдём вон в ту беседку, там тихо, — сказала Лена, вставая, и запела вполголоса: — «Гори, гори, гори-и-и...» Она такая таинственная!

Вадим поднялся бодро и сказал:

— Пойдём. Только там сидеть не на чем.

— А мы эту скамейку возьмём! Давай?

— Подожди, — он отстранил Лёну и потряс скамью. — Я её и один донесу.

Взяв скамью двумя руками, Вадим разом поднял её над головой. На него посыпалась сухая снежная пыль. Ставя коньки враскос, медленными шажками он пошёл к беседке.

Лена кружилась вокруг него, испуганно повторяя:

— Ой, Вадька, упадёшь! Ой, осторожно!.. Помочь тебе?

— Донесу...

— Бросай её... Сейчас же брось! — кричала Лена. — Ну, я верю, что ты сильный, верю! Ну, ты — Поддубный, Новак, Геркулес!

Руки его тряслись и гнулись, а коньки то и дело подламывались, выворачивая ступни. Наконец он дошёл до беседки и с грохотом бросил скамейку на промёрзший деревянный пол. Лена вбежала за ним, стуча по доскам коньками. В беседке была полная темнота, и вдруг Вадим увидел на полу горящий уголёк брошенной папиросы. И над ним, возле столба — две фигуры, стоявшие близко друг к другу.

— Вадька, обратно! — шепнула Лена и сбежала по ступенькам на лёд.

Вадим растерянно сошёл за ней следом. Лена уже мчалась по аллейке и неудержимо хохотала. А в беседке чей-то бас обрадованно проговорил:

— Вот спасибо, браток!

И снова — большой каток, расплывчатое сияние огней на льду, музыка. И рука Лёны в мокрой варежке, такая тонкая, невесомая и делающаяся неожиданно твёрдой на поворотах.

Больше ничего не сказали они друг другу в этот вечер. Ему казалось, будет ещё много таких вечеров, очень много в его жизни. И будут такие же плывущие в небе фонари, и пение льда, и музыка, и рядом с ним смеющаяся девушка с покорной и тонкой ладонью... Всё это будет у него ещё много, много раз. Он радостно верил в это.

...Когда Вадим проходил мимо белых, с ярко освещёнными рекламными щитами ворот парка, к нему вдруг подбежали две девушки.

— Вадим! Белов! — закричали они ещё издали. — Постой!

Полная черноглазая Марина Гравец была из его группы, другая — Симочка Мухтарова, красивая девушка с цыганским лицом — с исторического факультета. Обе были в спортивных штанах и с коньками.

— Нельзя сказать, чтобы он готовился к английской контрольной! — весело и певуче сказала Марина и засмеялась.

— А разве у нас контрольная?

— В понедельник. Ольга Марковна ещё позавчера грозилась. Что-то страшное будет — на все времена!

— Он этого сейчас не понимает, — вполголоса сказала Симочка. — Для него существует только настоящее время.

— А, да! — Марина понимающе кивнула.

Вадим сделал вид, что ничего не заметил.

Вместе с девушками он дошёл до Калужской. Всю дорогу Вадим шутил с ними, рассказывал анекдоты, сам смеялся над всякой чепухой. Ему было весело и легко, как никогда.

— А мы знаем, отчего ты сегодня такой легкомысленный, — сказала вдруг Марина, загадочно улыбаясь. — Знаем, Симочка?

— Знаем, знаем! — баском ответила Симочка.

Вадим усмехнулся:

— Вы же пифии, всё знаете.

Они вышли на площадь и ждали у перехода, пока пройдёт поток машин.

— У меня было такое впечатление, глядя на вас, — продолжала Марина игриво, — будто вы обсуждаете последний семинар по политэкономии.

— Ну, что ты! — сказал Вадим. — Мы объяснялись в любви, целовались и всё такое.

Марина расхохоталась.

— Ого! Только учти, Белов, объяснения на катке бывают очень скользкими. — И добавила серьёзно: — А в общем, ты делаешь успехи.

Глава 8

Андрей Сырых зиму и лето жил под Москвой в дачной местности Борское. Летом здесь былолюдно и весело, наезжало много дачников, молодёжи, на реке открывались лодочные станции и пляжи, с утра до вечера гулко стучал мяч на волейбольных площадках — жизнь была увлекательной и лёгкой, похожей на кинофильм.

Но она исчезала так быстро, эта неповторимая летняя жизнь, унося с собой запахи лугового настоя, тихую музыку по вечерам, и скрип уключин, и влажную мягкость песка под босыми ступнями, — пронеслась падучей августовской звездой, и исчезала. И в городе, деловом и дождливом, в его будничной суете не было и следа этой жизни.

А потом начиналась осень, пустели дачи, в поле и в лесу почти не встречалось людей, да и те, кто встречался, были редкие огородники, торопящиеся на автобусный круг с мешком картошки за плечами. И плыла в воздухе нетревожимая паутина, просеки затоплялись жухлой листвой — её никто уже не убирал до снега, и далеко по реке разносилось одинокое гугуканье последнего катера с каким-нибудь случайным пассажиром, забившимся от холода в нижний салон.

И на долгие месяцы затихало Борское под снегом. Синие морозные утра, синие сумерки, а по ночам — лай заречных собак, шорох снега и

далеко на горизонте трепетное призывное миганье огней московской окраины...

Андрей мало времени проводил в Борском. Рано утром он уезжал в институт, после лекций обедал в институтской столовой и шёл заниматься в библиотеку. В Борское он приезжал поздно вечером, а иногда и не приезжал вовсе — оставался ночевать у своих приятелей в студенческом общежитии.

Отец Андрея работал мастером на большом станкостроительном заводе. Во время войны и Андрей работал на заводе, не на отцовском, но тоже на крупном. В военное училище его не взяли из-за близорукости, и в 1942 году семнадцатилетним юношей он пришёл на завод. В первые два месяца работал в трубоволокнильном цехе — тянул на волокнильном стане «профиля». Потом его перевели работать к горну, а оттуда в слесарную группу. Два года Андрей простоял у слесарного верстака, на третий — перешёл диспетчером в инструментальный цех. У него было много друзей на заводе, и когда Андрей уходил на учёбу, ему казалось, что он обязательно будет продолжать эту дружбу, ни за что не оторвётся от ребят, с которыми прожил тяжёлые годы войны.

— Все вы обещаете, знаем! — говорил при прощании Пашка Кузнецов, слесарь из инструментального. — А как уйдёте — так и концы! Поминай как звали.

Андрей сердился, ему казалась нелепой и оскорбительной даже мысль — забыть ребят. Глупости! И он действительно в первое время забегал раз в неделю на завод, в комитет комсомола, в клуб и общежитие. А потом посещения эти стали всё реже и через год прекратились вовсе. Закрутила, отнесла в сторону новая жизнь, новые интересы, а главное — это жестокое московское время, которого всегда нехватает.

Издredка теперь на улице, в трамвае или в метро на встречах эскалаторах наскачит Андрей на кого-нибудь из заводских. И времени всегда в обрез, и поговорить-то в толкучке, на проходе неудобно — помнут друг другу руки, поулыбаются:

— А ты здоров стал! Ну как?

— Да ничего! А как на заводе?

— Да работаем, даём стружку... Серёга на учёбу ушёл, директор у нас новый.

— Ну? Нестеров, значит, ушёл?

— Он-то давно ушёл. Да ты забежал бы, Андрюха, что же ты?

— Да, да, я вот обязательно на днях забегу.

И опять ему кажется, что обязательно он на днях забежит, искренне верит, что забежит. И радостно, и грустно от этих встреч...

Недавно на хоккейном матче Андрей встретил Пашку Кузнецова. Он увидел его уже на выходе со стадиона и узнал по широким плечам и знакомой кожаной кепочке, в которой Пашка ходил большую часть года. После первых бесцельных восклицаний, радостных тумачков и объятий, друзья разговорились и долго шли пешком. Павел, оказывается, ушёл из цеха и теперь — освобождённый секретарь комитета ВЛКСМ на заводе.

— Скоро уж отчётно-перевыборное провожу, — сказал он с гордостью.

— Сколько же мы с тобой не виделись? Да, два года... — Андрей вздохнул. — Завидую я иногда тургеневским героям — только и делают, черти, что друг к другу в гости ходят и чай пьют. Вот жизнь была!

Оба рассмеялись, весело взглянув друг на друга. Кузнецов взял Андрея под руку.

— У меня к тебе дело есть, Андрюшка.

— А ну?

— Ты помнишь, у нас при клубе кружки были? Муз, драм, шах, изо — эти при тебе. Потом мы кройки и шитья организовали для девушек, мото, и теперь вот думаем — литературный. Народ у нас этим интересуется, в библиотеке от читателей отбою нет. И писатели даже есть свои.

— Писатели?

— Ну, не писатели, сам понимаешь, а — пишут, в общем. Помнишь, был такой Валёк Батукин, ученик у Кузьмина? Ну — Кузьмин, мастер из шестого механического! С бородой... Вот — ученик его, конопатый такой, Валёк. Теперь уже по пятому работает, строгалем. Такие, я тебе скажу, поэмы пишет — ахнешь! У нас в газете печатают. Все говорят — настоящий талант. Вот сегодня как раз в газете есть его стихи про словую, сатира. Насчёт очерков здорово схватил. И другие у нас пишут. Народ есть!

— Это интересно, — сказал Андрей.

— Да, да. Это, я тебе скажу, очень интересно. Вот мы и хотим создать литературный кружок. А то ведь они ребята способные, а образования нехватает. В райкоме нам посоветовали обратиться в какой-нибудь литфак. Я вот и думаю: нет ли у вас там кого? Со старших курсов, чтоб учился нормально. Хоть и девушку можно. Раз в неделю или в две, по вечерам. С завкомом я утрясу. А сам-то ты... небось занят очень?

— Я вот и соображаю, — сказал Андрей. — Завтра тебе позвоню, идёт?

Андрей любил во всём советоваться с отцом. Так повелось с детства, с тех давних пор, как умерла мать. Отец Андрея был мастером в группе монтажников, его часто посылали в длительные командировки на заводы Ленинграда, Ростова, Коломны. В этой трудной и трудовой жизни Андрей быстро повзрослел и стал для отца помощником и другом. Степан Афанасьевич был человек весёлый и необычный. Приходя вечером домой и садясь за обеденный стол, он всегда спрашивал:

— Ну, молодёжь, что сделано для эпохи?

Андрей и младшая сестра его Оля должны были рассказывать об учебных делах со всеми подробностями. После этого Степан Афанасьевич сообщал последние заводские новости и любил изображать в лицах то главного инженера, то какого-нибудь мальчишку из ремесленного, то ворчливого старика нормировщика. И всегда рассказывал что-нибудь смешное.

Узнав о предложении Кузнецова относительно кружка, Степан Афанасьевич сразу же распалился:

— Иди, иди, не раздумывай! Давно тебе говорил: не теряй связи с заводом. Рабочий класс! Шутить? От рабочего класса никак нельзя отрываться.

— Значит, ты мне советуешь?

— Не только что советую, а приказываю, твоей же пользы ради. — Степан Афанасьевич сделал строгое лицо и поднял указательный палец. Потом, вдруг улыбнувшись так, что блеснули в угольной бороде плотные молодые зубы, заговорил мечтательно: — Вот кончишь ты свою академию, превзойдёшь всю эту книжную премудрость и станешь... кем? Педагогом или этим, как его... литературоедом?

Андрей улыбнулся:

— Сколько уж говорил — педагогом, педагогом! Успокойся.

— Ну, ладно. Пошлют тебя куда-нибудь за тыщу вёрст, где одни степи, к примеру, или тайга непролазная, рыбаки, охотники, рабочий люд — и не одного литературоеда вокруг. А? И станешь ты ребяташек

учить наукам, а они тебя — пустяковине всякой, простоте, как меня когда-то студент-ссылный истории учил, а я его: как дроздов ловить, сопелки вырезать...

— У тебя, пап, чай стынет,— сказала Оля, придвигая отцу стакан.

— Н-да... Подожди. А под старость и я к тебе притащусь. Вместе будем. Ты со своими ребяташками, а я, глядишь, с твоими. Пчёл заведём. Эх!.. — Он вздохнул и рассмеялся, качая головой. — Что, молодёжь, любит ваш батька ерунду плести? Любит! И сам знает, что ничем его от цеха не оторвёшь, а плетёт. Ничем. Вот беда... И как это мы с вами сделаемся?

— Не вздыхай ты раньше времени!—сказал Андрей, поморщившись.

Он не любил этих разговоров. Всё чаще стали появляться у отца мысли о неизбежной разлуке с детьми. С одной стороны — он твёрдо считал, что они должны ехать на периферию, и именно туда, где специалистов мало, где они всего нужнее, с другой стороны — понимал, что не сможет им сопутствовать. Работа на заводе была его жизнью. Уйти с завода — значило перестать дышать.

И сейчас он думал о том же, замолчав вдруг и машинально помешивая ложечкой чай.

— Пап, ты мне обещался мясорубку починить, не забыл? — сказала Оля. — Там винт сорвался.

— Ах, винт зарвался? — пошутил Степан Афанасьевич и, оживившись, быстро завертел ложечкой. — Ну что ж, сейчас его призовём к порядку, ежели он зарвался...

Ночью, лёжа на коротком, со впалыми пружинами диванчике возле окна, Андрей долго не мог заснуть. Думал о будущем своём кружке, о людях, с которыми суждено будет познакомиться, а может быть, встретиться вновь. Сумеет ли он заинтересовать их? Говорить с ними просто и увлекательно? Да и есть ли у него вообще какие-нибудь педагогические способности? Если бы не его проклятая застенчивость... Это был крест, который тяготил его всю жизнь. В школе он считался вялым и неактивным, потому что никогда не просился сам отвечать, не кричал с места, а на устных экзаменах часто путался от волнения.

Начальник раздаточного бюро на заводе, старик Шатров, говорил ему: «Что ты, Сырых, и вправду как недоваренный всегда? Ты бойкóй должен быть, горластый. Кто тебе перечит — ты его крой вголос, бери за кожу, если ты диспетчер являешься». При девушках, особенно незнакомых, Андрей терялся и в больших компаниях держался молчаливо и в стороне. Девушки считали его угрюмым книжником и относились к нему с пренебрежительной досадой. Другие, знавшие Андрея ближе, уважали его, но таких было немного.

А ведь он был и остроумен, и хорошо пел, и сам любил веселье. Но застенчивость, или, как отец говорил, «дикость», часто мешала ему быть самим собой.

Андрей не боялся работы, не боялся попасть впросак — свой материал он знал хорошо. Но как его встретят ребята? Ведь многих он знал прежде, работал в одном цехе, ходил в такой же, как и у них, тёмной от масла, прожжённой точильными искрами спецовке. Держаться с ними запросто? «А, слесаришки! Ну как?..» Нет, только не это, а серьёзно, внушительно, иначе занятия превратятся в болтовню. Лекторская солидность: «Итак, товарищи, я мыслю наши занятия...»

К чёрту! Все разбегутся. Ведь кружок будет после рабочего дня — он-то знает, что это такое, сам работал...

Андрей ворочался с боку на бок, скрипел пружинами. Он вспотел от этих бесплодных мучительных дум. Или просто жарко было в комна-

те? В доме все спали — ложились рано, потому что рано приходилось вставать; было темно и тихо, от натопленной печи веяло нагонявшим бессонницу жаром.

Андрей встал, босиком подошёл к окну, сиренево-белому от луны. Он стоял там, пока его не пробрал холод. И когда он снова нырнул под нагретое одеяло, он уже не думал ни о чём. Он просто увидел вдруг завод и свой цех, где он начинал, страшно давно... Возле горна стоял огромный пневматический молот, он бухал весь день и всю ночь. В горне лежали оранжевые стальные матрицы, их раскаляли для слесарной доработки. Чтобы прикурить, надо было вынуть матрицу клещами — она так и полыхала, обдавая лицо. Мастер люто ругался. Но он и сам вынимал их, у него тоже никогда не было спичек. Его фамилия была Смердов — маленький, измазанный маслом, с серым, морщинистым лицом гнома. Он на всех кричал, не ходил, а бегал, и всё делал сам. И он никогда не ел, не спал, и даже не сидел на стуле. Его боялись и уважали. Глядя на него, всем хотелось работать лучше. Звали его «Чума».

А в соседнем цехе работала Галя, такая полная, голубоглазая, с весёлым и нежным лицом.

Она ходила в ватнике и сапогах. Андрей здоровался только с ней и смотрел на неё, когда она проходила по цеху. Так было очень долго. Однажды он шёл по тёмному коридору возле инструментальной кладовки, совсем безлюдному — была ночная смена. Кто-то выбежал из дверей ему навстречу.

— Кто это? — крикнул взволнованный голос. Он узнал голос Гали. Она подбежала к нему. — Кто это?

— Это я, — сказал Андрей.

— В Ленинграде победа! Блокада прорвана! Победа! — крикнула она, задыхаясь от бега, и вдруг мягкие руки обняли его за шею и губы её горячо и быстро прижались к его щеке.

— Откуда ты знаешь? Галя!

Но она уже убежала. А он так и не понял тогда, что это первый раз в жизни его обняла девушка.

Потом он читал вместе с нею газету с сообщением советского информбюро и объяснял Гале по карте ход военных действий. А потом Галя поступила работать в госпиталь и уехала в Ленинград. Она была ленинградкой.

Ночью весь завод был во мраке, ни одного освещённого окна — идёшь в перерыв, только изредка цыгарка мелькнёт. И в этой тьме — гуденье, глухое, натужное, непрерывное. Гудят корпуса, только стёкла потенькивают.

А сейчас, должно быть, светло...

Ведь окна какие, громадные там окна...

В этот вечер в общежитии праздновался «объединённый день рождения». Юбилеями были Рая Волкова, Марина Гравец и Алёша Ремешков. Даты их юбилеев разнились друг от друга на несколько дней, но по старой традиции общежития все они праздновались в один день — так было и веселей, и торжественней, и экономней.

Торжество происходило в большой комнате девушек, оформленной специально для этого «особой юбилейной комиссией». Прямо перед входом висел большой плакат: «Ударим по именинникам доброкачественным подарком!» — и на нём нарисованы тушью образцы подарков, начиная с автомобиля «москвич» и кончая семейным очагом «керогаз».

В комнате было развешено ещё много разных плакатов, карикатур,

торопливо состряпанных весёлых стихотворений, а посредине стоял накрытый стол, составленный из трёх канцелярских столов, и блистающий великим разнообразием посуды (вплоть до пластмассовых стаканчиков для бритвы) и некоторым однообразием закусок. У каждого входящего рябило в глазах от рубиновых россыпей винегрета.

На стене перед столом красовалась предостерегающая надпись: «Именины не роскошь, а суровая необходимость!»

Вадим пришёл с опозданием. Все уже усаживались за стол, и кипела та шумная суетливая неразбериха, когда одному не хватает стакана, у другого нет вилки, третьему не на чем сидеть, и он садится с кем-то на один стул, и после первого неудачного движения оба летят, под общий хохот, на пол...

— Явление десятое, те же и Вадим Белов! Где музыка? — закричал, вскакивая с места, долговязый Лесик. Он был уже навеселе и без пиджака, с блуждающим галстуком. — И с подарками! Гость-то нынче сознательный пошёл...

Вадима вклинили между двумя именинницами. Марина Гравец, безумолку болтая и смеясь, сейчас же принялась за ним ухаживать — налила полстакана водки, навалила на тарелку гору закусок: винегрет, солёные помидоры, колбасу и сыр, всё вместе. Она была в красивом платье, нарядно завитая, раскрасневшаяся, и чёрные глаза её блестяли счастливо и взбалмошно.

— Маринка, стоп! — протестовал Вадим. — Винегрета хватит.

— Нет, нет! Изволь! — кричала Марина, хохоча. — Изволь всё съесть! Винегрет — принудительный ассортимент! Он испортится. На всех разнарядка, на всех!

Справа от Вадима сидела высокая, рыжеволосая Рая Волкова в строгом, темносинем костюме, на лацкане которого пестрели два ряда разноцветных орденских планок. Так же, как Вадим, Лагоденко и много других юношей и девушек, учившихся теперь в институте, Рая прошла фронт — четыре года отняла у неё война. Семнадцатилетней девушкой, только закончив сельскую среднюю школу в Тамбовщине, Рая ушла добровольцем в армию, на курсы медсестёр, а к концу войны была уже лейтенантом. На фронте Рая вступила в партию.

Вадиму нравилась эта спокойная, сероглазая девушка, самая старшая на курсе — её все уважали, а девчата, которые жили с нею в общежитии, по-настоящему любили её, шутливо и нежно называя «мамой».

Рая спросила Вадима, почему он один, без Лены.

— Я не знал, что вы её пригласили. А вы её приглашали?

— Конечно. Мы звонили по телефону и передали её маме. Её же не было в институте, — сказала Рая. — Ты должен был заехать за ней. Вот — сам виноват. А Сергей всё ещё гриппует. Люся к нему заходила.

Рая была странно невесёлая сегодня, даже растерянная, и всё время прищуривала глаза, словно напряжённо думала о чём-то. Её почти не было слышно в общем застольном гаме. Вадим заметил, что Петра Лагоденко нет среди гостей.

— А где же Петька?

Рая пожала плечами.

— Не знаю... Ушёл куда-то и никому не сказал. Вадим, ну что за характер у человека? — сказала она тихо и с горечью, повернувшись к Вадиму. — Обязательно надо испортить вечер... Я ему говорю: «Ты придёшь!» А он: «А что мне там делать? Мне как раз самое время сейчас веселиться и козлом прыгать». Я говорю: «Наоборот, тебе надо развлечься, в конце концов ты должен прийти ради меня». Нет... «Ты ничего не понимаешь, отстань!» Просто не знаю... Ну как с ним говорить?

— Может, ему правда лучше побыть одному теперь, — сказал Вадим. — Он, наверно, где-нибудь с Андреем. Андрея тоже ведь нет?

— Нет, он не с Андреем... — Рая качнула головой и отвернулась.

Вадиму хотелось чем-то ободрить, утешить Раю, но он не знал, как это сделать. Он понимал, что она скрывает от других своё настроение, и разговор о Лагоденко для неё сейчас будет неловким, тягостным. Да и сам Вадим, который ожидал встретиться здесь с Леной, как-то вдруг потерял к вечеру интерес. Прежде, когда между ним и Леной ещё ничего не было, он с удовольствием приходил на вечеринки, и ему было достаточно посидеть с друзьями, пошутить и повеселиться со знакомыми девушками, которых было много. Но теперь была только одна девушка, с кем ему было так хорошо, которая могла одна дать ему всё то, что составляло веселье и прелесть всех вечеринок со всеми девушками и песнями, и ещё больше этого, гораздо больше. Вот её не было здесь, и ему стало скучно, а он не умел заставлять себя веселиться. Вина было много, но он не пьянел. Он пил, почти не закусывая, и не пьянел.

Сегодня днём состоялась, наконец, многожданная английская контрольная, и теперь, за столом, это событие оживлённо обсуждалось.

— Вадим, а как ты написал? Применил герунд?

— Только в первом упражнении. У меня, вообще, должно быть правильно. Я потом у Андрея спрашивал, у него всё так же.

— А у меня тройка будет, я знаю, — с печальной убеждённостью сказала Галя Мамонова, тоненькая пышноволосяя девушка с глазами русалки. — Я уж такая дурная, обязательно напутаю...

Марина возмущённо к ней обернулась:

— Галька, противно, ей-богу! Чья бы корова мычала!.. Вечно ты хнычешь, а всегда пятёрки получаешь.

— Да, да, всегда она прибедряется! — радостно подхватила Люся. — Платье шикарное сшила: «Ой, девочки, как я эту безвкусицу надену? Я и так уродка!» А сама красивей всех нас.

— Ну, уж, конечно... — тихо сказала Галя, краснея и опуская глаза.

— Ребята, а видели, как Медовская сегодня суетилась? — спросил Лесик. — Она передо мной сидела. Смотрю: показывает мне два пальца. Что такое? Никак не пойму. Оказывается, она второе упражнение не знала как писать. А я ещё перевод не кончил...

— Ты про Ленку? — перебила его трескучим своим голосом Люся. — Подумаешь, удивил! Она всегда с чужой помощью пишет. И, главное, считает, что все обязаны ей помогать. А за что? За красивые глаза?

— Ну, не сочиняй, — сказал Мак, нахмурившись. — Лена так не считает, и что-то я не замечал...

— Мак, ты же ничего не видишь! Ты всегда героически садишься за первый стол и ничего не видишь! А мы видим.

— Нет, Люська, ты не права, — сказала Марина, решительно замотав головой. — Что-что, а английский она знает неплохо, не в пример тебе. Там, где надо зубрить, Лена как раз сильна.

Вадим слушал все эти разговоры о Лене с напряжённым вниманием, но стараясь скрыть это внимание от других и выглядеть равнодушным. И всё же ему казалось, что все видят его напряжённость и волнение и понимают, почему он выглядит равнодушным и молчит. Ему надо бы что-то сказать, вступить в разговор. Да и, в конце концов, почему он должен молчать, если он внутренне не согласен с ними, в особенности с этой глупой, трескучей Воронковой? И Вадим вдруг поднял голову и, кашлянув, медленно проговорил:

— Напрасно вы так думаете. И вообще... Знания у вас у всех примерно одинаковые. За исключением Нины Фокиной.

Рая улыбнулась и сказала мягко:

— Вадик, никто из нас плохо о Лене не думает. Она хорошая, добрая девочка, но такая, знаешь, единственная дочка... Она как бы равнодушна ко всему, что не касается её личности. Такое милое детское равнодушие. Ведь мы знаем друг друга уже третий год, а представь себе, она только четыре раза была у нас в общежитии. И то по делу.

— Ну да, по делу — чулок разорвался или заколку потеряла, — пояснила Люся злорадно.

Вадим, склонившись к своей тарелке, усиленно пытался снять с кружка колбасы кожицу, давно уже им снятую.

— Разговоррррики! Довольно! — вдруг крикнул Лесик, вставая. — Чьи именины, в конце концов? Разговаривать только обо мне. И — выпьем! Выпьем мы за Лё-ёшу... — запел он. — Лёшу дорого-ого, а пока не выпьем, не нальём другого...

Когда кончилось пиршество, столы сдвинули к стене, и начались танцы. Комната была просторная, танцевало сразу десять пар. Лесик уже без галстука, разомлевший и улыбающийся, бродил между парами, подставлял им ноги и что-то дурашливо бормотал.

— Леська, прекрати! — кричала ему Марина, танцевавшая со своим приятелем, молчаливым философом из университета. — Веди себя прилично!

— Маринка, я именинник или нет? Самое неприличное для именинника — вести себя прилично...

К Вадиму подошла Рая и предложила танцевать. Она была очень бледна.

— Ты плохо себя чувствуешь? — спросил Вадим. — Может, лучше отдохнёшь?

— Нет, ничего. Вот... Петьки всё нет.

— Ну, он-то придёт! — сказал Вадим убеждённо. — Обязательно придёт.

Вадим умел танцевать хорошо, танцевал любые танцы, но редко получал от этого удовольствие. Сейчас он старался танцевать как можно лучше, мягко и бережно вёл Раю, вспоминал все новые, давно им забытые па — ему казалось, что он хоть этим немного развлечёт Раю. Им было удобно танцевать друг с другом: они оба молчали, каждый думая о своём, и это не было им в тягость. Глядя со стороны на эту молчаливую, сосредоточенную пару, усердно выделяющую самые замысловатые фигуры, можно было подумать, что они целиком поглощены танцем и забыли обо всём на свете...

Потом на середину комнаты выбежал Рашид Нуралиев и начал танцевать какой-то странный, медленный восточный танец, и все стали в круг, хлопали и дружно кричали «Асса!.. Асса!», словно он танцевал лезгинку. Потом пели песни под аккордеон. Играл на аккордеоне Лесик; голова его была опущена на грудь, и казалось, он спит, но играл он безошибочно и всё что угодно.

Когда уже многие, жившие далеко от общежития, стали собираться домой, неожиданно пришёл Лагоденко. Хмурый, небритый, в чёрной флотской шинели, он остановился в дверях, и его сразу не заметили. Потом вдруг Рая увидела его и подбежала.

— А вот и Петя! — сказала Люся, почему-то громко засмеявшись. — Явился, не запылелся!

Лагоденко молча поздоровался со всеми и сел к столу. Пить и есть он отказался, взял у Лесика хорошую папиросу — именинный подарок —

и закурил. Рая села с ним рядом, и они долго говорили о чём-то вполголоса. Лагоденко всё время хмурился и, отвечая Рае, смотрел в другую сторону.

Празднество приближалось к концу. Умолк аккордеон, остановилась, тяжело дыша, последняя пара вальсировавших, и кто-то уже произносил традиционную фразу:

— Дорогие гости, не надоели ли вам...

И только неумолимые Марина и Люся с небольшим кружком энтузиастов поспешно доканчивали какой-то аттракцион. Это было что-то вроде гороскопа или гаданья с попугаем. Люся вынимала из шапки свёрнутую бумажку, а Марина называла имя кого-либо из присутствующих. В бумажке была написана поговорка, известный афоризм или просто коротенький житейский совет. Бумажки зачитывались вслух, под обильный хохот и рукоплескания.

— А это кому? — спросила вдруг Люся.

— Лагоденко!

— «Вся рота шагает не в ногу, один поручик шагает в ногу...»

На этот раз никто не засмеялся, все посмотрели на Лагоденко. Он продолжал сидеть у стола, курил и, казалось, не слышал, что говорят о нём. Вдруг он поднялся, накинул шинель и молча вышел из комнаты. Рая встала.

— Зачем ты это сделала? Нарочно? — подойдя к Люсе, тихо и возмущённо спросила она. — Ты ведь знаешь, какой он!

— Ничего я не нарочно! А что тут особенного?

— Ничего особенного. Какая ты... — И, не договорив, Рая быстро вышла вслед за Лагоденко.

Это был последний билетик, гадание кончилось. Все пошли к дверям, где на столе были свалены непоместившиеся на вешалке пальто и шубы. Лесик помогал девушкам одеваться и бормотал сонным голосом:

— Вечер окончен. Лакеи гасят свечи, давно умолкли речи... Разъезд гостей... Сколько мехов, дорогих бриллиантов, туфель на микропористой резине...

Вадим решил на несколько минут забежать в комнату ребят, на второй этаж, где жил Лагоденко. На узкой неосвещённой лестнице он столкнулся с Раей.

— Пётр наверху?

— Да, зайти... Я не могу с ним! — она всхлипнула, пряча от Вадима лицо. — Слова не добьёшься...

Вадим в темноте неуклюже пожал ей руку, пробормотал:

— Ну, ничего, Рая... Я сейчас...

Лагоденко лежал на своей койке, лицом к стене. Двое уже спали, накрывшись одеялами с головой. В дальнем углу сидел на койке Мак Вилькин и, разложив на коленях доску и шахматы, решал шахматную задачу.

— Почему ты пришёл так поздно? — спросил Вадим, садясь на койку Лагоденко.

Тот повернулся к нему и с минуту молчал, пристально глядя на Вадима.

— Я уезжаю в Севастополь, Дима, — сказал он неожиданно.

— Зачем?

— Помощником капитана меня всегда возьмут. Это уже решено.

— Так, — сказал Вадим, помолчав. Он решил говорить мягко и серьёзно, хотя слов Лагоденко всерьёз не принимал. — Ну что ж, помощником капитана — хорошее дело, интересное...

— Кому ты рассказываешь? — проворчал Лагоденко сердито. — Хм, главное он мне рассказывает, что это интересное дело...

«Никуда ты, брат, не поедешь, — думал Вадим. — Всё одни разговоры. Оттого и сердисься».

— Ну, конечно, рассказывать мне тебе нечего, — сказал он спокойно. — А всё же... Мне кажется — завтра ты передумаешь.

— Как — передумаешь? Ты что, не знаешь меня? — повысил голос Лагоденко. — Я сказал? Всё! Завтра иду в деканат, подаю заявление на заочный.

— Тебя Мирон Михайлович не отпустит.

— Отпустит! Он человек понимающий...

— Ну вот что, — вдруг сказал Вадим, решительно вставая, — я считаю, что всё это чепуха насчёт твоего отъезда! Ясно? Никуда ты не должен ехать, ты должен учиться здесь, кончать институт, и вообще... Да и вообще это малодушно так поступать!

— Ка-ак? Малодушно? — Лагоденко даже привскочил на койке. — Так ты, Димка, ничего значит не понимаешь? После этого случая с Козельским все тут зашевелились, кто когда-то на меня зуб имел. Понял? А я, правда, много таких зубов пораскидал, чёрт меня... А теперь я не хочу...

— Если ты в чём-то убеждён, — разгорячившись, перебил его Вадим, — считаешь себя правым — надо доказывать, бороться! Ясно? А не бежать куда-то в глушь, в Саратов, помощником капитана!

— Ха, бороться!.. — усмехнулся Лагоденко. — Кстати, ты не кричи, здесь люди спят... Я матрос — понял? И я никогда не бью ниже пояса, а они... Там же всё старое поднимают, все мои истории ещё с первого курса. Послезавтра будет комсомольское собрание.

— Ну и что?

— Что! Вот... будете меня судить. — Он искоса взглянул на Вадима и нахмурился. — С Козельским я, конечно, неправ, чёрт его знает... Но, понимаешь, сорвалась пружина! Сколько можно!.. Вон Максимка, наверно, — он мотнул головой на Мака, — уже пашквиль на меня в газету пишет. А ты карикатуру будешь рисовать. Что-нибудь: «Лягушка и Вол» или «Слон и Моська...»

Он замолчал, испытующе глядя на Вадима. Вадим не ответил. Ему всегда было трудно спорить с Лагоденко, когда тот был не в духе, тем более, что оба они не умели спорить спокойно. Вадим подумал, усмехнувшись, что его молчание Лагоденко сейчас же расценит, как предательство.

— Одним словом, ехать тебе незачем, глупости! — сказал он мрачно, уже злясь на себя, на своё неумение говорить убедительно и веско. — Да, впрочем, ты и не уедешь никуда...

Лагоденко ответил с неожиданным спокойствием:

— Да? Ну, посмотрим.

Оба замолчали на минуту. Вадим вспомнил слова Раи: «Ну как с ним говорить?..» Да, настоящий разговор не получался. Вадим испытывал и сочувствие к этому колючему, упрямому человеку, который в чём-то главным был безусловно прав, и одновременно его раздражали самоуверенность Лагоденко, его вызывающий тон. Это смутное раздражение и мешало Вадиму говорить с Лагоденко начистоту: за что-то осудить, а с чем-то согласиться, ободрить спокойно, по-дружески. Конечно, Лагоденко не в праве был грубить профессору, но если на собрании зайдёт разговор вообще о Козельском, он, Вадим, тоже сумеет кое-что сказать. Но как раз об этом ему не хотелось сейчас предупреждать Лагоденко, не хотелось ничего обещать. Пусть всё решится на собрании.

— А почему ты на именины не пришёл? — спросил Вадим, вздохнув. — Ты ведь Раю обидел.

— Я, Дима, не умею лицедействовать. Когда у меня на душе паскудно, я не могу веселиться. И предпочитаю не портить настроение другим. А Райка должна понимать это и не обижаться.

Он сердито повернулся к стене и натянул на голову одеяло.

— Я спать буду. Будь здоров, Дима, — пробурчал он глухим из-под одеяла голосом.

— Ну, будь здоров...

Вадим ушёл от Лагоденко недовольный, досадуя на самого себя, точно он уходил от тяжёлой работы, даже не начав её по-настоящему...

А в первом часу ночи, когда в комнате был уже погашен свет и все спали, пришёл Андрей.

Задерживаясь в городе — это случалось с ним довольно редко, — Андрей оставался ночевать в общежитии и спал на одной койке с Лагоденко. Они были друзьями. Дружба этих удивительно разных людей началась ещё в позапрошлом году, и началась анекдотически. В институте был вечер с выступлениями драмкружка, танцами, культурными играми, со всем, что полагается. Лагоденко, никогда не упускавший случая щегольнуть своими бицепсами, задумал вдруг провести блиц-конкурс силачей. Он притащил из своей комнаты два эспандера со стальными пружинами и предложил их растянуть — сначала один, а потом оба вместе. Один эспандер несколько человек растянули, оба сразу сумел растянуть только один парень, и то больше двух раз не осилил. Тогда в круг зрителей вступил Лагоденко и, горделиво выпятив грудь, растянул эспандеры шесть раз подряд. Ему аплодировали, декан факультета Мирон Михайлович торжественно объявил Лагоденко чемпионом вечера, и девушки уже побежали в буфет за призом — бутылкой пива.

Но в это время в рядах зрителей происходило какое-то странное смятение: несколько человек усердно выпихивали на середину круга неуклюжего толстого юношу в очках, который отчаянно упирался и что-то невнятно басил. Оказалось, это вторая группа силой выдвигала на арену своего представителя. Когда Андрея втолкнули, наконец, в круг, ему ничего не оставалось делать, как взять эспандеры.

— Да у меня не выйдет. Надо ж тренировку... — бормотал он, краснея и от смущенья упорно глядя в пол.

Однако по тому, с какой лёгкостью он сразу же, во всю грудь распахнул эспандеры, все поняли, что шансы второй группы очень значительны. «Раз... два... три... четыре...» — хором считали зрители. «Пять... шесть!» — кричали они угрожающе. «Семь!..» — рекорд Лагоденко был побит. Андрей Сырых продолжал выжимать победу. «Десять... двена-а... трина-а...» — ахали зрители. «Пятнадцать!» — Андрей бросил эспандеры на пол.

— Уф!.. Ну, вот, — сказал он, кашлянув, и отошёл в сторону.

Лагоденко уничтоженно улыбался. Бутылка пива, правда, досталась ему, потому что победитель, оказалось, пива не любил, но это словно подчеркнуло всю унижительность поражения. Лагоденко мужественно пожал Андрею руку и сказал, что выиграл он честно, «хотя с таким плечевым поясом это не фокус».

С этого дня и началась их дружба.

Андрей в потёмках нашёл койку друга и толкнул его в плечо.

— Где ты был? Что так поздно? — спросил тот, сразу же садясь на койке. Очевидно, он не спал.

— Я был на своём заводе. Петька, у меня замечательный день! — заговорил Андрей необычно взволнованным шёпотом. — Сегодня я про-

верял себя. Я тебе говорил, что я взялся вести литературный кружок на заводе? На своём заводе! Ну вот, и сегодня было первое занятие. Начали в половине девятого и кончили вот только в двенадцатом. Ребята, правда, незнакомые у меня, всё молодёжь, из цехов. И один инженер, стихи пишет. Но какой народ! Споры затеяли!.. Я им сегодня лекцию прочёл, о современной литературе. Час я говорил, и два часа потом спорили!.. Рассказывать?

— Давай.

— Ну, слушай... — Андрей улёгся в постель, придвинул Лагоденко к стене и накрылся одеялом. — Есть там один мальчишка, Батукин, он при мне ещё учеником работал. Вот он и насел на меня: почему поэты мало о рабочих пишут? Они там всё новое читают, библиотека богатая. Да о многом говорили! Насчёт Драйзера меня спрашивали, Джека Лондона... Ты спишь или нет?

— Нет, пока не сплю.

— У них есть комсомольская газета. Я обещал им помочь и ещё кого-нибудь из наших привлечь. Это ж интересно, правда?.. Там сейчас такие дела творятся! Ты знаешь, я свой завод не узнал. Вошёл на территорию — и заблудился! Честное слово... Новые люди гремят, новые рекорды, оборудования понаставили... всё на потоке... Сейчас бы там поработать! Так меня вдруг потянуло! — Он вздохнул, радостно заёрзал на койке. — Понимаешь, у меня всё время, все эти годы было какое-то чувство вины перед заводскими ребятами — вот ушёл, оторвался от них, забыл вроде... А они не забыли меня, помнят! И завод помнит. А теперь так приятно опять вернуться, уже другим человеком, и помочь им по-новому. Очень было приятно... Да что ты молчишь, Петро?

— Слушаю тебя. Никогда я от тебя столько слов зараз не слышал.

— Ха-ха! Я могу хоть всю ночь говорить. Да! А как же именины прошли? Жалко, я не мог.

— Хорошо прошли.

— Да? Ну, подарки я им принёс. Завтра отдам. Девчатам конфеты, а Тёшке фотобумаги купил, сатинированной, он всё искал. Там один слесарь есть, Балаш... Петька, да ты спишь!

— Нет, Андрюша. Думаю. — Лагоденко помолчал и добавил: — Послезавтра комсомольское собрание. Ты спи сейчас, ладно, Андрей? А мне тут подумать надо.

Глава 9

В среду Палавин пришёл в институт. Вадим встретился с ним в раздевалке, и они вместе поднялись наверх. Звонка ещё не было. По коридорам и лестницам группами и в одиночку бродили студенты, беседовали, курили, стояли возле факультетских и курсовых газет, развешанных по коридору длинным пёстрым рядом.

— Как здоровье? Поправился? — спросил Вадим, глядя на свежее, гладко выбритое лицо Сергея. — Вид у тебя не слишком болезненный.

— Это с улицы, с мороза. А ты больше и зайти не мог?

— Понимаешь, всю неделю так туго со временем...

— Ясно! Семинары, доклады, девушки.

Сергей намекающе мигнул Вадиму и обнял его за плечи.

— Какие там девушки... Всю неделю над рефератом сидел.

— Ну, не девушки, так... наверно, спортом увлёкся? Конькобежным?

Вадим посмотрел на него удивлённо — и оба вдруг расхохотались.

— Ну и змей ты, Серёжка! — Вадим обхватил Сергея за бока и, прижав к подокознику, стал сконфуженно тискать и мять его.

Их разнял Спартак Галустян, секретарь курсового бюро комсомо-

ла — смуглый, густобровый юноша с блестящими чёрными глазами южанина и буйной шевелюрой. Он был в своём лучшем чёрном костюме, который всегда надевал в дни комсомольских собраний.

— Брэк! Брэк! — закричал Спартак, оттащив Вадима за рукав. — По очкам победил Белов. Ребята, сегодня в три часа собрание, помните?

— Ну как же!

— На группе у вас объявили?

— Вчера после лекций.

— Чтоб все до одного, как пуля!

К Вадиму и Сергею подходили знакомые студенты, перекидывались несколькими словами, спрашивали закурить, другие приветствовали издали — подняв руку, кивая или просто дружески подмигивая. С Сергеем здоровались чаще, у него было больше знакомых, и не только филологов, но и с других факультетов.

Перед звонком к Сергею подбежала пухленькая, с тонкими белыми косичками, похожая на школьницу Валюша Мауэр.

— Серёжа, Серёжа, подожди! Здравствуй, не уходи, ты мне нужен! — затараторила она, вцепляясь в Серёжину пуговицу. — Здравствуй, Вадим. Ты знаешь, Серёжа, что у нас, конечно, будет новогодний вечер?

— Знаю, конечно.

— Так вот, тебе поручается написать текст «капустника».

— Псс! — присвистнул Сергей. — Это невозможно.

— Как невозможно? Ты пишешь стихи? Пишешь! Ты член клубного актива? Член! Ты комсомолец, наконец, и всегда принимал участие...

— Стоп, не тарыхти! Невозможно, потому что я занят сейчас до бровей. Я повесть пишу.

Выпуклые голубые глаза Валюши изумлённо расширились.

— Повесть? При чём тут повесть? Я тоже пишу работу об осетинском фольклоре, Вадим тоже что-то делает. Все работают. А это общественная нагрузка, и ты не имеешь...

— Нет, имею! Не агитируй, сделай милость, — ворчливо сказал Сергей, задетый тем, что упоминание о повести не произвело на Валюшу должного впечатления. — У меня нет времени, ты понимаешь?

— Абсолютно не понимаю! — воскликнула Валюша пылко. — Это возмутительно!

— Ну возмущайся.

— Да, да! Я вот скажу об этом на собрании! — угрожающе крикнула Валюша, убегая к своей аудитории, потому что прозвенел звонок.

— А я скажу о том, как вы вообще ведёте клубную работу! — сказал Сергей ей вдогонку и добавил вполголоса: — Каждая пигалица будет тут... — Вдруг он обернулся и крикнул: — Валентина, стой!

— Ну что?

— Когда вы собираетесь?

— На той неделе, наверно. Сегодня же комиссию выберут.

— На той неделе... — он сосредоточенно нахмурился, подёргивая двумя пальцами верхнюю губу, потом сказал решительно: — Хорошо, я приду. К понедельнику я, вероятно, закончу одну часть, и мне так и так надо делать перерыв. Ладно.

— Ну, вот, то-то же!

Собрание началось с обсуждения клубной работы и подготовки к курсовому новогоднему вечеру. Скуластый кудрявый парень в мешковатой гимнастёрке, член клубактива, рассказывал о проделанной работе.

В зале слушали невнимательно, переговаривались шёпотом, скрипели стульями, в задних рядах начинали курить. Тогда Спартак вставал и, перебивая докладчика, резким голосом призывал к порядку.

Лена сидела рядом с Вадимом и, положив локти на спинку переднего стула, задумчиво слушала. У неё было такое лицо, словно она сидит на концерте в консерватории.

Первая часть собрания прошла довольно гладко и быстро, без особенных споров. Клубный совет, как водится, покритиковали, досталось и замдиректора по хозяйству, который второй год обещал студентам бильярд и инструменты для духового оркестра; потом обсуждали программу новогоднего вечера и избрали для подготовки этого вечера специальную комиссию. В неё вошли Валюша Мауэр, Палавин и ещё человек пять.

Во время перерыва Сергей подошёл к Вадиму и Лене.

— Что вы так далеко сели? Идёмте вперёд, возле меня как раз два места есть. Самое интересное сейчас начнётся.

— Пойдём, Вадим? — спросила Лена.

Вадим посмотрел на неё рассеянно и пожал плечами.

— Ты что, как осенний день? — спросил его Сергей, улыбаясь. — Тебя, вроде, не ругали, не поминали?

— У меня мама заболела. Я тебе говорил?

— Да, да, я знаю. Моя матушка позавчера вам звонила. Ей не лучше?.. Так ты имеешь полное право уйти с собрания.

Вадим промолчал, жмуро сдвинув брови. Его неприятно задела последние слова Сергея, этот моментальный вывод, который он сделал из сообщённого Вадимом известия о болезни матери. Лена сунула Вадиму свой портфель, сказав, что она сбегает в буфет что-нибудь перекусить. Исчез куда-то и Сергей, и Вадим один вышел на лестницу курить.

После перерыва разбиралось персональное дело Лагоденко. Козельский сообщил в курсовое бюро, что Лагоденко при сдаче экзамена нагрубил ему, назвал схоластом и невеждой — всё это было в присутствии ассистента. По мере того как Спартак Галустян с напряжённо-суровым лицом докладывал обстоятельства дела, в зале становилось всё шумнее, тревожней, шелестящей волной прокатывались удивлённые возгласы и перешёптыванья. В заднем ряду Вадим заметил Марину Гравец и рядом с ней Раю — лицо у неё было бледное, строгое, и она всё время пристально, чуть исподлобья смотрела на Галустяна.

— ...собрание должно осудить неэтичный, некомпсомольский поступок Лагоденко!

Сидевшая рядом с Вадимом девушка сказала:

— А Петька, вообще, очень грубый, правда? Никакого такта.

Вадим не ответил. Он смотрел по сторонам, ища Лену. Когда он пришёл после перерыва, Лены не было на месте, но уйти без портфеля она не могла.

Вдруг он увидел её впереди, в третьем ряду, она сидела рядом с Сергеем, и они оба сейчас смотрели на Вадима и жестами приглашали его пересесть к ним. Вадим отрицательно покачал головой. Вероятно, у него был недоумевающий вид, потому что Сергей усмехнулся и шепнул что-то Лене на ухо, и она, чтобы не рассмеяться, зажала ладонью рот. Потом они начали шептаться и всё время улыбались. Вадим решил больше не смотреть в их сторону.

Соседка вдруг дёрнула Вадима за рукав:

— Смотри, какой он жёлтый!

— Что? — очнувшись, переспросил Вадим и взглянул на трибуну. Там уже стоял Лагоденко — коренастый, короткошей, в темносинем

кителе. Его смуглое, с крутыми скулами лицо казалось худым, как после болезни.

— ...это дело собрания. Я восемь лет в комсомоле и комсомольскую дисциплину знаю, — говорил он устало и приглушённо, и это казалось странным, потому что все привыкли к его пушечному капитанскому басу. — Да, я назвал Козельского схоластом, я сказал, что он мелкий жёлчный человек и балласт для литературы. Я признаю свою вину и понимаю теперь, что не должен был это говорить при сдаче экзамена. Я совершил недостойный поступок, что ж, я признаю... Теперь я расскажу всю историю. С Козельским у меня пошли конфликты ещё с прошлого года, когда он начал у нас читать. Мне не нравилось, как он читает, как он всё высушивает, умеет сделать из самого живого материала сухую схему, ведомость, какую-то... какой-то преёскурант москагельной лавки. Это позор, вы понимаете, когда русскую литературу у нас читает человек с арифмометром вместо сердца! Что — нельзя так? Никакого этикета, никакого пиетета? — голос Лагоденко приобрел постепенно свой обычный тембр и звучал всё раскатистей. — А зачем я сюда пришёл? Эту сухомятку жевать? За кусок кишки семь вёрст пешки? Я учиться пришёл, с любовью к литературе, к моей, к русской литературе! Я хотел находить в ней каждый день всё новое и прекрасное, вот зачем! А меня, как веслом — датами, датами по башке!

Смех в зале. Возглас с места: «Правильно, Петя! Полный вперед».

— Вы представьте: вот вы любите девушку и пришли к человеку, который хорошо её знает. Вы просите рассказать о ней, вы ждёте его рассказа с нетерпением, благоговейно. И вот он начинает: длина носа сорок три миллиметра, первый зуб появился в двадцать шестом году, волосистой покров такой-то густоты и так далее. Что бы вы ответили тому дяде?

— К делу, Лагоденко!

— Не волнуйтесь, то тоже по делу. Вот... Весной я завалил экзамен. По-моему, я знал не так уж скверно, на «четыре» наверняка. Ну ладно, думаю, профессор не любит меня, со мной он особенно строг, значит надо готовиться лучше. Всё лето занимался. А осенью он опять меня срезал, на разных мелочах, дополнительных вопросах. Я ещё целый месяц учил. Вы знаете, я постепенно стал ненавидеть русских писателей, которых так любил прежде. Они стали моими врагами. Это страшно, вы понимаете? И я, упрямый человек, чувствовал иногда, что теряю веру в себя. Мне казалось, что я никогда не запомню всей этой кучи дат, мельчайших событий, героев по имени-отчеству... Ребята из общества, которые меня экзаменовали, тренировали, стали сыпать меня на простых вопросах. Я потерял устойчивость, как судно с перебитым килем. Вот так я и шёл в третий раз к нему. Опять он меня срезал, уже без всякого труда, ну я и... пошёл на таран. Конечно, не надо было, сам теперь понимаю. Да больно уж... — он махнул рукой и сбежал с трибуны.

Вадима опять дёрнули за рукав:

— А теперь смотри, какой он красный!

— Красный, жёлтый, что это — светофор? — раздражённо отмахнулся Вадим.

Он с интересом вглядывался в лицо Спартака, стараясь узнать, какое впечатление произвела на него речь Лагоденко. Но Спартак был непроницаем, сидел, подчёркнуто выпрямившись, положив на стол сцепленные в пальцах смуглые узкие руки. Самому Вадиму выступление Лагоденко показалось искренним и во многом верным.

Вадим особенно близко не дружил с ним, может быть потому, что они учились в разных группах, но всегда чувствовал к нему симпатию. В прошлом году они недолгое время занимались вместе в художественной студии, где Лагоденко рисовал одни морские пейзажи и сражения. За это его даже прозвали «Айвазенко». Потом они встречались в спортобществе на секции тяжёлой атлетики. Лагоденко нравился Вадиму своей прямоотой, энергией, суровой мужественностью. Вадим знал, что, кроме этих качеств, у Лагоденко есть и множество недостатков, что прямота его часто превращается в ненужное забиячество и грубость, что его порывистая активность подогревается необычайным самолюбием, что он порой бахвалится и своим мужеством и «матросской натурой», — но за всем этим Вадим умел видеть главное в человеке. Многие не любили Лагоденко: одни считали его просто хвастуном, другие — краснобаем и задирой, третьи — эгоистом. Все эти суждения были крайними и потому ошибочными. Говорили, что он сразу распаляется к себе, а потом отталкивает, никто не может дружить с ним долго.

Вадим понимал, что многие не влюбились Лагоденко как раз за его нарочитую, даже назойливую прямоту, за стремление высказывать всякую правду в глаза, и большую правду, и мелкую — ту, никому не нужную, житейскую правдишку, которая пользы не приносит, но зато часто обижает. Вадим чувствовал, что Лагоденко относится к нему с симпатией, но не принимал этой симпатии всерьёз. Уж очень непонятные были причины лагоденковских симпатий и антипатий. Только одно было ясно — Лагоденко ценил в людях физическую силу и здоровье. «Не люблю хляков и богом обиженных. Не внушают доверия, — говорил он Вадиму, хлопая его кулаком по плечу. — Вот это шпангоут, я понимаю! Сколько ты правой жмёшь? Тебя я взял бы в десант».

В общежитии у него были два пружинных эспандера и гири, и он занимался ими каждое утро, а потом обтирался холодной водой.

Таков был Пётр Лагоденко, бывший командир торпедного катера, а теперь студент третьего курса и рядовой комсомолец. Облокотившись на ручку кресла, он сидел, не двигаясь, и неотрывно смотрел на людей, говоривших о нём с трибуны.

А говорилось о нём всякое...

Сразу после Лагоденко выступила аспирантка Камкова, которая и была ассистенткой Козельского в то злополучное воскресенье. Она говорила о том, что речь Лагоденко была хоть и очень эмоциональна, но абсолютно ошибочна. Лагоденко протестует против фактических знаний, против подлинного овладения материалом. Даты, имена, чередование событий, названные здесь так презрительно «прейскурантом» — что же это иное, как не совокупность тех конкретных знаний, без которых немислимо никакое образование? Лагоденко — это тип прожектёра и лодыря, которому не должно быть места в советском вузе. За клевету на уважаемого профессора Бориса Матвеевича Козельского Лагоденко должен быть сурово наказан комсомольским судом.

За ней выступил Максим Вилькин, осторожно упрекнувший товарища аспиранта в передержке. Никто не протестует против фактических знаний. Это было бы глупо.

— Я не принадлежу к числу поклонников Лагоденко. Мы с ним часто конфликтуем по разным вопросам, хоть и живём в одной комнате. Человек он трудный, это верно. Но в части его критики Козельского есть, надо признаться, доля истины. Борис Матвеевич, действительно, суховат и склонен увлекаться мелочами. По целым часам он выскивает логические ошибки у Толстого, препарирует писателей, как бесстрастный анатом. Это бывает занятно, бывает скучно, но это в высшей сте-

пени — ни уму, ни сердцу... И однако хамить профессору Лагоденко не имел права.

Вилькин предложил дать Лагоденко выговор. Затем две студентки обрушились на «незванных и неуклюжих адвокатов» и потребовали строгого выговора с предупреждением. Они припомнили, что Лагоденко имел взыскание ещё на первом курсе, когда он подрался с кем-то во дворе института. Речь Лагоденко они назвали лицемерной и утверждали, что её горячность и искренность фальшивы. Это поза, маскировка, а на самом деле Лагоденко несколько не раскаивается в своём поступке. Зато Марина Гравец очень пылко говорила о том, что строгий выговор с предупреждением был бы слишком жестокой и несправедливой мерой. Мы должны исправить человека, а не бить его что есть силы. Сейчас же кто-то встал и сказал, что, вынося человеку строгий выговор с предупреждением, мы вовсе не бьём его что есть силы, а наоборот...

Собрание угрожающе затягивалось. Соседи Лагоденко по общежитию говорили, что он готовился к экзаменам больше всех, читал ночами напролёт. Библиотекарша Маруся сообщила, что Лагоденко один из самых ненасытных читателей факультета, и что ему сменили за этот год уже третий формуляр. Из пяти членов бюро присутствовало четверо — один уехал из Москвы на полмесяца по заданию райкома. Спартак, Марина и Горцев стояли за выговор; Нина Фокина — четвёртый член бюро — требовала строгого выговора.

После короткого выступления Андрея Сырых — он очень волновался и говорил малоубедительно, неясно — на трибуну взошёл Палавин. «Сейчас он потопит Петьку», — подумал Вадим с тревогой. Все знали, что Лагоденко и Палавин относятся друг к другу неприязненно. Оба были людьми в институтских масштабах выдающимися, оба любили быть во главе и на виду. Лагоденко часто говорил Вадиму: «Что ты возишься с этим павлином? Это не товарищ для тебя». Палавин называл Лагоденко опереточным адмиралом. Это он пустил по институту ядовитую шутку: «Лагоденко надо принимать, как кружку пива — сначала сдувать пену».

— Мне кажется, товарищи, что-о... — начал Сергей, внушительно откашливаясь, — наше собрание пошло по неверному пути. Вместо того, чтобы обсуждать поступок Лагоденко, мы обсуждаем стиль преподавания профессора Козельского. Если этим и следует заниматься, то во всяком случае не здесь и не на этом собрании. А на мой взгляд, весь вопрос о Козельском — это плод того грошового фрондёрства, от которого мы все никак не избавимся. Пивом нас не пои, а дай покритиковать — да ещё с каким апломбом! — профессуру. И то нехорошо, и это не так, и нас, мол, на мякине не проведёшь. Ай да мы! А что мы? Если разобраться, то мы-то, оказывается, просто невежды и спорить по-настоящему нам не в жилу. Зато шум, звон — близко не подойдёшь! Сегодня, понимаете, мы Козельского распушим, а завтра до Кречетова доберёмся, будем на свой лад причёсывать — что ж получится? Никому эта стрижка-брижка не нужна, она только работу тормозит и создаёт, так сказать, кровавые междоусобицы. Учиться нужно, вот что! Учиться лучше! А теперь два слова о Лагоденко. Я этого человека давно знаю. Откровенно скажу — не по душе он мне. Очень уж криклив, назойлив, и застенчивость, я бы сказал, не его подруга. Но мне указывают, дескать, темперамент, морской ндрав. Хорошо, ладно. Но часто слышал я от него такие речи: «Я, мол, всю войну прошёл, от звонка до звонка, три раны имею и пять наград. И вот приехал учиться — Севастополь оставил, друзей оставил, двух вестовых и командирский оклад променял на койку в общежитии и папиросы «Прибой» вместо завтрака. И всё

потому, что хочу учиться, жажду, мол, знаний». Такой героический и единственный в своём роде товарищ. И мы все должны им восхищаться...

— Когда я тебе это говорил? — крикнул с места Лагоденко.

— Не перебивайте, я вас не перебивал. Да, но мы, странные люди, не восхищаемся. Нет! — продолжал Палавин спокойно, и как бы с удивлением пожал плечами. — И мы не голубей гоняли, и мы были в армии, имеем награды, а теперь вот тоже сидим за партами, сдаём зачёты и живём по-студенчески. Что ж тут удивительного? Да и не в том дело. У нас есть товарищи, которые пришли из заводских цехов, а ещё больше из школы, так это даёт вам право, Лагоденко, нос перед ними задирать? Ну, допустим, вы имеете какие-то особые заслуги, воевали более героически, — зачем же без конца это афишировать? Что вы носите с со своей биографией, как с писаной торбой, и суёте её всем под нос? Что за самореклама? У нас в стране, товарищ Лагоденко, прежние заслуги уважаются, но они никому не дают права бездельничать, почивать на лаврах. С весны вы не можете сдать хвост по русской литературе, а виноват оказывается профессор. Он что-то не так читает, слишком сухо, видите ли, воды мало, морского тумана... И тут же на экзамене старого профессора оскорбляют, называют схоластом, балластом и так далее. Это не смешно, напрасно вы фыркаете, товарищ Мауэр!.. Я считаю поступок Лагоденко антикомсомольским и требую наказания. Мне не понравилось сегодня выступление Андрея Сырых. Я очень уважаю Андрея, но сегодня он выступил непринципально, не по-комсомольски, руководствуясь приятельскими отношениями. И то, как он высказался о профессуре, о Козельском в частности, это, ну... неблагоприятно. Сырых стоит на ложном пути, надо предупредить его со всей серьёзностью. А Лагоденко мы накажем! Он должен научиться не только уважать преподавателей, но и жить в нашем студенческом общежитии. — Сергей говорил, **повысив голос и методически постукивая согнутым указательным пальцем по трибуне**, **Сделав паузу**, он закончил своё выступление так: — Однако давать Лагоденко строгий выговор я считаю преждевременным. Я — за выговор.

Вадим, который во время речи Сергея решил, что он сейчас же должен выступить, и уже поднимался, чтобы взять слово, от неожиданности опустился на стул. И для всего зала окончание речи Сергея было неожиданным. Кто-то из членов бюро предложил закончить прения и приступить к голосованию. Но тут Вадим опять встал с места и попросил слова.

— Как собрание? Не возражает? — спросил Спартак. — Ну давай, Белов! Только коротко.

Вадим вышел к трибуне. Как всегда, в первое мгновение перед большим залом и десятками обращённых к нему ожидающих лиц, он почувствовал робость. Он увидел спокойно-любопытное лицо Сергея и улыбающееся Лены, и насторожённый, угрюмый взгляд Лагоденко, его сжатые губы и усталые, запавшие щёки. Все они смотрели на него и ждали, что он скажет, последний из выступающих.

— Я не вышел бы, если б не Палавин, — заговорил Вадим медленно, чтобы выровнять голос. — Как он ни старался доказать, что говорить о Козельском здесь неуместно, все выступавшие — и сам Палавин, кстати, — о нём говорили. Два вопроса возникло: о Лагоденко и о Козельском. Сначала по первому. Петра Лагоденко я тоже давно знаю, третий год. Помню, как он явился на первый курс прямо из Севастополя. Был у него флотский сундучок, и в нём боксёрские перчатки и томик Лермонтова. Помню, как рассказывал он нам всякие свои истории, целыми днями: об обороне Одессы, о боях под Эльтигеном, Керчью и так далее.

Интересно рассказывал, здорово! И очень быстро стал популярным, помните? Да и учился он хорошо всё время, у него же до третьего курса, до Козельского, ни одной тройки не было. Человек он, по-моему, очень способный, но, верно, трудный, часто и заносчивый бывает, и грубый и, как говорят, от скромности не умрёт. Я вот, Лагоденко, не понимаю, как ты мог, военный человек, позволить себе такую выходку с профессором? Неужели мне надо учить тебя, бывшего командира, лейтенанта, такой простой вещи, как дисциплина? Да неважно, как ты относишься к Козельскому! Совершенно это неважно!.. Он пока ещё твой руководитель, учитель, и ты права не имеешь грубить ему! На фронте за такие вещи — ну, сам знаешь!.. И там бы ты этого себе не позволил, я уверен. Другое дело, что ты в чём-то принципиально не согласен с Козельским — действуй законно, заяви в комсомольское или партийное бюро, выступай, доказывай! Вот же как надо делать! А что это за нелепая партизанщина?.. Я, может быть, тоже не согласен с Козельским, и даже крупно несогласен, но из-за этого, Пётр, я тебя оправдывать не буду. Я тоже за выговор. Теперь о Козельском. Этот вопрос сложнее. И родился он не из грошового фронтёрства, как говорил Палавин, а из самой жизни — потому что все мы заинтересованы в нашей работе. Палавин тут демагогией занимался: «сегодня Козельский, завтра Кречетов». Неверно! Никто ничего худого не скажет о Кречетове, о нашем лингвисте, о других профессорах, а о Козельском говорим! Да, убого, по мёртвой схеме читает он лекции. Из года в год повторяет одни и те же слова, вот уж двадцать, наверное, лет подряд. Разве это возможно, спросите вы, двадцать лет одни и те же слова? Да, возможно, потому что слова эти не выходят из замкнутого круга рассуждений о форме и биографических комментариев. А те, кто занимается в НСО, знают, что Козельский и в обществе не может интересно поставить работу. Избегает острых проблем, споров, а советская литература у него и вовсе в загоне, это, дескать, не научный материал, не даёт, мол, «фактических знаний». Да ведь всё это... ну, конечно, это же формализм чистой воды! Да, да, мы обвиняем Козельского в формализме! Я предлагаю поставить перед деканатом вопрос о методе преподавания профессора Козельского. И мы докажем свою точку зрения на Учёном совете, с конспектами его лекций в руках.

— Которых вы не ведёте! — крикнул кто-то из рядов.

— Я воспользуюсь вашими, — сказал Вадим и сошёл с трибуны.

Он слышал ещё чьи-то возбуждённые возгласы и общий, возникший вдруг шум всего зала, и громкий, чеканный голос Спартака: «Товарищи, ти-ше! Ти-ше!» Неожиданно стало тихо. Когда Вадим сел на своё место, он увидел, что к трибуне идёт, прихрамывая, тяжело опираясь на палку, Саша Левчук, парторг курса — невысокий, темноволосый, в плотно застёгнутом военном кителе.

Он сказал немного.

— Напрасно вы шумите, — сказал он, хотя никто уже не шумел, и в зале было тихо. — Белов говорил здесь правильные вещи и важные для нас. Вопрос о методе преподавания профессора Козельского — серьёзный вопрос, и на этом собрании мы его окончательно не решим. Но важно, что этот вопрос подняли. Нам предстоит основательно в нём разобраться и довести до Учёного совета. И это мы сделаем. А что касается Лагоденко, то у меня такое ощущение, что строгий выговор слишком сильно для него, я бы ограничился выговором. Кажется, это мнение большинства. И, по-моему, затягивать дело больше нечего, пора голосовать. Предлагаю прекратить прения.

Большинство собрания проголосовало за выговор. Предложенная

Вадимом резолюция — поставить перед деканатом вопрос о Козельском — также была принята.

Собрание кончилось. Лагоденко, расталкивая людей и вытирая платком вспотевший лоб, быстро, ни на кого не глядя, прошёл мимо Вадима к выходу. Немного погодя вслед за ним вышла Рая.

Кто-то тронул Вадима за руку. Он обернулся — Люся Воронкова.

— О Козельском что-нибудь было в печати? — спросила она вполголоса.

— Что? О чём?

— Вот, о формализме.

— Не помню. Кажется, нет... А что?

— Нет, просто так...

Вадим чувствовал усталость, лёгкую головную боль от непрерывных разговоров, духоты и того нервного напряжения, которое возникало у него всегда во время речи перед большой аудиторией. Но ему было радостно от того, что Петру всё же не дали «строгача», и от сознания того, что большинство собрания решило так же, как он. Вадим искренне чувствовал себя победителем.

В раздевалке к нему подошёл Сергей.

— Дай демагогу закурить, — сказал он, примирительно и легко улыбаясь.

Вадим протянул ему раскрытый портсигар.

— Что ты на меня окрысился? — спросил Сергей.

— Я ещё мало окрысился. Мог бы вспомнить, как ты говорил мне, что лекции Козельского надо вменять наравне с каторжными работами. Было?

— Ну, было. Дальше?

— Что ты больше всех пропустил лекций своего любимого профессора.

— Ну-у? Так, так... — Сергей кивал и улыбался всё так же добродушно, но в голосе его зазвучала вдруг жёсткая нота. — Милый Вадик, ты мог бы сказать обо мне и похуже вещи. Так же, как я о тебе. Мало ли что мы знаем друг о друге? Но мы же не дети, понимаешь...

Вадим не ответил, надевая перед зеркалом пальто. Сергей стоял за его спиной и говорил мягко, снисходительно, обращаясь к отражённому в зеркале хмурому лицу Вадима.

— Ты будешь выступать на Учёном совете против Козельского?

— Если понадобится — выступлю.

— Да ты, брат, становишься деятелем! — Сергей рассмеялся, оправляя сзади воротник на Вадимовом пальто. — Это, конечно, хорошо. Только не надо на своих кидаться.

— На своих... — повторил Вадим как будто про себя и усмехнулся. Да, неприятнее всего было то, что Сергей был «свой», Вадима связывало с ним очень многое, и тем болезненней чувствовал Вадим малейшую фальшь в поведении Сергея. Если другим выступление Сергея показалось просто ошибочным или ловким, забавным, над которым стоило посмеяться, то Вадима оно возмутило.

— Ты выступал сегодня нечестно, — сказал он угрюмо, не глядя на Сергея. — Ну да, просто ты не любишь Лагоденко...

— Я? Да вот уж нет! — с искренним жаром проговорил Сергей. — И это не играло никакой роли, совершенно! Я же был против строгого.

Вадим махнул рукой.

— Ладно, не оправдывайся. Я ж тебя понял — сначала ты очернил его, как мог, а потом учуял, чем дышит собрание, и сделал сальто.

— Какая ерунда! У тебя мания, что ли, Дима, тебе всё кажется... — Он замолчал, потому что к ним подошла Лена. — Ну, хорошо, идём. Не хочу об этом здесь говорить.

До ворот они дошли молча, как будто все вместе, и каждый сам по себе. Выйдя на улицу, Сергей коротко попрощался и побежал к троллейбусной остановке.

— Вы поссорились? Да? — с интересом спросила Лена.

— Нет. А, по-твоему, он хорошо говорил?

— Не знаю. Ты думаешь, я слушала? — Лена пренебрежительно усмехнулась. — Всё одно и то же... Я не представляю — как можно устраивать такие скучные собрания?..

— Ну вот. И Сергей так же слушал. Вы сидели всё собрание и хихикали. Я сказал ему правду, а он обиделся. До свиданья, Лена. — Он протянул Лене её портфель, который до сих пор держал в руках. — Тебе направо?

— Ты не проводишь меня?

— Я устал что-то. Ты извини...

Они простились, и Вадим быстро пошёл вдоль шумного, тесного от людей вечернего тротуара. Дул сухой обжигающий ветер, прямо в лицо. Снега всё не было.

И до самой станции метро не покидало Вадима чувство успеха. Но в то же время он угадывал в этом успехе тревожное знамение новых, предстоящих ему боёв — гораздо более трудных и значительных для него.

Глава 10

В начале декабря заболела мать Вадима, Вера Фадеевна. У неё давно начались недомогания, головные боли, кашель — думали, просто грипп. Когда стало хуже и она слегла, врач, лечивший Веру Фадеевну заподозрил что-то в лёгких и вызвал районного фтизиатра, который предположил плеврит. Вера Фадеевна совсем ослабла, потеряла аппетит; она лежала теперь, не вставая, на своей высокой кровати возле окна, похудевшая, с бледным истончившимся лицом и жёлтыми обводами вокруг глаз, и читала Вересаева. Один том Вересаева уже вторую неделю.

Часто навещали её знакомые, сослуживцы из министерства сельского хозяйства, которые приходили прямо с работы, с портфелями и сумками, вечно торопились, говорили вполголоса, но успевали пересказать все служебные и городские новости. Они приносили Вере Фадеевне гостинцы, и все почему-то одно и то же — мандарины и яблоки, с готовностью кидались на кухню, если надо было что-нибудь приготовить, мыли посуду, приводили бесконечные утешительные примеры и давали советы. Вадима удручало их многословие, их сочувственные взгляды в его сторону, и шёпот в передней: «Ну, как доктор? Что он говорит?»

Доктор Горн, районный фтизиатр, говорил много и обо всём на свете. Высокий, сутулый, рыжеусый, в громоздких бурках и с удивительно миниатюрным дамским чемоданчиком в руках, он шумно входил в комнату и сразу населял её своим весёлым гремучим басом:

— Ну-с, драгоценная? Всё читаете? Ай-яй, лампа-то у вас неладно стоит, темно ведь. Глаза не бережёте, а вам с ними ещё сорок лет жить. Где температурка? Та-ак... Всё Вересаева мучаете? Хороший был писатель, добросовестный. Лекарство пьёте, что давеча выписывал?.. Да, любил, знаете, пустить гомо сапиенс нагишом, со всеми слабостями. Это от медика у него — медики, известно, народ грубый, беззастенчивый... Завтра, стало быть, сестру пришлю с баночками. Что ж это я вам выписывать-то хотел?

Выписывая рецепт, он продолжал говорить, изредка поглядывая на покорно и молчаливо слушающую его Веру Фадеевну:

— Однако, драгоценная, чтением не увлекайтесь. Часа два, не больше. Лучше радио слушайте, утром, знаете, чудесные детские передачи! Вечером концерт возьмите, оперу, а днём какую-нибудь лекцию из цикла «Что такое дождь?», например, или что-нибудь из жизни пчёл. Порошочки непременно. А через месяц думаю пригласить вас на каток: Петровка, 26...

В ванной комнате, тщательно моя свои крупные жилистые руки, похожие на руки мастерового, Горн оживлённо расспрашивал Вадима об институте и особенно охотно говорил о спорте. Он был болельщиком футбола и хоккея.

— Парадокс! Всех лечу, а сам болен неизлечимо. В воскресенье опять был на матче. Изумительно! Что там театры! Я убеждён, голубчик, что хоккей и футбол это балет двадцатого века.

— Фёдор Иванович,— настойчиво перебивал Вадим. — Значит, всё ещё ничего определённого?

— Да видите, голубчик, я полагаю — плеврит. То есть, плеврит есть несомненно. Но... Я думаю пригласить профессора Андреева. Великолепный диагност! Если вы помните — хотя откуда вы можете помнить! — был в своё время такой профессор...

Трудно в эти дни приходилось Вадиму. Утро — это было самое мучительное время для него. Нужно было уходить в институт, и уходить надолго, до вечера, оставляя Веру Фадеевну одну. Вадим вставал теперь очень рано, готовил себе завтрак и Вере Фадеевне еду на весь день — он умел довольно прилично готовить, научился в армии. Вера Фадеевна ещё спала, пока он возился на кухне и на цыпочках курсировал из кухни в комнату и обратно, то и дело забывая что-то в буфете. Потом она просыпалась, как раз тогда, когда он ставил кастрюльки с киселями и кашами на столик возле её кровати.

Вера Фадеевна всегда боялась, что он опоздает из-за неё в институт. Чуть проснувшись, она спрашивала испуганно:

— Дима, который час?

Потом он записывал утреннюю температуру, мыл чашки, проглядывал, не садясь, газету... Надо было уходить. Вера Фадеевна делала вид, что спит. Но Вадим каждый раз разбивал эту маленькую хитрость, говорил громким, неестественно бодрым голосом:

— Ну, мам, мне, кажется, надо идти.

— Ты ещё здесь?.. Иди немедленно, сын, ты же опаздываешь! — Она даже слабо сердилась: — Это безобразие!

Вадим говорил, что у него «куча времени» и одевался не спеша. Но только он выходил за дверь — скатывался, как десятилетний мальчишка, с лестницы, мчался к троллейбусу, прыгал на ходу и, взмыленный, прибежал в институт за полминуты до звонка...

Доктор Горн написал Вадиму справку, позволявшую ему пропускать лекции и Вадим иногда пользовался ею — в те дни, когда Вера Фадеевна чувствовала себя особенно плохо по утрам.

Жизнь Вадима усложнилась и грозила ещё большими осложнениями и тревогами, оттого что состояние Веры Фадеевны несколько не улучшалось, а болезнь её до сих пор не имела окончательного названия и потому казалась страшной. И, кроме того, надвигалась сессия.

Да, надвигалась сессия! До неё оставались считанные недели — три, две, одна. В середине декабря Спартак Галустьян созвал курсовое бюро для обсуждения подготовки к сессии и ещё одного вопроса, поднятого по инициативе Андрея Сырых.

После лекций Вадим зашёл в библиотеку, чтобы скоротать полчаса до заседания бюро. У него была и другая цель — встретить там Лену. С того комсомольского собрания, когда Вадим отказался проводить Лену домой, в их отношениях произошла странная перемена. Неизвестно почему они перестали разговаривать друг с другом. В первый день это было как будто случайностью, они сами ещё не были уверены, следует ли им обижаться друг на друга; во второй день эта уверенность появилась, и оба продолжали выдерживать характер, а на третий — уже принципиально не замечали друг друга. Так и вышло, что они, не ссорясь, поссорились, и причина была не в том, что он отказался провожать Лену. Вовсе не в том.

Однажды — это было ещё до собрания — к Вадиму подошёл Спартак и сказал:

— С тобой, брат, что-то неладное. После лекций исчезаешь сразу, и не найдёшь тебя, газету запустил, реферат для журнала, говорят, не сделал. Что происходит?

— Не знаю. Ничего, кажется... — сказал Вадим, хмурясь и предчувствуя, к чему клонится разговор. — Распустил себя, возьмусь.

— Ты смотри! — Спартак, сощурясь, погрозил пальцем. — Сессия на носу, а у тебя какие-то, эдакие... — он произвёл рукой неопределённые округлые жесты в воздухе. — А реферат почему не пишешь?

— Пишу, Спартак, но медленно.

Последние десять дней он вовсе не работал над рефератом. Сам себе он объяснял это просто: конечно, ему тяжело сейчас работать — Вера Фадеевна больна. Да. Конечно. И всё же главное было в другом... Лена! Она отнимала у него время, мучила его раздумьями и тревогой, она не оставляла его в покое даже когда он был один, дома, в библиотеке. С ней было нелегко, и делалось всё труднее. А разве так должно было быть? Разве его любовь — если она была настоящей любовью, мужественной и простой, той единственной, о которой столько написано и передумано на земле, — разве она должна быть помехой, мучительством? Где-то у старого писателя: «Любовь — это, когда хочется того, чего нет и не бывает». Так было всегда — Монтекки и Капулетти, мадам Бовари, Анна Каренина. Для них любовь была жизнью, а жизнь — мучительством. И трагизм их страданий в том, что, борясь за свою любовь, они боролись за жизнь. Так было прежде, в глухие времена.

«Любовь — это когда хочется того, чего нет, но что обязательно будет». Это чище и справедливее. Трудность в том, что так много людей вокруг, и у каждого должна быть своя любовь. Трудность в их множестве, в странном сплетении встреч, обстоятельств, сказанных кем-то слов, в вечном непобедимом стремлении к лучшему и к новизне. Почему Лена? Что в ней такого особенного? Почему не Рая, не Марина, не та девушка в меховой мантильке, с которой он каждое утро встречается на троллейбусной остановке, — они так привыкли видеть друг друга в определённый час, что даже стали кланяться при встрече, как знакомые.

Лагоденко как-то спросил у него:

— Ты что, собрался жениться?

— Почему ты решил?

— Да ты не красней, как бурак! Я уж вижу, не ошибусь.

Эту страсть грубо и назойливо вмешиваться в чужие дела, по праву человека, всегда говорящего «правду в глаза», Вадим терпеть не мог в Лагоденко. Разговор ему сразу стал неприятен.

— Ну, что? — спросил он, мрачней.

— Я тебя очень люблю, Дима, — сказал Лагоденко, делаясь вдруг

серьёзным. — Ты только не обижайся. Я всё-таки старше тебя и немного опытней, просто так жизнь сложилась. Ты не обижайся. Я хочу сказать, что когда женщина может быть для тебя только женщиной — это очень мало. Нужно быть гением, чтобы не замечать, как это мало.

— А ты знаешь её?

— Знаю. У меня собачий нюх на это дело. Ока хорошая девка, а выйдет замуж — будет красавицей. Но она, как бы это... — он замолчал, подбирая точное определение. — Она кукушка, Дима.

— Кукушка? — машинально переспросил Вадим.

— Ну да, у неё же ничего своего нет, одни кудряшки. Она всю жизнь будет только брать у тебя и ничего взамен. А тебе другое нужно. А впрочем... — бес его знает, сам смотри.

— Конечно. Я уж сам посмотрю, — сказал Вадим высокомерно.

Ко всем таким и подобным разговорам с друзьями Вадим относился ревниво и недоверчиво. Но они западали в память и, долго не забываясь, тайно волновали потом. Сосед Вадима по дому, студент МАИ, видел Вадима и Лену на улице, — в тот же вечер он сказал Вадиму, что встретил его с какой-то «авантажной девочкой» и долго, с пристрастием допытывался, кто такая. Он был обижен тем, что Вадим только кивнул ему при встрече, а не остановился и не познакомил его с Леной. Мак Вилькин уже давно и безнадежно был влюблён в неё — она сама рассказывала Вадиму, какие длиннейшие письма он писал ей на первом курсе, а она отвечала фразами из английского учебника. Девушки считали Лену легкомысленной и недалёкой, но к их мнению Вадим относился критически. Иван Антонович называл её шутливо «нимфой»...

Да мало ли что говорилось о ней! Никто не знал её по-настоящему. Он сам, он один мог понять её, один должен был разобраться во всём и верить только себе. Да, она не была на фронте, не прошла такой жизненной школы, как Рая Волкова. Она не такая страшная способная и всезнающая, как Нина Фокина, и даже не такая красивая, как Изабелла Усаченко (портрет этой знаменитой второкурсницы поместили недавно на облжке «Огонька» и теперь, говорят, к ней приходят сотни писем от потерявших покой читателей), нет, она просто — Лена, и ни у кого больше нет таких правдивых, яснокарих глаз, такого голоса, смеха...

Он первый решил нарушить молчание. Как ни презирал он сочинение писулек на лекциях, эту «привычку пансионерок», однажды, скрепя сердце, он послал Лене записку: «Ты всё ещё дуешься на меня?» Он видел, как Лена взяла бумажку и, положив её, не читая, рядом с собой, продолжала спокойно записывать лекцию. Она записывала долго. Когда профессор сделал, наконец, паузу, Лена, даже не придвинув записку, а пренебрежительно развернув её там, где она лежала, на середине стола, прочла её издали. Так, что соседка Лены, хитрая и болтливая Воронкова, тоже могла прочесть. Пожав плечами и не взглянув на Вадима, Лена смяла записку тремя пальцами и бросила её в стол. Ответа она не написала.

На перемене Вадим не сказал ей ни слова, даже не смотрел в её сторону. Он слышал, как она смеялась с подругами, болтала с Сергеем, сидя на подоконнике в конце коридора. Она стала часто разговаривать с Сергеем, они вместе гуляли по коридору во время перерыва, вместе ходили в буфет, в библиотеку. Всё это делалось, чтобы уколоть Вадима — Сергей тут, конечно, был ни при чём. Иногда Вадиму даже становилось вдруг жалко её. Она сама, наверно, мучается этой игрой, старается из последних сил выглядеть спокойной и беззаботной, а по ночам, наверно, плачет. Глупая девочка! Что ж, не надо комедианствовать.

...Как всегда сразу после лекций, в читальном зале было много людей и шумно, в той мере, в какой может быть шумно в библиотеке. Возле барьера выстроилась очередь студентов, обменивавших книги; какой-то аспирант пытался получить без очереди, какой-то первокурсник робко пропущал всех вперёд себя. Библиотечные девушки белками носились по лабиринту стеллажей, вспархивали на приставные лестницы, то и дело восклицали привычными, однотонными голосами:

— «Коварство» из библиотеки не выносить! Последний экземпляр.

— Вам «Собор» с предисловием?

— Нет, Шекспира я не дам! Исаковского не принесли? Так вот, принесёте Исаковского — и получите Шекспира. Нет, нет!..

Лена сидела за столиком возле окна и листала «Крокодил». Вадим взял по своему абонементу какую-то книгу и подошёл к её столу.

— Смешно? — спросил он, заглядывая через её плечо.

Лена кивнула, не поднимая головы. Вадим сел с ней рядом и раскрыл книгу. Некоторое время он молчал, глядя на неё сбоку. Петельный завиток, сквозной и золотистый от солнечного луча, падал на её лоб и чуть колыхался, когда она переворачивала страницу. И весь её профиль светился на солнце до нежного пушка щёк, до кончиков ресниц. Вадим смотрел на неё и чувствовал, как неудержимо тают все его обиды, как, словно эта ничтожная лёгкая пыль, пляшущая в солнечном луче, исчезают они от одного её дыхания и остаётся лишь властное, снова мучительное влечение к ней, которому нет сил противиться, да которому и не надо противиться. Он тронул Лену за руку и спросил с внезапным радостным облегчением:

— Ну что ты дуешься, старуха!

— Говори со мной по-человечески, — сказала Лена, подняв на него спокойные, янтарно засветившиеся глаза, и зажмурилась от солнца. — Я ненавижу этих ваших стариков и старух. Это было остроумно на первом курсе.

— Вот как? А всё-таки, почему ты дуешься?

— Я ни капли не дуюсь. И потом ты знаешь, почему.

Он даже не заметил нелепости этого ответа и некоторое время затруднительно молчал.

— Ну ладно, прости меня, — вдруг пробормотал он угрюмо.

— Простить? — Лена улыбнулась, посмотрев на Вадима, и лукаво блеснула её белые зубы; и среди них один маленький серый впереди. — Хорошо. Из уважения к вашим прежним заслугам я вас прощаю! Так и быть.

— Ну вот... хоть я и не знаю, в чём я провинился.

— Ах, не знаете? Прощение отменяется!

Однако прощение состоялось, и Лена тут же предложила Вадиму пойти в кино, посмотреть новый фильм. Но Вадим сказал упавшим голосом, что пойти с ней не может — он ведь должен присутствовать на бюро.

— Вот видишь! — сказала Лена. — У тебя всегда находится что-то интересней. Ведь тебе не обязательно присутствовать на бюро, правда же?

— Нет, но я...

— Подожди, ответь: тебе обязательно присутствовать или не обязательно? Ты член бюро?

Вадим вздохнул и прогворил мягко:

— Нет, я не член бюро, ты знаешь. Но я обещал Спартаку быть, я дал слово, понимаешь? Я же не знал...

— Ах, ты дал слово! — Лена кивнула с серьёзным видом. — Тогда другое дело. Конечно, надо идти.

В читальню вошёл Палавин с пачкой книг подмышкой.

— Дима, ты здесь? Там внизу тебя ищут, на бюро...

— Я знаю. Сейчас, — сказал Вадим. — Так, Лена, может, пойдём завтра?

— Завтра? Н-не знаю... — Лена с сомнением пожала плечами, сказала протяжно: — Завтра у меня вока-ал, разные дела-а...

— Ну, делай как тебе удобно, — сказал Вадим. — До свиданья.

Он вышел за дверь и уже на лестнице услышал — а может быть, ему показалось? — голос Лены: «Сергей, ну а ты свободен или тоже на бюро?» Тот что-то ответил, и оба засмеялись. У Вадима больно кольнуло сердце. Раньше Лена кокетничала с Сергеем на глазах у него и чтобы подразнить его, Вадима, но теперь ведь Вадим ушёл. Он уже не мог её видеть, не мог слышать. А если она нарочно сказала это так громко, чтобы он услышал её за дверью? Ну да, конечно!.. Впрочем, нет, она сказала это негромко, обыкновенным голосом. И он услышал случайно.

Вдруг помрачнев, Вадим медленно спускался по лестнице, и ему уже ничего не хотелось: ни итти в кино с Леной, ни сидеть на бюро, которого он ждал сегодня с таким нетерпением...

Заседание бюро происходило в помещении факультетского комитета комсомола, на втором этаже. Кроме Галустяна и членов бюро, Вадим увидел здесь Сашу Левчука, комсorghов и несколько ребят и девушек из комсомольского актива, приглашённых, так же как и Вадим, по случаю особой важности заседания.

Сначала обсудили подготовку к зимней сессии. Говорили все много, горячо, Спартак Галустян свирепо насадил на комсorghов, требовал, чтобы те назвали студентов, в которых они «слабо уверены», и чтоб организовали им помощь... Вадим слушал вполуха. Он смотрел в окно, надеясь увидеть Лену: с кем она уйдёт из института, одна или с Сергеем? По двору к воротам шло много людей, непрерывно хлопали входные двери. Постепенно этот поток начал редеть — медленно шли пары, торопливо пробегали одиночки... Лены среди них не было. Должно быть, он пропустил её.

Спартак Галустян выступал уже по второму вопросу:

— Начало, товарищи, положено! — говорил он с необычайной торжественностью. — Мы должны сегодня подумать: как пустить дело, что называется, в серийное производство. Сейчас нам Андрюша расскажет о своём первом опыте.

Вадим, не слышавший начала выступления Спартакa, ничего пока не понимал. Андрей стал говорить о каком-то литературном кружке, потом — о заводе, где он работал во время войны, о молодых рабочих... Ах, вот что! Бюро предлагает связаться с комсомольцами крупного завода, взять шефство над ними: организовать чтение лекций, вести кружки. Андрей уже ведёт литературный кружок на большом машиностроительном заводе. Это и есть первый опыт.

Когда снова заговорил Спартак, Вадим уже слушал его с интересом. На первом и втором курсах Вадим и Спартак были большими друзьями. Одно лето они ездили вдвоём на Кавказ, прошли пешком по Военно-Грузинской дороге, побывали в Колхиде, в Тбилиси и Ереване, добрались даже до озера Севан — это был конечный пункт их путешествия. На озере Севан они прожили десять незабываемых дней, осматривали стройку Севангэса, бродили по прибрежным горам, знойным и ярким, как всё в Армении. От сожжённых солнцем вершин головокруглительно веяло древностью: сгнившими со света мидийцами, легендарной Парфией, рёвом боевых слонов и синим сюртучком профессора древней истории Викентия Львовича. Когда ехали обратно, денег хватило только на

билеты. Всю дорогу от Баку до Москвы они лежали на голых полках и питались огромными кавказскими огурцами и папиросами «Восток». Весёлое было лето!..

В прошлом году Спартак женился, жена его была студентка энергетического института, жила в общежитии. Она нравилась Вадиму — тихая, стройная девушка с тяжёлой смоляной косой, но она уводила от него Спартака, может быть и не она, а та жизнь которая пришла с ней, новая, сложная и ещё далекая от Вадима. Они несколько остыли друг к другу. В начале года Спартака избрали секретарём курсового бюро. С горячностью занялся он комсомольской работой. У них просто не было времени встречаться, кроме как на лекциях и собраниях. Каждый день у Спартака были какие-то неотложные дела: то комитет, то партбюро, то конференция в райкоме, то Учёный совет, на котором обязательно надо быть. Он всегда теперь торопился, разговаривал на бегу, отрывисто и озабоченно, у него появились новые слова и новые жесты в разговоре.

Вот и сейчас он подсекает что-то в воздухе решительными косыми взмахами ладони. Его безусое, по-мальчишески смугло-румяное лицо сурово, лоб напряжённо собран. У Спартака было редкое качество: не думать о том, как он выглядит со стороны, как принимают его, Спартака Галустяна, худощавого юношу в чёрном, неуклюже просторном костюме, с тонкой шеей и очень юным, чистым лицом. Как принимают его решение? Его мысль? — вот что заботило и волновало его.

Сейчас он спорил с комсоргом третьей группы Пичугиной. Пичугина опасалась, что слишком активная работа на заводе помешает многим комсомольцам учиться. Студенты и так загружены...

— Товарищ Пичугина, не надо нас пугать! — говорил Спартак, свирепо выкатив свои чёрные круглые глаза. — Не надо этого делать! Мы вовсе не собираемся переезжать на завод. Но общественная работа никогда никому не мешала.

— Она вам мешает, — сказала Пичугина. — Логика вы до сих пор... Спартак отмахнулся:

— Ерунда. Слушай! Мне мешает другое! И с логикой, кстати, я расквитался. Но дело не в этом! Понимаете, товарищи, когда человек год, два, три сидит в стенах вот такого заведения, как наше, в кругу конспектов, расписаний, библиотечного полушёпота и потрясающих—зачётных! — радостей и катастроф, он теряет постепенно ощущение жизни за этими стенами. Да, он читает газеты, слушает радио, он прекрасно выступает на семинарах международного положения и политэкономии! Но жизнь страны, та жизнь, бурлящая... — Спартак перевёл дыхание. — Вы понимаете меня? Она не дышит ему в лицо угольной пылью, не обжигает раскалённой топкой! Идёт мимо, как будто рядом, а всё-таки мимо. Вы скажете: мы студенты, мы тыл пятилетки, резерв пятилетки. Ну, пускай резерв! А всё-таки мы можем больше давать стране, чем даём! У нас уже есть кое-какие знания, опыт — они не должны лежать мёртвым грузом четыре года. Мы учимся? Учится вся страна. Это раньше — одни учились, другие работали. Теперь учатся все и все работают! Мало общественной работы в институте — стенгазет, клубных лекций, вечеров. Это всё для нас, вокруг нас...

— Мы участвуем в избирательной кампании. У нас хороший агитколлектив, — сказал кто-то обиженным голосом. — Чего уж так, казанской сиротой...

— Очень хорошо! И всё-таки... — смуглая ладонь Спартака разрубила воздух, — и этого мало! Вы помните слова Ленина о том, что члены союза молодёжи должны — «...каждый свой свободный час употреблять

на то, чтобы улучшить огород, или на какой-нибудь фабрике или заводе организовать учение молодежи...». Только не надо ограничиваться словами. В ближайшей стенгазете должна быть статья о сегодняшнем бюро, перспективах и прочее. Вилькин, заметь! Я дам статью.

Вадим слушал Спартак с напряжённым и всё возрастающим вниманием. Многие из того, что говорилось, не было для него откровением — он всё это знал и сам, давно понимал разумом, но это сухое, безжизненное «понимание разумом» словно обрело вдруг плоть и кровь и, волнуящее, горячее, прикоснулось к самой глубине его сердца. Да, прав Галустян — мало мы видим, недостаточно знаем жизнь. И он, Вадим Белов, который лучше других знал, что делается в стране, что восстановлено, что строится, где поднимаются новые города, который мог по памяти перечислить все большие события года на пяти континентах, — что сделал он за два с половиной года, кроме того, что хорошо учился и рисовал шаржи в стенгазете? Он отдыхал после фронта. (Подумаешь, другие воевали по пять лет!) Теперь-то он хорошо отдохнул. Как видно, он очень здорово отдохнул теперь... чёрт бы его взял!

А ведь он никогда не видел большого завода! Чугунолитейный заводик в Ташкенте, огороженный глиняным дувалом, — это не в счёт. Он в глаза не видел настоящего цеха, он, гражданин индустриальной державы, самой могучей в мире.

— Белов, ты что там примолк? — вдруг обернулся к нему Спартак. — Вот пошлём тебя на завод, связь с заводским комитетом налаживать. Тебя и Андрея Сырых.

Вадим от неожиданности поднялся.

— Хорошо, — сказал он. — Я пойду.

Он подумал, что если это будет завтра и Лена опять пригласит его в кино (ведь она, может, и не пошла сегодня), он снова должен будет отказаться. И ему вдруг пришло в голову, что Лена в чём-то права: да, действительно, многое из того, что кажется интересным ему, вовсе неинтересно ей...

— Вы человек пять посылайте. Солидной будет, — советовал Левчук. — Возьмите Палавина, он парень внушительный, с трубкой.

— Они его за профессора примут! — засмеялась Марина Гравец.

— Неважно. Итак, Сырых, Белов, от бюро пойдёт Нина Фокина, Палавин — пусть впечатление производит, и... ну, хотя бы, Лагоденко. Вот тебе, Пётр, и комсомольское поручение. Пойдёте в ближайшие дни, как только условимся.

— С Палавиным я не пойду, — сказал вдруг Лагоденко.

— Почему это?

— Я с ним на параллельных курсах не хожу.

— Это что? Опять начинается...

— Да, да, не хожу! — ворчливо повторил Лагоденко. — А впечатление производить пошлите его к девочкам, в опереточное училище имени Глазунова.

— Палавин, между прочим, сейчас занят, — сказала Валюша Мауэр. — «Капустник» к Новому году делает.

— Ладно. Пойдёте без него, четверо, — сказал Спартак.

Пять членов бюро единодушно одобрили решение, которое в письменном виде выглядело так:

«Комсомольское бюро третьего курса литфака решило наладить в первом и всемерно развивать во втором семестрах товарищескую и шефскую связь с комсомольцами машиностроительного завода, где секретарём заводского комитета ВЛКСМ т. П. Кузнецов».

Вадим вышел на улицу вместе со Спартаком.

Небо на западе в клубящихся, густолиловых тучах ещё светлело. Оттуда дул жёсткий ветер и гнал тучи над головой, разваливая их на тёмные, непрочные комья с лохматыми краями. Тротуар был перегорожен высоким деревянным забором. Здесь строился многоэтажный дом. Работа шла и вечером — вспыхивала с сухим треском электросварка, перекликались рабочие на лесах. На верхнем этаже ярко горели лампы, что-то непрерывно стучало, хлопало, как натянутое полотнище, невнятно и тонко, ломаясь на ветру, кричал мужской голос...

Спартак быстро шёл по гнущимся, временным мосткам, проложенным вдоль забора. В одной руке, подмышкой, он держал толстую пачку книг, а в другой пустую авоську. Вадим еле поспевал за ним.

— И здесь строят, работают день и ночь... — не оборачиваясь, себе под нос, бормотал Спартак. — Мы привыкли — забор и забор. Только ходить мешает... А ведь тоже молодёжные бригады есть, а? Конечно. Молодёжь тут, из области приехали Москву строить. Под боком ведь...

Вадиму хотелось рассказать Спартаку, почему именно он ждёт работы на заводе с нетерпением. Но объяснить это было не просто, в чём-то была здесь неуловимая связь с Леной. А Спартак — Вадим это чувствовал — относился к Лене слегка иронически, разговаривал с ней ласково, шуточками, но никогда — серьёзно. Нет, не стоило говорить с ним о Лене. И сам Спартак Галустьян — тот Спартачок, с которым он лазал в трусиках по горам, ел дорожную простоквашу, спорил о Блоке и Маяковском, тот упрямый и обидчивый юноша с тонкой мальчишеской шеей, которого он всегда считал значительно менее знающим, начитанным, опытным в жизни, чем он сам, — вдруг показался сегодня Вадиму новым человеком, умным и прозорливым, достойным настоящего уважения. Он сумел сказать о самом главном, о том, что было важно для всех и для него, Вадима, в особенности.

— Ну, как ты живёшь? — вдруг спросил Спартак, всё ещё не оборачиваясь. — Мы с тобой что-то в последнее время и не говорим, не видимся. Как мама?

Вадим сказал, что мама сильно болеет.

— Оттого ты такой скучный? — спросил Спартак. — Я вижу.

Да, главным образом, он скучный от этого и ещё от некоторых, менее важных причин. Они заговорили о предстоящих экзаменах. Спартак вспомнил, как Пичугина упрекнула его сегодня в том, что он запустил логику. Верно, запустил. Сдать-то он сдал, но с трудом, у него почти не было конспектов лекций...

— Да, Вадик, тяжельненько... — сказал он, вздохнув. — Устаю зверски. А тут семья, жена молодая, обижается, сам понимаешь. Сегодня вот, — он потрянул авоськой, — в гастроном надо бежать, ужин обеспечивать. Шура зачётный проект пишет, а я вот — с хозяйством, приходится... Семейный человек, слушай, ничего не попишешь!

Он рассмеялся, видимо, несмотря ни на что, очень довольный своим новым качеством семейного человека.

— Одно меня губит — ничего не умею спокойно! Работать — так до упаду, всё забыть. Скверно это, оттого и устаю. Да! Слушай! — Он живо обернулся к Вадиму, схватил его за плечо. — Надо библиотеку посмотреть!

— Какую библиотеку?

— Да у них, я говорю, на заводе! Когда пойдёте — посмотри. В этом как раз мы можем помочь. Главное — новые формы! Понимаешь?

Интересные, действенные! Одной идеи мало. А как воплотить? В чём? Вот оно что...

На перекрёстке они простились.

— Ты тоже подумай! Что-то новое надо!.. Подумай! — издали ещё раз крикнул Спартак.

Глава 11

В субботу после лекций Спартак Галустян объявил, что студенты третьего курса мобилизуются завтра на воскресник — по прокладке газопровода на окраине Москвы. В девять часов утра они должны будут встретиться в институте и оттуда маршем идти на строительный участок. Бригадиром назначили Лагоденко, Вадима и Горцева. «Лагоденко назначаем за мускулатуру, — говорил Спартак шутливо. — Сенью Горцева за аккуратность, а тебя, Вадим, за то и за другое вместе».

Вадим пришёл в общежитие в половине девятого. Согласно приказу «форма одежды — рабочая», Вадим был в своём армейском обмундировании — в сапогах, в стёганом, защитного цвета ватнике.

Во дворе он увидел Лагоденко и Вилькина, совершавших утреннюю зарядку. Несмотря на холод оба были в майках и бегали друг за другом — впереди Пётр, за ним Мак — вокруг двора. Солнце ещё не встало, и в синем рассветном сумраке их голые руки казались смуглыми, мощными. Они делали приседания, сгибались в поясе, и Лагоденко рычал на Мака:

— Дыхание соблюдай! Раз — вдох... понял? Раз — вдох...

В комнате, при электрическом свете, Вадим увидел, что бедный Мак совсем замёрз, тело его покрылось гусиной кожей.

— Посмотри на Мака, ты уморил его! Это же не редактор, а крембрюле.

— Нет, нет, я себя отлично чувствую! — воскликнул Мак чужим голосом, дёргая посиневшими губами.

— Ничего, на пользу, — проворчал Лагоденко. — Я из этого хилого создания штангиста сделаю.

Мак сразу оделся, а Лагоденко ещё долго ходил в майке, играя налитыми мышцами и демонстрируя их Вадиму в разных ракурсах. Вытирая лицо, он держал полотенце так напрягая руки, точно держал двухпудовую гирию.

— Эй вы, начальники, брать аппарат? — спросил Лесик.

— Бери, бери! Только шевелитесь давайте, — сказал Вадим, глядя на часы. — А девицы готовы?

— Девицы? Вполне!

Из коридора доносились шумы и голоса пробуждающегося общежития: хлопанье дверьми, шарканье, беготня, звяканье посуды. Хриплый утренний бас Лагоденко имитировал флотскую побудку:

Вста-вай, бра-ток!
 Го-тов кипяток,
 Го-тов кипяток
 По-греть живото-о-оки!..

Один Рашид лежал под одеялом и чёрными, замутившимися со сна глазами смотрел на товарищей. Первый курс в воскреснике не участвовал. Когда все собрались и уже выходили из комнаты, Рашид вдруг соскочил с постели.

← Я с вами! — крикнул он. — Что я один? Иду с вами!

— Ну, догоняй, — сказал Вадим. — Мы в институт идём.

Во дворе к группе ребят присоединились девушки, и все вместе пошли в институт. Уже рассвело, над сиреневыми крышами домов всплыло неясное, тяжёлое солнце и плеснуло жёлтыми латунными брызгами по окнам, фонарным столбам, автомобилям. Дальние дома были в тумане, и улица казалась бесконечной.

К девяти часам утра весь курс — около полутораста человек — собрался перед зданием института. Спартак в этот день был занят в райкоме, и верховное руководство осуществлял один Левчук. Не было и Сергея Палавина — он ещё вчера сказал, что не сможет принять участие в воскреснике потому, что заканчивает реферат, который он должен в понедельник читать в НСО. Причина была несомненно уважительной.

Четверть часа ещё ждали опоздавших — и наконец тронулись. До места работы шли пешком, длинной, растянувшейся на целый квартал колонной. Ребята балагурили, дурачились по дороге, девушки пели песни. Лесик то и дело отбегал в сторону и щёлкал своим «фэдом» наиболее живописные кадры.

Вадим ждал работы с нетерпением, и в глубине души надеялся отличаться со своей бригадой. Он стеснялся по физической работе — ему хотелось труда жадного, утомляющего, до пота. Слишком засиделся он последнее время за книгами. И, должно быть, это же нетерпение испытывали Лагоденко, Ремешков и Саша Левчук, который, бодро прихрамывая, шагал впереди всех и не желал отставать, и другие его друзья, что шли в многолюдной колонне по утренним отдыхающим улицам, шли на работу, как на праздник, на воскресную экскурсию за город, — и ощущение весёлой, дружной массы людей, связанных единым для всех и потому естественным, простым желанием труда, это ощущение было радостным и наполняло силой. Вадим знал, что не все пошли на воскресник одинаково охотно — одни отрывались от занятий, другие от долгожданных встреч и воскресных развлечений, кто-то третий был просто ленив и любил поспать, и, однако, все они шутили теперь, смеялись, были искренне довольны тем, что не поддались мимолетному малодушию, ворчливому голосу, который шепнул им сегодня утром: «Без меня, что ли, не обойдутся? Это же добровольно, в конце концов...»

В шеренге девушек, где-то в середине колонны, шла Лена. Вадиму почему-то особенно приятно было видеть её в простой телогрейке, в платочке, в огромных, верно отцовских, кожаных рукавицах, которые она всем со смехом показывала. Неожиданно Лена подбежала к нему.

— Вадим, а ты, оказывается, наш начальник? — спросила она радостно.

— Да, да. Я уж вас погоняю!

— Нет, правда? Я только сейчас узнала. Вадим! — она взяла его под руку и мягко, но настойчиво отвлекла в сторону от колонны. — Ты знаешь... хорошо, что именно ты бригадир.

— Почему? — спросил он, улыбнувшись. — Надеешься получить заниженную норму?

Лена покачала серьёзно головой:

— Нет. Понимаешь, я вчера застудила горло, и если я буду сегодня долго на улице, то могу вовсе простудиться. А как же я буду петь? Ведь на той неделе репетиции к новому году, и вообще, мой концертмейстер сказал мне категорически... Я даже не знаю...

Вадим шёл рядом с ней, всё ниже опуская голову.

— Ну и что? — спросил он.

— Будет некрасиво, если я полчаса покопаю и уйду, правда, Вадим? Мне будет очень неприятно. Нет — я лучше сейчас уйду, незаметно...

От неожиданности он остановился и секунду молча смотрел в её ясные, наивно улыбающиеся глаза с пепельными ресницами. Эти ресницы начали вдруг моргать, опустились, прикрыв глаза, и Лена покраснела.

— Что ты молчишь? — спросила она с удивлением, которое показало Вадиму фальшивым. — Мой переулок. Я пойду — ладно, Вадим?

— Ладно, — сказал Вадим.

— Я незаметно...

— Да, да...

Лена отпустила его руку, потом вновь приблизилась к нему и шепнула на ухо:

— А после воскресника приходи ко мне, вечером. Всё равно мимо итти. Ой, я, кажется, здорово простудилась!.. Ладно, Дима, придёшь?

Он кивнул. Лена ушла назад, и через несколько минут Вадим услышал голос Нины Фокиной:

— Ленка, нам прямо! Куда ты?

И голос Лены:

— У меня горло разболелось, девочки. Я у Белова отпросилась и у Левчука. Ужасно за горло боюсь!

Кто-то из девушек сочувственно сказал:

— Да, Лена, ты уж берегись. А то и петь под Новый год не сможешь.

Вадим не оглянулся. Ему вдруг стало так нехорошо на душе, так стыдно, точно он сам сделал что-то скверное. Он шёл ссутулясь, боясь оглянуться, чтобы не увидеть Нину Фокину, Раю, худенькую, с тонкими детскими руками Галю Мамонову, и ребят, которые всё, должно быть, поняли и теперь шёпотом, неслышно для него говорили об этом друг другу. Ему казалось, что все смотрят ему в спину и понимают, почему он не оглядывается.

Строительный участок был расположен на одной из кривых, узких улочек, чудом уцелевших от старой окраины. Лет сорок назад этот район был населён захудалыми дворянскими семьями, мелкими лавочниками, нищим ремесленным людом. При советской власти здесь выросли большие заводы, старые улицы сносились и выпрямлялись, строились новые. Москва расширялась всё дальше на запад — и там, на западе, вырастала новая Москва с кварталами многоэтажных домов, огромными магазинами, скверами, площадями, отдалённая от центра благодаря метро и троллейбусу какими-нибудь десятью минутами езды. И эта часть Москвы, являвшаяся по существу окраиной, никак не была похожа на окраину — скорее можно было назвать окраиной те кривые, узкие улочки, что остались кое-где в тылу новых кварталов, хотя они и были к центру значительно ближе и составляли теперь городское ядро. Москва стремительно разрасталась, перепрыгивая через свои прежние границы, и не только на запад, а во все стороны, и это удивительное смещение окраин наблюдалось повсюду.

С каждым годом менялось в Москве понятие о «хорошем районе». Если пятнадцать лет назад хорошим районом считался, к примеру, Арбат, то десять лет назад не менее хорошим районом стало Ленинградское шоссе, а ещё через пять лет и Можайское шоссе. Большая Полянка и Калужская, а после войны и много других улиц не без основания стали соперничать с Арбатом и называться «хорошим районом». Вся Москва понемногу становилась «хорошим районом». Исчезали окраины оттого, что, по существу, исчезал центр. Да, центр Москвы обозначался теперь только геометрически и символически, определяемый Кремлём и Красной площадью, — ибо все коммунальные и городские блага, которые связывались прежде с понятием «центра»: газ и телефон в кварти-

рах, универсальные магазины, театры, кино, удобный транспорт — всё это становилось теперь достоянием всех двадцати пяти «хороших районов» Москвы.

Улица, на которой происходил воскресник, тоже подлежала исчезновению. На её месте возникала широкая магистраль, и контуры этой магистрали уже отчётливо вырисовывались обломками снесённых домов и заборами строительных площадок, за которыми подымались красно- и белокирпичные этажи новостроек.

Прежде чем залить будущую магистраль бетоном и асфальтом, надо было проложить под ней трубы газопровода. Эти тяжёлые, чёрные трубы уже лежали в траншеях, и работа студентов заключалась в том, чтобы засыпать траншеи землёй. Прораб строительства — худой, коротконогий мужчина в кожаном пальто и резиновых сапогах, очень долго, подробно и вежливо объяснял Левчуку и бригадирам сущность работы. Говорил он хрипавато, тихо, сдерживая голос, и все орудия производства называл уменьшительно:

— Только я вас прошу, товарищи, — хрипел он, покачивая обкуреным пальцем, — как полштычка насыпали — сейчас трамбовочкой. Такое у нас положение, иначе грунт сядет. Ну, пойдёмте, лопаточки разберём!

После того как все студенты вооружились лопатами, прораб указал участки каждой из бригад. На человека приходилось в среднем шесть кубометров земли, которую следовало перекидать с высоких земляных холмов, нарытых вдоль всей траншеи.

— Ну, потягаемся, Дима! — сказал Лагоденко, грозно подмигивая.

Он давно уже скинул шинель и был в одной фуфайке, которая туго обтягивала его плечи и бицепсы, и потому была его любимой одеждой. Лесик всё ещё прыгал по земляным холмам, приглядывая «кадр».

— Начинайте же работать! Юноша в берете, что вы липнете к женщинам? Берите лопату, вы не на пляже! — кричал он сердито. — Внимание — фиксирую начало работы! Строительный пафос!.. Эй, не загоразживайте бригадира!

Вадим прошёл по своему участку, следя, чтобы каждый мог работать в полную силу, не мешая другим. Огромное солнце, заволоченное белым туманным облаком, словно яичный желток в глазунье, уже поднялось высоко, и освещало улицу, дома и людей рассеянным, зимним светом. Был лёгкий мороз. Многие, ещё не успев разогреться, работали в пальто, но постепенно все стали разоблачаться.

Прораб поучал девушек:

— Товарищ, вы неправильно лопаточку держите, — говорил он, осторожно покашливая. — Ближе к железу беритесь, и станьте боком, вот так...

Поплевав на руки, он брал лопату и показывал. Вадиму он уже раз пять напоминал:

— Насчёт трамбовочки прошу... Не забыли? Вот-вот: как полштычка, так сейчас трамбовочкой...

Работа наладилась по всему участку. Комья земли с обеих сторон полетели в траншею, шлёпали друг о дружку, гулко стучали по трубе. Вадим снял ватник и, поплевав на руки, тоже взял лопату. Он с удовольствием почувствовал упругую тяжесть земли, клонившую лопату вниз, её свежий холодный запах и силу своих рук, которые подняли эту тяжесть легко и плавно, как будто без всякого труда. Он стоял, прочно расставив ноги, и долго, без отдыха бросал землю в траншею. Ему нравилась эта работа. И хотелось работать так долго, до крайней усталости. Мысли его понемногу отвлекались от тех движений, которые механиче-

ски делали его руки, и от его бригадирских забот. До сих пор он не мог подавить в себе неприятный осадок, оставшийся после ухода Лены.

Всё это выдумки насчёт горла, концертмейстера и репетиций — ему стало это абсолютно ясно теперь. Надо было не отпускать её или посылать к Левчуку. Как он не догадался! Конечно, надо было послать её к Левчуку... Может быть, никто и не придаёт особого значения тому, что он отпустил её. Может быть, все поверили её словам о больном горле. Может быть и так. Но тот неприятный осадок, который он безуспешно пытался перебороть, возник вовсе не оттого, что кто-то мог плохо подумать о нём или о ней. Нет, не это было главным.

Он сам плохо подумал о ней. В первый раз — так плохо и так отчетливо.

И чтобы уйти от неприятных мыслей о Лене, Вадим решил думать о своём реферате. И сейчас же вспомнил: сколько раз бывал он с Леной вдвоём, и они говорили о чём угодно, но только не о реферате. Иногда он заговаривал о нём произвольно, оттого что думал о своей работе всё время — но сейчас же понимал, что ей это неинтересно. А как-то она сказала: «Вадим, а ты хвастун. Отчего ты всё время заводишь разговор о своём реферате?» И он уже никогда при ней не заводил этого разговора. Надо бы зайти к ней после воскресника, узнать — может, она действительно заболела? А вдруг? Нет, неудобно идти в этом грязном ватнике, с грязным лицом, в сапогах. И потом... так всё-таки можно думать, что она и вправду заболела. Нет, он не пойдет...

Занятый своими мыслями, Вадим не слышал весёлых шуток и говора с разных сторон, неумолкающего смеха, задорной перебранки девушек. Где-то хохотал Лесик:

— Мак, это же газопровод, а не дорогая могила! И песок не сахарный — сыпь, не жалей!

— Отстань!

— Нет, вы посмотрите на редактора! Ой, умора!

Недалеко от Вадима работал Рашид. Делая длинные паузы, во время которых он выпрямлялся и сильным толчком сбрасывал с лопаты землю, Рашид рассказывал Гале:

— Мой дед копал землю. Каждый узбек — землекоп... В семь лет я взял кетмень... Кетмень видала? Э, лопата другая! А кетмень из куска стали делают, в кузнице куют... Надо над головой поднять, высоко, а потом вниз кидать. Он тяжёлый, сам в землю идёт.

— Наверно, очень трудно? Да? — спросила Галя.

— Трудно, конечно. Потом ничего... Мы канал строили, летом... у нас знаешь какое лето? А в степи — вай дод, жара!.. Один час землю бросаем, пять минут перерыв, и так весь день... Как перерыв — падаем на землю, лежим, отдыхаем, тубетейка на глаза... Потом сувчи бежит, мальчик, воду несёт... Ведро с тряпкой, а вода всё равно пыльная, жёлтая и тёплая, как чай... Пьёшь, а на зубах песок, плюёшься.

— Какой ужас!

— Зачем ужас! Ничего, весело. Мы в палатках жили... Гуляли вечером, пели, а степь больша-ая... А сколько там этот... ургумчак называем... Паук такой жёлтый, мохнатый, как заяц прыгает... Паланга! Знаешь?

— Фаланга? Помню что-то, — сказала Галя. — По зоологии проходили.

— Да, он со всей степи набежал, нашу кухню услышал. Мы его где увидим — обязательно догоним, убьём. А потом, знаешь, кончили всё — и вода пошла! Медленно так пошла-пошла, а мы рядом с ней идём, тоже медленно, и всё поём, кричим, не знаем что... А одна де-

вочка — весёлая такая, ох, красивая! — спрыгнула вниз и бежит перед самой водой, танцует. Ох, замечательно танцевала — как Тамара Ханум, лучше!..

Траншея, между тем, постепенно засыпалась. Труб уже не было видно под землёй. Вадим велел двум ребятам взять трамбовки и утоптать первый слой. С соседнего участка доносился бас Лагоденко: он кого-то отчитывал, с кем-то бурно спорил.

Ему, наверно, очень хотелось первому закончить работу. И Вадим понимал, что объяснялось это не только обычным для Лагоденко стремлением быть впереди, но и желанием оправдаться после выговора, выполнить поручение бюро как можно лучше. На деревянном щите, прибитом к дверям двухэтажного дома, появился первый «Боевой листок» — его выпустил Мак. Вадим издали прочитал большую надпись:

«Прошло два часа работы. На участке Белова началась первая трамбовка. Отстаёт бригада Горцева.

Выше темпы, товарищи комсомольцы. К четырём часам вся работа должна быть закончена!»

Вадим разделил свою бригаду на несколько групп, по десять человек в каждой. Лучше других работали группы Андрея и Рашида, хотя обе они состояли в большинстве из девушек. Через час устроили короткий перерыв. Вадим сам чувствовал усталость, но странно — чем больше он уставал, тем легче, веселее ему работалось. Никто не спрашивал его о Лене, и он сам уже не думал о ней. С непривычки у него ломило в спине. Стало жарко. Ему хотелось пить.

В три часа дня бригада Вадима первой закончила свой участок.

— Можете идти по домам, — сказал Левчук.

— Ну как? — спросил Вадим стоявших поблизости ребят.

— Надо бы помочь Горцеву, — сказал Андрей.

— Можно, — кивнул Лесик.

— Обязательно надо помочь! — сказала Марина. — Как же иначе?

Часть бригады Вадима ушла на участок Горцева — все не пошли, чтобы не создавать толчею. Лагоденко заканчивал на полчаса позже. Лесик сфотографировал и его, но сначала он снял Вадима и Левчука, обнимавших друг друга за плечи. Левчук был пониже Вадима, и вдобавок ему трудно было стоять на мягкой земле — они обнимались неловко. Оба держали в руках лопаты.

Лесик сказал, что кадр скучный, надо придумать что-то необычное, найти сюжет, но придумывать было нескгда, и снялись как пришлось.

Вадим спросил у прораба: нет ли ещё какого-нибудь задания для остальных людей его бригады, оставшихся без дела?

— Пройти бы ещё раз трамбовочкой, вот что, — сказал прораб и добавил виновато: — крепче велят, знаете — как можно...

Вадим отправил четырёх человек трамбовать.

— Ну, а для других есть какая работа? На полчаса?

— На полчаса? Так, так, так... сейчас.

Он снял с головы картуз с большим козырьком, быстро почесал затылок и огляделся.

— Конечное дело, работа есть, — сказал он, бодро и глубоко вздыхая. — Сейчас найдём, момент! Так, так, так... Видите, земля навалена? А в аккурат за ней столбик лежит с двумя планочками, его бы к забору оттащить.

Там, где он показал, действительно лежал «столбик с двумя планочками» — массивный железный столб с набитыми на нём рельсами. Десять человек перетасили его к забору.

Был уже пятый час, и начинало смеркаться. Вадиму всё ещё хотелось пить. Он надел ватник и пошёл вверх по улице к ларьку с водой.

С пригорка он оглянулся. Улица была уже другая, непохожая на утреннюю. Глубокий ров, с горами бурой земли по краям, который так безобразил улицу и казался уродливым шрамом, теперь исчез. Бригады Лагоденко и Горцева тоже закончили свои участки, студенты надевали пальто, расходились шумными группами, относили лопаты, держа на плечах по несколько штук. Улица сразу стала необычайно людной, тесной. В наступающих сумерках Вадим не видел лиц своих друзей, но издали узнавал голоса Лесика и Лагоденко, смех Марины, нежный, томный голосок Гали Мамоновой: «Девочки, дайте же зеркало! Я ужасно грязная, наверно?» Голосов было много, они сплетались, перекликались, заглашали один другого, кто-то звал Вадима: «Где Белов? Бело-ов!» — и чей-то женский голос ответил: «Он пить пошёл!»

— Как нехватает? — басил Лагоденко. — Я говорю: все отдал! Мне твоя лопата — как попу гармонь...

— Ну, кто со мной в кино?

— А всё-таки наша первая закончила!

— Да, у вас мужчин больше...

— Ребята, а Лёшка пальто повесил и теперь не достанет! Ха-ха-ха... Землю-то срыли!

Вадиму почудилось вдруг, что он стоит не на московской улице, а в каком-то незнакомом, новом, молодом городе. Окончился рабочий день, и его друзья идут на отдых по домам, в читальни, в кино. Окончился радостный день труда. Разве он не был радостным? Разве не испытали эти люди, и он вместе с ними, настоящую радость от того, что добровольно пришли на стройку и работали честно, до усталости, до седьмого пота в этот холодный декабрьский день? Разве не испытали они самую большую радость — радость дружбы, радость одного порыва и одних стремлений для каждого и для всех? Впрочем, их чувства были гораздо проще, обыкновенней, чем эти мысли, взволновавшие вдруг Вадима...

— Бело-ов!.. Ди-мка-а! — кричал издали сердитый голос Лагоденко.

— Иду-у! — крикнул Вадим, очнувшись, и побежал к ларьку.

Никакой воды не было, и Вадим выпил кружку пива. Женщина в шубе, поверх которой был надет белый торговый халат, спросила улыбаясь:

— С газопровода?

— С газопровода. А что?

— А интересуемся, мы тут в доме восемнадцать живём, — скоро ли пустите?

— Скоро, скоро.

— К Новому году обещались — успеете, или как?

— Думаю, успеем, — сказал Вадим серьёзно, должны успеть.

— Стало быть, под Новый год пироги на газу печь будем? Уж мы заждались, вы знаете! — она засмеялась, глядя на Вадима светлыми, блестящими глазами. Когда он выпил вторую кружку и поставил её на прилавок, женщина в белом халате сказала задумчиво: — Хорошая у вас работа... И, главное, уж очень полезная.

Глава 12

Последнее перед сессией собрание НСО было необычайно многолюдным. Откуда-то о докладе Сергея узнали на других факультетах, пришли студенты с истфака и даже с биофака. За столом возле кафедры сидели Кречетов, преподавательница западной литературы Нина Аркадьевна Беспятова и Козельский, с длинной трубкой в зубах, сияющий

своим альпийским румянцем. Он ничего не записывал и, пощуриваясь от трубочного дыма, всё время смотрел на Сергея, стоявшего за кафедрой.

Сергей читал громким, внятным голосом. Прочитав фразу, казавшуюся ему наиболее удачной или важной, он на секунду останавливался и быстро взглядывал на профессоров: ну, каково?

Реферат был интересный, и, хотя Сергей читал его больше часа, — все слушали со вниманием. Оба оппонента, студенты четвёртого курса, согласились с тем, что Палавин проделал значительную работу и достиг успеха. Несколько критических замечаний сделали Беспятова и Козельский, но, в общем, Палавина все хвалили, поздравляли с настоящей творческой и научной удачей; Козельский сказал, что реферат Палавина выходит из рамок студенческой работы. Одним словом, успех был полный.

Лагоденко прошептал Вадиму на ухо:

— Хороший реферат, честно говорю. Павлин-то твой, а? Скажи пожалуйста...

После обсуждения Сергея окружили студенты. Фёдор Каплин тряс ему руку и повторял возбуждённо:

— Я же говорил! Вы помните, что я говорил про Палавина? Я сразу сказал...

Аспирантка Камкова пела тёмным, носовым голосом:

— Чудесная, чудесная работа! Вы удивительно определили эти три сценических особенности! Очень тонкий анализ!.. Спасибо, настоящее спасибо вам!..

Сергей был подчёркнуто скромн, только кивал и улыбался. Вадим был рад за него.

— А ты всё плакал: «времени нехватает, не могу разорваться!» Видишь — полный триумф.

— Если б ты знал, как я работал, Вадька, как гнал! Ты представь себе ... — оставшись наедине с Вадимом, он уже не сдерживал радостного волнения, говорил быстро и суетливо: — Последние шесть дней я буквально не спал, курил без конца, у меня две пачки выходило на день. Я так измотался...

— Ну, Серёжка, зато не даром!

— Это да... Ведь ты знаешь меня — мне обязательно надо в первый номер попасть! — он рассмеялся, шутливо и укоризненно махнув рукой. — А до этого какую я проделал работу! Рылся в архивах литературного музея, в Бахрушинском, связался с университетом — там один аспирант мне очень помог, у него диссертация о Тургеневе. Понимаешь, мне действительно хотелось провести научную работу! А ты заметил, как Кречетов улыбался, когда я читал? Я два раза взглянул на него, и он оба раза улыбался...

— Ему, по-моему, очень понравился реферат, — сказал Вадим.

— Да, ему понравился. Слушай, а... как ты думаешь, ничего, что я со всеми профессорами за руку поздоровался перед началом? Ничего, да?.. Это не выглядело так: бесцеремонно, немножко демонстративно? Не выглядело, да? Ну, ладно... В общем я, конечно, доволен.

— Ну, ещё бы!

— А ты во второй сборник попадёшь, подумаешь, беда! Никакой разницы нет, всё это чепуха — первый, второй... Важно сделать хорошую работу. Верно? А ты работаешь медленно, основательно, как дом строишь. Я знаю, как же! Помню, ты ещё в школе сочинения на двух тетрадках выдавал. А мы на четыре странички расшибёмся — и пardon! А?

— Дело ж, Серёжка, не в размере.

— А как же? Ясно! Наоборот, я тебе завидую. У тебя всегда этаким груз, солидность, внушительность. А у меня порыв, вдохновение, чёрт его знает! Осенит вдруг, подхватит, и лечу, как с трамплина. Потом переделываю по десять раз.

Вадим, однако, понимал, что Сергей в действительности считает свой «трамплинный» метод признаком таланта и гордится им. Но он только улыбнулся, когда ему пришлось это в голову. Сегодня он всё мог простить Сергею.

— А твой метод, кстати, иногда сказывается, — всё же заметил он добродушно, — когда материала нехватает, идут цветистые фразы, знаешь — пена, пена...

— Пена? — удивлённо переспросил Сергей. — А где? В каком месте?

— Вот, например, где ты говоришь о мировоззрении Тургенева, о кружке Станкевича. У тебя сказано об этом слишком поверхностно, по моему.

— Да? Ну... не знаю, может быть, — Сергей сделал зевающее лицо и, прикрыв ладонью глаза, сжал виски большим и безымянным пальцами, — что-то голова тяжёлая. Устал... А Борис Матвеевич, кстати, этого не заметил. И Кречетов. И вообще никто, кроме тебя, мне этого не говорил. — Он вдруг посмотрел в сторону. — Борис Матвеевич, вот меня обвиняют в том, что я недостаточно обрисовал мировоззрение Тургенева и мало сказал о кружке Станкевича.

Вадим не заметил, как к ним подошёл Козельский. Вынув изо рта трубку, Козельский спросил, впиваясь в Вадима тёмными остренькими зрачками:

— Разве вы не были на чтении, Белов?

— Был, Борис Матвеевич.

— Отчего же вы там молчали? Критиковать в коридоре, с глаза на глаз — это, мой друг, немужественно. И, кажется, не в вашем духе, а?

— Мне реферат в основном нравится...

— Вот именно. А вы, мой друг Белов, последнее время практикуетесь в разрушительной деятельности, позабыв, что ваша главная обязанность всё-таки — создавать, а не разрушать. Где ваш реферат?

— В работе.

— В работе? Полгода в работе? Это что ж — монография в трёх томах? Иван Антонович всё убеждает — подождите с журналом, Белов даёт статью. Сколько прикажете ждать? — Козельский подступал к Вадиму всё ближе.

— А зачем меня ждать? Я никого не просил.

— Не просили? Надо работать, сидеть, записывать лекции! А не втихивать на собраниях, к тому же бездоказательно! Чему вы улыбаетесь?

— Я впервые вижу вас таким разгневанным, профессор...

— Разгневанным? Извольте доказать ваши слова: вы назвали мои лекции безидейными, и даже немарксистскими! — вдруг, побагровев до самых волос, выкрикнул Козельский. — Я знаю, это было на вашем собрании!

Вадим помнил, что слово «немарксистские» он ни разу не употребил в своём выступлении, но это, в сущности, не имело значения. Ему показалось, что Козельский хочет его чем-то запугать и ждёт оправданий: «Нет, я не говорил — немарксистские...» И, сразу насупившись, он сказал со злой решимостью:

— А по-вашему, безидейные — это ещё не значит немарксистские?

— Он не говорил этого, Борис Матвеевич, — вступился Сергей. — Он только говорил...

— Нет, говорил! — упрямо оборвал его Вадим, раздражённый этим заступничеством. — И я не отказываюсь!

— Нет? Не отказываетесь? Молодой человек, позвольте вам заметить — вы ещё неуч, школьник...

— Возможно. Вы хотите, чтобы я доказал свои слова здесь, в коридоре?

— А где мне с вами спорить? Устроить диспут? Журнальную дискуссию? — Козельский нервно засмеялся, но сейчас же сдвинул брови и сказал низким, укоризненным голосом, в тоне возмущенно о педагога: — И вам не стыдно? Ведь ваше поведение просто неприлично!

К ним уже стали подходить люди: Камкова, Федя Каплин, вынырнула откуда-то Воронкова.

— В чём дело, Борис Матвейч? — спросила Камкова, строго глядя на Вадима.

— Так, пустяки, — Козельский повернулся к выходу. — Литературный бой местного значения...

— Вы так думаете? — спросил Вадим воинственно.

Сергей дёрнул его сзади за пиджак.

— Довольно! Ш-ш... — прошептал он. — Чего ты хочешь от старика?

— Ребята, а что? Чего такое? — спросила Воронкова, от любопытства разинув рот.

— Так, ничего...

— С Козельским поругались, да? Что — конспекты требует, или что?

Ей никто не ответил. Сергей, аккуратно связав шнуры на папке с рукописью, молча попрощался с Вадимом и пошёл к двери, Вадим в другую сторону.

У Вадима осталось неприятное тревожное чувство после разговора с Козельским. Оказаться в положении Лагоденко было не особенно привлекательно. К тому же Вадим понимал, что его спор с профессором — ещё только начатый — гораздо крупнее, серьезней, чем стычка Лагоденко с Козельским. Но самым неприятным было ощущение того, что сейчас он вёл себя с Козельским неудачно, глупо-задиристо и несолидно. Что это за выкрик под конец: «Вы так думаете?» Нелепое мальчишество!.. Надо было отвечать спокойно, с достоинством и сказать ему прямо в глаза то самое, что он говорил на собрании. Повторить слово в слово — и basta. И всегда ведь у него так: правильные мысли приходят на пять минут позже, чем нужно.

...Несколько дней назад Вадима вызвали в партбюро факультета. Там уже сидел Левчук. Секретарь факультетского партийного бюро профессор Крылов — молодой, светловолосый, с энергичными блестящими глазами, похожий скорее на заводского инженера, чем на профессора, крепко пожал Вадиму руку. Он знал Вадима хорошо, а Вадим его ещё лучше, потому что уже полгода слушал его лекции по политэкономии.

Крылов спросил у Вадима, как, по его мнению, идёт работа в НСО. Есть ли недостатки, и какие.

— Недостатки... да, есть, конечно. У нас, Фёдор Андреич, нет ещё плана, рефераты пишутся стихийно, когда что придётся. Мало рефератов по советской литературе. Вообще, откровенно говоря, я думал, что НСО — что-то более интересное...

— Так.

— И обсуждения проходят слишком уж академично, формально...

— Слишком тихо? — спросил Крылов, улыбаясь. — Без споров, без столкновений? Это зря, конечно, народ ведь молодой, надо пошуметь, **повоевать.**

— Вы знаете, Фёдор Андрейч, споры бывают, и горячие. Но только после заседаний.

— Ну, хорошо. А чем вы всё это объясняете?

Вадим посмотрел на Левчука, и тот чуть заметно, ободряюще повёл бровью.

— Я объясняю, — сказал Вадим, — во многом тем, что Козельский, по-моему, неподходящая фигура для руководителя общества. Почему бы не заменить его? Например, Кречетовым?

— Ивану Антоновичу тяжело, здоровье у него неважное. Нельзя его нагружать. Нельзя, к сожалению... — Крылов помолчал, задумчиво хмурясь и постукивая пальцами по столу. — А с Козельским, видите ли... В феврале состоится Учёный совет, там у нас с ним будет серьёзный разговор... А вы, Белов, не выступите от студентов третьего курса? Вы, буд-то, грозились на собрании?

— Я могу выступить, — подумав, сказал Вадим.

— Только не в стиле Лагоденко, — добавил Левчук. — А толково, обстоятельно. Как ты говорил тогда: с конспектами его лекций в руках.

... Выйдя снова в коридор, Вадим увидел в окне Козельского, который быстро шёл по двору — голова его казалась ещё выше в высокой чёрной каракулевой шапке в виде усечённого конуса. Рядом с ним длинно вышагивал Сергей, заложив руки за спину.

— И любит же он эту работу! — сказала Рая Волкова, тоже остановившаяся у окна.

— Какую?

— Да вот: пройтись с коллегой-профессором, поговорить о судьбах науки... Верно?

— Нет, — сказал Вадим сухо. — Это не главное. Ты слышала его реферат?

— Нет. А интересный?

— Очень интересный. Иван Антоныч сказал, что это настоящая литературоведческая работа, выходящая за рамки НСО.

День выдачи стипендии не похож на обычные дни. В коридорах шумно по-особому, даже немного празднично. Бегаёт Лесик с записной книжкой в руках и раздаёт долги. Любители библиофилов, и среди них самый заядлый — Федя Каплин, азартно спорят: итти ли по букинистам сейчас же или сначала пообедать? В буфете к четырём часам не осталось ни одного пирожного, ни одной пачки «Казбека».

Вечером этого дня Вадим должен был встретиться с Леной. На следующий день после воскресника Лена пришла в институт, но на лекциях Вадим как-то не успел поговорить с ней, а потом началось заседание НСО. Они условились во вторник вечером пойти в кино. И вот он стоял перед входом в метро «Арбатская» и ждал Лену.

Это было место условленных встреч, вероятно, для всего Арбатского района. На ступенях и в круглом вестибюле у телефонов-автоматов стояли, томилась, нетерпеливо расхаживали, не замечая друг друга, безмолвные мученики свиданий. Был здесь и высокий морской офицер с бронзово-невозмутимым лицом и погасшей трубкой в зубах, и девушка, окаменевшая от горя (он опоздал уже на десять минут!), и румяный молодой человек с коробкой конфет в руках, который всё время улыбался и подмигивал сам себе, и чернобородый мужчина в зелёной артистической шляпке и ботинках на оранжевой подошве, который тигром метался по вестибюлю и, наскакивая на людей, не просил извинения, и ещё много девушек, молодых людей, красивых женщин, с равнодушными,

томными, застенчивыми, тревожными, радостными и глупо счастливыми лицами.

Из крутого, электрически-жёлтого зева подземной станции выплёскивалась через короткие промежутки лава пассажиров. Густая, плотно колыхающаяся, стиснутая мраморными стенами и залитая светом ламп, она выплывала в широкий вестибюль, а затем, через стеклянные двери — на улицу, и быстро редела там, теряясь в толпе прохожих и синем вечернем воздухе. Люди вылавливали друг друга из толпы, радостно окликали, пожимали руки и мгновенно исчезали, точно их сдувало ветром...

— А вот и я!

Вадим обернулся и увидел Лену, улыбающуюся, нарядную, в белой меховой шапочке.

— Ты не узнал меня? — спросила она, смеясь.

— У тебя что-то новое на голове.

— Да, это мне только что сделали. А хорошо?..

В кинотеатре на площади шёл «Третий удар». Этот фильм оба они видели, и решили пойти в «Метрополь», где сразу бывает несколько картин. Они шли по нешумной и малолюдной улице Калинина, с белесыми от редкого снега тротуарами и чёрной лентой асфальта. Здесь было тихо, и хотелось идти медленно и разговаривать вполголоса. Лена рассказывала о своих занятиях с концертмейстером, о том, как она выступала на днях в каком-то Доме культуры, и как её там тепло приняли, а заниматься вокалом сейчас ей трудно и некогда, потому что сессия на носу.

Вадим слушал её молча. Он готовился сегодня к серьёзному разговору. Ему многое надо было выяснить — по крайней мере для себя. Трудно было начать. Вдруг он спросил:

— Как твоё горло — прошло?

— Горло? Ах, горло... Да, прошло. Я вообще ведь очень здоровая.

— Ты вообще быстро поправляешься, да?

— Да, очень быстро. А ты знаешь, когда я болею? Я болею, когда мне хочется немного поболеть. А когда мне не хочется, я никогда не болею.

Она произнесла это с гордостью.

— Лена, — сказал Вадим, — а почему ты пошла в педвуз, а не в консерваторию?

— Ты, Вадим, не понимаешь! А как я могла пойти в консерваторию, когда у меня ещё не было вокальных данных? Это ведь не сразу выясняется. И потом... ты думаешь, легко поступить в консерваторию? Вовсе не так легко. Да мне это и не нужно. Я учусь петь не для того, чтобы делать пение своей профессией.

— А для чего же?

— Для того... — Лена помолчала секунду и проговорила присущим ей тоном назидания: — Женщина, Вадим, должна всё уметь. Должна уметь одеваться, петь, быть красивой — понимаешь?

— Понимаю. Ты, стало быть, готовишься на женщину?

Лена посмотрела на Вадима с безмолвным возмущением и сказала укоризненно:

— Тебе это совсем не идёт, Вадим, этот тон. Не уподобляйся, пожалуйста, своему циничному Петьке.

Вадим чувствовал, что разговор ускользает в сторону, что не он, а Лена начинает управлять им, хотя вопросы задавал он, а она только отвечала. Нет, он спрашивал не о том, о чём надо было спросить и о чём он хотел спросить. Всё это ненужные, приблизительные слова...

А как бесконечно трудно было произнести простую фразу: «Лена, в чём цель твоей жизни?» Трудно и бессмысленно... Нелепо спрашивать об этом. Разве могла она словами рассеять самые мучительные его сомнения?

И вдруг у него вырвалось непроизвольно:

— А в чём твоя цель, Лена?

— Какая цель, Вадик? — спросила она мягко и с удивлением.

— Твоей жизни.

— Что, что? — она вдруг расхохоталась. — Это вроде общественного смотра? Или викторины? Боже, какие громкие слова — «цель жизни!» Мы этим в седьмом классе переболели... Что с тобой, Вадик?

Она смотрела на него с весёлым недоумением, а он, растерянно, нахмурившись, молчал.

— Ну, конечно, правильно, — пробормотал он наконец, точно отвечая на свои мысли. — Глупо об этом спрашивать...

— Конечно глупо, Вадик! — подхватила Лена с воодушевлением. — Просто наивно! Разве я могу сказать в двух словах обо всех своих планах, о будущем? Да я и не ломаю себе голову над этим. С какой стати? Я только начинаю жить... Стоп! Не толкай меня под машину.

Они остановились посреди улицы между встречными потоками автомобилей. Машины шли нескончаемой вереницей, тесно одна за одной. Из шоколадного «зиса» донеслась приглушённая опереточная музыка и голоса дуэта: «...всё прохочит, подругу друг находит...» Наконец, зажётся на перекрёстке светофор, движение остановилось. Вадим и Лена быстро перебежали на тротуар.

— Старые студенты, — продолжала Лена, — в прежнее время вечно о чём-то спорили: о цели жизни, о высшем благе, о народе, о боге, о всякой чепухе. А нам-то зачем заводить эти абстрактные споры? Я такая же комсомолка, как и ты, у нас одна идеология. О чём нам спорить?

— Я, Лена, не собираюсь спорить, — сказал Вадим, помолчав. — На эти темы я не разговариваю, не люблю. Об этом надо помнить и думать. Но иногда... понимаешь... я хочу... — он вздохнул, угнетённый собственным беспомощным бормотанием и смутно раздражённый против Лены, которая должна была видеть и понимать, с какими трудностями он борется и во имя чего. Но она не видела, а если видела, то не понимала. И всё же он продолжал упрямо, отчаянно эту неравную борьбу. — Я хочу сказать, Лена, что есть много... есть такие вещи, которые мы как будто прекрасно понимаем, а потом, в какое-то другое время, вдруг выясняется, что мы понимали их плохо, не всем сердцем. Вот, когда я был на фронте...

— Ох, только пожалуйста без фронтовых воспоминаний! — Лена слабо поморщилась.

— Нет, прости, — сказал Вадим настойчиво. — Я уж доскажу. На фронте много простых вещей я понял совсем по-новому, глубже. И мы иногда говорили с товарищами о нашей будущей жизни, о работе, призвании, о том, что мы любим, о чём мечтаем. Даже о цели жизни говорили... И, знаешь, это были очень естественные и очень простые, искренние слова. Они помогали нам, придавали сил. И вот... почему же сейчас они кажутся такими громкими, такими наивными?

— Потому что тогда была война. Это другое дело, — сказала Лена, которая уже слушала Вадима внимательно, насторожившись. — А вообще, чего ты от меня добиваешься?

— Я ничего не добиваюсь. Просто мне интересно: как ты хочешь жить?

— Почему вдруг такой интерес?

— Мне нужно! — Это вырвалось у него почти грубо.

Лена пожала плечами. Она растерялась.

— Я даже не знаю... Ну, как я хочу жить? Я хочу жить честно, спокойно, ну... счастливо. — Помолчав, она добавила нерешительно: — Участвовать в работе...

— Счастливо — в смысле счастливо выйти замуж?

— Что ж, всякая женщина надеется счастливо выйти замуж, — сказала Лена, сразу делаясь высокомерной. — Знаешь, ты сегодня ужасно скучный и неоригинальный. Даже, прости меня, пошловатый. Хочешь поссориться?

— Нет, — сказал Вадим, качнув головой. — Не хочу.

Ему стало вдруг скучно, почти тоскливо, но не потому, что он отчётливо понял, что желанный разговор не состоялся, а потому, что неудача этого разговора уже была ответом на мучившие его сомнения. Не состоялась что-то большее, чем разговор, и горько, тоскливо было думать об этом...

Возле кино «Метрополь» царил обычное вечернее оживление. В пышном сиянии голубых, малиновых, ослепительно жёлтых огней смотрели с рекламных щитов усталые от электрического света, огромные и плоские лица киноактёров. Они были раскрашены в фантастические цвета: одна половина лица синяя, другая — апельсиново-золотая, зубы почему-то зелёные.

Билетов Вадим не достал, все уже были проданы. Расстроенный, он вернулся к Лене, которая ждала его на улице, в стороне от толпы.

— Видишь! — сказала она торжествующе. — О высоких материях философствуешь, а билет в кино достать не умеешь! Какая у нас сегодня цель? Пойти в кино. И никак не можем.

— Ни одного билета, чёрт знает, безобразие... — пробурчал Вадим, искренне огорчённый. Ему неожиданно захотелось попасть сегодня в кино.

— Ну ничего! Будем гулять — да? А мне тут один юноша предлагал билет. Прямо привязался, какой-то дурак... Вот, без всяких философий, я бы уже цели достигла! — Лена засмеялась, очень довольная. — Хорошо, что ты пришёл, он сразу отлип. Дай, я возьму тебя под руку.

Они поднялись по улице Горького; там было много гуляющих, которые ходили парами и группами, как на бульваре. Все встречные смотрели на Лену, и мужчины и женщины, Вадима как будто никто не замечал. И Лена чувствовала, что привлекает внимание, и шла нарочито медленно, гордо и прямо глядя перед собой.

— Вадим, прошу тебя, перестань курить! — говорила она умоляюще, когда он вынимал папиросу.

— Ты заботишься о моём здоровье?

— Нет, у тебя сегодня ужасные папиросы! Они так пахнут... — и кокетливо спрашивала: — Скажи, а курить вкусно?

Они зашли в сорокапятиминутку «Новости дня» и купили билеты. В маленьком фойе было много людей, ожидавших начала сеанса. Почти все ели мороженое в вафельных стаканчиках. Вадима кто-то окликнул.

Оба они оглянулись и увидели Спартака, подходившего к ним под руку с женой. В свободной руке он держал пакет с мандаринами.

— И Леночка здесь? Грандиозная встреча! — воскликнул Спартак обрадованно. — А у нас праздник! Поздравьте мою супружницу — сегодня защитила проект. Шура, что тебе сказал профессор?

Худенькая темноглазая женщина смущённо улыбнулась.

— Брось, пожалуйста...

— Вы не думайте, что она такая уж скромница! Она только что так хвасталась, так себя расписывала, а теперь, видите, очи потупляет. Ай-яй-яй! Нехорошо, Шура! — балагурил Спартак. — А профессор сказал, что у ней острый аналитический ум. Да, мудрейшая у меня супруга, даже рядом страшно стоять! Паровые турбины — а? Чёрт знает... А так, с виду, ни за что не скажешь.

— Ну, хватит болтать, — строго сказала Шура, румяная от смущения. — Уши вянут.

— Вот и попало! Готово дело! — Спартак рассмеялся, подмигивая Вадиму. — Да, брат, сложная штука... Девушки, вы кушайте мандарины, а мы пойдём с Вадимом покурить.

В курительной комнате он заговорил совершенно иным, деловым тоном. Он сказал, что сегодня звонили из заводского комитета комсомола, приглашали прийти завтра, часам к трём. Значит, надо ехать сразу после лекций.

— И в цехи ходите, посмотрите работу, но помните: это вам не турнэ, не экскурсия. Надо с Кузнецовым всё обговорить, обстоятельно, серьёзно. Много обещать не надо, но и бояться работы тоже не следует. Я на тебя надеюсь, смотри! Такое дело никак нельзя провалить.

Неожиданно он спросил:

— Она тебе нравится?

— Кто?

— Леночка.

Вадим кивнул и, скосив глаза на кончик папиросы, стал раздвигать её старательно.

— Она приятная, — сказал Спартак, помолчав. — Красивая.

Вадим и Лена сидели в задних рядах. Спартак ушёл вперёд — у него было слабое зрение. Лена сняла шапочку с головы, пепельные волосы её пышно рассыпались по плечам, и сразу обнял Вадима томительный, тонкий запах её духов. Короткую тёмную паузу перед сеансом в зале ещё двигались, спотыкались впотьмах, трещали стульями...

— Она объясняла мне свою турбину, — сказала Лена.

— Интересно?

— Ты думаешь, я что-нибудь поняла? — Лена зевнула, прикрыв ладошкой рот. — Боже, как скучно... Ходить с мужем в «Новости дня» и оживлённо беседовать о паровых турбинах и членских взносах. И жевать мороженые мандарины.

...Прямо в зал, сверкая стальной грудью, влетает паровоз. Платформы, платформы, платформы — и на всех лес, огромные, запорошённые снегом брёвна. Вот их распиливают в лесу. Вот — валят сосны. Скуластая, с тёмным загаром на лице, девушка подносит к комлю электрическую пилу — вертушка сосны медленно покачивается, клонится всё ниже и падает, вздымая облако снежной пыли. Девушка застенчиво улыбается, моргая белыми ресницами.

И вдруг она — скуластая, с тёмным загаром на лице, скачет на коне по солнечной пыльной дороге. На ней остроконечная шапка, узорные шаровары. Вот она обгоняет отару овец и, встав на стремянах, кричит что-то, блестя зубами. Размашистая чёрная тень бежит за лошадьёю по земле. А небо над степью знойное и белое, в неразличимых облаках.

Какой там, наверное, ветер! Пахнет травами, овечьей шерстью, землёй... И далёкие горы — они так близко, за ними прячется солнце.

— А на что они живут, ты не знаешь? — шёпотом спросила Лена. Вадим сразу не сообразив, о чём она спрашивает, он ответил:

— Не знаю.

— Вдвоём на стипендию? Удивляюсь...

После сеанса он сказал Лене, что идёт завтра с ребятами на завод.

— Может быть, и ты пойдёшь с нами?

— Может быть. А что там?

Он рассказал.

— Ах, вот что! На заводе-то я бывала. У меня же отец главный инженер. Но... нет, завтра я не могу. У меня на завтра что-то было намечено.

— Лена, знаешь что? — сказал Вадим порывисто и с неожиданной силой. — Если ты не можешь завтра, хочешь пойдём в другой день? Я поговорю с Галустяном. Хочешь?

— Да нет, подожди... — Лена махнула рукой и, сосредоточенно закусив губы, остановилась. — Что же у меня было на завтра?.. Ах, да! Завтра же именины моей школьной подруги, я приглашена. И ты, Вадим, и ты! — добавила она радостно. — Я о тебе рассказывала, и ты приглашён заочно. Я сказала, что приду с тобой. Ведь чуть не забыла!

— Лена, но я же не могу завтра!

— Как не можешь? — удивилась Лена. — Я обещала, там все знают, что я приду не одна. И почему ты не можешь? На завод можно и в другой день, а именины бывают только раз в году! Вадик, ну я прошу тебя! — она ласково взяла его за руку. — Ну, что я буду там делать без тебя? Я тебя прошу, слышишь?

Секунду он колебался, глядя в её глаза, широко раскрытые от обиды. Ему было неприятно, больно видеть её обиженной.

— Лена, но я обещал, — сказал он уже нетвёрдым голосом. — Пойми...

— Я тебя не упрашиваю! Не хочешь — не надо.

Лёгкая ладонь, лежавшая на его кожаном кулаке, прыгнула и резко его оттолкнула.

— Пожалуйста. Только не строй из себя энтузиаста. И не провожай меня.

— Глупости, я провожу.

— Нет, — сказала она, надменно подняв лицо. — На сегодня достаточно. Иди спокойно домой, всего хорошего.

Она быстро пошла по тротуару, высокая, в длинном волнующемся пальто с меховой оторочкой внизу.

Глава 13

В институте готовились к новогоднему гечеру. Каждый день после лекций в малом клубном зале шли репетиции «капустника». Проходя мимо дверей клуба, Вадим слышал женское пение, гром рояля, шарканье ног, чьи-то прыжки под музыку и мгновенно водворяющий тишину, металлический, «руководящий» голос Сергея:

— Довольно! Я повторяю: всем вместе и тише! Ну?.. Давайте сначала!

Вновь гремел рояль, нестройно начиналось пение. Потом его перебивали голоса, смех, кто-то стучал ладонью по столу.

— Тише, ребята! Надо же серьёзно!..

На завод выбрались поздно: сначала долго ждали Нину Фокину с занятий, потом Лагоденко, который вздумал вдруг гладить брюки. «Разве я могу с таким рубцом в гости ехать?..»

По дороге Вадим спросил у Лагоденко.

— Как твоя тяжба с Козельским?

— Что? Ах, это... Давно уж выковырял из зубов.

— Ты сдал ему?
 — Ему — нет. Я Ивану Антонычу сдал. Хватит с меня Козельского.
 — Ну, а насчёт Севастополя как?
 — Что, что? — Лагоденко удивлённо посмотрел на Вадима и, вдруг вспомнив, нахмурился. — А! Пока не знаю ещё... Может быть, и уеду.
 — Чудак ты! — рассмеялся Вадим невольно. — И упорный чудак! Хоть бы раз в жизни сказал: «Ну, неправ был, сболтнул зря...»
 — Это верно. Характер у меня неудобный, — легко согласился Лагоденко. — Так тебя ж, Дима, воспитывали где? Дома. А меня где? На улице.

Завод находился в другом конце города. Надо было ехать на троллейбусе и потом на метро. Когда они уже сели в троллейбус, их неожиданно догнал Сергей. Пробившись сквозь зароптавшую очередь, он прыгнул в вагон на ходу и уцепился за Вадимовы плечи.

— Ну нет, без меня не уедете! — крикнул он, толкая Вадима кулаком. — Гражданин, что вы повисли, как мешок? Расставил тут спину, а сзади люди падают...

В троллейбусе возбуждённым голосом он объявил:

— Мне необходимо на завод. Хорошо, Спартак встретил, он сказал, что вы только-только ушли...

В последние дни Сергей повсюду очень бурно расхваливал решение бюро в связи с заводом и с нетерпением ждал первой поездки. Он уговаривал Спартак включить его в состав делегации.

Теперь Сергей громко шутил в вагоне, как у себя в комнате, рассказывал отдельные смешные места из «капустника» и тут же прикладывал палец к губам: «Тсс! Не имею права разглашать». Весёлое его появление всех оживило, даже постороннюю публику, один только Лагоденко сразу насупился и умолк на всю дорогу.

— Адмирал-то надулся, а? — шепнул Сергей Вадиму. — Я ему всегда — как эта самая... магнитная мина. Беда!

— Только вот что, ребята, — строго сказала Нина Фокина, когда они вышли из метро. — По дороге мы могли балагурить и валять дурака, а на заводе надо держаться солидно. Надо помнить...

— Что мы представители, — перебил её Сергей, — олицетворение, так сказать, и авангард...

— Серёжа, я не шучу.

— Нинон, всё будет прекрасно! Ведь я с тобой. Опирайся на меня, как на глыбу. Я буду говорить с ними только о производственных проблемах.

— Прекрати, Сергей, — сказал Вадим, нахмурился. — Ты действительно что-то...

— Да бросьте вы! — вдруг сердито отмахнулся Сергей. — Вздумали меня серьёзно поучить! Да я лучше вас всех знаю завод и заводских ребят. Слава богу, перебивал, перевидал!..

Комитет комсомола помещался на третьем этаже большого кирпичного здания в глубине двора. Здесь же, во дворе, был гараж. Несколько машин стояло под открытым небом. Около одной из них возились два механика в комбинезонах. Один лежал под кузовом, раскинув ноги, другой сидел на корточках. Заметив Андрея Сырых, он встал и приветственно помахал ключом.

Андрей кивнул в ответ. Пройдя несколько шагов, он пробормотал Вадиму, взволнованно усмехаясь:

— Помнят ещё... Это Женька Кошелев, слесарь гаража. Баянист.

В комитете комсомола их встретил очень высокий, плотный, накоротко остриженный юноша — секретарь комитета Кузнецов. Он улыбался доброжелательно и спокойно, без всякого смущения, и крепко пожал всем руки, а Андрею дружески подмигнул. В комитете был ещё смуглый паренёк с чёрными, строгими глазами — на руке у него, прямо на манжете гимнастёрки были надеты большие «зимовские» часы, а из нагрудного карманчика торчал хоботок штангенциркуля.

— Шинкарёв, Глеб, — твёрдым баском назвал себя паренёк.

— Член комитета. Производственный сектор, — сказал Кузнецов. — Кстати, он наш лучший резьбошлифовщик. О нём недавно в «Комсомольской правде» писали.

— Да, я читал про вас, — сказал Сергей. — Это несколько дней назад? Забыл, как называется статья. Читал, одним словом.

— Вот. Дни у нас теперь горячие... Видите плакат? — Кузнецов указал в окно с видом на заводской двор. На стене противоположного корпуса висело длинное полотнище: «Товарищи рабочие, инженеры и техники! Дело нашей чести выполнить годовой план к 20-му декабря!»

— Сегодня, как вы знаете, восемнадцатое. Главный инженер с ночи из сборочного не выходил. Мне вот тоже...

Зазвенел телефон. Кузнецов снял трубку и сказал, прикрыв её ладонью:

— Вы садитесь пока, товарищи. Сейчас мы с вами пойдём на территорию. — Он прижал телефонную трубку плечом. — Да? Откуда?.. Кузнецов... Какие списки?.. Я же вам подавал в начале месяца... Да... Всего в школах рабочей молодёжи сто двадцать человек... Да, да... Ладно, завтра пришло.

— Ты покажи ребятам комсомольскую газету, — сказал Андрей, когда Кузнецов повесил трубку.

— А мы её теперь на территории вешаем. Нет, пусть сначала пройдут по заводу, посмотрят, им же интересно...

Опять раздался звонок.

— Кузнецов слушает. Здравствуй, Пётр Савельевич... Нет, ничего не говорил... Ну... Сколько тебе, двух человек? Ладно, вечером на партбюро... Нет, сейчас не могу... Я ими не распоряжаюсь, всё! Вечером, да! — Он бросил трубку. — Идёмте, товарищи.

Схватив кепку с вешалки, он стал так торопливо надевать своё кожаное пальто, словно боялся, что вот-вот ещё кто-нибудь позвонит. И действительно, когда все уже вышли в коридор и Кузнецов запер дверь на ключ, из комнаты донёсся приглушённый звонок.

— Вот чёрт... — искренне огорчился Кузнецов. — Ну ладно, я вас догоню!

— Деятьель-то, видно, начинающий, — тихо сказал Сергей. — На каждый телефонный звонок бегают.

— Нет, он уже второй год секретарём, — сказал Андрей. — А я ещё помню, как он из ремесленного пришёл. Слесарем работал у нас в инструментальном. — Андрей усмехнулся. — Он и вырос-то здесь, на заводе. Когда пришёл, помню, по плечо мне был, а сейчас, верно, я ему по плечо...

Завод поразил Вадима прежде всего внешним своим обликом. Корпуса, трубы, всевозможные постройки, пристройки и надстройки из кирпича, металла и дерева — всё это было слито друг с другом, связано невидимой, но могучей и нерасторжимой связью. И даже маленькие скверики между корпусами — клочки мёрзлой земли, обнесённые аккуратной изгородью из белых дюралевых труб — казались звеньями этой единой цепи, важными и необходимыми в общем деле.

Торопливо и деловито, похожие этой деловитостью один на другого, пробежали по двору из цеха в цех люди. Первый цех, куда зашёл Кузнецов, был инструментальный.

— Здесь-то я и работал, — сказал Андрей, когда они поднимались на второй этаж, — я тут каждую гайку знаю.

Они вышли в коридор, одна стена которого была стеклянной, с окошечками, какие бывают в почтовых отделениях.

— Это ЦИС, — объяснил Андрей. — Центральный инструментальный склад. Интересно, работает ли здесь ещё Михаил Терентьевич? Вот был дотошный старик, завскладом...

Он подошёл к одному из окошек, чуть приоткрыл его и громко сказал:

— Папаша, дай, пожалуйста, пилу драчёвую триста миллиметров. Начальника вашего нет, я тебе потом требование оформлю...

Из глубины помещения отозвался ворчливый стариковский голос:

— Папаш здесь нету! Папаша дома остался, на печи! А без требований мы не отпускаем. Тебе пилу, ему пилу, и каждому наслово, это что же...

— Да принесу я требование... — сдерживая смех, сказал Андрей.

Прислонившись к стене плечом, он с удовольствием слушал бормотанье старика, который, распаяясь всё больше, подходил к окошку. Вдруг, всунув в окошко голову, Андрей крикнул:

— Привет Михал Терентьичу!

Из-за стеклянной перегородки растерянно ответили:

— Андрюша!..

— Я, Михал Терентьич! Хотел узнать — здесь ли вы, — сказал Андрей, смеясь, — помню: «папаш» не любите, без требований гоняете! Сейчас забегу к вам... Ребята, идите, я вас в цехе найду!

Ещё на первом этаже, когда поднимались по лестнице, слышно было тяжёлое гуденье работающего цеха. В коридоре шум этот усилился; стеклянная стена ЦИС'а непрерывно позванивала. В самом цехе на Вадима обрушился водопад металлических шумов.

Огромное помещение, ярко залитое электричеством, было почти сплошь уставлено станками. В первое мгновение Вадиму показалось, что и людей-то здесь нет, а одни машины. Люди были безмолвны, двигались бесшумно, и потому терялись в этом море гремящего металла. Приглядевшись, Вадим заметил рабочих у станков и в дальнем конце цеха множество людей, стоявших близко друг к другу — это были слесари, работавшие за длинными верстаками.

— Инструментальный цех, — кричал Кузнецов, стараясь, чтобы его слышали все. — Изготавливает инструмент! штампы! шаблоны!.. всё, что заказывают цеха!

Между двумя колоннами посредине цеха был натянут лозунг: «Инструментальщики! Сдадим оснастку для цеха 5 точно в срок!»

— Пятый цех мы переводим на поток! — кричал Кузнецов. — А вся оснастка здесь делается!.. Здесь работает наша лучшая... комсомольская бригада... токарей.

В бригаде было три парня и две девушки. На всех пяти станках развешались маленькие красные флажки. Бригадир Николай Шаров — долговязый, чубатый юноша — увидел Кузнецова, кивнул ему и сейчас же вновь нагнулся к станку. Сергей подошёл к нему. Став поодаль, чтобы его не задела стружка из-под резца и брызги эмульсии, он громко спросил у токаря:

— А где вы живёте?

Тот, взглянув удивлённо, ответил:

— Я? На Палихе.

— А у вас есть общежитие для молодых рабочих? — спросил Сергей, вынув свою записную книжку и подступая ближе. — Может быть, из ваших приятелей кто-нибудь живёт в общежитии?

— Есть ребята. Живут.

— Ну и как? Довольны? Как вообще они проводят досуг?

— Ну, там есть такая комната отдыха, вроде клуба... — ответил Шаров, не поднимая головы от станка.

— Ага, вроде клуба... И что же — там бывают танцы какие-нибудь, есть радиоло? Интересно, а в комнатах чисто?

Сергей довольно долго, тем же напористым и деловым тоном расспрашивал токаря, что-то записывал в книжечку, а Шаров отвечал коротко, не желая терять и полминуты рабочего времени. У Сергея был вид необыкновенно серьёзный и озабоченный.

— Что это ты вдруг заинтересовался радиолой? — спросил Вадим, когда «интервью», наконец, закончилось.

— Мне нужно, — быстро сказал Сергей, пряча книжечку в карман. — Двигаем дальше?

Но двинуться дальше им удалось не сразу. В этом цехе, кажется, все были друзья и знакомые Андрея. Одни здоровались с ним издалека, другие подходили и радостно трясли руку. Андрей не успевал отвечать на все рукопожатия и приветствия, не успевал знакомить старых друзей с новыми. Вадим никогда не видел Андрея таким радостно возбуждённым и общительным.

Подошёл и начальник цеха — коренастый, с выбритой седой головой и очень широкими покатыми плечами. У него было молодое загорелое лицо и суровые, устало покрасневшие веки. Оглядев всех и выбрав почему-то Лагоденко, он спросил у него с шутливой строгостью:

— А скажите, молодой человек, как у вас Сырых учится?

— Хорошо учится, — ответил Лагоденко. — Не жалуемся, товарищ начальник.

— Он у нас кандидат на персональную стипендию, — добавил Сергей.

Андрей посмотрел на него удивлённо:

— Ты что?

— Точно, точно, Андрюша! Не смущайся.

— Это подходяще. — Начальник цеха улыбнулся и подмигнул Андрею красным глазом. — Будь иначе, я бы его обратно у вас забрал. Пошёл бы, Сырых, обратно на производство?

— Пошёл бы, Николай Егорович, — сказал Андрей, тоже улыбаясь. — Да вы меня не возьмёте — заучился, всё забыл...

— Скажите, Николай Егорович, — решительно и деловито вступил в этот шутливый разговор Сергей. — Имеются у вас рабочие, которые пришли в ваш цех из конторы, заводууправления? Необученные новички?

— Именно в моём цехе? Нет, у меня таких нет.

— Ну хорошо, а в других цехах? Какую работу обычно предпочитают такие люди?

Сергей уже вынул свою записную книжку и приготовил перо. Начальник цеха озадаченно пожал плечами.

— Сказать трудно... На разную идут работу.

— А вот интересно: существует ли между слесарями и, допустим, токарями что-то вроде соперничества? Ну, вроде чеховского: «плотник против столяра»?

Лагоденко, взяв Сергея за локоть, сказал негромко:

— Слушай, брось... Не задерживай человека. Тебе на эти штуки Кузнецов ответит.

— Да, конечно, товарищ, конечно! — с готовностью закивал Кузнецов. — Пойдёмте в комитет и обо всём поговорим.

Вадиму почему-то неприятно было это навязчивое любопытство Сергея, его толстая записная книжка, его самоуверенный и развязный тон, каким он одинаково легко говорил со всеми, кто попадался на пути.

Улучив минуту, когда никто не мог его слышать, Вадим сказал Сергею тихо и раздражённо:

— Что ты строишь из себя корреспондента агентства Рейтер?

— Что-о? — изумился Сергей. — Какого корреспондента? Знаешь, не учи меня!

— Как ты сам не понимаешь? Неловко же, — пробормотал Вадим.

— Я повторяю, — проговорил Сергей резко и гнусаво, своим «особым» голосом. — Не учи меня правилам хорошего тона! Я делаю то, что считаю нужным.

Кузнецов и Андрей обернулись на этот голос, и Вадим, ничего больше не сказав, отошёл от Сергея.

И в комитете комсомола, где начался разговор о литературном кружке, о лекциях, которые студенты собирались прочесть для заводской молодёжи, — и там Сергей продолжал назойливо, перебивая всех, засыпать Кузнецова вопросами, многие из которых вовсе не относились к делу. Кузнецов, человек обязательный и деликатный, отвечал на эти вопросы старательно, подробно. Сергей всё записывал.

Андрей наконец не выдержал и сказал Сергею мягко:

— Серёжа, всё-таки мы не можем сидеть здесь до ночи. Давай сперва наши дела решим, а потом будешь спрашивать то, что тебе интересно.

— Пожалуйста! Разве я мешаю? Давайте решать, давайте!

— Мы сейчас вот что: пойдём в заводууправление, — сказал Кузнецов. — Посоветуемся с нашим парторгом. Он нам, я думаю, кое-что подскажет. Я с ним о вас уже говорил.

В это время Кузнецову позвонили из инструментального цеха, сообщили, что бригада Шарова закончила всю токарную работу для цеха 5 на неделю раньше срока. Начальник цеха просил дать срочную «молнию».

Но оказалось, что художник заболел, и «молнию» писать некому. Кузнецов принялся звонить по разным телефонам, кого-то просил, спорил, доказывал — всё безуспешно. И тогда Вадим сказал:

— А давайте я напишу?

— Конечно, дай ему! — живо подхватил Сергей, который уже перешёл с Кузнецовым на «ты». — Он тебе лучше любого художника напишет. Ему это раз плюнуть.

— Серьёзно? — обрадовался Кузнецов. — Тогда напишите, если это нетрудно. Понимаете, надо сейчас вывесить, пока первая смена не ушла.

И вот Вадим остался один в комнате с большим белым листом бумаги, разостланным прямо на полу. В глубине души Вадим признался себе, что ему даже не очень-то и хотелось идти в партком в одной компании с Сергеем. Он всё время чувствовал раздражающую неловкость от его поведения, навязчивых разговоров, и это чувство неловкости всё росло, становясь попросту невыносимым. «Нет уж, — подумал Вадим, — больше я с ним ни за какие коврижки вместе не пойду. Лагоденко-то прав был...»

Он снял пиджак, разложил на полу газету, лёг на неё и обмакнул кисточку в красную тушь. Он сразу почувствовал себя легко и привычно за этим делом, которым он так часто занимался в последние пятнадцать лет — вероятно, со второго класса. Опять он художник-оформитель, старательный и безотказный, но всего-навсего оформитель... Ребята сидят сейчас в парткоме, советуются, спорят, составляют разные планы и принимают решения, а он лежит на полу и рисует буквы. Сейчас, например, он занят тем, чтобы уместить три буквы «ТСЯ» на одной строчке. Вадим усмехнулся: «Ну и что ж, зато я уже что-то делаю, а они всё разговаривают. И Серёжка, наверно, больше всех...»

Кузнецов просил Вадима позвонить в цех, как только «молния» будет готова. Вадим позвонил — сказали, что сейчас пришлют человека. Он перетасил «молнию» к батарее, чтобы она быстрее сохла. В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Вадим.

Вошла молоденькая девушка, держа в руках листок бумаги.

— Товарища Кузнецова нет?

— Нет.

Девушка взглянула на сохнущую «молнию» и радостно сказала:

— А мне как раз вы нужны, а не Кузнецов! Мне сказали, что вы в редакции, но там заперто. Дело в следующем: вы Гуськова знаете? Это наш парторг. Так вот, он просил вас срочно сделать следующую карикатуру. Имейте в виду: срочно! — она говорила и всё время хмурила тоненькие чёрные брови, стараясь быть, очевидно, как можно серьёзной. — У нас положение катастрофическое. Восьмой цех с утра не даёт нам прокладки. У них стал один штамп, и вот они взяты целый день, а мы стоим. Три бригады стоят! Это возмутительно! Вот текст «молнии».

На обрывке тетрадного листа было написано:

Позор Ференчуку! Неподачей прокладки в цех 12 вы ставите под угрозу выполнение заводом взятых обязательств!

Из-за вашей халатности остановился конвейер цеха 12.

Коллектив завода требует от вас срочно выправить положение!

— Кто этот Ференчук? — спросил Вадим.

— Вы не знаете? Он ужасный! Это начальник заготовительного цеха. Из-за него у нас всегда неприятности. А карикатуру вы сделайте в красках, вроде вашей последней. Она мне очень понравилась.

— Это какая? — спросил Вадим, улыбнувшись.

— А вот насчет АХО. Лебедь, рак и щука.

— А!

— Вот такую. И надо сейчас же начинать, чтобы вторая смена увидела. А вы, оказывается, совсем молодой! — сказала она неожиданно. — Мне говорили, что вы пожилой и очень худой.

— Я поправился, — сказал Вадим, — за последние дни.

— А я, наоборот, похудела, — сказала девушка, засмеявшись. — Всё из-за этой проклятки, тьфу — прокладки! Такие переживания! Я ведь диспетчер цеха. К вам я мимоходом, меня Гуськов попросил. Знаете что — идёте сейчас в заготовительный цех?

— Зачем?

— Я вам покажу этого Ференчука. Вы же будете делать дружеский шарж?

— Дружеский, безусловно.

— Так надо, чтобы он получился похож. Конечно! — заговорила она горячо. — Он должен быть, как две капли воды! Он же самолюбивый,

и пусть почувствует. Насчёт АХО у вас удачная карикатура — но ведь они никто не похожи! Я их только и узнала, потому что вы написали фамилии на хвостах. Разве, например, Илья Маркович похож на вашего лебеда? А Сперанская — на рака?

— Да, но... я же их дал символически, — неуверенно проговорил Вадим.

— Всё равно! Должно быть похоже. Даже глупо спорить. Ну идёмте!

— Сейчас должны прийти за «молнией», — сказал Вадим. — И потом, как мы оставим комитет? Кузнецов ушёл в партком.

— Берите «молнию», — сказала девушка повелительно. — Мы отдадим её прямо в цех. А ключ от комитета оставим в завкоме.

Заготовительный цех находился в самом дальнем конце заводской территории. Вадим долго шёл по двору рядом с Мусей — так звали девушку, — которая говорила почти без умолку. От злополучной прокладки разговор легко перекинулся к последним кинофильмам. Старые немецкие картины, появившиеся в эти дни на городских экранах, возмущали Мусю не меньше, чем поведение «этого Ференчука». Лучше уж скушать порцию пломбира за два девяносто, чем смотреть эту стряпню.

Наконец, они вошли в широкие ворота одного из корпусов.

— Это заготовительный? — спросил Вадим.

Муся посмотрела на него удивлённо.

— Какой же это заготовительный? Это третий механический. Видите, вы мало бываете на территории. Значит, вы не болеете за производство. Вам бы только нарисовать и получить деньги, да? Нехорошо это, такой молодой и уже обюрократились.

Вадим пробормотал, что теперь он постарается бывать на территории чаще.

Они прошли весь цех, миновали какой-то пустой коридор и очутились в большом и длинном помещении, где стоял дробный грохот от множества работавших здесь штамповочных прессов. Возле одной стены лежала груда труб различного диаметра, они все были чёрные, блестящие и остро пахли смазкой. Горами вдоль стен лежали стальные кольца, болванки, голубоватые дюралевые листы.

По тому презрительному выражению, которое появилось вдруг на Мусином лице, Вадим понял, что они пришли, наконец, в заготовительный цех.

— А где этот Ференчук? — спросил он.

— Сейчас увидите.

На маленькой комнатке с фанерными стенами было написано: «Начальник цеха». Муся толкнула дверь и вошла, следом за ней Вадим. Ференчук сидел за столом и что-то писал. Это был мужчина средних лет, очень лобастый, очень курносый, в выцветшем кителе, из-под которого виднелся дешёвый бумажный свитер.

— Товарищ Ференчук, я снова к вам, — произнесла Муся сухим, диспетчерским тоном. — Когда вы даёте прокладку?

Ференчук поднял на Мусю серые, безразличные от утомления глаза. Потёр широкой рукой лоб и сказал:

— Барышня, не надо брать меня за горло. Раньше утра я вам прокладку не дам. Я уже Потапову сказал! Штмп чинится. Вы понимаете? Ночью не дам, а утром дам, — голос у него был тихий и внятный, как будто он разъяснял что-то очень простое бестолковому человеку или ребёнку.

— А почему вы во-время не ремонтировали второй штамп? Вы же сорвали...

— Не надо брать меня за горло, — устало повторил Ференчук и покачал головой.

— Нет, надо! — гневно сказала Муся. — Вот именно — надо! Пейте теперь на себя.

Выйдя вместе с Вадимом из фанерной комнаты, Муся спросила:

— Схватили?

— Что схватил?

— Его черты? Ну лицо!

— Примерно схватил...

— Тогда сейчас же идите и делайте. Значит, так: куча прокладок — это такие тонкие колечки, Ференчук сидит на куче и считает ворон. Несколько ворон нарисуйте. Я думаю, неплохо получится, а?

— Да. Можно и так.

— Только скорее! Полчаса до смены. За пятнадцать минут сделаете?

— Буду стараться.

— Старайтесь. Вы даже не представляете, как это важно!

В комитете комсомола всё ещё никого не было. Вадим устроился на полу, быстро написал текст, а через десять минут кончил и карикатуру. То, что он сделал, ему не понравилось. По-настоящему похожи были только вороны. Ференчук, сидевший в неестественной позе на куче прокладок, получился очень толстый, обрюзглый, и был похож на американского магната-капиталиста, каким его рисуют в «Крокодиле». Кроме того, Вадим забыл, какие у Ференчука волосы, да и есть ли они вообще. Поэтому он набросал вокруг голого черепа несколько туманных штрихов, которые могли быть и волосами, и одновременно казаться игрою света и тени.

Разовый пропуск, который выписал Вадиму и остальным студентам Кузнецов, позволяя проходить на территорию в течение всего дня. Вадим вновь пошёл на завод. Он уже хорошо ориентировался и быстро нашёл цех 12. Муся вышла ему навстречу вместе с Гуськовым, худощавым светловолосым молодым человеком в чистой спецовке, вероятно мастером.

— Ой, как здорово! — воскликнула Муся, развернув «молнию». — Вылитый Ференчук! И нос, и лоб — ну всё, всё! Верно, Андрей Кузьмич?

— Да, — кивнул Гуськов. — Есть общее.

«Молнию» повесили во дворе, на самом видном месте. Уже многие рабочие первой смены шли к проходной. Они группами останавливались перед «молнией», читали вслух, громко и одобрительно смеялись. Вадим стоял чуть поодаль, испытывая гордое удовлетворение при виде успеха своей работы. Когда он уже повернулся, чтобы итти к проходной, к нему вдруг подбежала Муся.

— Подождите минутку, — шепнула она, схватив Вадима за рукав, — Ференчук идёт! Интересно, что он скажет.

Ференчук, в стёганой телогрейке и фуражке защитного цвета, подошёл к «молнии», долго и молча стоял перед ней, потом оглянулся.

— Твоя работа? — спросил он, найдя глазами Гуськова.

— Зачем моя? Это вот его работа, художника, — сказал Гуськов, улыбаясь, и кивнул на Вадима.

— Это что ж такое? — вдруг громко и протяжно спросил Ференчук. Лицо его потемнело. — Что это за «позор Ференчуку»? Какой позор? Позо-ор? — повторил он свирепо. — Да вы отдаёте себе полный отчёт...

— Ты не бурли тут, а знай дело делай, — спокойно сказал Гуськов. — Проворонил штамп, тебя и критикуют. Ты, товарищ милый, критику неправильно воспринимаешь.

— Это которую критику? Которую тут на стенке повесили? — Ференчук решил вдруг, что выгодней всего излить свой гнев на художнике, и

повернулся к Вадиму: — Вы тут в галстучке расхаживаете, карандаш за ухом, а люди вторые сутки ватника не сьмают, дома не ночуют! Вам что, тяп-ляп — и намалевал! Тоже труженики! Один при завкоме кормится, теперь другого какого-то нашли! Карикатурщики, дух из вас вон... — Ференчук запахнул телогрейку и быстро пошёл прочь.

Гуськов довольно рассмеялся.

— Заело! Ох, и зол мужик... Ему сегодня уже главный всыпал по первое число.

— Ничего! Злой быстрее ходит, — сказал кто-то из рабочих.

— Точно, — подтвердил другой. — Расшибётся — а штамп наладит. Там делов-то: одна матрица...

— Строгалея живыми съест, а наладит, — сказал третий убеждённо. — К обеду наладит, поглядишь.

Возле «молнии» останавливались рабочие второй смены. Они шли всё гуще и всё быстрее, и дверь проходной уже не хлопала, а беспрерывно визжала, пропуская нескончаемый поток людей.

Комитет комсомола был заперт. В завкоме Вадиму сообщили, что Кузнецов на партбюро, а студенты давно ушли. Вадим вышел на улицу.

По переулку бежали, торопливо докуривая на бегу, последние рабочие новой смены. Завод уже был далеко позади, но всё ещё слышалось его неспешное, глухое гудение, а в чёрном небе над заводом колыхалось серое, казавшееся бесформенным в темноте, облако дыма. Красные искорки вылетали из трубы, вероятно, котельной, и, вертясь, рассыпались в воздухе. Их было множество, они появлялись и исчезали каждую минуту. Шёл снег, но пахло не снегом, а бензином. Днём тут стояли машины, забравшие готовую продукцию.

Казалось странным, что переулочек был так тих и пустынен, а где-то совсем рядом, за стеной, кропотливо трудятся собранные в одно место тысячи людей. Другим это казалось бы странным, но Вадим не удивлялся. У него было такое чувство, радостное и спокойное, точно он давно знал этих людей. И много раз ходил по этому переулочку, возвращаясь с рабочей смены. Так же, как они, боялся опоздать, и курил на бегу, и спешил скорее проскочить через визгливые турникеты проходной.

А как приятно итти по свежему снегу — наконец-то снег! — и полной грудью дышать, дышать...

Глава 14

Новый год приближается.

На площадях Революции, Манежной и Пушкинской день и ночь стучат топоры плотников — там сооружаются весёлые новогодние базары. Гигантская ёлка вырастает на Манежной площади и вовсе не кажется маленькой рядом с кремлёвской башней. Она сплошь усыпана разноцветными фонарями, и когда ночью рабочие пробуют освещение и зажигают все фонари, ёлка стоит посреди площади, как волшебная хрустальная гора из детской сказки. На улицах оживлённая предпраздничная суета. Мороза как будто нет, о нём не говорят, его не замечают. Ловкие загородные мальчишки уже во-всю торгуют ёлками у вокзалов, и пекутся в магазинах однодневное золото ёлочной мишуры.

Москва пахнет хвоей и мандаринами. На всех перекрёстках продаются мандарины, их очень много в этом году.

В последний момент было решено (важные решения всегда принимаются в последний момент) не делать отдельных курсовых вечеров, а устроить большой новогодний вечер для всего факультета. Этот вечер

был назначен на двадцать восьмое. Афиша в вестибюле, написанная на длинном, в высоту всей стены, листе бумаги обещала:

Грандиозный новогодний праздник

Повестка ночи:

1. Оригинальный «капустник».
2. Музыкальные номера.
3. Выступления драмкружка.
4. Выступления гостей — студентов других вузов.
5. Танцы (в течение хоть всего года).

Накануне Лена возбуждённо рассказывала в аудитории:

— Только смотрите не опаздывайте на «капустник»! Сергей сочинил такой чудесный текст, мы просто лежим от смеха, играть невозможно! Ну — блеск! Вот увидите, как здорово!..

Она недавно включилась в репетиции «капустника» и в последние дни только и говорила о нём.

Однако Вадим опоздал: сегодня ему почему-то особенно грустно было уходить от Веры Фадеевны. Он долго сидел возле её кровати, читал вслух Вересаева до тех пор, пока она не отобрала у него книгу и велела идти на вечер. «Я хочу спать», — сказала она сердито. На самом деле ей просто было жалко сына и хотелось, чтобы он отдохнул и развлёкся. А Вадиму вовсе не хотелось развлекаться, он шёл на вечер в смутном, неопределённом настроении, далеко не праздничном...

Уже подходя к зданию института, Вадим слышал приглушённую музыку, взрывы смеха; окна клуба ярко светились и видны были чёрные спины и головы людей, сидевших на подоконниках.

В зале все места были заняты, студенты стояли тесной толпой у входа и в конце зала, за рядами стульев. Среди зрителей Вадим увидел нескольких девушек и ребят с завода — он сразу не узнал их, одетых в нарядные платья и праздничные костюмы. Андрей Сырых и Кузнецов сидели в одном из задних рядов и делали Вадиму приглашающие жесты, имевшие только символический смысл — сесть рядом с ними было негде.

Вадим пробрался в конец зала и нашёл место на подоконнике. «Капустник» был в разгаре. На сцене изображался приём экзаменов профессором русской истории Станицыным. Сам Станицын, высокий седовласый старик, сидел на стуле почти возле сцены: он плохо слышал, и, приставив к уху ладонь, улыбался и качал головой. В институте Станицына любили — человек он был очень знающий, авторитетный, но отличался предельным мягкосердечием и рассеянностью. На всех Учёных советах Станицыну попадало за «либерализм».

Играл Станицына сам Палавин. Он сидел за столом в долгополом старинном сюртуке, в парике из ключев ваты, и тонким жалобным голосом спрашивал:

— Так скажите, голубчик, какое море явилось театром военных действий в период Крымской баталии 53-го — 56-го годов? И назовите даты этой баталии.

Студент что-то отвечал, но голоса его не было слышно из-за дружного смеха зрителей. Когда стало тише, студент задумчиво переспросил:

— Какое море?

— Да. Какое же?.. Ну, ну?.. Чё-о...

— Чёрное, профессор?

— Чёрное, голубчик, Чёрное. Совершенно верно. Ну, даты вы знаете. Так... Теперь скажите: кто такие безлошадные крестьяне?

— Безлошадные? Это, наверно... которые это...

— Ну, ну? Которые, что? Которые не имели чего?.. Ло-о...

— Лошади! — вдруг догадывался студент.

— Лошади, ну конечно! — восклицал профессор, растроганно улыбаясь, — совершенно верно. Вот и прекрасно. Так давайте же вашу — что? За...

— Зачётку?

— Нет, молодой человек, — строго говорил профессор. — Не зачётку, а зачётную книжку! Научитесь говорить по-русски, голубчик.

При общем смехе Станицын шутливо грозил кулаком артистам: «Вот я вам теперь покажу!». Следующие эпизоды «капустника» изображали работу редколлегии, совещание клубного совета, распределение путёвок и другие сюжеты из жизни института и общежития. «Капустник» имел успех. Вадим видел, как смеялись преподаватели в первых рядах, улыбались Мирон Михайлович Сизов и сидевший рядом с ним директор института Ростовцев. А заместитель директора по хозяйственной части маленький, полный, сверкающий лысиной Бирюков хохотал тонко и заразительно, обмахиваясь носовым платком.

Последний номер относился к длительной тяжбе института с трестом «Химснаб», занимавшим часть нижнего этажа здания. Институт законно добивался выселения «Химснаба», который занял нижний этаж временно, в период войны. На всех собраниях Бирюков заявлял, что «вопрос на днях решится, наша берёт», однако дело тянулось уже третий год, а «Химснаб» всё не выезжал.

Между полотнищами занавеса появился большой картонный рупор, и Лесик заговорил в него голосом и с интонациями Синявского:

— Итак мы начинаем репортаж о футбольном матче между командами «Наша берёт» — Москва, и «Наша не отдаёт» — тоже Москва. Матч начался каких-нибудь два-три года назад, но счёта попрежнему нет. Атакуют команда «Наша берёт»... Вот возглавляющий пятёрку нападения Ростовцев даёт точный пас Бирюкову, тот сразу дальше, в Моссовет... Вот он получает прекрасный пас из Моссовета — на выход! Ну... Надо же бить! Бить! Э, он что-то танцует вокруг мяча... танцует... Наконец — удар!!! Ну что-о это! Из такого положения, и так промазать...

В этом духе репортаж продолжался довольно долго, и с каждым словом Лесика восторженное одобрение слушателей всё возрастало.

Последние слова его трудно было расслышать в общем хохоте. Когда рупор исчез и раздались аплодисменты, из-за занавеса вышли улыбающиеся Лесик и Палавин и, раскланиваясь, указывали друг на друга. Палавин был в новом светлосером костюме, по-модному широком и длиннополом, который делал его необычайно солидным. Он был похож на какого-то известного артиста.

«Капустник» окончился. В перерыве Вадим вышел в коридор и нашёл Андрея и Кузнецова. Рядом с ними стояла какая-то светловолосая, очень молоденькая девушка в синем платье.

— Познакомься, Вадим, это моя сестра, — сказал Андрей, — Ёлочка.

— Не Ёлочка, а Ольга, — сказала девушка, строго посмотрев на брата.

У неё были внимательные, большие глаза, такие же синие, как у Андрея. На вид ей было не больше семнадцати.

— Вам понравился «капустник»? — спросил Вадим.

— «Капустник» — да. Мне понравился. Только одно не очень понравилось...

— Что же?

— То, как себя держит автор. Как его, Андрей?

— Палавин, Серёжка. Но ты его совсем не знаешь! У тебя, Елка, привычка обо всём судить очень безапелляционно.

— Почему безапелляционно? Я наблюдала за ним ещё до вечера, в коридоре. Он мне не понравился, вот и всё.

— Прекрасный аргумент! — сказал Андрей, рассмеявшись, — не понравился, и всё! И basta! Вот так она всегда...

— Да, я так всегда. Я считаю, что первое впечатление самое верное, — сказала Оля, упрямо тряхнув головой.

— Чем же наш автор так вам не угодил? — спросил Вадим.

— Вы знаете, он какой-то очень... кричащий.

— Может быть, крикливый?

— Нет, кричащий. Я даже не знаю, как объяснить...

— Вот, вот! — расхохотался Андрей. — Дельфийский оракул изрёк, а вы догадывайтесь, как хотите.

Оля, даже не взглянув на Андрея, продолжала:

— Хотя, вероятно, он пользуется большим успехом. У девушек, да? Я спрашиваю у вас, потому что мой брат никогда не замечает таких деталей. Он ведь выше этого.

— Кажется, да, — сказал Вадим, улыбаясь. Ему нравилось, как она разговаривает с братом, и вообще нравилась её речь, юношески серьёзная и оттого чуть-чуть наивная.

— Мы с Сергеем всё собираемся приехать в гости к Андрею. Если мы когда-нибудь соберёмся и вы узнаете Сергея ближе, я думаю, вы измените своё мнение.

— Возможно. Ведь он талантливый человек?

— Да, он очень способный.

— Парень с головой, — подтвердил Кузнецов, серьёзно кивнув. — Мы когда в парткоме совещались, он больше всех ваших говорил, и так по-деловому, знаете, принципиально. Вы, Ольга, напрасно его так обижаете... — Он вдруг улыбнулся и с нескрываемым восхищением потряс рукой. — А эта постановка! Ну, я давно так не хохотал. И здорово же!..

— Не знаю. Может быть, — быстро сказала Оля. — Я тоже, конечно, смеялась. У нас на вечерах никогда не бывает так весело.

— А вы где учитесь? — спросил Вадим.

— В техникуме. А этот ваш Лёша исключительно хорошо Синявскому подражает!

В коридоре становилось всё теснее. Большая толпа студентов и гостей стояла возле стенной газеты, рассматривая новогодние шаржи.

— Где тут, где тут меня прохватили? — улыбаясь в рыжую бороду, говорил Иван Антонович, пробираясь к газете. — Ну-ка?

— Вот вы, Иван Антонович! Видите? — радостно сообщал кто-то. — А вот Козельский!

— Батюшки, страсть-то какая! Что это вы Бориса Матвеевича в таком затрапезном виде изобразили?

— А это одеяние средневекового схоласта, Иван Антонович. Из хрестомати по западной литературе срисовали.

— Вот-те на! Обиделся?

— Да нет, посмеялся только. Это же дружеский шарж!

— Дружеский, оно конечно... Удружили, говорите? — И Кречетов вдруг громко и заразительно расхохотался.

Подошёл Спартак в новом чёрном костюме и ярком галстукe, торжественно ведя под руку Шуру. Увидев Кузнецова, он моментально забыл о жене и, ухватив Кузнецова за локоть, потащил его куда-то в сторону. Через минуту оттуда донёсся его разгорячённый голос:

— Нет, Павел! Нет, нет... Ты послушай! Вы можете прекрасно обратиться в лекционное бюро, не в этом же дело! Я думаю о другом...

Продолжая разговаривать с Олей, Вадим вдруг увидел Лену. Она поднималась снизу, очевидно из буфета, вместе с Маком и что-то быстро говорила ему. Мак угощал Лену конфетами из бумажного кулёчка, который он двумя руками держал перед собой. Он был в своём вечном лыжном костюме, но с галстуком; не сводил с Лены глаз, счастливо улыбался, поддакивал, и лицо его, покрасневшее, даже немного потное от волнения, показалось Вадиму неуместно восторженным и глупым. Лена не заметила Вадима; потом она скрылась в толпе. Теперь только Вадим сообразил, что Лены-то он не видел. Очевидно, она играла в первых номерах, на которые он опоздал.

Вскоре зазвенел звонок, возвестивший начало концерта самодеятельности. Вадим сел рядом с Андреем. В зале было жарко, несмотря на открытые фрамуги больших окон. Стало ещё шумней, ещё тесней, многие уже побывали в буфете и теперь бестолково блуждали по залу, громогласно острили и смеялись.

Наконец все уселись, и девушка с первого курса, конферансье, объявила о начале концерта. Первыми выступили гости — молодые болгары, студенты московской консерватории. Они были одеты в яркие национальные костюмы: девушки в длинных цветистых юбках, парни в шароварах и высоких шапках. В зале зазвучали протяжные болгарские песни, потом весёлые русские, закружились в стремительном пёстром переплясе танцоры. Аплодировали гостям бурно и всё время вызывали на «бис». Особенно понравились Вадиму ребята — рослые, белозубые, с загорелыми приветливыми лицами. Потом девушки болгарки сбежали со сцены в зал и начали кропить всех розовой казанлыкской водой. Студенты, сидевшие сзади, конечно, повскакали с мест, и получился весёлый переполох. Всем хотелось быть обрызганными духами. В зале запахло розой, и этот запах вместе с запахом хвои, которой были убраны стены, создал нежную смесь, напоминавшую запахи весенних полей.

— Ещё! Ещё! — весело кричали студенты, главным образом девушки. Смуглые, улыбающиеся болгарки показывали пустые флаконы, держа их горлышками вниз...

После этого было ещё много разных выступлений — драмкружковцев, танцоров, декламаторов. И вдруг вышла Лена.

Она была в длинном шёлковом платье темновишнёвого цвета, с какими-то блестящими украшениями на воротнике, с голыми до плеч руками. Пела она романсы Глинки и Чайковского. У неё был не сильный, но мягкий, приятный голос (она называла его, кажется, «лирическим сопрано») и пела она... да, пела она хорошо.

Вадим смотрел в её яркоосвещённое розовое лицо с необычной высокой причёской, на её нежные губы, чуть дрожащие при пении, и широко раскрытые, но никого не видящие, затуманенные глаза, и удивлялся тому, что он смотрит на неё так спокойно, словно видя эту девушку впервые.

— Какая интересная! — сказала Оля тихо. — Кто это?

— Это из нашей группы, Леночка Медовская, — ответил Андрей. — Слава богу, хоть кто-то понравился!

Вадим почувствовал, как после слов Оли у него защемило сердце. Глаза его вдруг тоже затуманились, и он уже не видел лица Лены, оно таяло, расплывалось, превращалось в яркочувственное пятно.

Грустно звенел незнакомый молодой голос и говорил о чём-то бесконечно понятном, простом — о том, как между небом и землёй песня

раздаётся, и о том, как кто-то услышит её, вспомнит кого-то, вздохнёт... И безотчётно подчиняясь этой звенящей власти, Вадим чувствовал, как становится ему тепло и странно — словно уже не был он в зале, затерянный среди множества людей, а шёл куда-то один, босой, по безоблачной и горячей дороге. А невидимый голос лился над ним в вышине, между землёй и небом, и звал за собой, и звал...

Лицо Лены прояснилось вдруг до такой слепящей яркости, что стало больно глазам. Она опустила голову. Взорвались аплодисменты, обрушив на Вадима белый, выкрашенный клеевой краской потолок с двумя горящими люстрами. Он не кричал вместе со всеми «бис». Ему внезапно захотелось, чтобы вечер скорее кончился и можно было бы увидеть её близко, рядом, сказать что-то доброе, ласковое. Ведь он даже не поздравился с ней сегодня...

И вот — концерт закончился. Сейчас же принялись сдвигать стулья к стенам, чтобы очистить зал для танцев. Появился Лесик с аккордеоном, кто-то сел за рояль, и танцы начались. Оля пошла танцевать с Кузнецовым. Рядом с ним она выглядела совсем маленькой, хрупкой девочкой, но двигалась так легко и уверенно, что, казалось, танцует она одна, а он — высокий, тяжеловесный, зачем-то неуклюже топчется рядом с ней. Глядя на её порозовевшие щёки и сияющие глаза, Вадим подумал, что она, должно быть, самая юная и самая счастливая сейчас в этом зале.

Танцевать ему не хотелось. Он невольно искал среди танцующих Лену, но её нигде не было. Начались сольные выступления на приз: парень с первого курса, грузин, плясал наурскую лезгинку, Лагоденко «оторвал» матросскую чечётку, но приз получили Иван Антонович и Ольга Марковна, по всем правилам бального искусства проплясавшие мазурку.

В зале появился Палавин — он быстро шёл между танцующими, ища кого-то глазами. «Сейчас подойдёт ко мне и скажет: что ж ты, Ленский, не танцуешь?» — подумал Вадим.

Палавин, действительно, заметил его и стремительно подошёл.

— А, Вадик! — сказал он радостно. — Как Чайльд Гарольд угрюмый, томный... Что стоишь?

— Нравится, и стою.

— Танцевать надо! Ты посмотри, — он сделал широкий жест, — какое вокруг тебя непосредственное веселье! Займись вон хоть той девочкой, с которой Кузнецов танцевал, — видишь? Юная, свежая, глазки блестят... наверно, какая-нибудь многостаночница, даёт двести процентов, — он подмигнул Вадиму. — Займись, серьёзно!

— Я сам знаю, что мне делать, — сказал Вадим и, взяв Палавина за плечи, повернул его к себе спиной.

— Тюлень ты, тюлень. Левчука не видел?

— Где-то здесь был.

— Его срочно Сизов ищет. Я сейчас... — и он так же стремительно, как и появился, исчез в толпе.

Вадим увидел вдруг Мусю — диспетчера цеха 12. Она подошла к нему, осматривая его с ног до головы, и спросила удивлённо:

— Здравствуйте! А вы... вас тоже пригласили?

— Да, конечно, — сказал Вадим, улыбнувшись. — Ну, как поживает товарищ Ференчук?

— Ой, вы не знаете, как на него подействовало! Прокладку прямо ночью привезли, в половине двенадцатого. И он прилетел: «Только, говорит, не думайте, что я из-за этой дурацкой «молнии» старался. Как

штамп наладили, так и даём». А сам к Гуськову побежал: «Давайте снимайте! Повисела и хватит!»

— И сняли?

— Сняли, конечно. Он, вообще-то, дядька хороший, только очень упрямый. Скажите, а почему я вас на собраниях никогда не видела? Вы разве не в нашей организации?

— Нет, Муся, я студент. Идёмте танцевать, и я вам всё объясню...

Глубоко полночь в уже наполовину опустевшем зале появился заспанный швейцар Липатыч и объявил, что пора гасить свет. Вадим так и не увидел Лену. Марина сказала ему, что кто-то заметил, как Лена сразу после концерта оделась и вышла на улицу. И тогда Вадим понял, что в глубине души у него были на этот вечер какие-то особенные, тайные надежды, которые он сам скрывал от себя. И только теперь, когда уже гасятся лампы и выстраивается шумная очередь в раздевалке, они исчезают — так же, как появились, — скрытно, угрюмо, точно стыдясь чего-то.

(Окончание следует.)



ГЕВОРК ЭМИН

★

МОИМ ДРУЗЬЯМ

АРХИТЕКТОРУ

С армянского

Ты очень любишь древние творенья,
Я тоже дань былому отдаю,
Поэт в нём раньше черпал вдохновенье,
Но я сегодня не о том пою.

О древнем мастерстве художника слова
Я не скажу, но наша радость в том,
Что на немых развалинах былого
Мы памятники наши создаём.

Когда бы предки, в давние столетья,
Любили старину, как ты сейчас, —
Кто создавал бы памятники эти,
С которых ты теперь не сводишь глаз?!

АРМЕНИИ

Ты мне потому так мила,
Что тридцать веков прожила
И вновь стала тридцатилетней.
Как молодость эту не петь мне?!
Брела ты сквозь ночь и туман,
Горька была доля армян.
Сегодня над горною нивой
Встал день молодой и счастливый.

Нам в тех, кто сердечно любим,
Всё кажется близким, родным,
Любуемся всеми чертами,
И даже снежком над висками...
Всем ныне ты нравишься мне,
Ищу и в твоей старине
Всё то, что тебе помогало
Стать тем, чем сегодня ты стала.

На что мне надгробья в резьбе?
Резьбой пусть украсятся зданья!
Я лишь на советском гербе
Масиса люблю очертанья.

Когда бы твой путь вековой
Живой не расцвёл красотой,
Была б ты печальной вдовой,
Скитался бы я сиротою...

* * * * *

Вот книга моя. Выбирай,
О том, что я видел, читай:
О тракторном русском заводе,
Днепре, украинской природе,
На крымский костёр погляди,
По площади Красной пройди,
Всё стало твоею землёю,
Советскою, братской, родною!

А я каждый раз, каждый раз,
О чём ни писал бы подчас,
Хотя б о библейском ковчеге,
Скитальческом нищем ночлеге,—
Всегда я пою об одном:
О дне настоящем твоём,
О жизни советской цветущей,
О нашей дороге грядущей!

Перевела В. Звягинцева.

АРМЯНСКИЙ ТАНЕЦ

Лёгких туфель переборы, на ветру — коса!
Как нагорные озёра, глубоки глаза!
Как лоза, гибка, и крылом — рука!
Вся, как горное дыханье ветерка, легка!
Вся, как песня о свободе, как за счастье тост!
Выпрямляется в полёте — во весь рост.
В прошлом — горе и страданье, в прошлом — рабства мгла.
...Неподдельная улыбка на губах светла.
Расступилась перед солнцем вековая тьма,
пляшет вольная горянка, как Армения сама!
Не в лачуге полутёмной, затерявшейся в горах,
не пред мужем нелюбимым на истрёпанных коврах,
не пред князем смуглолицым, под улыбкой скрыв беду,
а в самой Москве-столице у народов на виду.
Перед этим вихрем счастья ряд за рядом встал,
танцу и судьбе армянки рукоплещет зал.
Никогда в её жилище не придёт беда,
горе стан её не сгорбит больше никогда,
никогда она не будет в плен увезена,
не увидит занесённый ятаган она,
посыпать не будет косы пепла сединой
и не бросится в ущелье со скалы весной.
Только в танце вспомнит горе, и, взмахнув крылом,
втопчет в сцену каблучками память о былом.
Рукоплещут в зале танцу, а судьбе — вдвойне,
рукоплещет зал армянке и её стране,
рукоплещут в зале, стоя, Гению тому,

кто навек принёс нам радость, кто развеял тьму,
кто с земли моей лачуги нищенские снёс,
к ней пришёл великим другом, оберг от слёз.
Счастье выпрямило плечи, встало во весь рост.
Отражён в глазах армянки свет Кремлёвских звёзд!

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Красный ветер знамён над Охотным шумит, пролетая,
Человек пробирается через колонны вперёд.
Расступитесь! Дорогу счастливому сыну Китая —
Он на Красную площадь сегодня впервые идёт.

Расступитесь, я чувствую, как его сердце трепещет,
Ведь и мы волновались так десятилетия назад,
Когда в буре знамён, что над Красною площадью плещет,
В первый раз Ереван выходил на московский парад.

Здесь без нас, здесь до нас Октябрю отмечали три года,
Трижды руку Ильич простирали над потоком колонн,
И в двадцатом Армения вышла на праздник свободы,
Принеся своё знамя на смотр победивших знамён.

Расступитесь, друзья, пусть он первый пройдёт к мавзолею,
Пусть пропустят его и болгарин, и чех, и румын,
Им — пришедшим недавно, я знаю, помедлить труднее,
Но ведь он здесь впервые, Китая свободного сын.

Он становится в ряд, не спросивши, кто строй замыкает.
Замыкающих нет! Через праведный бой, через труд,
Кто-то новый спешит на парад за посланцем Китая:
Все дороги народов на Красную площадь ведут!

Здесь парадным становится марш их нелёгкий, походный.
Сталин руку простёр сквозь года над потоком колонн.
Красный ветер шумит, заливая прибоем Охотный,
Человек из Китая идёт.
И над ним ликование знамён.

Перевёл М. Максимов.



Яков УХСАЙ

★

ОБЛАКА

С чувашского

Набрав из Волги и Суры
Живой воды, клубясь слегка
И словно млея от жары,
Над нами встали облака.

Отмыты солнцем добела,
Они виднелись кое-где,
Как распростёртые крыла
Поволжских чаек на воде.

Темнея быстро, обнялись
Они друг с дружкой, потом
На землю щедро пролились
Весенним радостным дождём.

Чтоб нивы ожили, в лесах
Цвели ольха и чернотал, —
Вдруг где-то на густых басах
Весёлый гром загрохотал.

Я, окна настезь растворив,
Смотрю на дымчатый поток,
Что, край чувашский напоив,
От нас уходит на восток.

Чтоб о дожде отрадном том
Оставить память у земли,
Над Волгой красочным мостом
Повисла радуга вдали.

Ещё восток дымится мглой,
А гром, уйдя за небосклон,

Гремит уж над Йошкар-Олой,
Уж над Казанью ходит он.

И влагой той, что людям в дар
Дала чувашская земля,
Там, у марийцев и татар,
Обильно политы поля.

Пусть у соседей в добрый час
Трудом добытый урожай
Все закрома, как и у нас,
Зерном засыплет через край!

И в этот вешний день, когда
Такой кипучий дождь прошёл,
Я в жажде сладкого труда
Писать стихи сажусь за стол.

Покуда я вожу пером,
Чтоб проторить дорожки строк,
Наверно, наш чувашский гром
Идёт всё дальше на восток.

Вы собирались, облака,
Над нашей волжской стороной,
Чтобы пролиться, как река,
И над башкирскою землёй.

Когда же почву в тех краях
Насытит влагой ливень наш,
Стихи напишет, как и я,
О вас мой друг Сейфи Кудаш.

Перевёл Б. Ирнин.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЕРМИЛОВ

★

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — БОРЕЦ ЗА МИР

Советская литература создана и вдохновлена обществом, которое родилось со словом: мир!

Декрет о мире, написанный Лениным, был принят II Всероссийским Съездом Советов в ночь 25 октября — 7 ноября 1917 года — в великую ночь рождения нового социального строя, новой эры в истории человечества. Радио передало ленинский декрет, содержащий конкретные мирные предложения, — всем воевавшим народам, всем правительствам.

— Всем!
Всем!
Всем это —
фронтам,
рабам
в рабство
в всякого рода,
богатым отданным. —
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!

(В. Маяковский)

Слова: власть Советам стояли рядом со словами: мир народам. Власть Советам — это и означало мир народам.

Правительства капиталистических стран ответили на мирные предложения молодого советского государства войной. Так американские, английские, французские, немецкие и прочие империалистические хищники начали цикл самых преступных войн в истории человечества — войн против мира. Всей во имя чудовищной попытки уничтожения государства, первым словом которого было предложение мира всем народам.

Империализм
во всём оголении —
живот наружу,
с вставными зубами,

и море крови
ему по колени —
сжирает страны,
вздымая штыками.
Вокруг него
его поджалимы...

Так рисовал Маяковский дряхлеющее злобное чудовище, ринувшееся на страну, которая решила навсегда положить конец войнам.

Советская страна родилась для борьбы за мир во всём мире, потому что она родилась для созидания.

И то же самое можно сказать о советской литературе.

В чём, прежде всего, заключается её новаторство?

Героями до-советской литературы были правдоискатели, терпевшие «горе от ума», оказывавшиеся лишними в дворянско-буржуазном обществе, заботившиеся о народе, о его судьбе, люди, униженные и оскорблённые хозяевами несправедливого мира, люди, мечтавшие о счастье творческого, свободного труда — разные и хорошие люди. Но не было и не могло быть среди них строителей, занятых свободным созидательным трудом.

Героями советской литературы стали созидатели, строители и уже поэтому — борцы за мир во всём мире.

Титанический Горький открывает путь советской литературы. Традиции Горького, основоположника литературы социалистического реализма, великого художника, воспитанного партией Ленина — Сталина, вдохновляют советских писателей.

Горький принёс с собою в литературу целый новый мир идей, образов, сюжетов, социальных, моральных, эстетических норм. Он привёл с собою в литературу нового героя истории — те мил-

люди «маленьких великих людей», которые создают всё ценнейшее, всё прекрасное и разумное на земле. И пришли они уже не только в качестве «униженных и оскорбленных», какими рисовала их предшествующая литература, но в новом историческом значении завтрашних хозяев своей родной земли. Герои горьковских произведений мечтают о богатырском созидании, о свободном труде. Они мечтают о жизни, где законом станет великая любовь к человеку, ибо Человек — это звучит гордо! И нет на земле большей ценности, чем человек. Уже с самых первых шагов своего творческого пути молодой Горький выступает против хищничества, вражды человека к человеку, выдвигает образ героя, наделённого неизмеримой любовью к людям.

На земном шаре нет сейчас такого уголка, где бы люди не знали знаменитой легенды о сердце юноши Данко. Трудно отказаться от радости ещё и ещё раз вспомнить эту простую и мудрую легенду: каждый раз, когда мы вспоминаем её, она рождается в нашей душе вновь, чтобы жить вечно. Она входит в наш внутренний мир, с детских лет становится частицей нашей души.

Люди заблудились в тёмном дремучем лесу. Их преследуют дикие звери. Льёт дождь, гремит гром. Данко взялся вывести людей из леса. Но отчаяние охватывает их: нет выхода из тьмы.

— Что же сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И он вырвал сердце из своей груди и поднял его, как факел, освещающий людям дорогу к свету и свободе. И люди пошли за горящим сердцем Данко, и оно вывело их в солнечную мирную долину, где их ждало счастье.

Так молодой писатель осветил начало пути новой литературы пылающим факелом нового, подлинного, сражающегося за счастье людей, гуманизма, и сразу же противопоставил этот гуманизм хищничеству отношению человека к человеку. Мудрая старуха Изергиль рассказывает две легенды — одну о Данко, а другую о Ларре. В образе хищника Ларры Горький развенчивал распространявшуюся тогда проповедь «сверхчеловека», якобы призванного к господству над людьми, — «философию» мракобеса Ницше, духовного отца фашизма.

Так Горький начал свою борьбу с чело-веконенавистничеством, так провозгласил он действительную любовь к человеку.

А затем, по мере роста и углубления горьковского творчества, героем его становился человек, прочно и твёрдо стоявший на вполне реальной почве, труженик, борец за народное счастье, в груди которого билось романтическое сердце Данко.

— Хозяин тот, кто трудится... — говорит герой пьесы Горького «Мещане», паровозный машинист Нил. Быть может, никогда ещё до этого не было в литературе столь весомых слов...

Это было радостное, гордое провозглашение нового отношения к действительности, нового мировоззрения миллионов простых людей, привыкших чувствовать себя жертвами истории и начавших сознавать себя её творцами.

«Всякое дело надо любить, чтобы хорошо делать, — говорит Нил. — Знаешь, я ужасно люблю ковать. Пред тобой красная, бесформенная масса, злая, жгучая... Вить по ней молотом — наслаждение. Она плывёт в тебя шипящими, огненными плёвками, хочешь выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя. Она живая, упругая... И ты сильными ударами с плеча делаешь из неё всё, что тебе нужно...»

Глубокое, новаторское, многообразное содержание выражено в этих, притягивающих к счастью работы, огненных словах. В них речь — о труде, творчестве. В образе живой, раскалённой, упругой, властно влекущей к себе и сопротивляющейся, ждущей оформления материи был выражен образ самой жизни, ожидавшей революционного изменения, смелого творчества от нового героя истории. Действительность открывалась перед горьковским героем, как материал для формовки. Делать, лепить из жизни всё то, что нужно тебе, человеку, пришедшему в мир, чтобы выковать счастье для всех, — таково было отношение к действительности простых людей, решивших свободно творить историю.

Новаторские горьковские темы со всей ясностью прозвучали в романе «Мать» — в этой поэме революционной борьбы за освобождение труда, поэме материнской любви к людям — любви, которая должна стать законом отношения общества к каждому человеку.

«Я знаю,—говорит один из героев романа,—будет время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда пред другим... Тогда не жизнь будет, а—служение человеку, образ его вознесётся высоко... Велики будут люди этой жизни».

«Если бы я был критиком и писал книгу о Максиме Горьком,—говорил Горький,—я бы сказал в ней, что сила, которая сделала Горького тем, что он есть, тем, каким он стоит перед вами, тем писателем, которого вы так преувеличенно чтите, которого так любите, заключается в том, товарищи, что он первый в русской литературе и, может быть, первый в жизни вот так, лично,—понял величайшее значение труда, труда, образующего всё ценнейшее, всё прекрасное, всё великое в этом мире».

Только труд делает людей — людьми.

Труд, становящийся творчеством,—это любовь к людям, это мир на земле, ибо нет более непримиримых, более противоположных, взаимоисключающих понятий, чем труд и война, творчество и разрушение.

Враги труда—враги человечности—поджигатели войны,—таковы были враги Горького. Он считал их не-людьми, чело-векоподобными выродками, отщепенцами от человечества.

Поджигателей войны он рассматривал, как «безответственную международную шайку явных преступников». Он обращался ко всем, кто трудится:

«Вам давно пора понять, что источник всего зла и горя, всех несчастий и уродств жизни, источник этот — жадность ничтожного меньшинства людей, которые одичали, обезумели от жажды накопления денег и незаконно, бессмысленно командуют жизнью трудового большинства, растрачивая его силы, истребляя сокровища земли, которые принадлежат вам. Вспомните, что за четыре года империалистической войны потоплены были в морях миллионы тонн металла, добытого и обработанного вами, сожжены миллионы тонн угля, добытого вами, уничтожено неисчислимое количество кожи, тканей и всевозможных продуктов вашего труда. Истребляются сокровища, которые принадлежат вам, вашим детям...

...Сотни тысяч рабочих строят суда, которые будут потоплены, делают пушки,

пулемёты, ружья, которые послужат в конце-концов, чтоб убивать вас... ваш труд на войну — самоубийство...

...Они снова хотят уничтожить, искалечить миллионы людей.

Хотите ли вы этого? Вы в силах не допустить войны».

Горький разоблачает бессмысленный ужас империалистической войны, выступая от имени тех, кто хорошо знает цену всему, что сделано человеческими руками, человеческим разумом,—от имени подлинных хозяев земли.

Первый в истории мировой литературы великий поэт труда, Горький был грозным, упорным врагом войны. В знаменитой статье «О культурах» он изобличал всю безмерную гнусность расистских «теорий», оправдывающих захватнические войны. «Удовлетворяя стремление хозяина-империалиста к новому «переделу мира» посредством новой всемирной бойни,—указывал Горький,—фашизм выдвинул теорию права германской расы на власть во всём мире, над всеми расами. Эта давно забытая идея больного Фридриха Ницше о приоритете «белокурой бестии» исходит из факта порабощения рыжими и светловолосыми индусов, индокитайцев, мела- и полинезийцев, негров и т. д... Эта теория права белой расы на единовластие в мире разрешает... рассматривать не только всех цветнокожих людей, но и белых своих соседей европейцев, как варваров, подлежащих порабощению или уничтожению».

Горький звал всех людей мира объединиться для борьбы против закона джунглей, объявить войну войне.

«Человечество не может погибнуть оттого, что некое незначительное его меньшинство творчески одряхлело и разлагается от страха перед жизнью и от болезненной, неизлечимой жажды наживы».

Наиболее отвратительным представителем незначительного меньшинства, безответственной международной шайки явных преступников является,—подчёркивал Горький,—клика американских империалистов, которую он называл низколобой Америкой, противопоставляя её Америке подлинной, демократической. «Цивилизация низколобой Америки, по определению Горького,—«самая уродливая цивилизация на-

шей планеты», бесчеловечное царство «Жёлтого дьявола». Паразитические, враждебные труду, заправили этой Америки, лэщёные господа в цилиндрах и фраках, для Горького были равнозначны социальным подонкам, отребью. Писателю, для которого с юных лет не было ничего выше и дороже на земле, чем труд и творчество, всегда были глубоко враждебны все виды паразитизма. Ещё в одном из ранних своих рассказов—«Бывшие люди» Горький изобразил некоего Кувалду, бывшего ротмистра, попавшего «на дно» и ставшего содержателем ночлежки для «босяков». Писатель раскрывал враждебность этого злобного паразита людям, его дикую человеконенавистническую «философию», развиваемую им в беседах со своими «клиентами»—ночлежниками.

«— Ну, да! Пусть всё скачет к чорту на кулички! Мне было бы приятно, если бы земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги... Лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других»...

«— Выпьем, будущий каторжник,— говорит Кувалда одному из подонков,— за твоё будущее. Если ты убьёшь денежного человека, поделись со мной... Я, брат, поеду тогда в Америку... Поеду туда и достукаюсь там до президента штатов. Потом объявлю всей Европе войну и вздую её. Армию куплю.. в Европе же... Приглашу французов, немцев, турок и буду бить ими ихних родственников... С деньгами можно... уничтожить Европу»...

Право же, это мало чем отличается от «плана Маршалла», «доктрины Трумэна»! Пропойца, мрачный подонок Кувалда сказался бы сегодня вполне «на уровне» этих разбойничьих «доктрин», если бы ему удалось его, так сказать, «план Кувалды»...

Над кровавой грязью, над злобой всех ненавистников человечества Горький высоко поднял значение того понятия, которое, быть может, больше всех других человеческих понятий и слов было захватано, искажено, служило средством обмана: он поднял над миром Л ю б о в ь.

И его гениальный вдохновитель, мудрый друг человечества—Сталин, укреплял в Горьком всепобеждающую любовь к лю-
дям.

На экземпляре поэмы Горького «Девушка и смерть», нежной и мудрой, поэмы, которая вся озарена бережной улыбкой, обращённой к маленькой, обыкновенной девушке, победившей силою своей любви самою смерть,—Сталин написал:

«Эта штука сильнее чем «Фауст» Гёте (любовь побеждает смерть)».

Сталин подчеркнул три последние слова. Народ, воспитанный Лениным и Сталиным, доказал за три с лишком десятилетия, что любовь,—великая любовь к людям, к жизни,—побеждает человеконенавистничество, побеждает смерть не только в «золотом сне», а наяву, на земле.

Идеи гуманизма и созидания советская литература защищала с первых своих шагов. Именно потому, что её герой—труженик, мастер, строитель, именно поэтому борьба за мир во всём мире—некая-либо временная, хотя бы и очень важная тема советской литературы.—нет, это сама её сущность, основа основ, её философия, эстетика, поэтика: её душа.

Если герой горьковского творчества вступил в героическую борьбу за возможность свободного созидательного труда, то героем произведений продолжателей, последователей Горького—уже явился человек, отвоевавший эту возможность, начавший свой трудный и радостный подвиг коренного преобразования Родины.

Поэзия лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи, Владимира Маяковского, проникнута мотивами героизма и счастья созидания.

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплсшной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
Я планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
.....
И я,
как весну человечества,
рождённую
в трудах и в бою,
пою
моё отечество,
республику мою!

Маяковский явился основоположником новой поэтики — поэтики утверждения новой исторической действительности, повседневного, «будничного» труда советских людей, ставшего поэтическим. Рисуя в поэме «Хорошо!» исторический путь советского народа за десять лет, поэт говорил во вступлении, что всё, о чём рассказывается в поэме, — «было с бойцами, или страной, или в сердце было в моём». Вся жизнь родной страны и вся жизнь человечества вошла в сердце советского человека. Всё стало моим в моём государстве. «Мои депутаты в моём Моссовете», «мой труд вливается в труд моей Республики», и вся земля стала моей землёй, потому что я, советский человек, преображаю её. И поэтому мне, многомиллионному трудовому человеку, особенно ненавистна война.

Ещё в 1917 году прозвучали, потрясавшие сердца своей простой правдой, строки Маяковского:

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по контбрам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.
...Что злоба надвое землю сломала?
Кто вздыбил дым над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех мало?
или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых
спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего.
Это народа огромного громкое:
— Верую
величию сердца человечьего!..

Мы все на земле солдаты одной, жизнь созидающей рати, — этими словами Маяковский определил и облик писателя — солдата мира, ведущего борьбу за мир, за созидание. И таким солдатом, бичующим в беспощадной сагире поджигателей, империалистическое зверье, прошёл он сам, Владимир Маяковский, по жизни,

и каждая строка его сражалась за мир во всём мире.

Подобно Горькому, Маяковский был поэтом Любви. Он хотел, «чтоб всей вселенной шла любовь». И уже в боях гражданской войны выделялся ему

там
за горами гора
солнечный край непочтатый.

В этих боях, открывших цикл самых праведных войн в истории человечества — войн за мир, в боях против англо-американских и иных агрессоров — встал перед всем человечеством образ советского народа, воюющего во имя созидания жизни.

Наши враги, изумлённые и утраченные беззаветной храбростью советских людей в бою, бессильные понять причины небывалого массового героизма, пытались в своей глупой пропаганде объяснить это равнодушием советских людей к жизни, «фатализмом». Не было лжи более смелой и вздорной.

В одном из лучших произведений нашей литературы, посвящённых гражданской войне, — в повести «Чапаев» Дмитрия Фурманова, — герой книги, в беседе с комиссаром Фёдором Клычковым, сам удивляется своей военной судьбе: почему это, в самом деле, он, Чапаев, так живуч, словно кто бережёт его от пули.

«— Ну, так что же, — спросил Фёдор, — сами-то вы, всё-таки, как думаете: случайность тут или другое что?»

Чапаев отвечает:

«— Да нет, случайность где же — везде голова нужна... Находка нужна, товарищ Клычков, без находки разом пропадёшь на войне».

А «находка» — солдатская находчивость, умение воевать — тем сильнее, чем сильнее любовь человека к жизни, ненависть к смерти, жажда мира. И именно потому, что любовь к созиданию жизни у советских людей неизмеримо сильнее, чем у кого-либо и когда-либо в истории, — именно по этой причине советские люди и побеждают всех своих врагов.

Ценность таких книг, как «Чапаев», не уменьшается с ходом времени. Эти книги рассказали о том, как миллионы вчера ещё угнетённых, забытых людей впервые почувствовали, что жизнь не равнодушна к ним, не враждебна им, что новая жизнь подни-

мают их всё выше; поняв это, они стали богатырями в битвах за жизнь, за мир. Рождённый и воспитанный в сиром обшестве, Чапаев прежде и сам относился к себе небрежно: «убьют, аль не убьют, не всё мне одно? Кому я, такая вошь, больно нужен оказался? Таких, как я, народят, сколько хочешь. И жизнь свою ни в грош я не ставил... Триста шагов окопы, а я выскочу, да и горлопаню: на-ка, выкуси... А то и плясать начну, на бугре-то».

Но новая действительность начала повседневно убеждать Чапаева, как и миллионы других людей, в том, что он «на человека похож, выходит... И вот вы заметьте, товарищ Клычков, што чем я выше подымаюсь, тем жизнь мне дороже... Не буду с вами лукавить, прямо скажу — мнение о себе развивается такое, што вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, и хочется жить по-настоящему, как следует... Не то што трусливее стал, а разуму больше. Я уж плясать на окопе теперь не буду: шалишь, брат, зря умирать не хочу...

— А в дело? — спросил Фёдор.

— В дело? Вот вам клянусь,—горячо сказал Чапаев,—клянусь, чем хотите, што в деле трусом не буду никогда»...

«И хочется жить по-настоящему, как следует»,—простые эти слова тем и весомы, что вместе с Чапаевым так говорили, чувствовали миллионы и миллионы тружеников, за это они и боролись беззаветно с врагом; потому и стала гражданская война, война с четырнадцатью государствами-агрессорами, — легендарной былью, что то была война за настоящую жизнь.

Чапаевское презрение к смерти—не слепая удаля, не «пляска на окопе», не равнодушие к жизни, не покорность смерти, нет, это, как сказано в горьковской поэме о «безумстве храбрых»,—«мудрость жизни»,—беззаветная храбрость, которая есть не что иное, как беззаветная любовь к жизни. Это храбрость солдат мира, которой никогда не может быть у солдат войны.

«Чем я выше подымаюсь, тем жизнь мне дороже»—эти слова Чапаева, вслед за ним, могли бы повторить все те люди, которых на тёплых своих, могучих материнских ладонях советская Родина поднимала всё выше. Умение воевать, по Чапаеву, озна-

чает умение любить жизнь: чем она дороже, тем умнее надо бороться за неё!

Так советские люди утверждали истину, что побеждает в войне тот, кто сражается за мир, за счастье.

Империалистическая пропаганда стремится воспитать в солдатах не презрение к смерти, а презрение к жизни. Империализм хочет воевать с помощью живых мертвецов, чтобы они превращали в мертвецов живых людей. Только при таком воспитании своих солдат брэдли, макартуры и прочие кувалды империализма могут рассчитывать на солдатское повиновение в той войне, которую Соединённые Штаты хотят навязать всем народам. Но солдаты смерти, солдаты войны всегда будут разбиты солдатами жизни, солдатами мира.

Рядом с образом Чапаева встает другой величественный образ ленинского, сталинского солдата — бессмертный образ Павла Корчагина, поднимаются образы его друзей, ровесников.

Николай Островский был человеком воинского и писательского подвига. Он создал роман-подвиг. Его дело и слово были едины: это была победа над смертью во имя любви к жизни и к людям. Своей жизнью и своим творчеством Николай Островский доказал, что когда любовь становится подвигом, она побеждает смерть.

Как просто и искренно рассказывал Николай Островский о чувствах и мыслях своих героев, рабочих юношей, поднявшихся на защиту новой Родины, страны труда и мира! Глубоко, неистребимо жила в их душах,— в самом разгаре жестоких боёв,— мечта о мире во всём мире!

Вот Сергей — один из героев романа «Как закалялась сталь», вспоминает о сражении: «подхваченный общей яростью», встречал он контратакой солдат интервентов; «вчера же впервые грудь с грудью столкнулся с безусым легионером. Летел тот на него, выкинув вперёд винтовку, с длинным, как сабля, французским штыком, бежал заячьими прыжками, крича что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его глаза, расширенные яростью. Ещё миг, и Сергей ударил концом штыка... И блестящее французское лезвие было отброшено в сторону». Легионер упал...

«Рука Сергея не дрогнула. Он знает, что он будет ещё убивать, он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко

хранить дружбу. Он парень не злой, не жестокий, но он знает, что в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами, обманутые и злобно натравленные солдаты.

И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут».

Ценность советской литературы, помимо других её особенностей,—в её исторически-документальной достоверности, в новой, небывалой ещё до неё, массовости; так, как думали и чувствовали герои романа Николая Островского, думали сотни тысяч бойцов. Именно для приближения того дня, когда люди не будут убивать друг друга, и отдавали ровесники Павла Корчагина свои юные жизни, только что разбуженные небывалым светом, зажжённым их Родиной.

В промежутках между боями, у костра бойцы беседуют о прочитанных книгах, где изображаются герои, мученически отдавшие свою жизнь за идею, вспоминают о подвигах своих товарищей, и один из юных бойцов объясняет:

«Так человек не выдержал бы, но как за идею пошёл, так у него всё это и получается...

...Андрюшук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убеждённо произнёс:

— Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется».

В этом и выражен секрет всех побед армий, борющихся за мир против войны,— всех героических побед, одержанных свободлюбивыми народами над агрессорами, поработителями.

В романе Николая Островского есть слова, как вечная надпись на вечном памятнике:

«Здесь мужественно умирали братья, для того чтобы жизнь стала прекрасной...»

Кажется, что всё человечество обнажает головы, читая эти слова. Здесь умирали солдаты мира. Но солдаты мира не умирают...

В повести Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69» рассказывалось о дальневосточных крестьянах-партизанах, отставших свою землю от американских и японских разбойников, о партизанских отрядах, крестьянских по своему составу, действовавших под руководством большевиков. Много и неопытности, и порою наивности,

но ещё больше и мудрости, и героизма было у них, простых пахарей, не пожелавших сдать на милость интервентов. Думается, что, может быть, потому и жива до сих пор поэтическая прелесть этой повести, что в ней правдиво, любовно, вдохновенно говорилось о нашей ранней поре, о первых шагах советского крестьянства, прошедшего после того, за три с лишком десятилетия, неизмеримый путь исторического культурного, духовного роста.

Истово воюют крестьяне, герои «Бронепоезда», с империалистическими хищниками и их белогвардейскими лакеями—воюют, как работают. Много справедливой, непрощающей ярости у партизан против угнетателей. Правдиво рисует художник всю беспощадность войны. И всё же звучит, звучит в повести та постоянная мелодия советской литературы, которую нельзя назвать иначе, как мелодией мира. Эта внутренняя музыкальная тема повести Всеволода Иванова прямо раскрывалась в авторском лирическом отступлении:

«Пахнет земля... Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются — он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит — он тоже лист на дереве, огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он — небо и земля.

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьянённая.

Хорошо, хорошо — всем верить, всё знать и любить.

Всё так надо и так будет — всегда и в каждом сердце!»

Так думали, чувствовали, за это воевали наши люди. Воевали за такую жизнь, когда можно будет всем верить, за любовь в каждом сердце, за красоту всего мира, земли, природы, которая ласково тянется к человеку, чтобы он больше полюбил её, стал её настоящим хозяином. Воевали за полноту счастья, за полноту жизни, за мир между всеми людьми.

Самозабвенно, во всю силу души сражаясь с иноземными пришельцами, партизаны из «Бронепоезда» тоскуют о том, что им приходится воевать, а не созидать: «Рушь да рушь, надоело Когда строить-то будем?» — говорят они. Готовые погиб-

нуть в бою, они думают о тех, кто будет созидать, строить после них.

Вот погибло пятеро партизан, которым поручено было взорвать мост, чтобы не прошёл к восставшему городу вражеский бронепоезд:

«...далеко над лесом послышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым громадным венником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по протокольному сказал мужикам:

— Это штаб постановил — через Мукленку мост наши взорвали... Наши-то сгибли, поди,— пятеро...

Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи — окапываться.

Вершинин¹ пошёл по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос, на запад.

— Чего ты?—спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

— Будут же после нас люди хорошо жить?

— Ну?

— Вот и всё.

Знобов развёл пальцами усы и сказал с удовольствием:

— Это — их дело. Я думаю, обязаны, стержь!»

Эта добродушно-завистливая ругань в адрес тех, кто будет хорошо жить, была и как бы предупреждением потомкам: берегите счастье жизни, труд, мир, за который погибло столько хороших людей, любивших эту землю, запах листвы, хотевших всем верить, всё знать и любить.

Настолько сильна была в душах партизан поднятая на весь мир большевиками простая и великая идея дружбы всех народов, что они находят общий язык с взятым ими в плен солдатом американской армии. Эта сцена так любовно, талантливо была написана, что стала хрестоматийной, но мы всё же хотим напомнить её в наши дни всем читателям.

«Мужик с перевязанной головой бешёпо выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь...

¹ Вершинин — крестьянин, командующий партизанским отрядом (Б. Е.).

...— Мери́канца пымали, братцы-ы!..

...— Ехали они, двое мериканцев-то. На граншпаике в жестянках молоко везли. Дурной народ: воевать приехали, а молоко жрут с шиколодом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну и повели...

...Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шля мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели:

— Чего-то!..

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения ещё сильнее захлестнула тело злорада.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь, забрались!

— Просили их!..

...В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждь!..

...Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни! Подробно! Нехорошо, мол!

— Зачем нам мешать!..

...Вершинин степенно сказал:

— Люди все хорошие, должны понять. Такие ж крестьяне, как и мы, скажем, пащите и всё такое...

... Знобов тяжело затоптался перед американцем и, пригладив усы, сказал:

— Мы разбоём не занимаемся, мы порядок наводим. У вас, поди, эгого не знают за морем-то...

... Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— I don't understand! ¹

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

¹ Я не понимаю.

— Не вникат. По-русски-то не знат, бедности!

Мужики отошли от американца...

... Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?..

... Авдотья пошла вперёд, к возам, стоявшим у покотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрёпанный, с оборванными углами учебник закона божия для сельских школ.

... Знобов подозвал американца.

— Эй, товарищ, иди-ка сюда.

Американец подошёл.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин,— сказал твёрдо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно остуясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— There's a chap!.¹

... Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а сверху, на облаках, висел бог, стал разяснять:

— Этот, с ножом-то, — буржуй. Ишь брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь, на брёвнах-то, пролетариат лежит, повял! Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-риа-ат! Wel!²

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок схватил его за голову и, заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам! За морями-то...

— Будет тебе, ветрень,— говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он, пролетариат, на брёвнах, а буржуй его режет. А на облаках-то японец, американка, англичанка — вся эта сволочь империализма самая сидит.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Империализм! Away!³.

Долой империализм! — таков был

вывод, к которому в полном согласии пришли и дальневосточные крестьяне-партизаны и американский военнопленный солдат...

На всей планете,

товарищи люди,

объявите:

войны не будет!

Эти слова Маяковского — призыв всей советской литературы. её пафос, её воля.

Герой романа Константина Федина «Необыкновенное лето», романа, изображающего те же годы гражданской войны, большевик Кирилл Извеков, говорит писателю Пастухову:

«... Да. В этой войне нами руководит ненависть. Но ненависть наша не слепа. У неё зоркий глаз. Этот глаз — справедливость. Мы ведём справедливую войну обездоленных, которые защищают своё право на достойное человека бытие. Мы не хотим войны, мы хотим мира для всех. Но к нам применено насилие, нам предложена война. Мы приняли её. Мы воюем против войны».

Кирилл Извеков едет по степи на передовые позиции. В пути ему представилась такая редкая на войне возможность — помечтать. О чём же мечтает советский командир в разгаре жестоких боёв, в годы голода, крови, разрухи?

«В пути на машине есть время многое заново понять, охватить успокоенным взором происходящее. Толчок к размышлениям дают прежде всего пространства».

За Саратовом они то унылы, то даже грозны своим однообразием. Едва миновали небогатые пригородные роши насаждений — возрастом немногим больше полтора десятка лет, — как потянулись лысые холмы, разделённые оврагами, с нищими кучами тополей и вётел около разбросанных на вёрсты и вёрсты селений. Надо было бы обсадить дороги берёзой, раскинуть по низинам тёмные дубовые леса вперемежку с мохнатой сосной, прикрыть охровую наготу земель питательной тенью бора. Как вольно вздохнули бы нивы, если бы извечные степные ветра вместо жгучей суши принесли бы на пашню и рассеяли боровые туманы! Как сверкнули бы поднявшиеся в буераках зеркала родников, как заиграли бы на заре росы, какой звон подняли бы речки...»

¹ Вот это парень!

² Мы!

³ Долой!

Герой Константина Федина мечтает о радостном преображении земли, о творческом труде. Да, он — как и весь советский народ — воювал за то, чтобы осуществить мечту о счастье мира, — он воювал против войны.

Классическое творение великой советской литературы — «Тихий Дон» Михаила Шолохова — каждым своим словом утверждает победу над насилем, ложью, жестокостью интервенции, над лютой злобой империалистических хищников. Такою жизненной мощью наполнено произведение, что кажется, это сама жизнь протестует в каждой строке против войны, против разрушения, тянется к миру. Сама жизнь, сама любовь — герой этой поистине народной эпопеи. И, конечно, только могучий народ, народ-миролюбец мог породить такое произведение. «Тихий Дон» полон скорби о судьбе тех простых людей, которых врагам мира, живущим войной, удаётся обмануть, отравить своим ядом и, безжалостно ломая их жизни, бросить в страшное пекло войны против народа; и «Тихий Дон» полон гнева — против убийц мира, их лжи. Эпопея от начала до конца проникнута непобедимым народным стремлением к стройной, цельной, ладной жизни, к счастью мира и труда, безнадёжно утерянному героем романа. Скорбен и гневен трагический конец произведения, забываем образ чёрного солнца, которое встаёт над отщепенцем, над его судьбой, образ опустошённой земли, которой стала подобна душа Григория Мелехова. Это написано с эпической силой проклятия. Пусть же чёрное солнце встанет над всеми врагами жизни, любви, над разрушителями человеческих судеб, пусть оно сожжёт, испепелит их непрощающими чёрными лучами! Это — народное проклятие всем тем, кто господствует по старому, извечному коварному закону: разделяй и властвуй, — проклятие лжи, которая натравливает одних на других, проклятие волчьей злобе!..

Страна у нас
 мягка и добра,
 но землю советов —
 не трогайте:
 тому,
 кто свободу придёт отобрать,
 сумеем остричь когти.

С новой силой звучат сегодня и другие стихи Маяковского:

Мы
 требуем мира.
 Но если
 тронете, —
 мы
 в роты сожмёмся,
 сжавши рот.
 Зачинщики бойни
 увидят
 на фронте
 один
 восставший
 рабочий фронт.

Наша литература рассказывала о том, с какою жадностью, всепоглощающей творческой страстью, рядовой советский человек, отвоёвавший от четырнадцати государств и от «своей» реакции свою Родину, начал свой подвиг созидания. Он пришёл в красноармейской шинели на уснувший, полуразрушенный завод, вернулся в родную деревню и, — как бы его ни звали: Глеб Чумалов, герой «Цемент» Фёдора Гладкова, первого в истории литературы романа о радости свободного общенародного созидания; Кирилл Ждаркин, герой романа «Бруски» Фёдора Панфёрова, строитель колхоза, ставший крупным государственным деятелем; Увадьев, начальник строительства Буажидо комбината в романе «Соть» Леонида Леонова; Давыдов — из романа М. Шолохова «Поднятая целина», рабочий-большевик, помогавший казакам строить новую, колхозную, социалистическую жизнь, — он, этот герой, сосредоточивал в себе такую богатырскую созидательную энергию народа, которая могла быть порождена только новым, советским обществом. И тем более неудержимой, неодолимой была эта энергия, чем дольше приходилось откладывать, сдерживать её в дни сражений. Самые названия литературных произведений часто бывают знаменательными, выражают пафос народа, эпохи. «Энергия» — называет Ф. Гладков роман о строительстве Днепротэса. Во всенародном творческом напряжении сталинских пятилеток утверждалась социалистическая держава, окованная бронёй стали, страна тружеников, непобедимая, как правда, как стремление к миру.

Рабочий, сражавшийся в боях гражданской войны, ставший командиром социалистической индустрии, — Глеб Чумалов — герой «Цемент» увлекает пафосом созидания, волей к строительству старого буржуазного специалиста Клейста, ещё вчера со-

чувствовавшего врагам новой власти, человека растерявшегося, оглушённого гулом истории. Только что отгремели бои. Голод. Разруха. Завод — кладбище машин. Глеб Чумалов беседует с Клейстом: «...я знаю одно, товарищ технорук: громадная начинается борьба. Это будет потруднее кровавых боёв. Не шутка: хозяйственный фронт! Вот смотрите: все эти великаны — дело вашего таланта и рук. Надо оживить это кладбище, товарищ технорук, надо зажечь огнём. Перед нами открывается целый мир, который уже завоёван. Пройдут года, и он заблещет дворцами и невиданными машинами. Человек будет уже не раб, а владыка, потому что основой жизни будет свободный и любимый труд».

Герои этого романа рвались в труд, как в битву за мир.

«Не о войне теперь наша забота, — говорит крестьянин на митинге один из героев «Цемент». — ...Мы не хотим, чтобы поля поливались кровью... Наша забота о народном хозяйстве... Но не наша вина, а наша беда, если паны и генералы ни на час не дают нам спокойного вздоха... Не о крови — забота, а о земле. Не о людях для боя, а о рабочих для полей, о худобе, о мирном труде...»

Будущий историк нашей эпохи сможет установить по многим свидетельствам — в том числе по нашей художественной литературе, — что как только советский человек отвоёвывал хоть минуту мира, он с удвоенной силой брался за труд, за создание!

Вопреки всем стараниям врагов, мир, завоёванный нами, заблестал «дворцами и невиданными машинами». Хозяин пришёл на землю не временный, а прочный, возводящий своё строение навечно. Эта характернейшая особенность героя советской литературы: его стремление строить и его уверенность в том, что он строит навечно, вопреки беснующимся врагам, — глубоко выражена в произведениях наших писателей.

Маяковский, посетив Америку, был потрясён «бивуачным строем, рваческим характером американской жизни». Взглядом строителя, создателя он разглядел эту типическую черту, пронизывающую весь так называемый «американский образ жизни», — черту, столь усилившуюся за четверть

века, прошедшие после того, как Маяковский побывал в Америке.

Стремление хозяина и мастера строить навечно — и бивуачность, рвачество, авантюризм хищника-бизнесмена, — два стиля, два уклада!

Понятно, что там, где все — на бивуаках, там ничто не дорого, ничто не жалко разрушить. Для рвачей-«временщиков» нет, в сущности, никакой реальности, ни творчества, ни строения, ни культуры, ни даже природы — там есть только прибыль, только она одна и важна; всё остальное существует не само по себе, а для прибыли, только для прибыли. Это — сумасшедшее царство фикций, где нет жизни, нет никакой ответственности перед будущим, как и перед настоящим. Таков стиль существования, мышления, «действия» больших бизнесменов — ничтожных отщепенцев, носителей хаоса, развала, войны.

Тот, кто строит навечно, не может не быть борцом за мир во всём мире.

Герой поэмы Александра Твардовского «Страна Муравия» Моргунок, колебавшийся в год великого перелома, спрашивает колхозного деятеля и строителя, Фролова, о новой, колхозной жизни, и Фролов отвечает Моргунку:

Ты говоришь, на сколько лет
Такая жизнь пойдёт?..

Так вот даю тебе ответ,
Открытый и сердечный:
Сначала только на пять лет... ..

— А там?..

А там — на десять лет.

— А там?..

— А там — на двадцать лет.

— А там?..

— А там — навечно...

— И это твёрдо, значит?

— Да.

— Навечно, значит?

— Навсегда..

В стихах А. Твардовского перед читателем возникает стройный мир, мир строгих, взыскательных мастеров с золотыми руками, людей, которые и не могут строить иначе, как прочно и хорошо. Стихотворение с ласковым уважительным названием «Ивушка» создаёт образ истового мастера — из тех, что могут работать только хорошо, строить только крепко.

Умер Ивушка-печник,
Крепкий был ещё старик..

... Золотые были руки,
Мастер честью дорожил.

Сколько есть печей в округе —
Это Ивушка сложил.

И с ухваткою привычной,
Затопив на пробу печь,
Он к хозяевам обычно
Обращал такую речь:

— Ну, топите, хлеб пекиete,
Дружно, весело живите,
А за печку мой ответ:
Без ремонта — двадцать лет.

На полях трудитесь честно,
За столом садитесь тесно.
А за печку мой ответ:
Без ремонта — двадцать лет...

Жизнью полной, доброй славой
Славьтесь вы на всю державу.
А за печку мой ответ:
Без ремонта — двадцать лет.

...Умер скромно, торопливо.
Так и кажется теперь,
Что, как был, остался Ива,
Только вышел он за дверь.

... А морозными утрами
Над весёлыми дворами
Дым за дымом тянет высь
Снег блестит всё злей и ярче,
Печки топятся пожарче,
И идёт, как надо, жизнь...

Есть во всём облике этого стихотворения русская скромность, которая так идёт к образу герся. Сам-то Ивушка, кажется, склонен был думать о себе, что только тем он и славен, что был знаменитый «табакур». «Нет, недаром прожил Ива»... Его мастерство облегало людям жизнь, помогало ходу её, делало её справной, весёлой. Если бы даже стихотворение сводилось только к этой задаче: показать, что не даром прожил свою жизнь мастер, который «честью дорожил», — то и в этом случае его тема была бы и благородна и глубоко поэтична. Превенная литература жалела Ивушек, но не показывала их, как самых нужных для жизни людей. Однако в стихотворении заключён более широкий обобщающий смысл, раскрывающийся в последней строке:

И идёт, как надо, жизнь...

Вместе с повторяющимся мотивом: «Без ремонта — двадцать лет» — заключительная строка утверждает ладность, прочность той жизни, которую все мы, советские люди, строим, «честью дорожа», — нашей честью тружеников, мастеров.

Эта тема лирики А. Твардовского выражена в стихах о деде Даниле («Зимний праздник»):

Хороша, крепка зима.
Крепок старый дед Данила.
Крепок дым из чубука.
Крепок праздник. Жизнь крепка.

В стремлении народа-созидателя делать крепкую жизнь, возводить прочное строение — глубокий источник нашей несокрушимой воли к прочному миру. В этом же — источник нашего презрения и ненависти к тем, кто не хозяйствует на земле, а рвачествует, кто никакой честью не дорожит, кто рвётся к разрушению.

Тема прочности жизни — одна из великих тем советской литературы — нашла талантливое выражение в романе А. Малышкина «Люди из захолустья», о котором Михаил Иванович Калинин сказал: «Здесь удивительно конкретно, в соответствии с жизненной правдой, показан рост людей из маленьких городов захолустья на больших стройках».¹

Герой романа Иван Журкин — высочайшего класса мастер, столяр-краснодеревщик, артист и художник своего дела, артист и художник по натуре — гармонист-виртуоз, песенная душа. От отца своего он унаследовал и высокое мастерство, и мечту. Отец не мог применить своё тонкое мастерство, он вынужден был стать простым гробовщиком. И всю жизнь свою он мечтал о счастье, о прочности; ему грезилась собственная мастерская, собственный роскошный катафалк в городе Сызрани, который представлялся ему «туманно-чудесным краем, городом-зарёй». «И что-то ещё более светлое и радостное, чем катафалк, чудесило над Сызранью. Что? Эх, если б правду говорили люди и дело стояло только за мастерством, сумел бы он «показать, что такое мастерство!»

«Что-то ещё более светлое и радостное...» Мечта мастера вовсе не сводилась только к мечте о своей мастерской — нет, это была мечта о настоящей, в полную его, мастера, силу, работе, о такой жизни, в которой — для того чтобы хорошо жить — достаточно быть хорошим мастером, честным тружеником.

Но все эти мечты рушились, и даже сама Сызрань, «город-заря» — куда удалось всё же, наконец, перебраться отцу Ивана Журкина, — сгорел вместе с его собственной мастерской. Сгорел город от одного из тех

¹ М. И. Калинин. О литературе. Лен-издат, 1949, стр. 90

пожаров, которыми богата была прѣлѣнная деревянная Русь,—но пожар этот в романе имел символическое значение, он выражал обманчивость всех мечтаний «маленького» человека о счастье в том обществе, где ценится не строение, а — прибыль, где «дело стоит» не за мастерством, а за волчьей хваткой, да мѣртвой хваткой...

Все мечты, все попытки Ивана Журкина выйти в люди, добиться устойчивости в жизни терпелив крах. И с детства вошло в него недоверие ко всему, что манило призраком удачи; а затем образовалось глубокое убеждение в том, что в жизни всё дело в хищном наскоке, ловкости, обмане, что удача только у людей, владеющих этими свойствами, и он привык относиться с покорной завистью к таким людям: за ними жизнь, а у него, Ивана Журкина,— только мастерство!

Но на большой советской стройке, в «Красногорске», Иван Журкин встречается с совсем иными законами. Всю свою жизнь до этого он «жил на какой-то зыблущейся земле...» И вот:

«Он шагал по твёрдой, по заработанной им теперь земле, шагал, как свой... Душа не отвращалась уже, как прежде, от этой железной чужбины, от её грохотов, лязгов, от сверлящих и режущих звуков, наоборот — она обступала Журкина дружественным многолюдьем». Журкин стал уважаемым человеком, признанным мастером, бригадиром на деревообделочном заводе в Красногорске.

Журкин понял, открыл, что советская власть — это такая жизнь, в которой дело стоит за мастерством, а не за волчьей хваткой! Это открытие, сделанное миллионами Журкиных, означало переворот во всех мыслях, чувствах, навыках, отношениях — во всём! Да, теперь-то можно показать, что такое мастерство!

«Прочности — вот чего никогда не знал он в своей рабочей судьбе. Но теперь он упорно захотел её, этой прочности, он захотел её и для завода, для всей стройки».

Найдя, наконец, прочность жизни, Журкин будет держаться за неё крепко, и яростно будет он бороться за то, чтобы шла как надо жизнь! Он не допустит, чтобы сгорело завоеванное счастье, как сгорел «город-заря» его юности. А до него уже доносится шепоток врагов, тайно ору-

дующих в Красногорске, они сговариваются о поджоге, лелеют в своём диверсантском подполье мечту о том, чтобы сгорела стройка, исчезла, как дым, как призрак..

Журкин «мысленно накинул на эти крыши ветра, объятую огнём Сызрань, которая до сих пор содрогала его в снах. И он видел пламя, ещё страшнее, чем в снах. Оно косматилось старухой, дорвавшейся, наконец, до своего, ликующей...»

В этом образе косматой, злобной старухи, возникающей в пламени, встаёт перед Журкиным вражеская диверсия, война, угрожающая нашей мирной жизни.

Замечательна в романе А. Малышкина история о том, как не получилась песня.

Когда-то, ещё в царское время, своей игрой на гармонике, знаменитой песней: «Измученный, истерзанный наш брат мастеровой», — Иван Журкин увлёк три села — получилось что-то вроде бунта, Журкина арестовали.

И он дал себе зарок не играть на гармонии до тех пор, пока не обозначится прочность в его судьбе. И вот, на Первомайском гулянье в Красногорске Иван Журкин снимает с себя зарок — и начинает песню! Конечно же, ему пришла на память именно та песня русской «мастеровщины», которой когда-то он потрясал сердца: «Измученный, истерзанный... Он ждёт отклика, успеха. И вот оказывается, что не получается эта песня, не зажигает она ни слушателей, ни самого Журкина! Нет теперь в Журкине того клокотанья горя-ярости, которое в давние годы помогло ему сделать из этой песни свой шедевр. Его просят сыграть что-нибудь весёлое, молодёжь хочет танцевать, и он переходит на плясовые мотивы.

Новая песня уже родилась в Журкине — песня о достигнутой прочности, песня о счастье, — а слов для неё ещё не было. Но хотя и не спел он новую песню — мы услышали её мелодию, она прозвучала в нашей душе.

Высоко ценя старую, хватающую за душу, могучую и грустную русскую песню, народ хотел петь новые песни, требовал слов для рождавшихся в душе его новых мелодий. И какую же великую службу народу служила наша советская поэзия! Сколько создала она новых песен о радо-

сти жить, строить, любить в советской стране, в сталинскую эпоху, о том, как широка и щедра и богата родная страна, единственная страна, где так вольно дышит человек! Честь и слава ей, нашей поэзии, честь ей ещё и за то, что строго она к мастерству и гонит прочь «поэтических рвачей и выжиг», помня, что она поёт душу народа, знаменитого своим мастерством во всех делах. Песня любви, песня свободного труда, песня мира — такова песня нашего народа, слагаемая нашими поэтами. Вот почему по всему земному шару поют песни наших поэтов так, как курят трубку мира, как клянутся в дружбе, как рассказывают друг другу о самом главном, самом важном для жизни. Вот почему мы слышим по радио русские слова, которые от нерусского акцента известного всему человечеству голоса певца становятся по-новому дорогими нам, русским: «Широка страна моя родная..» (так это записала Галина Николаева в романе «Жатва»). Конечно, всем она родная — страна, несущая мир всему миру. И вот почему «выходила на берег Катюша на Великий Тихий океан», — как рассказал об этом в чудесном стихотворении украинский поэт Андрей Малышко.

Наша литература рассказывала о путях к счастью миллионов «маленьких» людей, об их яростном и счастливым труде во имя упрочения завоеванного, об их страстном стремлении к миру, к миру, к миру! — чтобы можно было возводить новые и новые города, заводы, «вырабатывающие счастье» народу, а не прибыль монополистам, чтобы шла как надо жизнь! Были ли героями произведений наших писателей руководители, командиры производства, как Глеб Чумалов, или рабочие, как Иван Журкин, — они были борцами за мир, потому что они были созидателями.

Советская поэзия рассказывает о счастье свободного созидания, о небывалом чувстве беспредельных творческих возможностей — чувстве, ставшем достоянием миллионов людей.

Ты по стране идешь. И нет такой преграды,
Чтобы тебя остановить могла.
Перед тобой смолкнут водопады
И отступает ледяная мгла.

Ты по стране идешь. И, по твоей поручке,
Земля меняет русла древних рек,
И море к морю простирает руки,
И море с морем дружится навеки.

... И даже там, где запах трав неведом,
Где высохли и реки, и пруды,—
Проходишь ты—и за тобою следом,
Шумя, встают зелёные сады...

(М. Исаковский)

Образ советского человека в нашей поэзии — образ хозяина, творца волшебной страны, поэта труда и созидания. Эта идея выражена в стихотворении М. Исаковского «У мавзолея Ленина»:

Приходит ночь. И над землей всё шире
Заря встает, светла .
Пусть умер он, — повсюду в этом мире
Живут его дела.

И если верен ты его заветам —
Огням большой весны —
В своей стране ты должен стать поэтом —
Творцом своей страны:

На стройке ль ты прилаживаешь камень,—
Прилады его навеки,
Чтобы твоими умными руками
Гордился человек;

Растишь ли сад, где вечный голод плакал,
Идешь ли на поля, —
Работай так, чтоб от плодов и злаков
Ломилась вся земля;

Услышишь гром из вражеского стана
У наших берегов, —
Иди в поход, сражайся неустанно
И будь сильнее врагов!

Быть поэтом своей страны — значит трудиться вдохновенно, чувствуя себя творцом красоты жизни. Это предвидел Маркс, указавший, что «в исторических формах труда, как рабского, барщинного, наёмного, труд всегда отталкивает, всегда является трудом по внешнему принуждению, а в противоположность ему не-труд — «свободой и счастьем». Это верно в двух отношениях: в том отношении, что это антагонистический труд; и, что связано с этим, в том отношении, что это труд, который ещё не создал себе условий, субъективных и объективных, для того, чтобы он был привлекательным трудом, самоощущением индивида, что отнюдь не означает, что такой труд — простая забава, простое удовольствие, как это крайне наивно, применительно к понятиям парижской гризетки понимает Фурье Действительно, свободный труд, например, труд композитора, есть вместе с тем дьявольски серьёзное дело, интенсивнейшее напряжение. Труд материального производства может получить этот характер лишь тем, что 1) дан его общественный характер, 2) что он

имеет научный характер, что он есть одновременно с этим всеобщий труд, напряжение человека не как определенным образом дрессированной силы природы, а как субъекта, который в процессе производства выступает не в чисто природной, естественно выросшей форме, а в качестве деятельности, управляющей всеми силами природы»¹.

Для экономиста, философа, историка это предсказание Маркса имеет огромный — для каждого свой особый — интерес. Для художников, критиков, теоретиков социалистической эстетики особенно важное значение имеет мысль Маркса о том, что труд материального производства в социалистическом обществе становится — по своему творческому характеру, по глубине, интенсивности, радостной полноте духовного самоосуществления личности, — равным труду композитора, художника. Такой труд даёт и столь же полное умственное и эстетическое, творческое удовлетворение — он становится музыкальным, как труд композитора, поэтическим, как труд поэта.

Поэтический характер, который приобрёл труд в нашей стране, и раскрывает наша литература, всегда связывая эту тему с темой защиты мира. Поэзия слилась с жизнью, потому что сама действительность стала поэзией, — такова одновременно и реалистическая и романтическая основа нашей эстетики, эстетики социалистического реализма. Можно с полным научным основанием сказать, что эстетика нашего искусства — это эстетика мира, потому что это эстетика созидания. Никогда ещё люди не чувствовали так глубоко красоту мира, земли, красоту жизни, как чувствуют наши советские люди. В этом залог ещё небывалых достижений искусства в близком будущем, в этом же причина и такого быстрого массового отклика на все подлинно художественные явления, который характерен для всего стиля духовной жизни нашей страны. Красота действительности и красота искусства неизмеримо глубже раскрываются тому, для кого жизнь — деяние, «строение», как говорит один из горьковских героев, — подобно тому, как ненависть к разрушению, к войне, готовность к яростной защи-

те мира от врагов неизмеримо сильнее у того, кто действует, кто строит жизнь.

Герой нашей литературы работает для настоящего и для будущего.

Эта тема — забота о будущем — нашла своеобразное лирическое решение в стихотворении М. Исаковского «Вишня».

В ясный полдень, на исходе лета,
Шёл старик дорогой полевой.
Вырыл вишню молодую где-то
И, довольный, нес её домой.

Он глядел веселыми глазами
На поля, на дальнюю межу,
И подумал: «Дай-ка я на память
У дороги вишню посажу».

Пусть растёт большая-пребольшая,
Пусть идёт и вишрь, и в высоту
И, дорогу нашу украшая,
Каждый год купается в цвету.

Путники в тени её прилягут,
Отдохнут в прохладе, в тишине,
Наедятся сочных, спелых ягод
И, наверно, вспомнят обо мне.

А не вспомнят — окая досада, —
Я об этом вовсе не тужу:
Не хотят — не вспоминай, не надо, —
Всё равно я вишню посажу.

Чеховский доктор Астров мечтал о том, как посаженные им деревья будут шуметь через тысячу лет и что он хоть немножко поможет людям быть счастливыми, и люди, может быть, помянут его, доктора Астрова, добрым словом. И его мучило: вспомнят они или нет? «Нянька, ведь не помянут!» Он вовсе не был уверен в будущем, доктор Астров, потому что он не чувствовал себя строителем будущего, не был уверен, нужен ли его труд для тех, кто будет «жить после нас». Единственное, что хоть немного облегчало ему его жизнь, это была как раз мысль о прекрасном будущем; но и та была неуверенной; чувство счастья, охватывавшее его при этой мысли, переплеталось с тоской. Сложны были чувства чеховского героя при мысли о вишневых садах будущего.. А тут этот дед, — как отнёсся бы к нему доктор Астров?

В настоящей поэзии всегда остаётся «что-то», трудно поддающееся переводу с языка образов на язык логики.

Поэтическая прелесть заключительной строфы стихотворения Исаковского прежде всего в неожиданности. Всё идёт сначала, «как полагается»: вплоть до заключительной строфы доктор Астров вполне понимал

¹ К. Маркс. Основы критики политической экономии. рукопись 1857—1858 годов.

бы деда Да, конечно, большая радость — украшать землю, способствуя счастьем людей будущего, надеяться, что они вспомнят о тебе.. Но вдруг дед нарушает этот строй чувств: а не вспомнят — не надо, тужить не буду! — «всё равно я вишню посажу».. Это — новая интонация разговора с будущим, которая возможна лишь при непоколебимой, невозмутимо ясной уверенности в том, что будущее — своё, что там будут жить — по-нашенски, — только ещё лучше нашего! Это не то туманно-прекрасное, неопределённо счастливое будущее, совсем не похожее на настоящее, о котором гадают чеховский герой, — нет, это именно своё, понятное будущее; между будущим и настоящим нет разрыва, пропасти; красоту и счастье будущего можно почувствовать в сегодняшнем. И интонация разговора с будущим у героя стихотворения М. Исаковского — ворчливо-добродушная, так можно разговаривать только с близкими, своими: не вспомните, дескать, черти, ну и не надо. Есть тут, конечно, и скромность, но главное — это чувство, что будущее — моё: чего же я сам себя буду благодарить?

Самый такой стиль, весь такой характер отношений с будущим возможен только у хозяев земли, у тех, кто строит жизнь навечно, — и образ этой вишни возникает как завет потомкам — завет вечной дружбы, вечного мира на земле!.

В годы предвоенных пятилеток наша литература рассказывала о том, как мы, советские люди, ведомые Сталиным, торопили время, чтобы скорее, скорее создать непобедимую державу, способную отстоять мир. «Вперёд, время! Время, вперёд!» — написал тогда Маяковский, и один из первых романов об индустриализации назывался этими словами, звучавшими боевым маршем: «Время, вперёд!». Все люди в этом романе В. Катаева, передававшем стремительность нашей стройки, оценивались, противопоставлялись друг другу прежде всего с точки зрения бега времени: стремятся они задержать или ускорить этот неудержимый бег вперёд. Главный герой романа инженер, новатор, много сделавший для ускорения хода строительства, был замечателен именно тем, что шёл в ногу с временем.

«Между ним и временем не было существенной разницы. Они шли.. колено в коле-

но, как два бегуна, как бегун и его тень, узнавая секунды по мелькающим мимо глазам и ладоням».

— Вперёд, время! Время, вперёд! — гремела страна. Подводя итоги первой пятилетки, вождь указывал, что «..партия проводила политику наиболее ускоренных темпов развития промышленности. Партия как бы подхлестывала страну, ускоряя ее бег вперед»¹. Этот бег вперёд задерживал войну. Каждый успех любой бригады строителей был успехом борьбы за мир, каждый положенный кирпич был преградой войне. «Вперёд, время! Время, вперёд!» — разносилось от границы до границы, — и советская литература запечатлела этот порыв великой страны.

В романе В. Катаева была примечательна фигура богатого американского «туриста», приехавшего ознакомиться со строительством советского индустриального гиганта. Он «устал» от техники, от темпов; в беседах с советскими инженерами он настаивает на «возвращении к природе», к «первобытной простоте», как на единственном спасении человечества. Он пренебрежительно говорит о новых городах, подобных Магнитогорску, Кузнецку: «в них нет шума времени», традиций. О, как уже тогда хотелось им, господам туристам, стереть с лица земли эти города, и как страшен стал для них бег времени! Они всё яснее видели, что время работает против них. Буржуазная Америка, бывшая классической страной темпов, выдвинувшая формулу: «время — деньги», стала бояться бега времени!

«Назад, время!» — вопль ярости и страха тех, кто хотел бы задержать ход времени любой ценою — и, конечно, прежде всего ценой войны.

В речи на Парижском конгрессе сторонников мира И. Эренбург говорил: «Варвары, помышляющие сейчас о войне, готовы умертвить будущее человечества, потому что это не их будущее. Они боятся времени, потому что время против них. Они ненавидят жизнь, потому что жизнь — с людьми труда, а не с кучкой хищников. Они хотят войны потому, что они обречены, потому, что вся их философия, эстетика, экономика свелись к одному: к атомной бомбе».

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма. Издание 11-е. Госполитиздат, 1947, стр. 376.

В своих романах И. Эренбург показывает в художественных образах то, что он доказывает в своей художественной публицистике.

В романе «День второй», посвящённом героическим дням первой пятилетки, И. Эренбурга волновала тема, которая может быть, и есть главная тема всего его творчества — тема культуры.

Пришли к власти, стали делать жизнь, строить свою страну миллионы людей, вчера ещё не умевших читать. Время торопило их; рост их был стремителен, как их строительство; строя заводы, сдавая зачёты по высшей математике, они не всегда умели правильно расставить запятые, могли не знать, когда родился и умер Бетховен или Бальзак, как слушать симфонию, смотреть скульптуру. Противоречия этого рода были характерны для тех лет, которым посвящён «День второй», — впоследствии они начали сглаживаться, духовный рост людей становился всё более равномерным.

Каковы же будут судьбы культуры? — возникал у различных кругов интеллигенции вопрос.

Буржуазный запад тогда ещё кичился своей «многовековой культурной традицией», его «интеллектуалы» болтали о «большевистском варварстве», выдавая себя за хранителей вечных культурных ценностей.

Со всей своей страстностью Илья Эренбург выражал в своих произведениях ту мысль, что «культура не рента: её нельзя хранить в шкапу. Она создаётся ежечасно — каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком» («День второй»). Культура — это ежедневное, ежечасное созидание культуры. Можно быть деятелем культуры, её строителем даже и тогда, когда вы ещё не знаете, как надо слушать симфонию, но страстно хотите знать это, потому что чувствуете возможность создания новых симфоний. «Это и есть рождение культуры, её рост, мучительный, трудный рост». И можно помнить десятки симфоний, тысячи книг, и быть вне культуры человечества — потому что тот, кто не строит культуру, не двигает её вперёд — тот не культурен, хотя бы он знал все формулы, все стихи, все картины. Если такой «знарок культуры» только знает, но не строит — то и всё то, что он знает, те-

ряет движение, жизнь, становится мертвенно-пустым, а значит, и враждебным культуре. Вот таков и есть тип современных буржуазных «интеллектуалов» из тех, кто отказывается подписать воззвание человечества против атомной бомбы.

Глубока, жизненно важна эта тема И. Эренбурга

Всегда интересно отметить постоянство, верность писателя своей кровной теме, обогащаемой и развиваемой им на протяжении творческой жизни

Уже в романе «День второй», в романе о первой пятилетке, о Кузнецкстрое, Эренбург нарисовал образ внутренне опустошённого молодого буржуазного «интеллектуала» Володи Сафонова. В припадке откровенности, в озарении самопонимания Сафонов даёт трезвую оценку самому себе и подобным ему. Выступая на собрании заводского литературного кружка, он сопоставляет советскую молодёжь с западными буржуазными студентами.

«Можно знать и действовать. Есть.. мёртвое знание.. То, к чему вы стремитесь, это живая вода.. вы уже знаете куда больше, чем эти французские студенты с их дипломами и Буль-Мишем. Я не спрашиваю программ. Я говорю о подходе к знанию. Они знают то-то и то-то. Для них важно занять место в готовой жизни, а вы хотите эту жизнь создать. Поэтому вам важно знание как таковое. Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро потому, что лично я скорей всего обречён.. моё знание не нужно. У профессоров вы учитесь.. Это и есть те черенки, которые прививают. А я просто ветка. Её можно отрезать. Листья на ней есть, поэтому и кажется, что я молод. Но плодов не будет».

Его отношение к книгам? Пожилая одинокая библиотечарша, благоговейно живущая для книг, прониклась уважением и даже влюблённостью к этому молодому читателю: он прочитывал уйму книг. И вот однажды он признался ей: «Вы думаете, что я люблю книги? Я вам скажу откровенно. я их ненавижу! Это — как водка. Я не могу теперь жить без книг. Во мне нет ни одного живого места Я весь отравлен Я спился. Вы понимаете, что значит спиться? Только алкоголиков лечат А от этого нет лекарств. Бессмыслица, но факт. Будь это в моих силах, я поджёг бы вашу

библиотеку. Вот принёс бы керосин, а потом — спичкой. Ах, как это хорошо было бы! Представьте себе...» Он не докончил фразы: он поглядел на Наталью Петровну и сразу замолк. Она дрожала, как в лихорадке... Потом она строго поглядела на Сафонова: «Уйдите! Вы хуже всех. Вы варвар. Вы поджигатель».

Писатель глубоко раскрыл самую сущность такого «интеллектуала», который чужд созиданию, деланию культуры, потому что чужд народу, массовым движениям миллионов людей. Он ненавидит культуру со знанием дела. Он чужд культуре, потому что чужд жизни. Он поджигатель.

Эти мысли, выраженные И. Эренбургом в художественном творчестве, получили новое развитие почти через два десятилетия в его публицистике, в его непосредственной борьбе за мир.

Володя Сафонов был маленьким уродцем с большими возможностями, отщепенцем из породы космополитов.

В своей статье «Капитуляция начётчиков» И. Эренбург создаёт обобщённый образ начётчика — субъекта, пропускающего сквозь свой мозговой аппарат уйму книг и готового сжечь их. Среди начётчиков — «Андре Жид — начётчик со стажем. Он великолепно усвоил стиль великого века французской литературы. Он написал много книг, посвящённых восхвалению пороков (по его словам, эти книги были ему «внушены господом богом») Когда войска Гитлера вошли в Париж, Андре Жиду шёл восьмой десяток. Писатель вёл дневник, который впоследствии опубликовал. Можно подумать, что, увидев вражеские полки на улицах родного города, он почувствовал стыд, гнев, негодование Нет, продолжая заниматься своим ремеслом начётчика, он записал в дневнике: «То, что сейчас называют изменой, завтра будет называться здравым смыслом. Я чувствую в себе неограниченные возможности принять всё происходящее». Пожалуй, из всего написанного Андре Жидом это наиболее искренние слова. Они запоминаются. Андре Жид точно определил не только себя, но и многих других: возможности начётчиков действительно безграничны Мы видим, как сейчас они снова выдают измену за здравый смысл...

Среди начётчиков-поджигателей и Фран-

суа Мориак, приветствующий генерала Брэдли в Париже за то, что тот рассматривает Францию, как пешку в зловещей игре, и американский разведчик — «французский» писатель Жюль Ромэн, и английский «философ» Бертран Рассел, — все они и им подобные представляют разновидности метко охарактеризованного И. Эренбургом типа начётчика. Начётчик впустил в себя культуру, как в гроб.

Борьба советских писателей за мир — это борьба за мировую культуру. И мы видим, насколько естественной, органической является для них эта борьба, как глубоко связана она с кровными, постоянными темами их творчества, вдохновлённого советской действительностью, сталинской эпохой.

Замечательное подтверждение кровной связи между сегодняшней борьбой наших писателей за мир и органическими темами их художественных произведений — творчество Леонида Леонова.

Леонов принадлежит к тем писателям, в чьих произведениях тема будущего играет большую роль. Всегда населял он свои романы мечтателями, ведущими разговор с будущим. Автор, рассказывая об их мечтаниях, чуточку усмехается, незаметно, только в интонации, как будто лишь в глазах поблёскивает неуловимая дружелюбная улыбка, — суть-то вся в том, что мечтания «чудаков» сбываются, всегда сбываются! Вот с такой чуть улыбочивой интонацией рассказывал Леонид Леонов, как мечтали о будущем герои его романа «Соть» — одного из первых романов, посвящённых мирному наступлению первой сталинской пятилетки.

«Соть» давала картину огромного индустриального строительства в глухом краю, нетронутом лесу. Началось это строительство по инициативе энтузиастов, влюблённых в свой глухой лесной край, тоскующих о том, что леса напрасно погибали при буржуазных «хозяевах» Один из таких энтузиастов — Сергей Потёмкин, простой человек, бывший солдат, рабочий, ставший государственным деятелем, не может ни о чём другом думать и говорить, как о своём проекте строительства гигантского бумажного комбината в этих, родных ему, местах Проект его разрастается: сначала речь идёт всего-навсего о скромном бумажном предприятии, а затем мечта всё расширяется, представляется даже невы-

полнимой, фантастической. И всё же она сбывается!

«Постепенно мечтание его пухло, множилась и уже громоздкие принимало очертания. Лесные массивы простирались бесконечно и столь разумно были изветвлены реками, точно природа провидела их будущее назначение... В месте слияния... рек громоздился крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат, окружённый достойными его лесозаводами; напуганный собственной мечтою, Потёмкин стал вдруг сдержан и молчалив. Строительство идёт полным ходом. Пять тысяч строителей в три смены заканчивают возведение корпусов.. Медлительно и лениво стальные чудища расползаются по узорному плиточному полу и тотчас же их впрягают в широкие ремённые вожжи. Они ещё спят, но однажды с ревом и грохотом пробуждаются к работе, и в этот ответственный день Потемкин ведёт неведомого Жеглова хотя бы на водонасосную станцию! Все волнуются, но не показывают виду. Выгнув толстые чугунные шеи, в которых бешено мчится теперь обезумевшая Соть, пыхтят и взвизгивают центробежные насосы, и Потёмкина не раздражают нарисованные кем-то на шее чудовища плутоватые глаза. Корпусов уже не семь, как мечталось вначале, а вдвое, и в каждом бьёт в лицо масляный зной, дуют зловещие электрические ветерки. В разлитых улицах заводского городка цветут акации..»

Край благоденствует... но Потёмкин и тогда не предаётся заслуженному покою. Потёмкин не спит; он выпрямляет и углубляет древние русла рек, вчетверо увеличивает их грузоподъёмность, заводит образцовое лесное хозяйство. Потёмкин объединяет три губернии вокруг своего индустриального детища. Потемкин открывает бумажный техникум.. Сны подгоняют явь, а явь торопит сны...»

Да, всё это казалось дерзким тогда, когда писалось, — всего около двух десятков лет назад, — и кажется довольно скромным в наши дни.

Гениальность сталинских планов, сталинская забота о быстрейшем росте нашей промышленности, героический труд народа — значение всего этого мы поняли с новой силой в годы испытаний Великой Отечественной войны. Без творческого напряжения предвоенных пятилеток мы не

смогли бы разгромить гитлеризм. Об этом сказал Леонид Леонов в своей здравнице в честь великого Сталина — «Слово о первом денутате».

«Когда на Нюрнбергоком процессе переводчик шептал мне в микрофон о подрывностях зверского фашистского изуверства, казалось мне — это совесть шепчет мне в ухо:

— Что, понял теперь, миленький, почему уголь, нефть и сталь полтора десятка лет не сходили с наших газетных столбцов? Потому, что из этих первородных грубых стихий, с прибавкой человеческого творчества, создаётся таинственный сплав свободы и счастья.

...Теперь полностью дошло до твоего сердца вещее капитанское слово, сказанное в начале нашего похода к праведной земле: «Либо мы сделаем это, либо нас сомнут?»»

Не смяли!

Не смяли потому, что мы вели наше мирное наступление, потому, что в нашей стране всегда добывались своего вот такие энтузиасты, каков был леоновский Сергей Потёмкин.

Не смяли потому, что Сталин вёл нас в годы пятилеток и в годы войны, с тою же мудростью, с какою он ведёт советский народ в годы послевоенного строительства.

В статье «Имя радости», написанной сразу же после победы, Леонид Леонов выразил мечту всех советских людей о вечном мире между народами:

«Немыслимо в одно поколенье собрать урожай такой победы.

Советские люди сеяли её долго, каждое зёрнышко было опущено в почву заботливой и терпеливой рукой. В зимние ночи они своей улыбкой грели её первые всходы, они берегли их от плеведа и летучего гада, и вот под сенью первого ветвистого и плодоносного дерева собираются на пиршество войны и кузнецы оружия. Они запевают песню новой, мирной эры, и если только человечество сохранит мудрость, приобретённую в войне, как оно стремится сберечь боевую дружбу, этой величавой заповке подтянут все.. а песня — как братский кубок, она сроднит народы на века! Какой нескончаемый праздник предстоит людям, если они не позволят подлым изгадить его в самом зародыше. Давайте мечтать и со-

обща глядеть за горизонты грядущего столетия, — отныне это тоже становится умной и действенной работой Мечтой мы победили тех, у кого ее не было вовсе...

Итак, пусть это будет гордый и честный благоустроенный и строгий мир... Молодые люди, созревшие для творчества жизни, отныне не будут корчиться на колючей проволоке концлагерей. На планете станут жить только мастера вещей и мысли, подмастерья и их ученики; многообразен труд и только руки мертвеца не умеют ничего. Стихии станут служанками человека, а недра гор — его кладовыми, а ночное небо — упойтельной книгой самопознания, которую он будет читать с листа и без опаски получить за это нож между лопаток Красота придёт в мир, та самая красота, за которую бились герои и которую люди иногда стыдятся называть, ибо наивно звучит всякая вслух высказанная мечта... Только безумец или наследственный тунеядец, питающийся людским горем, смеет утверждать, что люди не доросли до такого счастья, что им приличней начинать свою жизнь в бомбоубежищах и кончать её в братских могилах.

..Люди хотят жить иначе, их воля переходит в действие.. Мы родились не для войны, и когда мы берёмся за меч, то не для упражнения в человекоубийстве, не ради весёлой игры в Аттилу, какую сделали войну германские фашисты. Мы люди простые, рабочие Освободительная война для нас — почётный, но тяжкий и опасный труд..»

Когда большой советский писатель в своей публицистике, представляющей собою особый вид художественной прозы, отстаивает мир, труд, мастерство, мечту о дружбе всех народов, о том, чтобы окончательно похоронить войну, — то это настолько не отделимо от его непосредственно-художественного творчества, от его романов, повестей, стихов, что кажется, будто перед нами даже и не статья писателя, а продолжение мыслей, мечтаний какого-либо из героев произведений автора. настолько глубоко борьба за мир, за возможность свободного человеческого творчества на земле проникает всю советскую литературу! Именно такова публицистика Леонида Леонова — правдивая, идущая от сердца к сердцу, прочная, честная русская художественная проза, писательская вахта мира.

Не может быть человека на земле, какой бы нации он ни принадлежал, кто бы он ни был, — который мог бы остаться равнодушным к правде, рассказываемой миру нашими писателями. Нужно быть именно не-человеком, поджигателем, начётчиком, чтобы остаться холодным к тому, например, о чём рассказывал Леонид Леонов в речи, произнесённой на митинге во Вроцлаве во время Всемирного конгресса деятелей культуры в защиту мира. Рассказал он в этой речи об одной подробности, характерной для всего «стиля» современной империалистической войны, кем бы она ни велась — немецкими или американскими империалистами.

«Мне думается, что некоторые особенности второй мировой войны, в частности, характеристика врага, стоявшего по ту сторону наших траншей, лучше всего выразилась в предсмертном крике пятилетней девочки, о чём мне рассказал уцелевший свидетель на харьковском процессе... Дело происходило так. К заранее приготовленным ямам привезли для истребления шестисот человек. Это были старики, инвалиды, женщины и дети Накануне выпало снегу на метр, мороз достигал 25 градусов. И когда все стояли уже раздетые, потому что, как вы знаете, одежда жертв служила сырьём для германской лёгкой промышленности, ребёнок прокричал эту фразу: «Дяденька, я боюсь!»

. Мы.. знаем, что доллар не плачет. Нет, жалоба пятилетней девочки не терзает ему сердце. Он ничего не совершает попусту или в ущерб себе. Деньги есть деньги, они умеют расти за счёт человеческой крови. Доллару нужны плацдармы в Европе, нужны не менее, чем бездушные двуногие, во всём отчаявшиеся автоматы, готовые исполнить его любую волю..

...Мы пришли сюда защищать.. детей. И не только беззащитные тельце этих пятилетних крошек, ещё не успевших крикнуть перед командой заокеанского атомника: «Дяденька, я боюсь», а живую прекрасную птицу их веры в правду, в человеческое величие и в мужественную честность их отцов..

..Великое счастье жить и трудиться на свободной земле, но никакое счастье не даётся без боя Боритесь за него, пусть каждый станет верным солдатом мира, ес-

ли не хочет стать солдатом или жертвою новой войны».

Верный солдат мира — таков писатель непобедимой миролюбивой советской державы, писатель, сражающийся каждой своею строкою за то, чтобы никогда, никогда люди не убивали друг друга!

Советская литература со всё большей художественной силой и глубиной рассказывала о счастье всенародного, повседневного, свободного созидания, о радости превращения простого человека в хозяина времени, хозяина истории. Радостью свободного созидания пронизаны и «Цемент» Ф. Гладкова, и «Люди из захолустья» А. Малышкина, и «Время, вперед!» В. Кзтаева, и «Энергия» Ф. Гладкова, и «День второй» и «Не перевода дыхания» И Эренбурга, и «Соть» Л. Леонова, и «Гидроцентраль» М. Шагинян, и «Страна Муравия» А. Твардовского, и «Бруски» Ф. Панфёрова, и «Поднятая целина» М. Шолохова, и «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» А. Макаренко, и «Танкер «Дербент» Ю. Крымова и многие другие отличные книги нашей литературы. В этих книгах писатели рассказывали о том, как наша Родина превратилась в страну новаторов, где смелая, умная творческая инициатива стала массовой, всенародной. Такие замечательные книги, как «Танкер «Дербент» Юрия Крымова, подробно и деловито раскрывали производственную, техническую сущность массового новаторства, и оказывалось, что всё это — самая настоящая, увлекательная, захватывающая поэзия, потому что это было творчество самого народа. Никогда ещё у литературы не было такой великой задачи: рассказывать о том, как народ, руководимый партией Ленина и Сталина, сознательно, свободно творит историю!

Наша литература всё больше овладела тем, что можно назвать тайной радости. И в этом сказывалось великое её новаторство. Прежде счастье было только искомым, его не находили, и иллюзии о его возможности утрачивались, — именно это и было обыкновенной историей. Советская литература училась рассказывать не только о том, как люди ищут счастье, — она рассказывала о том, как люди бывают счастливы, о том, что такое — найденное счастье. Поистине, для этой темы не существова-

ло никаких литературных традиций, — тут все нужно было строить заново — так же как и советский народ, впервые в истории человечества, строил счастье на земле, залитой кровью, до краев наполненной страданием.

Наше писатели создавали книги о счастье. А. С. Макаренко, великолепный мастер педагогики и литературы, писал книги о том, как нужно устраивать счастье детей.

Наше драматурги уже в начале тридцатых годов разрабатывали такие драматургические конфликты, которые возникали в борьбе за счастье, за победу жизни над смертью.

Герой пьесы А. Корнейчука «Плачущий Кречет», молодой советский врач-новатор, в следующих словах выразил пафос всей советской гуманистической науки — как и всей нашей литературы:

«У человечества украдено солнце на миллионы лет. Мы возвращаем его. Впервые в истории человечества у нас смерть отступает. И я верю. — недалёк тот день, когда мы уничтожим преждевременную старость навсегда, отвоюем у смерти время, вернём будущим поколениям миллионы солнечных дней».

И вся драматургия А. Корнейчука окрашена дружеской, ласковой заботой о человеке, стремлением заставить смерть отступить перед жизнью, помочь всему передовому против косного и тёмного, приблизить полноту счастья

Во время великой освободительной войны против фашизма А. Корнейчук выступил с пьесой «Фронт», по-солдатски сражавшейся за скорейшее окончание войны. И когда пришла победа над фашизмом, над смертью, Корнейчук создаёт пьесы «Приезжайте в Звонковое», «Калиновая роща» — проникнутые солнцем, улыбкой, романтикой мира, поэзией мирного созидания.

Наша литература дала человечеству книги о счастье труда, о счастье любви. И ей же пришлось рассказать о том, что горечью было облиты это счастье, окружено лютой враждой тех, кто ненавидит людей и всё человеческое.

Страстная, неистребимая тяга советского человека к мирному труду, ненависть к тем, кто навязывает войны, гнев, горечь за то, что столько сил и жертв приходится людям нашей эпохи отдавать войне, защи-

щаясь от врагов мира,— эти мотивы играют большую роль в лирике Алексея Суркова.

В 1942 году, на грозном Западном фронте написать стихотворение с парадоксальным по идилличности для такого времени и такого места заглавием: «Скворцы прилетели»,— и быть, вместе с тем, бесконечно далёким от слашавой идиллии или усталости, оставаться воином, солдатом в битве за мир,— мог только советский поэт. Речь идёт в этом стихотворении А. Суркова о скворцах, прилетевших из-за теплого моря к знакомым местам:

... А здесь — пепелища в крови и разоре,
Ни хат, ни ребят, ни скворешника нет.

Ну, как это птичье бездомное горе
Отзывчивой русской душе не постичь?
Сощурысь от солнца, на вешнем просторе,
Волнуется плотник — сапёр костромич.

— И людям мученье, и птицам не сладко
На этих пропащих дорогах войны.
Я так полагаю, что новую хатку
Сапёры срубить погорельцам должны...

Звенят топоры. Зашуршали рубанки
Над прелью пропитанной кровью земли.
Горелые доски и старые планки
И ржавые гвозди в работу пошли.

Червоного золота жёлтые пятна
Весна разбросала по плоским штыкам.
Сегодня мы плотники. Любо, приятно
Стругать эти доски рабочим рукам

И кровля и стенки отструганы гладко.
Солёные капли набухли на лбу.
Над пеплом пожарища новая хатка
Уютно белеет на чёрном дубу...

Разительный контраст радости мирного труда и горечи войны, с такой остротой подчёркнутый в стихотворении, бесконечно далёк от благостного вздоха, от благонамеренно пустых пожеланий. Лирический герой советской поэзии знает, что счастье мирного труда нужно отвоевать своими рабочими руками. Но с какой силой искренности стихотворение А Суркова говорит о том, что самое главное, самое важное для советского человека — это ни с чем не сравнимая радость мирного труда!

Советские солдаты — лучшие солдаты в мире именно потому, что они — солдаты мира.

Русская советская солдатская душа, и вся горесть, и вся чудовищность войны, и властное, могучее требование мира — всё

это вылилось в одном из наиболее сильных стихотворений А. Суркова — «На меже». В сожжённой ржи лежит труп застреленного немцами человека; они убили его за то, что он не мог отдать врагу эту рожь, поджёт её. И вот он лежит —

На земле, которую любил,
На которой скоротал свой век,

Спит убитый пахарь.

Это был
Работящий русский человек.

Мы чувствуем, перечитывая их сегодня, как яростно воевали эти стихи, неистово сражались за мир, доходили до солдатской души и освящали, удесятярили гнев к врагу,— именно вот такими простыми, как будто спокойными словами, увенчивавшими стихотворение: «Это был работящий русский человек». В этих словах спокойствие, которое яростнее всех гневных слов.

Именно те из советских поэтов, в чьем творчестве тема войны играет особенно важную роль, и создали наиболее сильные образы, выражающие гнев и оскорбление чудовищной противоестественностью, преступностью захватнической войны. В самом деле, разве не запомнился навсегда читателю образ убитого пахаря! В своей скорбной простоте этот образ яростно воюет против войны.

У межи сожжённой ночью ржи
Человек застреленный лежит.
Обгорелый синий фасилёк
На лицо морщинистое лёг.
Под волнистым облаком, в выси,
Жаворонок плачущий висит...

Это — эпические строки, они звучат как народная песня печали и гнева, забываемой простой, русский, народный образ; в далёкой выси плачущий жаворонок ..

Поэма «Дом у дороги» А Твардовского вся вопиет о преступности фашистской, империалистической войны.

Действие поэмы начинается в первый день войны, в селе Поэт рисует наполненный счастьем летний день — один из тех дней,

Когда нам вдруг с чего-то —
Еда вкусней, жена милей
И веселей работа.

Коси, коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой.

Герой поэмы косит луг, дома его ждёт жена — и вдруг «с нешадной силой старик-

ным голосом война по всей стране завывала» Герой уходит на фронт. Немцы угоняют его семью в Германию. Просто, без восклицаний написаны главы, рисующие жизнь семьи в фашистском плену, рождение мальчика на чужбине, в неволе. Ребёнок родился в концентрационном лагере.

Ещё он в мире не успел
Наделать шуму даже,
Он вскрикнуть только что посмел
И был уже под стражей.

Уже в числе всех прочих он
Был там, на всякий случай,
Стеной-забором ограждён
И проволокой колючей.

И часовые у ворот
Стояли постоянно,
И счетверённый пулемёт
На вышке деревянной...

Враждебность дикой, остервенелой империалистической войны самому существованию человечества на земле выражена в этом образе ребенка, заключённого в концентрационный лагерь за единственную вину: за то, что он родился. Смерть дошла уже до такой лютости, что не только обрывает жизнь людей, но и стремится убить самую возможность жизни. Насилие над только что родившейся жизнью, превращение младенца в узника, охраняемого своеобразным ангелом-хранителем, счетверённым пулемётом, — такова безумная, нечеловеческая, бредовая нелепость, невообразимая противоестественность паляча жизни — империализма.

Бой идёт святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле...

(«Василий Тёркин»)

В романе «Счастье» П. Павленко есть глава, в которой изображается встреча Нового года в детском санатории в Крыму, после освобождения Крыма от фашистов. Герой романа, полковник Воропаев, вышедший из армии в отставку по инвалидности, сначала посмотрел детский хоровод вокруг ёлки, а потом директор санатория, Мария Богдановна Мережкова, провела его «в дальние комнаты дома, из которых доносились звуки радио.

— Это мои философы, — сказала Мережкова, открывая дверь навстречу звукам.

Никто не предупредил Воропаева о том, куда его ведут и что он увидит, и потому лицо его невольно вздрогнуло, когда он

оказался в комнате, где на пяти кроватках, сдвинутых к столу, лежало пять искалеченных детских фигур. Радио передавало из Москвы концерт. Дети внимательно слушали музыку и недовольно обернулись к вошедшим.

Мережкова жестами попросила выключить радио, но её, видно, не сразу поняли, и, пока длился этот немой разговор, Воропаев осторожно огляделся. В двух шагах от него, опершись на руку, лишённую пальцев, лежала девочка лет тринадцати или четырнадцати, с яркосиними, точно нарисованными глазами и тонким мыслящим личиком, обрамлённым темнокаштановыми волосами. По первому взгляду она чем-то неуловимо напоминала врубелевскую Тамару, но это литературное сравнение оказалось неверным, в ней, в этой девочке, ничего не было романтического. Она была совершенно безыскусственна. Рядом с ней, поближе к репродуктору, стояла почти полупустая кровать, на которой лежал вниз головой очень короткий мальчик, даже как бы только часть мальчика. Воропаев успел заметить вихрастую голову, худую шейку, не по возрасту узкие плечики, карандаш в зубах мальчика, что-то таким образом рисующего в альбоме. Вдруг догадавшись, отчего у ребёнка такая фигура, Воропаев покраснел и стыдливо отвёл глаза в сторону. Но взгляду в этой тихой музыкальной комнате не на чем было отдохнуть. Теперь он увидел мальчугана без обеих ног, бойко сидящего, как белый грибок, у самого края стола. Он был здесь, очевидно, за старшего или за коменданта, и именно с ним переговаривалась знаками Мария Богдановна, прося утихомирить радио. Пятая фигура принадлежала мальчику с плохим или, может быть, навсегда потерянным зрением. Он лежал, прикрыв рукою глаза за синими очками, и, казалось, не заметил прихода гостя.

— Я привела к вам товарища Воропаева, — назидательным тоном произнесла Мария Богдановна...

...Гремя своим протезом, он неловко стал усаживаться на стуле. Все дети повернулись в его сторону и по-взрослому оглядели его с ног до головы таким холодным взглядом, что он почувствовал этот холод даже своей спиной.

— Мы уже знаем вас, товарищ Воропаев, — первой начала девочка с синими гла-

зами,— о вас нам много рассказывали, а вы слышали о нас?

— Нет, должен признаться, я ничего о вас не слышал, и это, каюсь, моя вина...

— Это как раз очень хорошо,— перебила его девочка, нервным движением отбросив вверх волосы и приоткрыв чудесной лепки лоб. Она волновалась потому, что, как Воропаев догадался, ораторствовала от липа всех.

— Это очень хорошо, что вы о нас ничего не знали, иначе вы бы вошли к нам с другим лицом, заранее грустным. Мы, знаете, редко видим весёлых людей, то есть я хотела сказать, что с нами даже весёлым скучно.

Сразу же понял он, что тут нельзя произнести ни одного слова неправды.

— Ну, меня ваша компания не расстроит,— сказал Воропаев.— Я сам почти такой же, а если считать мои внутренние хвробы, так и безо всякого «почти». Представьте мне их, Мария Богдановна.

— Мы сами, сами! — девочка пыталась сжать тонкие выразительные руки без пальцев.— Я — Зина Кузьминская из Смоленска. Папа партизан. Ну, пришли, потребовали, чтобы я указала, где он. Я отказалась. Тут же, в нашей комнате положили мои руки на край стола. Но самое идиотское, вы понимаете, что потом оказалось, искали даже не моего отца, а другого партизана...

Она передохнула, считая, что о себе уже достаточно сказала, и перешла к соседу, мальчику с коротким туловищем.

— Это наш «Колобок», Шура Найдёнов, он по званию среди нас самый глазный, потому что ему труднее всех. Он пострадал при бомбёжке.

«Колобок» раздражённо вонзил карандаш в бумагу и тихо сказал:

— Давай дальше.

— Он без рук, без ног, читает и пишет, держа карандаш во рту, и сам перелистывает странички особой резинкой и даже сам понемножку передвигается... Вот потому он и самый старший, что больше нас всех умеет.

А у радио — это Петя Бунчиков. Немцы гоняли его с отцом и матерью по минному полю. Он без ног. А тот, который в очках,— это Лёничка Ковров. Он ещё пока не видит, но говорят, его скоро вылечат.

Тоже бомбёжка. Он самый младший, потому что меньше всех умеет, а потому он временно несчастный, не то, что мы, остальные.

— Ну, стало быть, я самый младший из вас, младше Коврова,— отвечал ей Воропаев,— потому что у меня нет ноги, что, конечно, не имеет большого значения, нет трёх рёбер, что совсем уж пустяки, да имеется совершенно не обязательная дырка в лёгких и несколько дырок в корпусе — сушая чепуха.

— А что не чепуха? — не поднимая на Воропаева глаз, с вызовом спросил «Колобок».

— Я не смеялся, сказав, что чепуха, ты зря на меня ошестинился. Тебе намного труднее, чем мне, но и мне в моём положении не легче, чем тебе!

Зина захлопала в свои кругленькие беспальные ладошки.

— Люблю такие головоломки.

«Колобок» рыбным движением повернулся боком, чтобы лучше видеть и слышать.

— Это почему так? — спросил он, наморщив лоб.

— А потому, милый, что у меня есть сынишка, и он болен, а я не настолько ещё силен, чтобы тянуть за двух...

— Чего вы на ёлку, между прочим, не идёте?

— Стесняются,— сказала Мария Богдановна — Уж я уламывала, уламывала.

— Да вы, ребята, что, в своём ли уме? Неужели и правда стали стесняться своих ран? Мало ли было отличных людей и работников с физическим недостатком? Один великий математик был слепой от рождения. Да возьмите Николая Островского! Чем его положение отличалось от найдёновского? Так что, выходит, и я должен от людей прятаться, да? Так вы мне советуете? Нет, я прятаться не буду. Мне ногу отрезали не за воровство, не за бандитизм, я потерял её в бою,— это самый высочайший мой орден чести, ребята. Стыда нет в том, что у меня одна нога, а у Бунчикова ни одной, а у Найдёнова ещё рук нет. Мы с вами, ребята, бойцы, а не жулики. А ну!.. Опанас Иванович!

Тот шагнул в комнату и невольно вытянулся по-военному — так внушительно прозвучал воропаевский призыв.

— Зови кого-нибудь! Выкатывайте кровати!..

Вбежали Светлана и Аннушка.

— Колонну веду я. За мной — Найдёнов, за Найдёновым — Зина, за ней — Бунчиков. С Ковровым в качестве секретаря следует Светлана Чиркова.

— Я не хочу, чтобы надо мной смеялись, — испуганно прокричал Найдёнов, но было видно, что это последняя вспышка его уже побеждённой застенчивости.

— Объявляйте, Мария Богдановна, что выходят дети войны, — пусть встречают их стоя».

Сколько высокой человечности, любви в этой сцене!

Легко можно представить себе, что она совсем не так была бы написана, не так звучала бы, если бы встретилась не в советской литературе.

Она могла бы быть написана в духе обессиливающей жалости Ф. М. Достоевского — той жалости, которая ослабляет волю к борьбе, к жизни, зовёт покорно раствориться в страдании. Она, эта сцena, могла бы быть написана в стиле той литературы ужаса, которая способна только оскорбить страдание. Литература современной империалистической реакции — литература убийц — любит таким способом издеваться над человеческими мучениями. Или же эта сцена могла быть написана в молитвенном преклонении перед страданием детей, — писатель мог бы подойти к своей задаче «с другим лицом, заранее грустным»; он мог бы оказаться таким же, как те, о которых говорит девочка с яркосиними глазами: «с нами даже веселым скучно». Мог бы оставаться, наконец, у писателя и иной выход: описать всё протокольно-точно, — пусть факты говорят сами за себя; к таким фактам нечего добавлять. И только советский писатель мог написать это с такой жизненной силой, так мужественно и человечно, естественно, без натянутости, и дети здесь — не маленькие старички, а настоящие дети! И не только потому герой романа мог взять такой верный, без тени фальши, живой и простой тон в разговоре с этими детьми, что и он сам, полковник в отставке, тоже инвалид великой войны, как и они. Это, конечно, важно в данном случае, но не это ещё главное. А суть в том, что великой советской Родине нужны жизни этих детей — нужны, как Матери И Воропасв говорит с ними голосом социалистической Родины.

Литература, умеющая передать простые и великие человеческие чувства, — великая литература. Она говорит голосом Советской страны, голосом партии Ленина — Сталина. И она, эта литература, имеет особое право сказать людям всех стран:

— Берегите ваших детей, матери и отцы! Где бы вы ни жили — от вас близко-близко Корея, где дети-«колобки», без рук и ног, оторванных американскими бомбами, смотрят на вас своими детскими глазами. Дети всего мира требуют: за пр е т и в о й н у!

В нашей стране особенно любят детей, у нас лучшая в мире литература для ребят, умеющая говорить с ними нежно и мужественно. И полно глубокого смысла, что наш лучший детский поэт, С. Маршак, стал, в Отечественной войне и в послевоенной битве за мир, политическим трибуном, блестящим поэтом-сатириком.

Как увлекателен мир мудрой и доброй сказки, в который вводит детей поэзия С. Маршака! Хорошо писала критик В. Смирнова в предисловии к книге С. Маршака:

«В этой книге живут сказки, звонкие песни и шуточные загадки, рассказы о героях, и смешные, веселые приключения...

...Автор книги — друг детей: он хочет научить их любить родную Советскую страну, уважать честный и полезный труд и человека — мастера всякого дела.

В этой книге много шуток, смеха и веселого озорства. Маршак умеет развеселить и обрадовать своих маленьких читателей. Он знает секрет радости. «Стань добрее — будешь веселее» — говорит у него в сказке добрый Дед».

И когда война бросилась на нежный мир детства, Маршак стал на защиту радости, смеха, сказки, на борьбу против тех, у кого заготовлены злые подарки для детей — колючая проволока, бомба. И как во время войны острые, беспощадные коротенькие стихотворения, образцы разящей сатиры, были убийственны для немецких фашистов, так в наши дни битвы за мир стихи С. Маршака убийственны для американских военных преступников и их подручных в разных странах.

Подлинное художественное своеобразие политической сатиры С. Маршака придёт то, что в ней сохраняется знакомая нам по его стихам для детей, особая, маршаксв-

— Это верно, что не хочется,— отвечает ему генерал Проценко,— мне тоже не хочется. Не хочется думать, но надо, необходимо думать, тогда, может быть, и не будет».

Мы перечитываем это сейчас, как завет сталинградцев всем тем, чьи жизни они сохранили. Надо, необходимо помнить, что поджигатели войны действуют — значит, все люди мира и труда обязаны отдавать все силы борьбе против войны. И тогда её не будет.

В пьесе «Русский вопрос» Симонов бичует тех, кто стремится оболгать, оклеветать, вытравить из памяти человечества Сталинград, людей Сталинграда. Эта пьеса сражалась за мир. Она показывала, что «русский вопрос» — это вопрос мира, это защита мира во всём мире.

Пьеса раскрывала приёмы подрывной деятельности тёмных сил, она была первым художественным произведением, предупредившим человечество о том, что центр фашизма и подготовки войны переместился в Америку. Мы увидели в пьесе две Америки: Америку фашистов, Уолл-стрита (тогда, в 1946 году, когда вышла пьеса, для многих — особенно за пределами нашей страны — была еще не очень привычной мысль об американском фашизме) и — Америку честных, простых людей, друзей мира. Пьеса как бы открывала тот новый, своеобразный цикл произведений послевоенной советской литературы, который прямо, непосредственно посвящён борьбе за мир против поджигателей войны. За нею последовал ряд таких значительных, талантливых драматургических произведений, как пьесы А. Якобсона «Жизнь в цитадели» и «Два лагеря», Николая Вирты «Заговор обречённых», Б. Лавренёва «Голос Америки», Н. Погодина «Миссурийский вальс», — пьесы, бичующие англо-американскую империалистическую реакцию, её подрывную работу против мира, её цинизм, доходящий до методической подготовки бактериологической войны. Разоблачая реакцию, эти пьесы одновременно утверждали силы прогресса, свободы, мира. Появился также ряд поэтических произведений, непосредственно посвящённых этим темам. И здесь одно из значительных явлений — стихи К. Симонова, объединённые общим названием «Друзья и враги». Эта книжка стихов о друзьях и врагах ми-

ра в разных странах оригинальна по своей поэтической форме и вместе с тем продолжает и развивает публицистическую традицию лирики Маяковского; это взволнованная речь с высокой мировой трибуны о том, что у мира неизмеримо больше сил, чем у войны. Книжку открывает стихотворение «Митинг в Канаде». Оно изображает только один зал одного митинга в буржуазной стране, но даёт картину расстановки сил во многих капиталистических странах. Лирический герой стихотворения, политический оратор советской страны, выступает на митинге, первые три ряда в зале заняты толстомордой злобной оравой фашистов, пришедших сюда специально для того, чтобы освистать советских людей, дать им бой. За третьим рядом — тьма, не видно лиц, неизвестно настроение зала.

Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Её начало — как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
— Россия, Сталин, Сталинград! —
Три первые ряда молчат,
Но где-то сзади лёгкий шум,
И прежде чем пришло на ум,
Через молчание ряды,
Вдруг, как обвал, как вал воды
Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «ура»!
Уж за полночь, и далеко,
А митинг всё ещё идёт,
И зал встаёт, и зал поёт,
И в зале дышится легко.
А первых три ряда молчат,
Молчат, чтоб не было беды,
Молчат, набравши в рот воды,
Молчат четвёртый час подряд!
.....
Но я конца не рассказал,
А он простой: теперь, когда
Гойной грозят нам, иногда
Я вспоминаю этот зал.
Зал!

А не первых три ряда

Нет ничего сильнее у людей всех стран, чем желание мира, — и поэтому близки всем слова. Россия, Сталин, Сталинград. Против них бессильна злоба врагов. В Америке, в Англии, во Франции, в Италии «в первых рядах», в правительственных кабинетах сегодня места занимают вот такие, изображённые Симоновым, банды «злобных, сытых». Они грозят войной, но им грозит — как обвал, как мощный напор воли, страсти — неудержимое стремление всего человечества к миру! Это нарастающее стремление хорошо передано в стихотворении: от глухого шума,

ещё не вполне ясного движения в «задних рядах» — к грозному обвалу, сокрушающему замыслы поджигателей. «Как сдвинувшаяся гора, навстречу рушится «ура»! Хорошо здесь и это слово: рушится, и всё ритмическое, интонационное нарастание, наступление — ощущение огромной лавины, которая сдвинулась, хлынула — сметёт со своего пути эти «три первых ряда», или шестьдесят, или двести семейств, или как их там ещё зовут! — «их, злобных, сытых», наглых — их: поджигателей войны!

«Друзья и враги» всем своим поэтическим строгим создают впечатление воли. Это — воля навязать мир тем, кто стремится навязать человечеству войну.

Партия Ленина—Сталина воспитывает советских писателей в дружбе, в любовном уважении ко всем народам мира. Разве не замечательно, что Константин Симонов, автор стихотворения «Убей его!», является вместе с тем и автором стихотворения «Немец», посвящённого немецкому артисту, борцу за мир, — стихотворения, которое завершается знаменательной строфой (действие происходит в Берлине):

Мы шли с концерта с ним, усталым,
Обнявшись, как солдат с солдатом,
По тем разрушенным кварталам,
Где я шёл в мае в сорок пятом.
Я с этим немцем шёл, как с братом,
Шёл длинным каменным кладбищем,
Недавно — взятым и проклятым,
Сегодня — просто пепелищем.
И я скорбел с ним, с немцем этим,
Что, в тюрьмы загнан и поборот,
Давно когда-то, в тридцать третьем,
Он не сумел спасти свой город.

Трудно представить себе более яркое выражение миролюбия советского народа, единства борцов за мир во всём мире, чем эта картина шествия по разрушенному Берлину двух солдат мира, русского и немца, которые вместе скорбят о том, что вторая мировая война не была предотвращена. В наши дни мир — сильнее Он победит войну.

В своих очерках о борьбе Китайской народно-освободительной армии К. Симонов передал не только героизм китайских борцов за свободу своей родины, — нет, советский писатель, советский военный корреспондент, — он сумел увидеть облик завтрашнего мирного Китая; он радовался этому мирному будущему, ловил его приметы.

«Армия идёт к берегам Тонкинского за-

лива. Там ещё тащат на руках пушки по горным тропам, ещё гремят выстрелы. И на земле этой последней освобождаемой провинции ещё гибнут люди, освободившие до этого десятки других провинций.

А здесь, в тылу, воскрешённые прокатившимся через них валом живой воды, оживают люди. Оживает земля, оживают дома, дороги, реки. Оживает ещё одна провинция Китая. Ещё в одной провинции не только начинают мечтать о будущем, но уже видят его воочию и покамест робко, неуверенно, но уже жадно осязают его...

Обо всем этом невольно думается в пути. Думается и в придорожных деревнях, над которыми поднимаются весёлые дымки очагов, и в ещё недавно пустынных и мрачных, а сейчас уже шумных городках, и на людных переправах, где снуют десятки крестьянских лодок, и, наконец, сейчас на окраине Хэнъяна, когда мы въезжаем в него.

Хэнъян трудно узнать, настолько он переменялся за минувший месяц. Несмотря на унылый дождь, сейчас это необычайно оживлённый город, от одной заставы до другой сплошь кишаший людьми. И не удивительно. Месяц назад в нём не было и девяноста тысяч жителей, а теперь сто восемьдесят!

Хорошо на душе, когда всё вокруг наводит тебя на радостные размышления, на размышления о будущем народа, о его ясной и твёрдой вере в это будущее!

Хорошо на душе у советского человека при мысли о счастье и мире всех народов! Хорошо на душе у писателя, который знает, что он великим Сталиным поднят, выращен, воспитан для борьбы за мир во всём мире! Хорошо быть Сталинским солдатом мира!

Мы — патриоты! Но нет никого,
Кому б вся планета была родней,
Кто б так желал от сердца всего,
Чтоб люди счастливыми жили на ней.
Ведь возвеличить её трудом
Дано не банкирам, не торгашам.
Они планету — наш общий дом —
Кровью залить, разграбить спешат.
Выродки! Что они сделали с ней —
Уж места живого нету от войн.
Эх, взять бы их (столько-то тысяч семейств),

Да к чёрту с планеты — вниз головой!
Ради того, чтоб нашли на ней
Счастье своё миллиарды людей.
Счастье!.. Оно на всех языках
Будет иметь значенье одно
Горе останется только в стихах
Поэтов, живших давно.

Степан Шипачёв, автор этих строк («Моя точка зрения»), хорошо сказал о любви советских людей ко всему человечеству и о том, что счастье сейчас на всех языках мира имеет одно значение: мир!

Шипачёв известен читателям, как поэт любви, раздумий о мироздании, о природе, поэт, прославляющий труд. Характерны самые названия его книг и циклов стихов: «Строки любви», «Славен труд», «Раздумья». Книги Шипачёва вошли в повседневную жизнь советских людей, прославляя чистоту, цельность, глубину человеческих чувств. Нельзя мелко чувствовать, скупое, неверно любить, нельзя разменивать на мелкую монету свои чувства в эпоху великих дел! Такова тема лирики Шипачёва.

Любовь должна быть великой, как наша жизнь, как наше созидание.

Обычно у нас принято считать, что развивать в поэзии традиции Маяковского — значит продолжать его политическую, публицистическую лирику. Это, конечно, верно, но это ещё не всё — быть верным традиции Маяковского значит быть верным и его мечте о том, «чтоб всей вселенной шла любовь».

Прославление любви и прославление труда в поэзии С. Шипачёва сливаются в единую тему утверждения мира на земле.

Труд, мечта... Здесь нам не знать предела!
Хорошо в такое время жить!
Землю можно раем сделать —
Только руки приложить!

Потому и ненавистен враг, поджигатель войны, что он ненавидит красоту земли, враждебен любви, жизни, будущему. Ответственность перед будущим — высокая тема советской лирики, тема, которая сама по себе свидетельствует о великой жизненности всего нашего строя, нашего общества, тема, противостоящая циничной безответственности касты международных хищников. Борьба за мир — это и есть ответственность перед будущим. Об этом сказано в стихотворении С. Шипачёва «Потомкам»:

Вас нет ещё: вы — воздух, глина, свет,
О вас, далёких, лишь гадать могли мы,—
Но перед вами нам держать ответ.
Потомки, вы от нас неотделимы.

Был труден бой. Казались нам не раз
Незащищёнными столетий дали.
Когда враги гранатой били в нас,
То и до нас осколки долетали.

Мы обязаны победить войну — обязаны и перед современниками и перед потомками!

Горьковская тема победы над смертью с новой силой вдохновляла наших писателей в годы жестокой войны.

Герой поэмы А. Твардовского — «большой любитель жить», солдат-миролюбец Василий Тёркин — побеждает смерть. Между Тёркиным и смертью происходит длинный диалог, — подобно тому, как это было в горьковской поэме «Девушка и смерть», — Тёркин убеждает смерть отложить своё дело — и она терпит поражение: побеждает солдатская дружба, воля к жизни, воля к миру. Вновь мы встречаемся — в солдатском варианте — с великой темой нашей литературы: любовь, побеждающая смерть.

Нет, товарищ, не забудь
На войне жестокой:
У войны — короткий путь,
У любви — далёкий.

(«Василий Тёркин»)

Одна эта строфа из военной поэмы своей простой человечностью, ясностью опровергает всю лживую человеконенавистническую пропаганду кровопийц, пытающихся убедить людей в том, что война — это, видите ли, «естественное состояние человечества»!

Нет, это не так! Любовь сильнее войны.

К этой горьковской теме: любовь побеждает смерть, — обратился А. Бзыменский в стихотворении «Двое и смерть», написанном в начале войны.

На поле затихшего боя смерть беседует сначала со смертельно раненым фашистским солдатом, а затем с умирающим солдатом Советской Армии. Она устала день и ночь размахивать косою, ей захотелось хоть раз сделать доброе дело — сохранить кому-нибудь жизнь, спасти от самой себя. Она задаёт каждому из них вопрос: Что ты хочешь? И фашистский солдат отвечает смерти:

...Жить хочу..
..Чтобы вновь
изведать наслажденье
Господина, бьющего рабов.

Жить хочу,
чтоб властвовать над всеми,
Попирая землю и тела!
Жить хочу,
чтоб ты в любое время
Убивать без усталости могла...

...Каждый день
встаёт виденьем страшным,
Я над миром властвовать стремлюсь,

Но живу

твоим рабом всегдашним,
Потому что... я тебя боюсь...

Советский солдат отвечает на тот же вопрос старухи:

...Я мечтаю

жить одним порывом
С той страной,

где сердцем молодым
Только тот зовёт себя счастливым,
Кто приносит счастье всем другим...

...Над грядущим нашим

ты не властна.
Мы бессмертны, — в этом я клянусь!
Оттого,

что жить хочу я страстно,
Я тебя

нисколько не боюсь...

И всемогущая смерть чувствует своё бессилие перед этой любовью к жизни и к людям. Она уходит, отрубив голову фашистскому солдату.

Спор любви, жизни — со смертью, кончающийся поражением смерти и победой любви, в дни войны, навязанной нам фашизмом, возникал в воображении разных советских поэтов. Это был пафос любви, пафос мира. Это было живой горьковской традицией нашей литературы.

Роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева — одно из наиболее замечательных свидетельств новизны, небывалого своеобразия советской литературы. Разве не поразительно, в самом деле, что произведение, рисующее весь мрак фашистской оккупации, роман о гибели дорогих, родных нам людей, роман, где мы мучаемся вместе с ними в застенках, вместе с ними идём на смерть, — разве не поразительно, что именно этот роман-трагедия с редкой глубиной и силой утверждает радость молодости, любви! Весь роман погружён в удивительную по ясности, чистоте атмосферу юности, вводит нас в её горячий, звонкий, необозримый мир.

Со всею наглядностью роман А. Фадеева показывает, что воля к миру не только идейно вдохновляет советских писателей, — она является поэтикой советской литературы; ею, волей к миру, проникнуты мельчайшие составные частицы всей художественной ткани произведения.

«Молодая гвардия» открывается картиной, в которой свинцовые, угрюмые краски войны переплетаются с ласковыми красками цветущей жизни. Донецкая степь, группа девушек на берегу речки — и, как отзвук дальнего грома, — перекаты орудий-

ных выстрелов — немецкое наступление, прямая угроза Краснодону. Всё полно тревоги. Смерть нависла надо всем. Какими же словами начинается, чем открывается роман, повествующий о войне, о смерти, о жестокой борьбе?

Первые слова этого романа посвящены лилии.

«— Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть... Точно изваяние, — но из какого чудесного материала! Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, — человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это её отражение в воде, — даже трудно сказать, какая из них прекрасней, — а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков — желтоватых, розовых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, — у людей таких и красок и названий-то нет!».

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с чёрными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них яркого света, повлажневшими чёрными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в чёрной воде.

— Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! — отвечала ей другая девушка. . Слышишь, как бухает?

Они помолчали, прислушиваясь.

— Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как её нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, — мне делается так больно, словно всё это уже ушло от меня навсегда, навсегда, — грудным волнующимся голосом заговорила Уля. — Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила её не допускать в себя ничего, что может размягчить её, и вдруг прорвётся такая любовь, такая жалость ко всему! ..

...Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся лёгким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек. Но все их душевные силы были отданы тому, о чём они говорили.

— Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? — понизив голос, спрашивала Уля.

...Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить.. Что-то грозное нависло над нашим: душами,— сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи.

— А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка! — сказала Валя с выплывшими на глаза слезами.

— Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! — сказала Уля»

Глубоким содержанием наполнен этот зачин романа. Уже звучит лейтмотив всего произведения, где трагическое, грозное тесно соседствует с нежным, лирическим.

Как несовместимо с этой живой, спокойной-прекрасной лилией, с этой девушкой, похожей на лилию, с этой красотой, цветением жизни, молодости — приближающиеся раскаты орудий, взрыв шахты, все обрушившееся горе войны! Эта несовместимость подчеркнута и тем, что, когда раздался взрыв и девушки побежали навстречу ему, Валя вынула из волос Ули лилию и бросила на землю.

«Уля поняла теперь, зачем Валя сделала это. В момент такого потрясения Валя догадалась, как странно выглядела бы её подруга с этой лилией в волосах... и поэтому она освободила её от этой лилии»

Несовместимость войны с цветением жизни, её радостями, — этот мотив варьируется в романе.

Шахтёры, которым пришлось взорвать шахту, «... подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли, — моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы и многое другое, — всё это было уже кончено».

Враждебность войны всей красоте жизни и самому лучшему, что есть в жизни — молодости, — сильно выражена в «Молодой гвардии». Что же именно придаёт мощную поэтическую силу этому мотиву романа?

Он, этот мотив, не был бы так силен, если бы ограничился только любовью и жалостью ко всему живому и прекрасному.

Особую силу этому мотиву в романе Фадеева придает неразрывная связь любви и жалости — с жадной и готовностью борьбы за красоту и прелесть жизни.

Жизнь есть деяние! — учил Горький. И каким бы «олимпийцем» ни был другой мудрец, — он сказал великие слова, бесконечно близкие Горькому и всем нам, советским людям:

Лишь тот достоин жизни и
свободы,
кто каждый день за них
идёт на бой!
(Гёте)

Уля пока ещё не знает, как именно она будет действовать. «Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить...» Знать, как правильно поступать, как действовать — во что бы то ни стало действовать! — вот что значит для Ули сбросить душу от нависшей угрозы..

И мы знаем, что Уля, как и другие молодоговардейцы скоро узнала, как надо действовать. Потому-то и бессмертна она, Ульяна Громова, со своими темнокарими глазами, которые, как живые, всегда будут смотреть в наши глаза.

А Валя, бывшая подруга Ули, — она была и доброй, и милой, и чуткой, — она, может быть, и сохранила свою жизнь, но она не сохранила свою душу. Она ушла от борьбы, и потому то страшное, что нависло над душами, — то, о чем говорила Уля, подступило вплотную к Вале и сломило её.

А ведь, казалось, обе одинаково сильно любили жизнь, одинаково глубоко чувствовали прелесть жизни!

Но в том-то всё и дело, что — нет! не одинаковой была их любовь к жизни. Для Ули любовь к жизни включила в себя и борьбу за жизнь, за её красоту, за свободу и счастье всех людей на свете. А для Вале, — и это стало ясным тогда, когда пришла решающая минута и человек проверяется весь, со всеми своими достоинствами и недостатками, проверяется действием и только дей-

ствием,— для Вали прелесть жизни была лишь предметом созерцания, любования, умиления: это ещё не вполне человеческое отношение к жизни, потому что человек — в точном и подлинном смысле слова, — это борец, — лишь он достоин жизни и свободы. Вот почему и все те образы красоты, предсти жизни, которые в нашей литературе противопоставляются войне и смерти, — образы цветов, голубизны неба, зелени лугов, — все эти, казалось бы, чисто «пейзажные» образы в советской литературе ничего общего не имеют с традиционным, встречавшимся в прежней литературе, противопоставлением «вечной мудрости», «зеличественного покоя», «чистой красоты природы» — человеческой «суете сует», убийствам, крови, войне.

Один из коренных принципов нашей эстетики, эстетики социалистического реализма, заключается в единстве человека с природой. Природа — поле действия человека. Человек советского, социалистического общества изменяет природу, властвует над ней; она для него — не чужая, посторонняя, величественно противостоящая, — нет, она — своя, освоенная, делаемая человеческими руками, творимая человеческим разумом и волей. Такое отношение к природе, как к делу своих рук, является принципом именно социалистической, а ещё точнее — коммунистической эстетики, это отношение к природе не просто труженика, а свободного труженика, сознающего себя творцом истории, жизни — и творцом природы.

Потому-то образы красоты природы, противопоставляемые нашими художниками в качестве образов мира — образам войны, так далеки и от созерцательного любования, и от утрашения «маленьких человечков» величием и равнодушием природы. И вот почему образы красоты природы никогда ещё не были так идейно значительны, насыщены, весомы, как в нашей литературе, начиная с горьковского творчества. Хозяин земли знает цену её красоте! И вот почему образ героической девушки Ульяны Громовой так светло и могуче соединяется с живым, прекрасным образом цветка; и вот почему можно сказать, что наши люди сражались и за Родину, и за свободу, и за счастье творчества, и за красоту и счастье наших

детей, наших девушек, и за красоту цветов, за пенье птиц, за мирное счастливое гуденье пчёл: ведь это и есть — борьба за мир во всём мире.

Никогда ещё не было у людей таким широким чувство богатства жизни, как у советского человека, — потому-то советские люди так страстно борются за мир.

Горький в романе «Мать» рассказал о том, как, благодаря участию в революционной борьбе, героиня романа при помощи большевиков превратилась из забитой, тёмной женщины в Человека, и как она впервые почувствовала огромность, необъятность жизни, красоту «человеческой земли».

«Жизнь расширялась бесконечно, каждый день открывая глазам огромное, неведомое, чудесное, и все сильнее возбуждала проснувшуюся голодную душу женщины обилием своих богатств, неисчислимостью красот. Она особенно любила рассматривать фолланты зоологического атласа, и хотя он был напечатан на иностранном языке, но давал ей наиболее яркое представление о красоте, богатстве и обширности земли.

— Велика земля! — говорила она Николаю

... — Красота какая, Николай Иванович, а? И сколько везде красоты этой милой, — а всё от нас закрыто и всё мимо летит, невидимое нами. Люди мечутся — ничего не знают, ничем не могут любоваться, ни времени у них на это, ни охоты. Сколько могли бы взять радости, если бы знали, как земля богата, как много в пей удивительного живёт. И всё — для всех, каждый для всего, — так ли?»

Здесь выражена отчуждённость природы от человека в буржуазном обществе: люди не свои на земле, и земля чужая, — поэтому летит мимо людей вся радость земли, вся красота природы. Здесь выражено и новое отношение к природе, — отношение к ней человека, приобщенного к новому мировоззрению, участника борьбы за такое устройство общества, при котором «все — для всех, каждый для всего, — так ли?»

— Так, именно так! — можем ответить мы, советские люди, завоевавшие под руководством партии Ленина — Сталина свою Родину, свою землю. И этот мир, завоеванный нами, стал нам неизмеримо дороже. Мы защищаем жизнь, сделанную нами; и

мы защищаем всю землю, всю природу так, как если бы она вся была сделана нами самими, нашими руками, как если бы мы из тончайшего материала вылепили эти цветы и все чудеса земли. Потому-то герои произведений нашей литературы всегда так страстно любят жизнь..

Лейтмотив «Молодой гвардии» звучит и в той главе, где Ваня Земнухов и Жора Аругюнянц, покинув Краснодар, влились в поток беженцев.

«В то время, когда множество людей, пожилых и молодых, и не только женщин, а мужчин с оружием в руках, страдало и мучилось в этом нескончаемом потоке отступления, Ваня и Жора, с вещами мешками за плечами, закатав рукава выше локтей, неся в руках кепки, шагали по степи, полные бодрости и радужных надежд

Их преимущество перед другими людьми было в том, что они были совсем юны, одиноки, не знали, где находится враг и где свои, не верили слухам, и весь свет с этой необъятной степью, раскалённым солнцем, дымом пожаров и пылью, тучей стоявшей в районе дорог, которые то там, то здесь бомбил и обстреливал немец, — весь свет казался им открытым на все четыре стороны».

Они шли, спорили, разговаривали друг с другом обо всём на свете: о том, в каком вузе интереснее учиться, о речах Вышинского на судебных процессах, о школьных стенгазетах и журналах, о Маяковском, Суркове, Симонове, о любовной теме в поэзии; Ваня Земнухов читал свои стихи. Присоединившийся к ним по пути раненый майор, молча слушавший всё это, вдруг «издал горлом какой-то странный звук, и Ваня и Жора обернулись к нему.

— Вы, ребята... вы даже не знаете, какие вы ребята! — сипло сказал майор, с волнением глядя на них своими глубоко спрятанными под нависшими бровями влажными глазами. — Не-ет! Такое государство стояло и будет стоять! — вдруг сказал он и с ожесточением погрозил кому-то в пространство коротким чёрным пальцем. — Он думает, он у нас жизнь прекратил! — с издевкой в голосе продолжал майор. — Нет, брат, шалишь! Жизнь идёт, и наши ребята думают о тебе, как о чуме или холере Пришёл — и уйдёшь, а жизнь своим чередом — учиться, работать! А он-то думал! — издевался майор. — Наша-то жизнь навеки, а он кто? Прыщ на гладком месте, — скovyрнул и нет его! »

Глубоко и остро противопоставлены здесь мир и война. Перед майором, молчаливым слушателем полудетских споров, мыслей, шуток двух юношей, вдруг возник образ горячего, волнующегося тысячью разнообразных, светлых интересов, живого, необъятного мира, с этой широтой кругозора — мира, открытого на все четыре стороны света, мира нашей советской жизни, отражённого с особенной чистотой и ясностью в восприятии самой юной молодёжи, только что сошедшей со школьной скамьи. И рядом с величием, широтой, непоколебимой прочностью этой жизни навек — особенно нелепой в своей преступности представилась дикая попытка фашизма посягнуть на такую жизнь!

...Пусть ночь. Пускай ещё не видим
черт мы

лица Победы. Но её венка
Лучи уже восходят перед нами.
Нас осеняет ленинское знамя,
Нас направляет Сталина рука.
Мы — будущего светлая стезя,
Мы — свет. И угасить его нельзя.

Это сказано в поэме Веры Инбер «Пулковский меридиан», писавшей в осаждённом Ленинграде.

Как же можно угасить такую молодость, такой свет!

Подвиг, совершённый советскими юношами и девушками, писатель сделал достоянием всего человечества, и человечество стало от этого ещё выше, лучше и — сильнее, увереннее в своей битве за мир. Партия Ленина — Сталина, воспитавшая Ульяну Громову, Любовь Шевцову, Олега Кошевого, поднимает человечество всё выше, делает его всё человечнее.

Утверждение красоты жизни, света, счастья — вопреки черным силам войны, разрушения, фашизма, — умение высоко поднять поэтические образы мира над образами войны — этот эстетический принцип советской литературы с особенной силой выразился в произведениях, посвящённых Отечественной войне.

Прекрасное подтверждение этому — «Ленинградские рассказы» Николая Тихонова. Автор одного из значительных произведений нашей литературы периода Великой Отечественной войны, — поэмы «Киров с нами», — Николай Тихонов дрался вместе с Ленинградом, и во время блокады писал рассказы о блокаде, о героизме ленинградцев. Думается, что никогда нельзя будет

читать их без волнения. Живая душа великого русского, советского города бьётся в них.

Герой рассказа «Яблоня» — художник.

Ленинградская блокадная ночь, одна из многих-многих таких же ночей..

«В бомбоубежище погас свет. Оно сразу наполнилось криком и шумом отодвигаемых скамеек и стульев, потом какой-то голос прокричал:

— Тише, товарищи, сидите спокойно!

И люди стали сидеть в темноте. Налёт длился уже несколько часов. Художник сидел на складном стуле, с которым он выезжал на летние этюды. Сейчас этот лёгкий трёхногий, его собственной конструкции стул очень пригодился. Художник жил в маленьком домике, одноэтажном, старом, одном из тех многих ветеранов, какие ещё стоят на широких улицах Петроградской стороны. Перед домиком был сад, и в саду — старый запущенный фонтан со ржавой трубой и гранитом, покрытым мохом. Сейчас глубокий снег скрыл его, и художник менее всего думал в эти часы о домике, саде и фонтане.

Его сознание смутно регистрировало разговоры соседей, восклицания ужаса и удивления, плач детей. Плотный чёрный мрак закутал его с головой, как плащ.

— Надо было давно уехать, — сказал кто-то раздражённо.

И он подумал: да, в самом деле, какая глупость, что он не уехал. Никакой трусости в этом нет. Он сейчас рисует плакаты, и они пользуются успехом, они висят на улицах и в клубах, в землянках на фронте — это верно. Но ведь он мог их рисовать не обязательно в Ленинграде. Да и условия работы здесь стали почти нестерпимо трудными. Холодная мастерская, оочевенные пальцы плохо держат карандаш, печурка ничего не греет..»

Но вот тревога, наконец, окончилась.

Художник ожидал, что, выйдя из бомбоубежища, «он увидит развалины вот сейчас, тут же рядом. Он думал, что он, так же спотыкаясь, проберётся к своему маленькому домику, до которого два шага.

Он вышел на улицу и остановился, недоумевающий и растерянный.

Всё было залито ослепительным, могучим лунным светом. Огромная, почти фиолетовая луна в морозной дымке висела над брандмауерами в высоте зелено-синего неба,

на котором расположились курчавые белые, как отары белых мериносов, облака. Небо, казалось, звенело от холода и света. Пустые стены больших домов, выходявших на пустырь, были как бронзовые. Снег сладко хрустел. Атласно-голубые тени лежали на богатых сугробах вдоль улицы. Такая обычная, она сияла неизвестной прелестью.

Он шагнул к своему домику и не мог узнать места. Он очутился в саду, который был сказочным, как сон. На деревьях лежал иней в три пальца толщины. Каждая веточка была как бы отделана искуснейшим мастером, искрилась, источала сияние, непонятные огоньки бегали по верхушкам, где лежали соболиные шапки снега, — казалось, деревья одеты для торжественного танца и они сейчас поведут хоровод вокруг художника, сомкнув свои сверкающие руки и потряхивая алмазами во все стороны.

Посредине этого чудесного сада стояло дерево обвораживающей красоты. Всё, что украшало другие деревья, — блёски, сияние, искры, алмазы — всё было приумножено на нём и всё достигало совершенства, какого не могут сотворить человеческие руки. Дерево горело холодным изумительным огнем, оно, как белый костёр, выбрасывало снежное пламя, и пламя это ни на мгновение не прекращало своей огненной игры.

Художник стоял, ничего не понимая, погружённый в немое созерцание. Он не узнавал места, не мог понять, как же он очутился в саду и где он вообще находится.

Он оглянулся. По улице шёл народ. Слышался молодой смех и веселое скрипение снега. Он снял шапку и секунду стоял с закрытыми глазами. Он пришёл в себя. Раскрыв глаза, он как бы вернулся на землю. Он стоял в собственном саду, пройдя прямо к фонтану, занесённому снегом. Как же он миновал забор, огораживающий сад? Забора никакого не было. Могучая воздушная волна взрыва унесла его, разбросав далеко по улице, начисто смела все эти старые дырявые доски. Дерево ослепительной красоты — была его знакомая старая яблоня, стоявшая всегда скромно у фонтана.

Он оглянулся и увидел город, залитый фиолетовой колдовской луной. Прекрасный город вставал вокруг него в неизмеримой, неповторимой красоте.

Художник смотрел на него, как будто

родился заново. Все его мрачные мысли, раздиравшие его там, в подвале, исчезли. Как? Уехать из этого изумительного мира красоты, героизма, труда, великолепия! Разве отсюда уедешь? Никогда и нигде!

Этот город надо защищать до последнего вдоха, до последней капли крови, надо отбросить от его стен врага — а уехать — нет, никогда! И художник все стоял и смотрел — и не мог насмотреться и надивиться, полный великой радости и гордости».

Бесконечно поэтичен образ фантастически красивого сада, образ яблони, — всего этого чуда, вдруг возникшего из мрака и разрушения как бы в награду за страдание, терпение, веру, — подобно тому, как мир — награда за все муки, перенесённые в войне за мир. Да, этот волшебный сад — это и есть мир на земле, сказочный, сверкающий образ мира!

Так собрать в один образ, сгустить в нём всю волю великого города к победе, к миру, всю духовную красоту осаждённого, не сдающегося Ленинграда, так высоко поднять образ этой красоты над тьмой и страданием мог только художник, чья эстетика — эстетика мира и борьбы за мир!

Неумолимые будни жестокой, смертельной борьбы, голод, тьма, холод, все напряжение ленинградских заводов, где у станков стояли, едва держась на ногах, защитники города, — всё напряжение битвы за Ленинград, вся сила и величие ослабевших людей — всё это предстало перед гроем рассказа «Яблоня» в образе чистой красоты, казалось бы, далеко отстоящей от этих жестоких будней, но возникающей именно из них, из этих будней, воплощающей в себе всю чистоту подвига ленинградцев.

Может ли быть более мирный образ, чем образ сада, яблони! И может ли быть большая победа искусства, воюющего за мир, за красоту жизни, чем это умение советских писателей так возвести образы мира над пучиной войны!

Мы хотим вспомнить ещё один из ленинградских рассказов Н. Тихонова — «Весна». Речь шла о ленинградской блокадной весне. В рассказе описывается ремонт неизменно запущенного старого дома, выдержавшего и бомбёжки и попадания снарядов. Решено открыть госпиталь в этом доме, ремонт производит сам персонал будущего госпиталя. Врачи, сестры, дружинницы, са-

нитары, превратившиеся в плотников и маляров. В ремонте участвуют даже хирурги, хотя им и следовало бы беречь руки. Старый хирург Иван Николаевич и другой врач очищают крышу дома от какой-то серой гряды, «куда вмёрзли предметы самые неопределённые. Даже ножка сломанного стула торчала, как кость из студня». Хирург работает ломом, сбрасывает вниз мусор, снег, лёд.

«Через два часа работы он толкнул лопатой что-то твердое, и из-под снега, мягко свалившегося на бок, оказалась голова.

От удивления он присел на корточки и смотрел на мраморную голову, как на чудо. И в самом деле: было диковинно смотреть, что из груди не поддающегося описанию мёрзлого вздора смотрело женское красивое лицо с волосами, собранными узлом на затылке, прекрасное и чуть надменное.

— Однако! — сказал он, потеряв лоб. — Рассказать — не поверят. Ну что ж, будем продолжать».

Оказывается, что это — статуя Венеры.

«— Вот всю жизнь, — говорит Иван Николаевич своему коллеге, — по книгам знал, что Венера рождается там из волн, из морской пены, а тут уж бог знает из чего, но рождается, и рождает её не Зевс какой-нибудь, а старый хирург с ломом в руке а все-таки, между прочим, рождает».

Работа по очистке крыши подходит к концу. Иван Николаевич «сел на перила и сидел, как школьник, свесив ноги. Он смотрел на Венеру, открытую им, всю залитую розовым светом зари. Последние остатки мусора он удалил накануне, и теперь статуя стояла на своём пьедестале так же спокойно, как до этой страшной зимы, не шадившей ни людей, ни статуй.

Огромный город купался в огненном море прозрачного света, точно какая-то световая энергия рождалась из гигантского скопления зданий, уходивших за горизонт. Город был таким молодым, таким сильным, таким весенним ..

Утро было такое прекрасное, что он сидел, ходил, курил, и думал о жизни, о городе, о войне, о тех, кому он спасал жизнь на столе, залитом кровью, о том, как он столько дней возился в грязи и в мусоре, в снегу с ломом, с лопатой, с киркой.

Он остановился перед статуей и сказал тихо:

— Ты знаешь, до чего человек силен, сильнее его свободной воли нет ничего на свете, и до чего талантлив — сделал такой город, создал такую статую! И какие-то жалкие пошляки хотят всё это разрушить, — чёрта с два, пусть попробуют! Ещё посмотрим, чья возьмёт!

— Любуетесь трудом своих рук? — раздался сзади знакомый голос комиссара.

В самом деле, эта статуя — хотя он и не скульптор, — немножко «дело его рук» — старых рук хирурга, которые спасли жизнь статуе, как спасали жизнь многим людям на операционном столе. Он спасал жизни людей — он спас и красоту жизни: таков образ советского гуманиста.

Старый хирург имеет право на дружески-насмешливую переключку с миром мифологии, где богиня так прекрасно возникла из чистой морской пены. Здесь мифологическую пену заменяют грязь, снег, лёд на крыше старого дома... Богиня, воплощающая весну, красоту, любовь, возникающая из этого снега, льда в блокадные дни, посреди разрушений, где, кажется, уже не может быть никаких улыбок, кроме оскала смерти, где как будто «лишь была и есть на свете одна она — одна война» (А. Твардовский), — этот образ, окрашенный в рассказе Н. Тихонова чуть заметной, мудрой улыбкой. — мог быть порождён только таким искусством и только такой войной, которые, — и то, и другая, — представляют собою битву за мир.

Человек всё может, нет для него непреодолимых преград! Беспредельна вера в Человека писателей, воспитанных Лениным и Сталиным, литературы «горьковской школы». Вера во всемогущество человека порождает и веру в победу человеческих сил мира над дьявольскими силами войны.

Дьявол, который пытается разжечь новую войну, это дьявол из породы пошляков, пошляков-цинников, пошляков-палачей.

Тем отвратительнее, тем свирепее, тем опаснее этот хитрый враг. И — тем ничтожнее он!

Вечна на земле человеческая воля к бою — зиданию прекрасного: великих городов, бессмертных статуй, мудрых книг. И если эта всепобеждающая сила, эта неистребимая воля к творчеству будет направлена к охране мира на земле, — неужели она не победит, не остановит войну!

Одним из наиболее популярных произведений у нас в самый тяжёлый период Отечественной войны была повесть «Радуга» Ванды Василевской.

Героиня повести, украинская крестьянка, партизанка Олёна Костюк вернулась, на последнем месяце беременности, в родное село, занятое немцами, из леса, где она партизанила, — вернулась в надежде родить ребёнка, скрыться от врагов. Но фашисты обнаружили её, арестовали, допытываются от неё сведений о местонахождении партизанского отряда. На лютом морозе гитлеровские солдаты мучают женщину.

«Было светло, как днём. Лунный свет превращал весь мир в голубую ледяную плиту... И Федосья ясно увидела: по дороге от площади бежала нагая женщина...

...Федосья впиалась пальцами в оконную раму и смотрела, смотрела...

Вот она, Олёна Костюк... они вместе работали в колхозе и вместе радовались... тому, что всё светлее, веселее улыбается жизнь.

И теперь вот такая судьба выпала Олёне...

Федосья не плакала, не кричала. В сердце её заpekлась чёрная кровь. Так должно быть, иначе и быть не может, пока они тут. Будто нарочно хотят показать, на что они способны. Будто хотят показать, что нет границ их жестокости. Она смотрела на Олёну, и не сочувствие охватывало её сердце. Нет, здесь не было места жалости. Федосье казалось, что это она сама бежит там босиком по снегу, нагая, отданная па издевательство солдат. Что это её ноги ранит смёрзшийся снег, её спину колет сталь штыка. Это не Олёна Костюк — это всё село шло по снегу, подгоняемое солдатским смехом. Это не Олёна Костюк, это всё село падало в снег лицом, тяжело поднималось под ударами прикладов... Это село истекало кровью под немецким кулаком, под немецким сапогом, под немецким разбойничьим игмом...

...Олёна снова упала и снова поднялась. Откуда у неё брались силы? Федосья знала — откуда. Она знала, чувствовала, что и сердце Олёны заpekлось чёрной кровью, кровью ненависти, которая даёт силы».

Литература любви и мира должна была учить народ ненависти к врагу. Автор «Тихого Дона» М. Шолохов глубоко понял в первые месяцы войны, что народ-миро-

любец нужно учить ненависти, и что это не так легко; он назвал своё художественно-публицистическое произведение: «Наука ненависти».

«Радуга» служила этой цели—помочь народу воевать за мир. Как легко, в самом деле, можно было Федосье, с женским её сердцем, впасть в расслабляющую, безыходную жалость, позволить ужасу сломать, раздавить душу. Но писательница объясняла читателям, что сильные не жалуют себя; что жалость, сочувствие—ещё слишком слабые, сторонние чувства для того, кто не отделяет самого себя от Олёны Костюк, кто знает, что не расслабляющая жалость нужна, а великая любовь. Любовь к людям означает ненависть к извергам. Любовь к миру означает ненависть к войне. Без ненависти нет любви. Таксы заповеди подлинного гуманизма.

Но и подлинная, человеческая ненависть к извергам невозможна без любви к людям; одна осыпает другую.

В повести Ванды Василевской, над всем страшным, что изображено в ней, был поднят образ радуги, широко раскинувшейся с востока на запад,—чудесный образ мира во всём мире.

«Вдали, там, где лазурь равнины сливалась с холодной лазурью неба, расцветала радуга, сияющий цветной столб поднимался ввысь и исчезал, таял в недостижимой высоте. Зелень, лазурь, розовые и фиолетовые краски, хрустально прозрачное видение, чистое и лёгкое, как цветочный пух».

Радуга в страшную ночь фашистской зимы. Образ радостного сверкания всех красок жизни,—этот образ озаряет, как бы опоясывает всю повесть В Василевской, возникая и в начале и в конце произведения.

В таком кольцевом, открывающем и замыкающем возникновении образов света, победы, мира в произведениях наших писателей заключена глубокая поэтическая закономерность: вера советских людей в победу в самые тяжёлые дни войны—и подтверждение этой веры! И другая особенность нашей литературы, посвящённой войне, заключается в том, что образы света, мира соседствуют с самым мрачным и трагическим, вопреки всему мрачному, скорбному и трагическому!

Умирает девушка-воин.

«Она лежала с раскинутыми руками, лицом к небу, черноглазая, смуглая Малаша, самая красивая девушка в селе. Она ещё сжимала в руке винтовку, но всё уже было далеко от неё, уплывало в радужном блеске, в лазури ледяного утра, в искрящемся снеге, на который падали первые лучи солнца.

Эти первые лучи разбудили радугу. Её бледный полукруг виднелся на небе всю ночь, но лишь в виде беловатой неясной полосы, едва заметной в глубине неба. Теперь солнце насытило её блеском, теплом, цветом, и она заиграла на небе чистейшим светом, нежными, как цветочный пух, красками. Она переливалась розовыми лепестками, лиловела ранней весенней сиренью, зеленела свежей зеленью салата, играла оттенками фиолетовых колокольчиков, ярким пурпуром розы, золотом лепестков горчицы. Её пронизывал тёплый прозрачный блеск, немеркнувший свет.

Глаза Малаши устремились на эту радугу, на сияющий полукруг, высоко раскинувшийся по небу. Уходила жизнь, вытекала из тела вместе с кровью. Костенели пальцы, холодели ноги, застывало тело. А счастливые глаза смотрели на радужный круг, на сияющую дорогу, проложенную из конца в конец по далёкому небу. Светлая тропка, ведущая неведомо куда, радостная дорожка во всё светлеющей, всё более насыщаемой солнцем лазури. Она шла по радужной тропинке, Малаша, красивейшая девушка в селе, лучшая работница в колхозе. Это о ней писали в газетах, для неё зацветали любовью летние ночи».

Нет, это не было обманное радужное сверканье Радуги не легла Малаше в последний час! Да, уходила жизнь девушки. Но этой ценой она добывала бессмертие своего народа. Светлая тропка «во всё светлеющей, всё более насыщаемой солнцем лазури» не смеялась над Малашей,—радостная дорожка к счастью, она существовала, она не была призрачной, она была самой жизнью.

О такой смерти сказал Константин Симонов:

В нас есть суровая свобода:
На слёзы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.

Умирала советская девушка, самая милая, самая красивая девушка в селе, умира-

рала для того, чтобы радуга мира встала надо всем миром,— и жизнь, уходящая из неё, чистой и прозрачной капелькой света вливалась в стоцветное сияние, чтобы радуга мира всегда вечно озаряла жизнь человечества.

Когда и какая поэзия, когда и какая музыка с такой страстью и такой верой, с такою силой утверждала мир во всём мире!

И вновь, как главная мелодия, варьируясь, обогащаясь, возникает уже в самом конце повести Ванды Василевской этот жизне-мироутверждающий мотив:

«Далеко-далеко на запад тянулась ослепительно белая снежная равнина. Вдали на чистом небе темнела узкая полоска дыма — это догорала несчастная Леваневка, село, которое с четырёх концов подожгли немцы.

Лейтенант **Шалов** с пригорка глядел на запад. Перед ним расстилалась снежная равнина, необъятная земля, украинские степи под немецким ярмом. Туда, на запад, простиралась Украина — в крови, в пламени, с задушевной на устах песней, с грудью, растерзанной немецким сапогом, раздавленная, оплыванная, закованная в цепи. Неустрашимая, борющаяся, несгибаемая.

И вот он увидел, как по небу ясной, четкой дорогой, сияющим путём раскинулась радуга, яркая полоса, переливающаяся светом и красками цветочного пуха, и бледно-розовым шиповником, и алой розой, бледной сиренью, и фиалками. Пылало золото лепестком подсолнуха, и дрожала зелень едва распутившихся берёзовых листьев. И всё пронизывал мягкий, ясный блеск. Радуга тянулась с востока на запад, связывая пылающей лентой землю с небесами.

Шалов повернулся к своему отряду.

— За мной, шагом марш!...

Провожающие смотрят вслед, «пока боевой отряд не растаял в лазурной дали, в снежном пространстве, в стоцветном, всепоглощающем блеске радуги».

Стоцветное сияние, обнимающее солдат мира, увенчивало повесть...

Эпиграфом к роману Михаила Бубеннова «Белая берёза», посвящённому тяжёлому 1941 году, взяты слова из народной песни:

Во поле берёзаны́к стояла,
Во поле кудрявая стояла...

и слова из стихотворения Ал. К. Толстого:

Острою секирой ранена берёза,
По коре сребристой покатались слёзы,
Ты не плачь, берёза бедная, не сетуй,
Рана не смертельна — вылечишься к лету.

Скорбным пейзажем отступления открывается роман.

«В полдень, остановившись на гребне высокого взгорья, Андрей выпрямился над посохшими травами во весь свой рост и с усилием повёл глазами окрест. По лошнякам понуро тащились толпы солдат. На дорогах, в пыльной мгле, гудели колонны машин и грохотали обозы. В просторном осеннем поднебесье тянулись на восток немецкие самолёты, сверкая на солнце серо-жёлтой беркутиной покраской своих плоскостей; они с воем бросались на дороги, и земля тяжело ахала, и над ней взлетали чёрные, кудлатые султаны дыма. Андрею почему-то подумалось, что их батальон заблудился в мире ветра, стога и грохота...

...На склоне небольшого пригорка, у самой дороги одиноко стояла молоденькая берёза. У неё была нежная и светлая атласная кожица. Берёза по-детски радостно встряхивала ветви, точно восторженно приветствуя солнце. Играя, ветер весело пересчитывал на ней звонкочервонное золото листы. Казалось, что от неё, как от сказочного светильника, струился тихий свет. Было что-то задорное, даже дерзкое в её одиночестве, и солдаты, проходя мимо, ласково кричали ей:

— Эй, милашечка, айда с нами!

Андрей увидел эту берёзу, — от комы до листьев играла в ней живая сила, — и понял, что самой природой она одарена чем-то таким, что на века утверждало её в этом поле. И Андрей внезапно свернул с дороги. Он подошёл к берёзе ближе, и ему вдруг показалось, словно что-то рвётся в груди...»

Белая берёза — русское, песенное дерево — освещает всё, изображённое в романе. Она, скромная берёза, дерзко противостоит скорбному пейзажу ступления, как знак грядущей победы, чистая и радостная, как слово м и ъ, — и, действительно, она словно самой природой одарена противостоять войне, от неё струится свет мира. И в самом одиночестве белой берёзы есть подлинно поэтический смысл: это она только здесь одинока, в дымном царстве войны, здесь она — лишь знак, напоминание, весть о царстве мира, — а там она **вовсе не**

одинока, нет, там раздолье белых кудрявых берез! «С детских лет Андрей любил берёзы большой, властной, самому непонятной любовью. Он любил смотреть, как они, пробуждаясь весной, ощупывают воздух голыми ветвями. Любил всей грудью вдыхать запах их листы, густо брызнувшей на заре. Любил смотреть, как они шумно водят хороводы вокруг поля, как протягивают к окнам ветки, опущенные инеем, и качают на них краснобрюхих снегирей»

Вышедшая в свет первая часть романа М. Бубеннова завершается тем же образом-лейтмотивом.

«Все поле боя было сплошь изрыто снарядами и минами.. Всюду по полу чернели груды металла, совсем недавно обладавшего могучей жизнью и силой, — от иных всё ещё струился желтоватый чад. И всюду на клочках поля, где остался снег, виднелись тёмные пятна трупов. А среди этого страшного поля, где целый день с неистовой силой бушевали огонь и железо, где всё было пограно смертью, на небольшом голом пригорке, как и утром, стояла и тихо светилась в сумерках одинокая белая береза.

— Стоит?! — изумленно прошептал Андрей.

И Андрею показалось необычайно значительным, полным глубокого смысла, что вот здесь, на открытом месте, в таком жестоком бою, выжила эта белая береза — красивое песенное дерево. Сама природа поставила её здесь для украшения бедного в убранстве поля, и, значит, сама природа даровала ей бессмертье.

И ещё сильнее почувствовал Андрей то, что пришло к нему впервые в жизни. Но теперь он знал: это — счастье победы. Он был счастлив, что стал солдатом, что вечером стоит на том же самом месте, где утром начал бой. Несколько секунд Андрей не отрывал от березы очарованного взгляда. Затем, тронув рукой край траншеи и будто кланяясь самой земле, сказал с большим торжеством и ликованием в душе:

— И будет стоять!»

Образ берёзы как бы воплощает грядущий перелом в ходе войны: надо стоять насмерть и не отдавать врагу больше ни пяди земли — ведь береза тоже стоит насмерть, как сама Родина! Народ-мир-любец стал народом-солдатом в грозной, неумолимой войне — это и есть

главная тема всей первой книги романа Михаила Бубеннова

Только мирные по всему существу своему люди могли выдвинуть березку, как образ победы в войне. Эти люди потому и побеждают всех своих врагов во всех войнах, что они — мирные: «кто силен, тот драчлив не бывает», — говорит один из персонажей «Белой берёзы» о её главном герое, Андрее. Советский народ силен, он не драчлив. Что же касается драчливых, то весь мир видел, как били их под Москвой, под Сталинградом и в Берлине

Недаром главный герой книги М. Бубеннова — спокойный и могучий человек, скромник, краснеющий в разговорах с девушками, из тех парней, над которыми девушки посмеиваются, обожая их за скромность сдержанной силы, как обожала Андрея его Марийка. А он даже и не догадывался об этом и так и не решился бы сделать ей предложение, если бы не случай. Люди говорят об Андрее его отцу: «..смирный у тебя парень.. Такой зря не замутит воды».

Есть в характере Андрея, мирного, могучего, скромного человека, много национально-русских, поэтических черт, спокойная, миролюбивая сила.

Выстояла в боях русская берёзка!

Выстояла мирная вишня, героиня стихотворения А. Софронова «Вишня».

.. Среди разбитых кирпичей,
Дрожа изодранной корой,
Сто пятьдесят слепых ночей
Она стояла как герой, —
Как те герои, что кругом
У ног её лежали в ряд,
Как каждый камень, каждый дом,
Как весь багровый Сталинград...

Вишенка — образ той мирной жизни, которая вновь расцветёт на месте великой битвы — битвы за жизнь человечества!

Разве можно считать случайным, что в советской литературе выработалась, установилась поэтика, которую нельзя назвать иначе, как поэтикой мира! Если общим для всего мирового движения борьбы за мир является образ голубя, нарисованный Пикассо, то каждый из народов и каждый из художников, участвующих в этом великом движении, выдвигает и свои образы, воплощающие мечту народов о мире, волю к миру. Русская скромная берёзка, верная, стойкая, надежная подруга любви, ясного, простого человеческого

счастья, тоже сослужит здесь свою службу, как и образ чистой, прекрасной пллни, отразившейся в вечно живых очах Ули Громовой, как и чудесный образ раскинувшейся по всему миру, от края до края, радуги с её стоцветным, всепоглощающим блеском, радуги счастья и мира во всем мире, как и образ сияющей нежной белизной яблони у Николая Тихонова — образы, представляющие собою поэтическое предложение мира всем странам и народам!

Великий миролюбец — таким запечатлела наша литература облик советского воина Нет и не может у него быть ни ненависти, ни презрения к другим народам, ни спеси, ни стремления властвовать, а есть у него неисчерпаемая любовь ко всему человечеству. Таков солдат Сталина: он воюет для того, чтобы покончить раз и навсегда с войной.

Характерен эпизод из романа Э. Казакевича «Весна на Одере» — романа, отразившего последний этап Отечественной войны, разгром гитлеровской Германии.

У сержанта Сливенко, пожилого шахтера, немцы угнали дочку в Германию, шестнадцатилетнюю Галю, высокую, красивую, смуглолицую девушку. Отец надеется найти её, в свободные от боёв часы он разыскивает дочку по немецким фольваркам. Лютую ненависть к фашистским убийцам принёс он сюда, на эту чужую землю, на которой где-то, в одном из этих скучных, аккуратных, каменно-жестоких, как их хозяева, фольварков, томится его дочь.

Он заходит в один из помещичьих домов, хозяева которого успели сбежать; русских девушек-невольниц, работавших здесь, немцы угнали дальше на запад Старик, из челяди удравшего помещика, отвечает на вопросы Сливенко.

«— А ты, значит, охраняешь его добро? — спросил. Сливенко — Охраняй, охраняй... Где же твоя жена, детки где? Киндер?»

Старик пошёл вперёд, а Сливенко за ним. Они вышли из господского дома. В самом конце двора стоял маленький домик, лепившийся к стене, словно ласточкино гнездо.

Они вошли. Сливенко увидел женские лица, перекошенные от страха Старуха и три дочери.

Злорадное чувство захлестнуло Сливенко.

Он присматривался внимательно и долго к трём немецким дочкам.

— Значит, русские девушки вег, русс киндер вег, туда, на запад.. — бормотал Сливенко, — что ж, дейч киндер туда, на восток, марш-марш .

Тут он удивился. Немки явно поняли это сопоставление, но поняли, как приказание. Обменявшись несколькими фразами с матерью, они начали собираться. Они даже не очень суетились. Складывали в узел одежду. Мать не плакала Это выглядело так словно они знали, что это справедливо Гнали русских, теперь пришла очередь немок Только младшая дрожала, хотя и сдерживалась изо всех сил, боясь раздражить русского своим несправедливым недо вольством. Потом они остановились и стали ждать.

Это была жалкая сцена, и Сливенко, поняв, что происходит, неожиданно рассмеялся. Рассмеяться так добродушно, сверкнув белыми зубами, мог только человек с золотой душой, и немки поняли это Они с удивлением и надеждой посмотрели на смеющегося русского солдата. Он махнул рукой и сказал:

— Никс Сибирь. Идить до бисовой мамы

Он сам устыдился собственной отходчивости и грозно цыкнул на радостно разболтавшихся немок, так что они сразу при тихли И он говорил себе: «Они угнали твою дочку, разорили твой дом, а ты и жалеешь!»

Но вот он взглянул на их большие красные руки, руки людей, привыкших к тяжелому крестьянскому труду, и, по правде сказать, в душе пожалел их: «Разве эти угнали? Разве эти разорили?»

Так воспитала миллионы простых советских людей партия Ленина—Сталина, утверждая в их душах идею международного братства всех трудящихся людей В сердце солдата армии Сталина — армии мпра, труда, свободы,— нет места для мелких чувств, для мстительной злобы. Его ненависть к немецким фашистам была, вместе с тем, его любовью к немецкому народу, обманутому, преданному, натравленному на своего лучшего друга — на могучий Советский Союз, на великодушный советский народ.

Сержант Сливенко, после своего посещения фольварка беседует с офицерами, полковником Плотниковым и майором Га-

риным. Сливенко — парторг роты, он должен объяснить солдатам всё, что относится к их пребыванию на немецкой земле.

«— А как с немцами быть, товарищ полковник?»

Плотников удивлённо переглянулся с Гариным и в свою очередь спросил у Сливенко:

— А ты как думаешь?

— Я думаю, — медленно ответил Сливенко, поглаживая свои чёрные усы, — что с ними теперь надо поспокойнее. С гражданскими то есть. Просто, как будто и не немцы они совсем... а так — люди.

Плотников рассмеялся:

— Правильное чутьё! Видишь: вот настоящее чутьё! — обратился он к Гарину, слегка понизив голос, словно для того, чтобы Сливенко не слышал похвалы. Потом он снова повернулся к парторгу: — Верно говоришь. Этого и держись».

Солдат Сталина несёт мир всем народам, всем странам. Сколько таких, как сержант Сливенко, советских солдат, офицеров, остались без своих близких, зверски замученных фашистами! Какая ненависть кипела в их сердцах — справедливее, святее, сильнее не было на свете. Но не было на свете и сильнее той любви, которая вела в бой наших людей — любви к своей Родине и ко всему человечеству. Ведь это им, советским солдатам, офицерам, генералам и адмиралам, партизанам и партизанкам, сказал полководец, вождь, отец — сказал в самую грозную пору войны, когда немецкие полчища рвались к самой Москве:

«На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии!»¹

И это он, мудрый Сталин, сказал:

«Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остаётся»².

Наши солдаты и офицеры учились у Сталина отделять немецкий народ от фашистской клики.

¹ И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Госполитиздат, 1947, стр. 39—40.

² Там же, стр. 46.

И сержант Сливенко не мстил немцам за свою дочь.

Как непохож этот мирный облик солдата Советской Армии на облик вояк империалистических армий! «Янки в Копенгагене» — в этом стихотворении А. Суркова описывается поведение американских «завоевателей» — даже не на вражеской земле, а в странах, которые они называют дружескими, которым «помогают». Это поведение насильников, громил.

Есть в современном мире солдаты мира и солдаты войны. В сражениях побеждают первые. Они же победят и в битве за мир

В романе «Знаменосцы» украинского писателя Олесея Гончара — романе, который можно было бы с полным правом назвать «Знаменосцы мира», — рядовой солдат Советской Армии Хома Хаецкий, — эпический образ советского солдата, народного героя, — в ходе освободительных сражений на земле Чехословакии спасает пленников разных национальностей, людей, обречённых гитлеровцами на сожжение.

«— Отныне вы свободны!

— Свободны! — это слово повторялось на многих языках. — Свободны! Свободны!..

— Навсегда свободны!

У одного не было нашивки.

— Это француз, — объяснила Хоме землячка. — Мсье Жан... У них не было нашивок.

Старик-француз закивал бородой, взволнованно залепетал:

— Же ву, же ву...

— Живу, говоришь? — Хаецкий приветливо хлопнул его по плечу. — Живи на здоровье, го-го-го!.. И больше не попадайся людоедам в лапы!

Невольники наперебой обращались к нему на разных языках. Хаецкий понимал далеко не всё, но одно он постиг: это он вернул этим людям самое дорогое, самое прекрасное — жизнь и свободу. Сознание значительности этой минуты наполняло его счастливой гордостью. Это он дал им нынешний ветренный вечер, и эти широкие дороги в родные края, и звонкий завтрашний день. Сегодня их несчастья должны кончиться навсегда. Сколько людских надежд и мечтаний задохнулось бы дымом в этом сарае, погибло бы под пылающей крышей!..

...Девушки плакали. Достали свои паспорта... Это были страшные паспорта ра-

льнь, изобретение новейшего рабовладельчества: «Arbeitskarte». В каждой карточке — фотография владелицы с большой деревянной табличкой на груди. На табличке — шестизначный номер. И тут же рядом — фиолетовый отпечаток пальцев. Надписи повторялись на двенадцати языках: русском, украинском, чешском, английском, французском... Для всех народов были заготовлены арбайтскарты!»

Для всех народов было заготовлено рабство немецким фашизмом. Всем народам готовит рабство американский империализм.

И всем народам несёт свободу и мир советский народ.

Сцена освобождения людей разных народов в «Знаменосцах» приобретает поистине символическое, широкое значение. Да, люди всех стран и наций могут положиться на советский народ, народ-освободитель!

Хорошо передал О. Гончар чувство, приносимое советским людям: счастье приносить мир, самостоятельность, независимость, свободу народам, захватывающая радость и гордость знать, что это ты дал им эти широкие дороги в родные края, в счастливое будущее! Нет для советского человека ничего шире и прекраснее чувства гордости тем, что ты приносишь людям счастье.

В нём, в этом чувстве, сливаются и патристическая, национальная гордость советских людей, и их чувство дружбы и братства со всеми народами.

Только советским людям знакомы эта гордость и радость освободителей, оправдавших надежды всех народов, доверие великого вождя.

Что несут народам армии империализма? Об этом можно прочесть в том же романе Гончара.

«Как-то в полдень полк приближался к большому чешскому городу, выросшему на горизонте лесом заводских труб...

...«Такая маленькая страна, и такие крепкие заводы!» — с восторгом думал Хома, проникаясь ещё большим уважением к чехам. — Жилистый народ, такой, как и мы!»

Немцев в городе уже не было, но следы их ещё не выветрились: тёмные городские окраины мрачно полыхали огромными пожарами. Горели длинные заводские корпуса, пылало круглое железнодорожное депо с проломленным черепом крыши. Некоторые строения уже совсем сравнялись с

землёй, превращённые силой взрыва в сплошные развалины.

«...Когда они успели учинить такой погром?» — гневно думал Хома о немцах, подъезжая к бетонированному заводскому забору, покосившемуся от удара воздушной волны...

Едва Хома остановил коня, как его окружили измазанные, возбуждённые рабочие. От них Хома узнал, что заводы были разбомблены всего лишь час назад, и сделала это не немцы, а «летающие крепости»...

..В первый момент Хома был искренне восхищён такой работой авиации союзников. «Молодцы, вот так давно бы надо!» Но рабочие вскоре погасили его восторги. Оказалось, американцы налетели на заводы, когда немцев здесь уже не было.

— Выходит, промахнулись, — с сожалением сказал Хома. — Не рассчитали.

Рабочие держались другого мнения. Видимо, этот налёт их не только не восхищал, но даже вызывал возмущение, хотя они и старались сдерживать его, как могли. Хома уловил в их голосах горькие нотки...

— Хозяева фирмы, господа акционеры удрали доживать свой век где-нибудь в швейцарских виллах. Всё это мает стать людovým, народным. Всё будет конфисковано. Вся Чехословакия отныне есть хозяин тотем заводам...

— Они и на фронте выше всего ставят свой бизнес, — мрачно сказал кто-то в толпе рабочих.

Хома не понял слова «бизнес», однако не стал расспрашивать у чехов, что это за зверь. Лучше он после спросит у своего замполита. Сейчас, выслушивая сдержанные жалобы рабочих, Хома чувствовал себя довольно неловко. Впервые ему, дерзкому, острому на язык подолянину, не хватало слов для ответа. Он, как солдат, хотел бы взять на себя всю ответственность за действия союзников, но в данном случае он этого сделать не мог. Однако и хулить американцев ему не позволяло собственное достоинство, достоинство честного союзника. И тут, возле разгромленных пылающих заводов, Хома впервые серьёзно насторожился, пытаясь постичь не совсем понятные ему действия «летающих крепостей».

«Как же быть с вами? — колебался он. — Что вам сказать на это?»

— Мы разберёмся, — пообещал он, наконец, имея в виду прежде всего себя и Воронцова, и сердито дал шпоры коню..

...— Оказывается, товарищ гвардии майор, те заводы разбомбили не немцы, а папы американцы, — заговорил, наконец, Хома о том, что грызло его всю дорогу — Налетели в последний час и трахнули! Как, по-вашему это у них бизнес или не бизнес?

Воронцов удивлённо посмотрел на Хому.

— Где вы это слово поймали?

— Оно давно при мне, — спокойно сохрал подояльник. — За плечами его не носить... Только до сих пор не очень понимаю, что оно должно означать Гешефт?

— Что-то вроде этого, — ответил Воронцов, сразу мрачней. — Все заокеанские капиталисты на бизнесе держатся

— Держатся?.. Ну и пусть себе держатся, пока не сорвутся Но, патку мий, при чем же тут чешские заводы? Разве они уже стали косткой кому-то поперек горла?

— Может быть и стали, товарищ Хаецкий... Представьте себе: кончится война, империалистические хищники снова примутся за своё. Очевидно, опять развернется борьба между соперниками, между конкурентами Тогда и эти чешские заводы могут стать для кого-нибудь помехой. Почему же не расправиться с ними заранее, тем более, в такой горячке, когда под видом военных действий можно безнаказанно учинить настоящий погром своим будущим соперникам? Почему не сделать на этом, как говорят, бизнес?..

Слова замполита направили мысли Хаецкого в неожиданное русло До сих пор он, как и многие его товарищи, представлял себе послевоенный мир иллюзорно, в какой-то туманности, видел его как бы через золотую дымку близкой победы, сквозь цветы и музыку, сквозь пьянящую радость последних дней войны. Там должна начаться жизнь, совсем не похожая на прежнюю, там общечеловеческое счастье забьет миллионами живительных источников, там праздникам не будет конца — ведь все люди станут, наконец, настоящими людьми! После того, что народы пережили, что увидели, — не может быть иначе!

И вдруг Воронцов своей спокойной твердой рукой как бы приподнял эту туманную дымку, и Хома на миг увидел в далеккой глубине послевоенного бытия мир, охвачен-

ный тревогами, неутраченной враждой, холодным расчетом...

Все это было для Хома настолько неожиданно, что он невольно положил руку на свой автомат, как перед близкой опасностью Краем глаза Воронцов заметил этот инстинктивный солдатский жест.

— Теперь вы поняли, что такое бизнес?

— Уразумел.

— Но нервничать из-за этого не стоит. Пан бизнес молодец против овец... а против дружного фронта народов он ничего не делает»...

Большая литература тем и отличается, что запечатлевает большие исторические моменты в жизни и сознании народов И ценность советской литературы заключается прежде всего в том, что переживания ее героев являются переживаниями миллионов людей Это в полной мере относится к приведенному отрывку из романа Олеся Гончара. Простой советский крестьянин, колхозник, солдат, Хома Хаецкий был так же потрясен внезапно открывшейся ему бездной черного предательства «союзников», как были потрясены тогда миллионы людей, — в том числе и в самой Америке. И представление о послевоенных годах, как о сплошном празднике мирного труда, братской дружбы всех народов земного шара, — тоже было свойственно миллионам простых людей Еще бы — после всего того и страшного, и героического, что народы пережили — сама мысль о возможности вражды между народами, недобрососедских отношений, — не говоря уже об угрозе войны, — сама эта мысль просто не могла ужиться в сознании простых, трудовых людей, мастеров и работников, столько жертв принесших для того, чтобы человечество — жило!

— Живи, живи! — это говорили всем народам на земле такие, как Хома Хаецкий, честные, мирные советские люди, исковавшиеся по самому большому счастью, какое только есть у людей: трудиться, видеть, как вырастает на земле с твоею помощью, твоими руками, твоим разумом возводимое строение, видеть веселую пену ароматной, горячей, чёрт возьми, стружки, жчвой, как живо, и весело, и ладно все, что пахнет радостной работой!

— Живи, человечество! Весна на дворе — вечная весна мира!

Вот это нёс людям разных языков, разных стран Хома Хаецкий, гордившийся тем, что он — освободитель народов И в простоте, в святой, мужественной чистоте своей души думал он, солдат, что союзники, если и не совсем так думают, то, по крайней мере, и они ведь солдаты, — а кто же так верен долгу, клятве, слову, как солдат?

И вдруг он, Хома Хаецкий, столкнулся с такими низинами черной, подлой хитрости, с какими никогда не соприкасался и не мог даже подозревать о них.

Что же, выходит — хитрость, коварство всегда одержат верх над простотой и обманут её?

— Да, — ответят карлики, прожженные бестии, — так было, так будет, таков издревле белый свет. Побеждает хитрый и коварный. Простоту испокон века обманывали.

Но они забыли — или, вернее, где им понять! — что все великое — просто, и что есть у простых людей всего мира гений, равного которому не было в веках, — наш Сталин, сказавший, что простые люди, — «...не такие уж простые, как может показаться на первый взгляд».¹ Хома Хаецкий «уразумел», что такое бизнес, во всечеловеческой, кровавой уолл-стритовской сути, — бизнес, готовый хищно броситься на всех и всё, мечтающий обречь человечество на чуму, проказу, на уничтожение. Хома уразумел также, что к этому бизнесу можно применить русскую поговорку: молоток против овец...

Большая литература всегда отмечает типические явления своего времени, — такие, в которых предстаёт сама эпоха, такие, о каких сотни лет будут говорить в своих трудах историки. Именно к таким типическим явлениям, в которых предстаёт сама сущность нашей эпохи, принадлежат два факта, отмеченные писателем: мы освободили Чехословакию; . они — американцы — бомбили заводы в Чехословакии, — бомбили именно и только потому, что эти заводы перешли в собственность народа Чехословакии. Эта предательская бомбежка европейских городов была прелюдией, чем-то вроде артподготовки к «плану Маршалла», к американской «помощи» Европе. Когда сорвал-

ся один бизнес, американцы занялись другим, когда предательский план затягивания войны был сорван героическим наступлением Советской Армии, бизнесмены-убийцы сосредоточили все свои усилия на подготовке экономического закабаления Европы, которое затем и было названо «планом Маршалла». Эскадры англо-американских бомбардировщиков были заняты систематическим уничтожением промышленного потенциала Чехословакии. Разрушился завод за заводом. Бывший завод «Шкода» в Пльзне, крупнейший гигант металлургии, был превращен в груды развалин за 320 часов до окончания войны: так они спешили, эти вояки, участие которых во второй мировой войне свелось, главным образом, к её затягиванию.

Они несли войну всем — и тем, с кем они вели явную войну, и тем, кому они «псомогали».

Мы несли народам весну И не только потому образ весны играет такую большую роль и в романе Гончара, и в романе Казакевича, и во многих других произведениях нашей литературы, что мы окончательно победили гитлеризм весной 1945 года, но и потому, что поэтический образ весны неразрывно связан с образом мира.

Советские люди во время войны были твердо уверены в том, что после победы их ждет радостный труд, огромное строительство, участниками которого они станут; были уверены в том, что они нужны родине.

Поэтому и жажда мира у советских людей была сильнее, чем у кого-либо и когда-либо в истории всех войн. Борьба за мир — таково было значение Отечественной войны в сознании советских людей «Борьба за мир» — назвал Ф. Панфёров свой роман, посвященный Отечественной войне и героическому труду советских людей в тылу, — труду, который тоже был битвой. Вот отрывок из романа — разве это — не сражение?

«Поднялись свирепые уральские бураны. Они неслись с горы Чиркульской долиной, сотрясали крыши бараков, хлестали будто огромными сухими мстами по их бокам, и выли, крутились у дверей, намереваясь ворваться во внутрь, чтобы приморозить там всё живое

...Станки на платформах покрылись таковой морозной сединой, что казались нака-

¹ И. В. Сталин. Интервью с корреспондентом «Правды», относительно речи г. Черчилля 13 марта 1946 г. Госполитиздат, 1946, стр. 12.

лѣнными электрическим током и к ним было боязно притрагиваться Степан Яковлевич первый вскочил на платформу, пнул ногой станок. Со станка посыпалась обильная серебристая искра.

— А ну-ка, поворачивайся довольно тебе отдыхать! — Сгоряча Степан Яковлевич голой рукой ухватился за станок и тут же пронзительно вскрикнул: на ладони сразу выступил кровавый след, будто рука прикоснулась к раскалённому железу.

— Ты — полой, полой, — посоветовал ему Звенкин.

И вот, несмотря на то, что станки заиндевели, несмотря на то, что люди были плохо одеты, что вместо варежек у большинства на руках были потрёпанные чулки, тряпки, несмотря на всё это, люди кинулись на станки. Страхивая с них морозную седину, стаскивая их с платформ, люди клали станки на брёвна и волоком тащили в здание ещё без крыши, ставя их на приготовленные фундаменты.

А буран бушевал.. кидая в лица охапки колючего, словно битое стекло, снега. Люди стонали, падали, будто подбитые морозом воробьи, снова вскакивали и снова кидались на станки, ещё громче стеная, скрежеща зубами В этом бушующем буряне, собственно, ничего не было видно — ни людей, ни станков, ни тем более самодельных из брёвен саней. Только иногда из белесой пурги выныривало что-то огромное, чёрное, облепленное живыми фигурками, и снова над всем бушевала свирепая уральская метель. Иногда из метели, перекрывая её завывания, вырывалась «Дубинушка», но буран своим воем глушил песню и крутил, выл, свистел, потешаясь надо всеми.. И руководили в эти дни полугодными, уставшими от бессонных ночей, полураздетыми людьми.. высокие патриотические цели.. и русская удаля: «Эх ты, буран, крутишь, а мы всё равно тебя победим».

Высокая цель борьбы за мир побеждала все препятствия.

Роман Бориса Горбатова «Непокорённые» тем пришёлся по душе читателям на фронте и в тылу в трудную пору Отечественной войны, что он взволнованно, горячо высказывал большую правду нашей эпохи: невозможно превратить в раба свободного труженика-созидателя! В романе речь шла о свободном, творческом труде, который фашисты захотели превратить в рабский труд,

и о том, как это не вышло и не могло выйти, и не выйдет никогда ни у кого! Роман ещё и потому имел большое значение, что был первым произведением, рассказавшим о том, как жили наши братья и сестры, матери и отцы на нашей родной земле, осквернённой, захваченной фашистами.

Это был как будто «семейный роман» — в его подзаголовке значилось: «Семья Тараса». Героем романа была семья старого донбасского мастера Тараса Яценко Но советский «семейный роман» — всегда роман и о великой семье советских народов, о жизни всей Родины.

«Не покоряться!

Немецкий топор повис и над семьёй Тараса, — старика потребовали на биржу труда. Он не пошёл.

— Я не хочу работать, — сказал он полицейскому, пришедшему за ним.

Первый раз в жизни произнёс он эти слова; я не хочу работать. Его руки тосковали по напильнику. Его лёгким нужен был железный воздух цеха, его ушам — весёлый звон молотов в кузнице, его душе — труд. Но он сказал полицейскому: я не хочу, я не буду работать. Сейчас труд был изменой. Сейчас голодать — значило не покоряться».

Старый мастер отвергает попытки фашистов подкупить его, он объявляет себя чернорабочим. И вместе с другими кадровиками, такими же, как он, кудесниками труда, Тарас выполняет или делает вид, что выполняет чёрную работу.

Сцены в романе, изображающие эту «работу», полны трагического значения, — как будто музыка мрачного торжественного марша сопровождает этих стариков, сопутствует их шагам.

«Они входили в старые знакомые заводские ворота. Перед ними лежал труп завода. Скорчившееся, обуглившееся железо. Глыбы мёртвого камня.

Старики шли по заводу... Высокой травой заросли дорожки. На стенах выступил лягушачий мох. Чёрные вороньи гнезда в стропилах. Хмурое дырявое небо. Рыжий бурьян бушует там, где некогда бушевало раскалённое железо. Вдруг падает ржавая балка, — подпоры прогнили и рухнули. Облака бурой пыли поднимаются над руинами. Испуганно взлетают вороны. Кричат хрипло и тревожно. Бьются крыльями о стропи-

ла. И долго-долго ещё носятся и кружатся над развалинами цеха, как над трупом.

Мастера идут под конвоем по кладбищу завода, сами похожие на скелеты. Все опустили головы, страшно глядеть на развалины. Вокруг запах мертвого железа, тяжёлая тишина. Только шарканье ног на ржавых плитах.

Такова скорбная картина похорон труда. Под ржавыми плитами, кажется, и похоронен он. Но нет! Он жив в душах мастеров. Мы следуем далее за ними, мимо развалин нашего — нашего завода, где каждая балка, каждый гвоздь, каждый винтик кричат: мы — ваши! Оживите нас! Вдохните в нас вашу творческую душу, чтобы вновь всё вихрилось, гремело в страсти созидания!

«Непокорных стариков пригоняют к развалинам электростанции. Их заставляют разбирать полуразрушенные стены и расчищать площадку... Они делают это медленно и насмешливо. Немец-надсмотрщик злится: русский не умеет работать! Русский есть ленивый осёл! Тарас усмехается: поглядел бы ты, немец, как русский «лентяй» шуровал здесь, когда сам себе был хозяином, как ворочал тяжёлым молотком Пётр Лиходид, какой азарт кипел здесь..

Когда немец уходит, старики сразу бросают «работу». Кряхтя, усаживаются на камни. Закуривают. Знаменитые мастера сидят тут на развалинах. Они сложили эти цехи.. Кому из них доведётся воскрешать?.. Да, дожить бы! Дождаться! Дни, недели остались до освобождения, а у стариков каждый час — последний.

— Не доживём! — горько качает головой Назар. — Все скелеты стали, все скелеты. Гляжу я и удивляюсь: чем только люди живы?

— Верой живы, Назар, — строго отвечает Тарас, — верой».

Советские люди твёрдо верили в победу над рабством, разрушением, войной. Голодные, измученные, но не ставшие рабами — не покорившиеся! — старые мастера думают не о смерти, а о том, как лучше и быстрее нужно будет возрождать родной завод.

«— Завод можно быстро пустить! — говорит старик Артамонов. — Я б перво-наперво.. — И он начинает выкладывать свой проект. У каждого старика есть свой проект. Продуманный, выстраданный, выношен-

ный, как мечта. Каждый начал бы восстановление завода со своего цеха. Они доказывают друг другу, что так вернее. Они спорят, горячатся, сердятся. И все — мечтают.

Дожить Дожить бы! Увидеть, как заструится первый робкий желтоватый дымок над силовой... Услышать, как гроыхнёт первый молот в кузнице...

Но ни один из них не перенёс бы, если бы задымил завод для немца. Нет, этого допустить нельзя. Лучше видеть родной завод трупом, чем рабом. Пусть лучше лежит мёртвый до поры. Его не дадим унижить.

Бранясь, возвращается немец-надсмотрщик. Старики принимались за работу. Медленно разбирали стену. Кряхтя волочили камни. Перекладывали кирпич с места на место. Битый кирпич. Разрушенная стена. Мёртвые камни, могильные плиты».

Мастера говорят о заводе, как о человеке-бойце, они говорят от его имени: лучше умереть, чем жить на коленях.

Но они знают, верят, что завод не умер.

Так вели войну за мир наши люди там, где родная земля стонала под фашистским ярмом. И когда они вернулись к мирному труду, то это было праздником осуществившейся мечты. Это был праздник, хотя кругом ещё были развалины и жизнь была трудна и сурова. Но вновь, вновь звучал героический лейтмотив советской поэзии:

день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.

(В. Маяковский)

Роман Бориса Горбатова заканчивался картиной освобождённого Донбасса.

«Как на праздник, выходили люди на постройку мостов и дорог: они стосковались по свободному труду, как по хлебу. Подле обугленных заводских корпусов собирались рабочие. На шахтах, не ожидая приказа, откачивали воду. Мастера суетились на кладбищах паровозов. Рылись в снегу, хозяйски подбирали болты и гайки. Женщины сносили в школу мебель. Из лесов и балок возвращались партизаны. Всё было охвачено жаждой восстановления. Земля подымалась из пепла. Люди не хотели

ждать, не могли ждать — в поле, где вчера прошёл бой, сегодня выходили колхозчики.

И Никифор почувствовал, как у него начинают нетерпеливо гудеть руки «Эх, работы сколько! Работы!» — жадно думал он, глядя на мёртвые цехи.

Это не усталый, больной солдат шёл с фронта, — это шёл строитель. Жадный Нетерпеливый»

Замечательный штрих эпохи: в то самое поле, где вчера прошёл бой, сегодня выходили колхозники — работать, лечить, оживлять родную землю!

Да, не усталый, больной солдат шёл с фронта, — нет, солдат мира возвращался для того, в чём и заключается смысл его жизни, ради чего он воевал — для мира и созидания

Советские люди стремились скорее взяться за осуществление своих творческих замыслов, мечтаний, всего, что было прервано войной, навязанной фашизмом.

Об этом рассказал в поэме «Новое русло» Аркадий Кулешов, мастер стиха, владеющий тайной той ясной, чистой простоты, которая присуща народной поэзии. Один из героев поэмы перед войной задумал построить гидроэлектростанцию в своей родной округе.

Что ж, война отгремела,
мы строим опять,
Время братья за дело,
мечту воплощать...

Но после победы тот, предвоенный проект гидроэлектростанции оказывается узким, нужно мыслить, строить, создавать ещё шире, ещё смелее! И заканчивается эта поэма, посвященная счастью созидания и счастью любви, словами о письме героя к своей любимой, в этом письме он хочет рассказать ей о победе труда-творчества, о новой гидроэлектростанции:

.. Турбины
Торжественный ритм —
Напиши,
Напиши,
Напиши, —
говорит.

И энергия,
Путь озарившая нам,
Как по жилам, пронесется
По проводам.
А по жилам,
Как ток, что гудит в проводах,
Кровь пронесется,
Свет зажигая в глазах
.. Я писал не чернилами,
Не за столом,

А пером электрическим
В небе ночном.
И письмо над землей
Понесли провода,
Словно весть о победе
Любви и труда.
Не один я —
Писали мы все над землей,
Обращался к любимым,
К отчизне родной.

В этих завершающих строках — весь пафос поэмы, в которой чудесно рассказано о том, что труд и любовь, извечно направлявшиеся по разным руслам, у советских людей слились в одно русло — в новое русло, в новую всепобеждающую силу, — силу, которая сильнее электричества, сильнее всего на свете, — силу труда, любви — силу мира!

Творчество Аркадия Кулешова потому и стало близко и дорого всем советским народам, что оно проникнуто поэзией мира, что в стихах белорусского поэта мир предстаёт именно как великая, неотразимая сила. Как будто и в самом деле поэт пишет пером электрическим — пишет от имени всех простых людей всего мира простые, видные всем, единственно правдивые слова о мире во всём мире! Разве не от имени всех отцов и матерей сказано Аркадием Кулешовым его широко известное «Слово к объединённым нациям»:

Я обращаю внимание
Объединённых наций
На тех, кому нет оправданья, —
Любителей провокаций.

Им жить непривычно в дружбе:
Кровавого ждут урожая,
Атомное оружие
В ход пустить угрожая.

Хочу своим гневным словом
Свое оградить жилище, —
Живу я в квартале новом,
Отстроеном на пепелище.

Я наложить решил
На бомбу законное вето, —
Сын у меня народился, —
Пусть знает весь мир про это.

Гордость и радость отца — это человеческое чувство достойно, всегда достойно того, чтобы о нём знал весь мир. Горький учил нас тому, что нет ничего святее рождения человека, нового человека на земле! «Я» в этом стихотворении А. Кулешова выражает многомиллионное «Мы»; в этом «Я» звучат голоса всех отцов и матерей на земле. Они не хотят, чтобы детей кара-

ли концлагерем только за то, что дети рождаются на свет.

В стихотворении «Баллада про око», написанном по мотивам народных сказаний, А. Кулешов по-народному назвал палачей человечества: нелюди. Они изуверствуют, губят людей. И всё же:

На сердце у нелюдей стало тревожно:
Мечту перевесить ничем невозможно
Мечту они молнией белой слепили,
Огнём выжигали, дождями гасили.
Кровавой её выедали слезою..
..А что же с мечтою?
Мечту не засыпать сырою землёю.

Как бы ни бесновались нелюди, выродки, маньяки прибыли, стремящиеся пустить в ход атомное оружие, им не выжечь огнём, не погасить водой, не ослепить, не засыпать сырою землёю мечту человеческую о счастье и мире. Мечта стала волей, становится действием всего человечества, и потому она победит!

О нетерпеливом, жадном стремлении советского человека, вернувшегося с войны, к труду, сказал своэй энергичной, жесткога-той поэтической речью Михаил Лукопин в стихотворении «Пришедший с войны»:

...Не жалеите,
Не жалуйте отдыхом нас.
Мы совсем не устали,
Нам — в дорогу как раз.
Не глядите на нас с умилением,
не
удивляйтесь живым,

Жили мы на войне.
Нам не отдыха надо
И не тишины,
Не ласкайте словами
«Участник войны».
Нам — трудом повторить
Ордена и почёт.
Жажда трудной работы
Нам ладони сечёт.
Мы окопами землю изрыли,
пора

Нам точить лемехи
И водить трактора.
Нам — пора:
звон оружия —
ка звон топора.

Посвист пульт —
на шипенье
Пилы и пера...

Об этом же говорил С. Смирнов в сти-хотеорении «Гвардейцы запаса»:

...Но в мирной жизни
снова мы
Воинственный народ, —
Не демобилизованы,
Друзья, —
наоборот!
Опять

По месту жительства
Резонная страда:
Не пашня —
Так строительство,
Не уголь —
Так руда,
Не краски —
Так созвучия,
Да нужные слова!
И в каждом
частном случае —
По локти рукава!

Это были действительно нужные слова, выражавшие главные мысли и чувства советских людей, пришедших с войны. И хорошо звучит тут: воинственный народ — воинственный для мира, для мирных дел!

Горький звал наших писателей к тому, чтобы труд стал главным героем их произведений.

Одним из наиболее популярных произведений у советского читателя в годы сталинской послевоенной пятилетки стал роман Василия Ажаева «Далеко от Москвы», главным героем которого явился труд — героический труд советских людей в пору Отечественной войны. Автор вводил нас в лаборатории массового вдохновенного творчества, и для нас стали близкими, понятными, увлекательными все технические вопросы, все детали строительства, изображавшегося в романе: мы были увлечены, подняты патетикой созидания. И разве не замечательно, что роман, посвящённый тяжёлому, грозному моменту Отечественной войны, — осень и зима 1941 года, — оказался одним из лучших произведений о радости, о счастье творческого труда! Это знаменательно для своеобразия нашего социалистического общества, для природы нашей освободительной войны — войны за труд, за творчество, за мир.

Никогда ещё советские люди не чувствовали так глубоко и всесторонне всё счастье свободного творческого труда, как после небывало суровой войны, которую мы вели за торжество этого труда, за самую его возможность. И именно те произведения, в которых труд овеян романтикой, пользуются наибольшим признанием читателя. Потому-то читатель полюбил «Счастье» и «Степное солнце» П. Павленко, согретые солнцем мирного труда; потому-то и завоевали популярность «Сталь и шлак» В. Попова, романы С. Бабаевского,

Е. Мальцева, повесть-поэма Г. Гулиа «Весна в Сакене» и другие книги, овеянные пафосом труда. Наша литература учится всё глубже передавать счастье и красоту созидательного труда советских людей.

«Сколько бы лет ни проработал челсёк в мартеновском цехе, — читаем в романе В. Попова, — сколько бы металла ни выплавил на своем веку, выпуск плавки, миг рождения стали не может не волновать его. Это всегда напряжённый и торжественный момент ..

С глухим рокотом вырвалось из отверстия пламя, мгновенно усилилось, стало ярким, и ослепляющая струя жидкой стали с тяжёлым шумом хлынула в ковш.

Разливочный пролёт здания словно вспыхнул. Ясно обозначились скрытые до этого в темноте подкрановые балки, стропила крыши. Крайнев увидел напряжённые глаза машиниста, который сидел в кабине крана и ожидал сигнала принять ковш, наполненный сталью»...

Торжественная радость труда — она стала ещё ближе и понятнее миллионам людей, истосковавшимся по труду в годы войны.

Герой повести Георгия Гулиа «Весна в Сакене», колхозный бригадир, фронтовик, произносит небольшую речь перед началом весенних работ:

«Товарищи! Мы выходим в поле. Большое событие. А почему большое? Разве до нас не пахали, не сеяли? И сеяли и пахали. Но мы будем бороться за необыкновенный урожай, мы выходим в поле с желанием показать нечто новое...»

В самом деле, сотни и тысячи лет «до нас» люди выходили в поле сеять и пахать, и это не было никаким событием. А сейчас выход в поле стал торжественным событием, волнующим души людей, — не то как перед большим праздником, не то как перед боем. Желание «показать нечто новое», совершить подвиг творчества, стремление к инициативе, к полноте «самоосуществления», к полноте жизни всё глубже воодушевляет наших людей.

Партия Ленина—Сталина — главная сила нашего движения вперед — ведёт советских людей к полноте счастья, к коммунизму.

В поэме Н. Грибачёва «Весна в «Победе» образ парторга колхоза представал перед читателем, как образ организатора

счастья. В поэме есть чувство необозримой широты жизни. Умиравший герой поэмы вобрал в свою душу всю эту жизнь, он — один из ее творцов, и сама смерть его светла: он так прочно вошёл — всем тем, что он сделал, создал, — в мир, в эту широту жизни, в создание, что в самой его смерти побеждает жизнь! Жизнь и труд сливаются в единый поэтический образ весны.

Выход в поле! Ударит ветер,
перья зелени шевеля,
расходящейся круговертью
побежит от плугов земля,
полдень солью выбелит спину,
вспыхнет в жилах сухой огонь,
чернозёмом и керосином
будет пахнуть твоя ладонь;
гром прокатится над полями,
над развилинами борозд,
к небу вскинётся, как пламя,
дрогнет в рощах листва берёз;
ухнет эхо и, затухая,
схлынет в яр, и чуть погода
вспыхнет скачущая, сухая,
барабанная дробь дождя;
перемолотые на зёрна,
хлынут наземь из туч озёра,
чтобы соком земля набухла,
подошла, как опара, в срок,
чтобы — ляг, приложи к ней ухо,
слышно: движется вверх росток
силой жизни неистребимой,
расправляет, чуть схлынет мгла,
как птенец над гнездом родимым,
два листка, словно два крыла!
Он вспорхнёт с перезвоном в лето,
Только гуще, роса, ложись..
Есть такая в людях примета —
жив лишь тот,
кто рождает жизни!

Эти стихи передают воздух, запах весны, запах труда — и сочной полнотой здоровья дышит здесь всё, и так вкусен, так вызывает жажду работы этот смешанный запах чернозёма и керосина, которым «будет пахнуть твоя ладонь».

Партия Ленина—Сталина, советские люди несут весну и человечеству и природе. И если верно, что жив лишь тот, кто рождает жизнь! — то разве можно признать живыми и тех, кто несёт народам смерть, войну!

Мир для советских людей — это весна, прорастающее зерно, солнце, — это вся жизнь, всё её счастье. Потому-то и образ труда, защищающего мир, сливается с образом самой жизни: труд — жизнь. И потому так строги и требовательны к своему труду наши люди.

Труд — битва за мир!

Всё больше появляется у нас талантливых книг, героем которых является труд, книга, любовно поэтизирующих человека труда и всё, связанное с трудом. В числе этих новаторских книг — роман «Водители» Анатолия Рыбакова.

«Тимошин был один. Худощавый, чуть сутулый, с бледным выпуклым лбом, жидкими русыми волосами и тонкими, гибкими пальцами, он был одет в синюю рабочую куртку, из-под которой виднелся потёртый ворот гимнастёрки с золотистыми пуговицами и чистым белым подворотничком. В его сосредоточенной позе, во всей этой тишине пустого цеха было что-то очень трогательное и привлекательное».

Хорошо тут слово: «трогательное». Нужна настоящая любовь к труду, к воздуху, вкусу труда для того, чтобы догадаться, что в подлинном, беззаветно отдающемся своему делу, своему вдохновению мастеру всегда есть что-то трогательное, почти детское, доверчивое.

Писатель создал настоящую картину, с этой сосредоточенной тишиной труда, напряжением мысли, спокойным мирным светом лампочки над станком, невольно попросилось в эту картину труда слово: «мирный». Слова: труд и мир требуют к себе друг друга, это слова-братья.

А. Рыбаков передаёт нам манеру, приёмы работы, рабочий почерк своего героя, и из этих деталей труда создаёт человеческий характер: одна из новаторских черт советской литературы. Вот какие возникают перед нами черты героя нашего времени:

«У него был острый взгляд часовщика, аккуратность ювелира, пальцы музыканта, тонкие, цепкие, проворные. Он обладал особым, рационализаторским складом ума, способностью видеть в вещах то, чего не замечали другие, стремлением всё использовать... Он любил красивые вещи, и всё, что сходило с его станка, носило на себе печать неумовимого изящества».

Скульптор, задумавший образ техника, вряд ли нашёл бы лучшую натуру, чем этот человек в синей рабочей куртке, с бледным выпуклым лбом мыслителя, тонкими, сжатыми губами упорного изобретателя, руками толкового мастерового. От его одежды исходил приятный запах чистоты. Его внешность олицетворяла собой

аккуратность человека, внутренне опрятного, ясно и точно мыслящего.

У него на все хватало времени, он всегда учился. Группу техминимума сменила школа мастеров, затем — курсы по подготовке в вуз и, наконец, заочный факультет аэромеханического института. Кончить институт помешала война. Тимошин ушёл на фронт, служил в пехоте, дослужился до старшины, был дважды ранен и затем переведён в дивизионную автотроту.

...Теперь Тимошину ещё больше приходилось заниматься самообразованием, целыми ночами просиживать за книгами. Максимов удивлялся, как у Тимошина на всё хватает времени. Максимов не понимал, что у человека, считающего время минутами, его в шестьдесят раз больше, чем у того, кто измеряет часами».

Таков портрет новой рабочей интеллигенции, новаторов, стахановцев послевоенной сталинской пятилетки — людей, которые, не отрываясь от работы на производстве, отстаивая квалифицированными рабочими, достигают образовательного уровня инженеров. От всего образа мастера, нарисованного А. Рыбаковым, веет миром, поэзией сосредоточенного, умного труда. Каждая минута работы такого мастера сражается за мир! — потому он и считает время минутами!

Счастьем сегодняшнего дня и мечтой о ещё более счастливом завтрашнем дне живут миллионы рядовых советских людей. Об этом рассказывает в своих романах С. Бабаевский.

Электрификация деревни. Стирание грани между селом и городом. Рост новой сельской интеллигенции. Превращение рядовых колхозников в интеллигентных людей. Грандиозный сталинский план преобразования природы, ставший всенародным делом, всенародно осуществляемой мечтой. Вот — темы романов С. Бабаевского, ценных прежде всего уже тем, что они ясно показывают, какие мысли и дела волнуют страну после победы. Романы Бабаевского показывают всенародный характер нашего созидания, творческую инициативу рядовых людей, учащихся мыслить по-государственному, растущих в процессе созидания.

Как во время войны все мысли, все чувства советских людей устремлялись к родному Сталину, так и сейчас, в дни мирного

созидания, все то хорошее и творческое, что мы делаем, мы делаем с мыслью о Сталине.

В дни войны наши солдаты, упорно защищавшие или отбивавшие у врага какую-нибудь мало кому известную, на обычных картах не обозначенную «точку», знали, что есть такая особая карта, на которой обозначены все «точки», как есть такое сердце, в которое вмещаются все заботы, дела, радости и огорчения советских людей. С гордостью и любовью солдаты говорили друг другу, что в Кремле есть такая карта, на которой обозначена и эта, «ихняя» точка, и лежит та карта на столе у товарища Сталина.

В романе С. Бабаевского «Свет над землей» председатель колхоза «Дружба земледельца» Костя Панкратов проводит беседу с лесоводной бригадой.

«— В Кремле есть такая особая карта, — начал Костя, подсаживаясь ближе к кругу, — на которой обозначена и вот эта наша лесная полоса, и лежит та карта на столе у товарища Сталина».

Великий преобразователь жизни людей и жизни природы, творец счастья, Сталин знает все «точки», где по его планам создается человеческая радость, поднимается свет над землей, куётся победа любви над смертью, мира — над войной. Сталин дал народу план счастья.

Всенародная увлечённость сталинским планом построения коммунизма, жизнь в сегодняшнем и вместе с тем в завтрашнем дне, чувство и сознание перспективы, плана у рядовых тружеников — эти замечательные черты своеобразия нашего советского образа жизни особенно усилились в послевоенные годы. Сейчас каждому стало ясным, что самые грозные опасности преодолеваются советским народом, руководимым партией большевиков, что все мечты — сбываются.

Вот почему так заворожённо слушают колхозники то, о чём рассказывает им Костя Панкратов.

«Костя, уже не пожалев красок, обратился к смелому сравнению:

— Эти степные моря, созданные народом по воле нашей родной коммунистической партии, будут гореть на солнце, как зеркала в зелёных рамках, и влага от них разольётся по всей степи...

— .., Мы обновляем наши степи и станицу, переделываем природу не только для того, чтобы получать высокие урожаи, — продолжал Костя, — нет, мы люди хозяйственные, сказать, предусмотрительные: хотим всё прекрасное, что таит в себе природа, взять с собой в коммунизм!

Он мечтательно посмотрел на строение лица колхозников и хотел было поподробнее рассказать о том, какой красивой будут не только станицы и жизнь людей, но даже вся природа, но в это время сосем близко загремела арба в бычьей упряжке, на арбе желтели молодые деревца — они стояли одно к одному, напоминая собой кустарник.. »

Миллионы советских людей живут с сознанием, что они делают всё более красивой не только человеческую жизнь, — они делают все более красивой природу, они творят жизнь и творят природу. Так мы слышим дыхание коммунизма в нашем сегодняшнем дне. Никогда ещё советский народ не чувствовал с такой глубиной свою силу и величие, силу и величие своего вождя, по мудрому слову которого так видимо для всех творится иная жизнь, иная природа, творится коммунизм, полнота счастья.

Полковник Воропаев, герой «Счастья» П. Павленко, встречается в Крыму с товарищем Сталиным.

«Воропаеву показалось, что Сталин не постарел с тех пор, как он его видел в последний раз на параде 7 ноября 1941 года, но резко изменился в ином направлении.

Лицо его, всё то же, знакомое до мельчайшей складки, приобрело новые черты, черты торжественности, и Воропаев обрадовался, приметив их.

Лицо Сталина не могло не измениться и не стать несколько иным, потому что народ глядел в него, как в зеркало, и видел в нём себя, а народ изменился в сторону ещё большей величавости».

Никогда ещё с такой силой и глубиной народ — весь народ — не сознавал себя свободным творцом истории, как в наши, отмеченные размахом и страстью всенародного созидания, величавые дни.

Работать по-коммунистически, по-сталински — это и значит стать в родной стране поэтом. Миллионы советских

людей всё глубже чувствуют себя участниками построения, созидания прекрасного — великой поэмы, гениальной симфонии, чудесной картины, и это прекрасное — жизнь, наша реальная повседневная советская жизнь в ее устремлении к будущему, в осуществлении мечты, которое мы деловито называем выполнением плана. Это и значит, что труд стал живой поэзией.

«— ...Проходят года, столетия, — говорит один из героев романа «Свет над землёй», — и у каждого века есть свои неповторимые приметы. Есть они и у нас, и плохой тот руководитель, большой или малый, который не видит примет своего времени. Если же он их не видит, стало быть, как руководитель он слепой и не сможет указать правильную дорогу тем, кто избрал его своим вожаком. Самой яркой приметой нашего времени является то совершенно новое отношение миллионов людей к труду, которого ещё не знала история. К примеру, возьмите нас в себя, вот этот весь наш ночной лагерь, все наши дела — нашу Усть-Невинскую ГЭС, наши лесные посадки, наши урожан, наших передовых людей»...

Вот всё это: счастье созидания, красота жизни — это и есть мир, который мы, советские люди, защищаем на земле. Понятно, какое неизмеримое богатство мы вкладываем в это слово.

Миллионы советских людей всё глубже чувствуют свою личную ответственность за мир во всём мире, знают, что их труд борется за мир, и потому так требовательны, строги к своему труду.

В романе Галины Николаевой «Жатва» изображён характерный эпизод.

Василий, председатель колхоза, обиделся на секретаря райкома Андрея Петровича за острую критику его работы: ему кажется, что секретарь мог бы внимательнее и дружественнее отнестись «к председателю, поднимающему отстающий колхоз»... Но вот Василий слушает лекцию о международном положении. И его обида на секретаря райкома постепенно начинает исчезать. «Лектор рассказывал о том, как за рубежом поднимают голову силы реакции и как день ото дня настойчивее и откровенней ведут свою грязную политику поджигатели новой войны».

Вся лекция словно подтверждала слова Андрея: нельзя терять смысла!

— Залог мира во всём мире в нашей с вами силе, товарищи, в той силе, которую мы своими руками создаём и растим на наших полях и заводах! — закончил лектор.

Когда Василий вместе с другими выходил из зала, он всё видел в ином свете, чем три часа назад...

..Он уже понимал и оправдывал Андрея, так резко и прямо указавшего ему на его промахи»...

И вот он уже от своего имени критикует в разговоре с колхозным активом себя самого за то, за что критиковал его секретарь райкома.

«Он взял газету и продолжал:

— Пока сидишь здесь, кажется, что мы за несколько месяцев кучу дел своротили, а как послушаешь людей, поглядишь вокруг да подумаешь вот об этом, — он указал на газеты, разложенные на столе, — так ясно станет: мало и плохо мы ещё сделали! Вот, глядите, о чём тут пишут. — Он стал читать заголовки последнего номера «Правды», коротко комментируя их: «Прения в сенате США о «помощи» Греции и Турции». Это, значит, о чём речь? О том, чтоб под видом помощи выйти к Дарданеллам. «Операции греческих войск против греческих партизан»...

...Вот они, дела-то. Ведь это всё в одном номере газеты. Понюхай её, она порохом пахнет! Нам ли это забывать? Мы ли войны не знаем? Нам успокаиваться нельзя и темпа терять нельзя. Поругал меня нынче Петрович, я сперва обиделся на него, а как послушал лектора, пораскинул умом и понял: ни к чему мне обижаться! Лектор такие слова сказал: «Мы, — говорит, — своими руками создаём гарантию мира во всём мире». Я бы эти слова написал на каждом доме.. Своими руками».

Он посмотрел на свои лежавшие на газете большие, тёмные, со светлыми ногтями руки так, словно видел их впервые».

Всё это очень верно, точно схвачено писательницей. Да, именно так думают и чувствуют миллионы советских людей, остро критикуя работу своих товарищей — свою собственную, становясь на вахты мира, напрягая всю свою волю для того, чтобы работать лучше и лучше. Труд с особенной яркостью раскрывает в эти дни свою природу, сокровенную свою сущность, которая заключается именно в мире. Мир-

ный по всей своей глубокой сути, труд ведёт войну за мир: таков ответ советского народа на подготовку империалистами третьей мировой войны. Очень верно подметила Галина Николаева и этот взгляд своего героя, рабочего человека, на свои руки — рабочие, верные руки, защищающие мир, — и это, вдруг возникшее у героя романа стремление написать этими своими руками слова в защиту мира, написать так, чтобы было видно всем! Так в самих массах трудящихся людей возникало, намечалось ещё не организованное, не оформленное стремление написать весомые, слышные всему миру слова в защиту мира, — написать этими же своими руками, трудом защищающими мир. Всякое большое народное движение сначала смутно бродит в сердцах и умах миллионов, ещё не осознанное, но сильное, могучее в своих возможностях, пока не приобретает всеохватывающей ясности, полнейшей простоты — качеств научного открытия. Один из английских друзей мира отлично сказал, что движение во всех странах за сбор подписей под Стокгольмским Воззванием равносильно научному открытию. Поистине, это одно из самых великих народных движений во всей мировой истории. Оно стало возможным в эпоху, когда народы начали всё глубже понимать, что именно они, трудовое человечество, решают судьбы мира и войны — короче: решают всё на свете. И, поняв это, простые люди земли поняли, что нет необходимости для них погибать во имя корысти атомщиков, что у них есть возможность спасти жизнь человечества. Оно, это движение, со всей наглядностью подтверждает мудрую правоту слов великого друга человечества, знаменосца мира во всём мире — нашего Сталина, — о том, что «рабочие и крестьяне создающие все блага жизни, кормящие и одевающие весь мир, — вот кто настоящие герои и творцы новой жизни»! Вот кто — подлинные творцы истории!

Да, теми самыми руками, которыми трудовое человечество создаёт все блага жизни, — этими руками оно подписывает: мир — миру! Смерть войне!

Вот почему так бессильна и нелепа пропаганда тех растленных пошляков, которые стремятся внушить людям подлую мысль

¹И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 422.

о «неэффективности» подписей под Стокгольмским Воззванием. Эта пропаганда свидетельствует только о страхе поджигателей войны и их слуг, а, значит, и о весомости подписей за мир. Ничего на свете нет весомее, чем подпись, сделанная рукой трудового человека, солдата мира! Что же касается весомости подписей советских людей под Стокгольмским Воззванием, то об этом неплохо сказал А. Межиров в стихотворении «Две подписи»:

Помню небо в проёме
Разбомблённой стены,
На ночном окаёме
Ключья дыма видны.
И, шагая Берлином,
Кто-то песню поёт,
Как мы шли по долинам
И по взгорьям вперёд.
Не пером на бумаге —
Пятилетье назад, —
А штыком на рейхстаге
Расписался солдат.
На рейхстаге, прожжённом
До фашистских основ,
Твёрдый почерк с наклоном:
«Алексей

Иванов».

Эта подпись доныне
У меня на виду,
Это было в Берлине,
В сорок пятом году.

Это было когда-то,
Но не так уж давно.
Твёрдый почерк солдата
Мне забыть не дано.

Есть на волжских высотах
Знаменитый завод,
Там в железных пролётах
Людный митинг идёт.
Мы почтили вставаньем
Память павших в бою
Под Стокгольмским Воззваньем
Ставим подпись свою.

На листе, испещрённом,
Два ряда подписей,
Твёрдый почерк с наклоном:
«Иванов

Алексей».

И вспомнил я снова
Тот полночный Берлин,
И бойца Иванова
У фашистских руин...

Подпись советского человека под воззванием о мире подкреплена многим. Она подкреплена освободительной войной за мир, безмерными жертвами, безмерным мужеством. Она подкреплена победой в войне за мир. В наши дни труд советских людей каждодневно, ежедневно, ежеминутно убивает войну.

Одна из самых важных новых черт нашей послевоенной литературы заключает-

ся в том, что образы мира встречаются в ней всё чаще, мелодия мира звучит всё глубже и полновеснее, сливаясь с мелодией труда.

Таков финал «Жатвы»: «...час этот был часом особой красоты. Всё созданное и сделанное животноводами проходило перед их глазами, и не было большей радости, как вместе любоваться им. В этот час отлетало всё мелкое — неполадки, стычки, трудности — и оставалось главное — обшая радость и гордость людей тем, что они сделали, и уважение друг к другу за это сделанное.

С холма поляна, окружённая с трёх сторон лесом, а с другой — огороженная увалом, казалась зелёной чашей. Меж зубчатыми вершинами зелёных аллей плавился закат. В промытом дождём, прихваченном первыми утренниками воздухе не дрожало ни одной пылинки. Осенняя пышность и яркость зелени всюду удивительно сочтались с весенней чистотой красок, что бывает только на горных склонах в благодатные солнечные годы да в северных местах. От закатного отсвета всё приняло тёплый, телесный оттенок. Серая, вытоптанная площадка перед холмом, там, где сходились три дороги, была смуглой и ласковой, как человеческая ладонь...

...Отчего так хорошо? — тихо, словно самой себе говорила Валентина — Отчего такой мир и такое счастье вокруг? ...Вот сейчас я представила себе, что всё здесь не наше общее, а, например, моё, только моё. И так противно даже на миг допустить это! Сразу разрушится красота. Будет негодование и справедливый гнев одних, страх и жадность других. И не будет вокруг ни счастья, ни мира, ни согласия. И исчезнет всё очарование Алёшина холма.

— Хорошо, что ты привела меня сюда. Мир и счастливый труд.. Кажется, не ушёл бы отсюда. — Но Валентина не слушала мужа, захваченная своими мыслями.

Солнце было уже совсем низко. Розовый отсвет сгустился, стал алым. Облака в золоте и багрянце неподвижно лежали вдалеке...

...Чуть зашевелились кусты. Какая-то пичуга запела протяжную вечернюю песню. Всё дышало доверием, красотой, согласием, радостью плодотворного труда...

Замечательно это чувство современника, выросшего и воспитавшегося в социалистическом обществе—все сразу лишилось бы красоты, если бы было только оно!

Красота такой жизни, когда люди счастливы тем, что всё дышит доверием, согласием, радостью творческого труда всех для каждого и каждого для всех, когда вся природа представляется делом человеческих рук, — это и есть для советских людей красота мира!

Будущий историк нашей эпохи отметит, что чем свирепее угрожали хищники войной всему человечеству, тем чаще, и глубже, и проникновеннее рисовала советская литература картины мира, любви, счастья мирного творческого труда.

Мы принимаемся за дело,
Громит бесчестье наша честь,
Чтобы неправда онемела,
А правда шла, какая есть.

Чтоб мысль простая плугом в поле
Перевернула б целину.
За мир, за труд, за праздник воли,—
Чтоб наши песни побороли
И переспорили войну.

(Андрей Малышко. «За синим морем»)

Песни советских поэтов ведут войну с войной. Советские люди, стоящие во главе борьбы за мир во всём мире, имеют право гордиться тем, что песни наших поэтов поются во всех странах, на всех языках — то громко, во весь голос, то шёпотом, но тоже так, что слышно повсюду, — поются, как гимны мира, как боевые марши борьбы за счастье.

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живём.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идём.
В разных землях и странах,
На морях-океанах
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки!
В наши ряды, друзья!

Песню дружбы запеваеt молодёжь,
Эту песню не задушишь,
не убьёшь!

Нам, молодым,
вторит песней той
весь шар земной!
Эту песню не задушишь, не убьёшь!

Юность всего мира поет эту песню, «Гимн демократической молодёжи мира», созданную советским поэтом Львом Ошаниным. Да, песню мира не задушишь, не убьёшь — она сильна и бессмертна, как

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Тарасенков. Труд и творчество. — А. Коваленков. Новая ступень. — Г. Ленобль. Героика повседневного труда. — Б. Костелянец. Новые люди Туликсааре. В. Жданов. Горький и Сибирь. — А. Турков. Воевой жанр. — М. Мендельсон. Американские гангстеры в военной форме. — С. Кругерская. Два романа австралийской писательницы. — В. Померанцев. «Поездка на Рейн».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЖИЗНЬ ЗА РУБЕЖОМ

Член-корреспондент Академии наук СССР А. Трайнин. За дело мира! — П. Крайнов. Столица народного Китая. — Кандидат исторических наук Е. Черняк. Американские космополиты — поджигатели войны. — Л. Лагин. Свидетельство очевидца.

ПРАВО

И. Свешников. Буржуазное право — орудие реакции.

ТЕХНИКА

Доктор экономических наук А. Погребинский. Роль Москвы в техническом прогрессе России.

БИОЛОГИЯ

Е. Русакова. Будущим преобразователям природы.

ГЕОГРАФИЯ

Доктор географических наук Э. Мурзаев. Академик Иван Иванович Лепехин.

АРХЕОЛОГИЯ

Кандидат исторических наук Л. Липин. Книга о древнейшей истории Закарказя.

Литература и искусство

Труд и творчество

Есть книги, неотделимые от личности автора, в которых никогда точно не знаешь, где кончается собственный опыт автора, факты его личной биографии, воплощённые в живую, образную ткань произведения, и где начинается то, что принято определять, как «художественный вымысел», хотя фактическая основа этих книг — достоверна и слово «вымысел» звучит в данном случае условно. Гораздо правильней в этом случае говорить не о вымысле, а о силе художественного обобщения. Но есть книги другого рода, книги, в которых личность автора и его собственный опыт растворены в судьбах многих героев, эта личность и опыт как бы отсутствуют, а вместе с тем ощущаются за каждой строкой, за каждым эпизодом произ-

ведения. И тогда становится интересным узнать: а кто же автор этого произведения, какова его личная судьба, биография? К такого рода книгам, несомненно, относится новый роман Галины Николаевой — «Жатва».

Имя Галины Николаевой для советского читателя прозвучало сравнительно недавно — в самом конце войны, когда в журнале «Знамя» впервые был опубликован большой цикл её стихов — дебют литератора. Эти стихи были написаны по горячим следам войны. Врач по профессии, Галина Николаева находилась в рядах Советской Армии в грозную и величавую годину. На небольшом катере она производила эвакуацию раненых из Сталинграда в заволжскую степь. Это были дни величайшего напряжения и героики. Там, в Сталинграде, Галина Николаева была тяжело ранена, контужена. После сталинградской битвы она работа-

Галина Николаева. «Жатва». Роман. Журнал «Знамя» №№ 5, 6 и 7 за 1950 год. Глазный редактор В. Кожевников.

ла в госпитале. В эти военные годы и месяцы и родились горячие, взволнованные стихи Галины Николаевой и её рассказ «Смерть командарма», обратившие на себя внимание критики. При всём несовершенстве литературной формы, сквозь различные и подчас разностильные влияния был чётко слышен голос поэта, жившего теми же чувствами и мыслями, что и весь советский народ, и умеющего эти чувства и мысли выразить с простодушием подлинной искренности, составляющей столь важную сторону лирического дарования. После первых выступлений в печати Галина Николаева замолкла на несколько лет. Видимо, это были поиски темы, внутренних раздумий, накопления знаний, мастерства. В эти годы Галина Николаева искала и нашла живой контакт с действительностью наших дней. Это был обычный путь молодого советского писателя — поездка на места с заданиями от газеты. Галина Николаева отнеслась к своему повседневному журналистскому труду с чувством особой, повышенной ответственности. Долгими месяцами она колесила по лесным и полевым дорогам Горьковской области, узнавала новую для неё, горожанки, жизнь деревенских людей, трудности и победы колхозной жизни. На время, проведённое Галиной Николаевой в колхозах, пришёлся и 1946 год — тяжёлый год засухи и неурожая. Жизнь раскрылась перед ней не своей парадной, праздничной стороной, а в борьбе и против сил природы, и против духа мелкособственнических инстинктов, которые дают себя знать в неустойчивых людях именно в години испытаний. У молодой писательницы накапливался материал замечательной ценности. В живой практике социалистического земледельческого труда Галина Николаева искала и находила тот источник творческого вдохновения, который позднее помог ей написать очерк о колхозе «Трактор», перепечатанный «Правдой» со страниц журнала «Знамя» и приобретший широкую известность.

Но всё это были лишь подступы к решению той главной темы, за разрешение которой взялась Галина Николаева в романе «Жатва».

Если в самых общих чертах попытаться определить тему этого романа, то это — превращение отстающего колхоза в колхоз передовой. Многие персонажи этого романа встречались в послевоенной советской

литературе: здесь и бывший фронтовик — председатель колхоза, и люди, заражённые пережитками прошлого, с которыми этому председателю приходится бороться, здесь и передовая колхозница, вынесшая на себе все тяготы военных лет, и молодёжь, стремящаяся к знаниям, к передовой агрономической науке, и фигура секретаря райкома.

Казалось бы, обо всём этом знает каждый советский человек, читающий газеты. Но в том-то и дело, что к этим уже хорошо знакомым фигурам, типичным для нашей послевоенной жизни и нашедшим себе место в сотне очерков, корреспонденций, статей, Галина Николаева прибавила свой личный, человеческий опыт, подлинное знание дел, забот, переживаний этих людей, и потому-то её роман отмечен красками подлинной жизни.

Галина Николаева — художник, причём художник незаурядной силы и таланта. Повседневное в советской жизни она сумела ощутить как глубоко поэтическое, — и в этом её удача, как писателя, в этом — то, что роднит творчество Галины Николаевой со всем опытом наших передовых писателей.

Великий Горький призывал советских писателей сделать главным героем их произведений творческий труд. Галина Николаева — одна из многих, кто этот вдохновенный призыв Горького сделал первоосновой своей литературной работы. В этом смысле «Жатва» стоит в том же ряду, что и «Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Сталь и шлак» В. Попова, «Флаг над сельсоветом» А. Недогонова, поэмы Н. Грибачёва, «Водители» А. Рыбакова, «Марья» Г. Медынского и многие другие книги послевоенных лет.

Если в довоенной советской литературе книги о труде были ещё сравнительно немногочисленны, то ныне, после победы над фашистской Германией, когда советские люди охвачены небывалым трудовым созидательным подъёмом, эта тема всё более властно начинает становиться главной, определяющей темой большинства советских художников слова. В этом, кстати говоря, ещё одно свидетельство сближения литературы с жизнью, вне органической связи с которой все более немислимой становится в наши дни работа любого серьёзного и думающего литератора.

Главная и определяющая удача романа Галины Николаевой — образ Авдотьи Бортиковой. Создавая его, писательница пошла по трудному пути. Не прост личный мир этой героини. Вначале — в одной из глав, обращённых к довоенному прошлому героев романа, — она ещё девушка, почти девочка, чистая, задорная, наивная, но уже обладающая редкой цельностью натуры. Её любовь к трактористу Василию изображена Галиной Николаевой так поэтично и вдохновенно, так целомудренно и правдиво, что страницы, посвящённые ей, без сомнения относятся к лучшим страницам романа.

И вот Василий и Авдотья — муж и жена. Вскоре Василий уходит на фронт. Авдотья получает известие о его смерти. Жизнь её становится трудной, одинокой. Авдотья полюбила другого человека. Какова же должна быть душевная драма этой ни в чём, в сущности, не виноватой женщины, когда возвращается с фронта Василий, считавшийся погибшим? Перед Василием и Авдотьей встают мучительные вопросы. Разумом они их решают сразу и бесповоротно — так, как подобает их решать честным советским людям. Василий и Авдотья решают сохранить свою семью. Уйти должен тот, второй — Степан, которого так нежно и самоотверженно полюбила Авдотья. И он уходит. Но любовь продолжает жить в сердце Авдотьи, она не может лгать, не может притворяться перед самой собой. Ей близок и дорог Василий, их дети, но как быть с сердцем, с женской нежностью и тревогой?..

Галина Николаева смело и честно взглянула в глаза этой проблеме. Она не побоялась противоречий в чувствах своей глубоко симпатичной читателям героини. И в этом её правота и честность, как писателя. Но заслуга Галины Николаевой в том, что она не только сумела правдиво изобразить жизненный конфликт, а и найти его верное, высоко моральное и в то же время подлинно поэтическое решение.

Трудно Авдотье. Трудно и Василию. Эти трудности далеко не исчерпываются их личными отношениями. И прежде всего потому, что колхоз, в котором они живут и работают, находится в очень тяжёлом положении. Хозяйство пришло в упадок. За годы войны колхоз потерял многих своих лучших работников. Многие колхозники, неуверенные в своём завтраш-

нем дне, потерявшие веру в колхозную силу и достаток, — «вьют верёвочку» из лыка, продают её на базаре. Некому стать во главе, помочь, подтолкнуть, направить на верный путь молодёжь. Вот тут-то и на долю Василия, и на долю Авдотьи выпадают их главные задачи. Он — председатель колхоза, она — заведующая молочной фермой. Он — человек грубоватый, горячий, своенравный, привыкший командовать. Ему не сразу удаётся великое искусство большевистского руководства. Она — тихая, замкнутая, сосредоточенная, бесконечно трудолюбивая женщина. Но и у неё ещё нет уверенной хватки организатора.

И вот эти рядовые советские люди начинают деятельно, активно искать новые пути, новые средства к разрешению таких сложных, таких трудных задач, которые, что ни день, ставят перед ними жизнь. С головой уйдя в разрешение трудностей общественных, Василий и Авдотья как-то незаметно для самих себя решают и свои личные трудности, выходя из них победителями.

В конце романа, когда его герои уже достигли решающих побед, Авдотья говорит Василию:

«Вася, мне всё один случай вспоминается: как ездила я девчонкой на солёное озеро. Плавать-то я не умела, испугалась, а тётка мне говорит: «Да ты не пугайся, ты руками, ногами пошевели, тогда тебе вода не даст потонуть, наверх вынесет. Ты только брёвнышком, брёвнышком не лежи!» И верно, пошевелилась я маленько — и вдруг вынесло меня озеро на поверхность, и поплыла я, Вася! И так мне удивительно это показалось! И как вздумаю я про наш колхоз, так всё в памяти этот случай. А как заведу разговор где-нибудь в слабом колхозе, всё мне хочется тёткиными словами сказать: «Вы пошевелите малость руками да ногами, а там вас и наверх вынесет! Вы только брёвнышками, брёвнышками не лежите!»

Вот эта идея — что всё в жизни советских людей зависит от них самих, от их воли к труду, от их энергичной борьбы за новое, передовое, — и лежит в основе романа Галины Николаевой. Их победы — это победы советского строя и образа жизни, советского типа мышления, советского коллективного труда. Именно в труде, творческом, деятельном, подчас самоотверженном, видит Галина Николаева источ-

ник роста и мужания своих героев, которые находят верные решения тех трудных проблем, что поставила и продолжает ставить перед ними жизнь.

«Трудотворческая энергия масс», — назвал это качество советских людей Горький. И главная заслуга Галины Николаевой состоит в том, что это качество стало внутренней поэтической темой её романа — горячего, пристрастного, заинтересованного, подлинно идейного произведения.

В образе секретаря райкома — Андрея Петровича Стрельцова — много правдивых, выхваченных из жизни черт. Но его всё же нельзя признать большим достижением писательницы. Не относится к числу удач романа и образ его жены Валентины, низового колхозного агронома и партийного работника. Сила изобразительности, сила образного убеждения, свойственная Галине Николаевой, раскрыта в этих фигурах романа далеко не с той художественной полнотой, которая характерна для образов Авдотьи и Василия В обрисовке Стрельцовых Галина Николаева значительно слабее, чем в изображении людей колхозного труда. Есть какая-то вялость в этих образах, они решены несмело, неярко.

И однако высокая идейность, вопреки относительной слабости образов руководящих партработников, присуща роману «Жатва» в высокой степени.

К сожалению, многие наши критики до сих пор судят о том, насколько партийно-целеустремлённым является тот или иной роман или поэма, только в прямой зависимости от того, насколько ярко и убедительно показан писателем парторг, секретарь райкома или другой руководящий партийный работник. Такие критики забывают, что сила большевистской партии — в её народности, в том, что идеи этой партии стали руководящими идеями для любого передового советского человека, будь он даже формально беспартийным. И следовательно, о партийной направленности художественного произведения надо судить не только по тому, как изображены в нём партийные руководители, а и по тому, как в нём изображены представители масс, деятели колхозов и заводов, рядовые люди социализма.

Чувство большевистской целеустремлённости характерно для члена партии Василия Бортникова, когда он с гневом и стыдом переживает проступок своего отца,

колхозного мельника, пошедшего на мелкую кражу общественного добра, когда он выгоняет из своего дома работника райисполкома Травницкого, высокомерного крикуна и стяжателя. Это чувство партийности определяет и поступки беспартийной Авдотьи, с такой самозабвенной любовью работающей на колхозной ферме. Это чувство преданности коммунистическим идеалам горит чистым и ярким светом в душе руководителя молодёжной бригады комсомольца Алеши, и оно же превращает Фроську, озорную и своенравную «шелопутную девку», в передового человека, трактористку, ударницу.

В «Жатве» — огромный материал жизни наших дней. Здесь и весь круг вопросов, связанных с решениями февральского пленума ЦК, здесь и проблема внедрения методов мичуринско-лысенковской науки в практику колхозного труда, здесь и мысли об укрупнении колхозов, о нерентабельности применения передовой социалистической техники на малых земельных площадях, здесь и многие другие проблемы, волнующие всех советских людей и не сходящие с газетных полос.

Подчас Галина Николаева сбивается на торопливую скороговорку, — ей так хочется охватить жизнь широко, объёмно, многосторонне, — и не всегда ей хватает подлинно художественных средств для того, чтобы язык логических понятий переплавить в язык художественной образности. Но это недостаток, который, видимо, писательница преодолет. Мастерство ещё придёт к ней, — порукой тому её большой талант, а главное, то верное направление, в котором этот талант развивается. В романе её есть куски прямо-таки превосходные. К их числу надо отнести сцену колхозного собрания, на котором выясняется неблагоприятная роль Кузмы Васильевича, описание Алёшиного холма — места, где молодёжная бригада добилась своих решающих побед, главу «Вашурка»; посвящённую молодости Авдотьи, псездку Авдотьи в город, историю быка «Сиротинки» и многое, многое другое. Это сильные, глубоко реалистические сцены, написанные ясно, уверенно, зрело.

Но временами Галине Николаевой нехватает подлинного мастерства, временами читатель ощущает, что вот здесь она наивна, поверхностна, а в другом месте впадает в подражательность, в ложную красоту.

Молодая горожанка Лена едет на телеге с Валентиной. Валентина по пути рассуждает о преимуществах среднерусской природы, сравнивая её с крымской природой, а также с природой некоторых западноевропейских стран. Рассуждает довольно наивно, фальшиво. Как же воспринимает эти рассуждения Лена?

«Говорят, что сосны выделяют озон, а рядом с Вале́й, как рядом с молоденькой сосёнкой, дышишь озоном», — думала Лена».

Книжной искусственностью и надуманной красотой веет от этой фразы. Та же Валентина восторженно и цветисто выражает свои чувства, восхищаясь местной природой:

«Зелень по-осеннему могучая, по-весеннему чистая! Чудесная смесь весны и осени! Кажется, здесь осень шагает прямо по весне (что это значит? — А. Т.). Красиво, правда? Но вот ты увидишь, как-я красота будет, когда пойдут стада! Если у меня что-нибудь не ладится и мне плохо, я специально приезжаю сюда на встречу стадам. И это, как музыка».

Если учесть, что вся эта речь Валентины обращена к простому трудовому человеку, — особенно острой становится словесная фальшь писательницы, заставившей свою героиню сравнить возвращение колхозного стада с музыкой. Кроме того, речь эта абсолютно не нужна Галине Николаевой и по ходу развития романа. Ведь странней выше она сама, в алтурской речи, хорошо и убедительно описала «весеннюю чистоту красок», характерную для вечернего сентябрьского воздуха, «промытого дождём, прихваченного первыми утренниками». Книжно-«красивые» комментарии Валентины способны лишь убить эту полнинную красоту.

А вот другой пример, иного рода. Авдотья и Степан на работе в поле.

«Когда Авдотья докапывала последнюю ложбину у воды, из-под косы выскочила степная куропатка и побежала, прискакивая, хлопая крыльями.

— Гнездо здесь у ней, ишь отманивает!

Авдотья развернула траву и увидела больших, уже оперившихся птенцов.

Степан наклонился над гнездом, коснулся плеча Авдотьи, и она услышала его неровное дыхание.

— Не надо их тревожить, — сказала она, поспешно отстраняясь от Степана.

— Не бойся, не потревожу, — тихо сказал Степан, взглянув ей в глаза.

И она поняла второй — тайный — смысл его слов: — это её он успокаивал, ей обещал не причинить вреда и тревоги».

В этом отрывке всё хорошо за исключением последней фразы, звучащей как напыщенное и неуклюжее подражание манере Льва Толстого. Право, материал Галины Николаевой так значителен и подлинно поэтичен сам по себе, что автору нет никакой нужды прибегать к литературным стилизациям. Они могут только повредить. И ничем не могут помочь.

Несколько замечаний о языке. Он у Галины Николаевой богат, чист и многообразен. Это относится и к языку автора, и к языку героев. Хорошо, что Галина Николаева нигде не прибегает к тем натуралистическим «красотам» речи, которые, к сожалению, до сих пор характерны для некоторых произведений на колхозные темы. Но решительно надо возразить против засорения языка уродливыми сокращениями вроде «техход», против мёртвых канцелярских оборотов («замечаю я в тебе тенденцию к самоуспокоению. Самоуспокоения, как такового, ещё нет, да и не от чего ему быть, но тенденция к нему есть») и других сорняков языка. Правильно говорит один из героев «Жатвы» Василию Бортникову:

«У тебя теперь случайных слов нст. Ты председатель колхоза, ты депутат сельского Совета, каждое твоё слово раздаётся на четыре села. Ты представитель советской власти, твоими словами теперь советская власть говорит».

Голос Галины Николаевой слушают не четыре села, а многомиллионный советский читатель. Тем более ответственной за каждое слово, за свой литературный язык должна быть писательница. Это её высокий долг, это её честь, которую она не должна, не имеет права ронять никогда.

«Жатва» — актуальная, нужная советским читателям книга талантливой советской писательницы, выходящей на большой и вольный простор главных тем нашей эпохи. Это книга о борьбе советских людей за коммунизм. Это книга, исполненная поэзии труда, поэзии мирных созидательных дел. Пожелаем же автору довести своё сильное и яркое произведение до ещё большего совершенства.

А. ТАРАСЕНКОВ.

Новая ступень

Свою вторую книгу стихов Юрий Гордиенко посвятил «борющимся за свободу и независимость, строящим новую жизнь народам Востока». Такое посвящение обязывает. Но несмотря на то, что в книге нет стихов, которые были бы датированы текущим годом, её название — «Вчера и сегодня» — не вызывает у читателя сомнений в своей правильности. События, происходящие в Корее, придали посвящению особенно актуальный и значимый смысл.

«В стране утренней свежести», «За тридцать восьмой параллелью», «Страницы из дневника», «День вчерашний», «Гнев народа», «Восточная поэма» — таковы шесть разделов книги русского поэта о героической борьбе китайского и корейского народов с иностранными империалистами.

Участник Великой Отечественной войны и победоносных боёв с японскими захватчиками, Ю. Гордиенко обратил на себя внимание литературной общественности книгой стихов «Звёзды на касках» (издательство «Молодая гвардия», 1948). В этой книге молодой поэт опубликовал несколько свежих, запоминающихся стихотворений о той великой роли, которую сыграла Советская Армия в деле освобождения Китая и Северной Кореи от империалистического ига. Лучшие из этих стихов вошли и в новую книгу поэта.

В страну холмов, знакомую по сказкам
О золотом китайском фонаре,
Мы звёзды мира принесли на касках
И вешний гром на танковой броне.
И в той стране, куда пути не близки,
Где пагоды древнее пирамид,
Народы нам воздвиглиobelisks
И наши звёзды врезали в гранит,—

писал Ю. Гордиенко в «Корейской тетради». Но если при всех своих положительных качествах — конкретности поэтического образа, лаконичности, точности рисунка — стихи первой книги поэта носили иллюстративный характер, то в сборнике «Вчера и сегодня» эта иллюстративность вытеснена активной направленностью, пафосом обличения империалистов.

Ю. Гордиенко пишет о том, что он хорошо знает, о том, что он видел собствен-

Юрий Гордиенко. «Вчера и сегодня»
Редактор И. Сотников. Новосибирское областное издательство, 1950.

ными глазами. Умение выбрать реалистические, наиболее впечатляющие детали помогает поэту создать у читателя правильный угол зрения, сделать далёкое близким для сердца.

Вот описание китайского бедняка-возницы, который повстречался с советским солдатом-освободителем на пыльных дорогах Маньчжурии:

...В двуколке он меряет вёрсты
Под кашель, под песни и скрип.
Он в шляпе широкой и острой,
Как старый, засушенный гриб.
Морщинки на личике узком
Да кустики редких усов,
Как будто на солнце маньчжурском
Сутулый возница засох.

Положительной чертой дарования Гордиенко является то, что, возбуждая в читателе чувство боли и гнев за людей труда, которые были угнетаемы капиталистическими тунеядцами, поэт достигает этого реалистическими средствами, художественными обобщениями.

Определив тематическую направленность своей книги заголовком «Стихи о Востоке», Ю. Гордиенко сам того, видимо, не сознавая, допустил неточность. Его книга вышла за рамки темы, в какой-то мере ограниченной географическим наименованием, и стала одним из бесчисленных документов борьбы за мир всей прогрессивной части человечества.

Свидетельство очевидца воспринимается как призыв к протесту, когда мы читаем стихи из второго раздела книги: «Под вашингтонской пятай», «В американском застенке», «На мостовой Сеула».

Бросали фонари холодный свет,
И люди шли. И вдруг остановились:
Девчонку — продавщицу сигарет
На мостовуюшиб зелёныйвиллис...
Уносят сигареты на лотке.
На мостовой Сеула стынет наледь.
...Есть правило: в корейском городке
Американец может не сигналить.

Американские агрессоры и их лисынмановские наймиты убедились на своём печальном опыте, каким сокрушительным бывает гнев трудолюбивого народа, когда его хотят раздавить «вашингтонской пятай».

Юрию Гордиенко удалось показать в своей книге, как капля за каплей переполняла чашу — и чувства национального и че-

ловческого достоинства вылились в сметающую все преграды, жгучую, действительную ненависть к поработителям.

Стихи «На мостовой Сеула» написаны в 1946 году. Это было вчера. Сегодня в демократической Корее дело обстоит по-иному.

...Отцвели и полиняли краски,
Залежалась пыль на ободах.
Ветки, печальные коляски,
Сколько их в корейских городах!
Мимо них, разбитых и понижших,
В мастерские торопясь к семи,
По утрам в трамваях едут рикши,
Наконец-то ставшие людьми.

Не всё в книге Ю. Гордиенко равноценно. Попадают стихи, в которых поэт не смог освободиться от графаретности, применения избитых приёмов, увлечения экзотикой. Особенно грешит этим «Восточная поэма». Здесь поэт тщетно старается придать тривиальному, мелодраматическому сюжету, обильно слобренному «восточными пряностями», революционно-пафосное звучание.

Бульварной занимательностью веет от таких строк:

...Вот цирюльни вывеска кривая,
Вот аптека, где недавно Ю
Для отца О-лан, для Хо-чжу-лая
Покупал сушёную змею,
Корешок жень-шеня и пивяки.
Вот ямынь с кумирней во дворе.
Вот, напротив бакалейной лавки,
С лентами на красном фонаре

Кабачок богатого соседа,
Окна в нём дрожат, освещены
Слышно—там не мирная беседа,
Слышно—голоса накалены
Перед поножовщиной и свалкой..

К чему молодому советскому поэту вся эта обветшалая «экзотическая» рухлядь? Думается, что способный поэт напрасно включил в свою книгу эту, резко отличающуюся от его лучших стихов, незрелую вещь.

Доказательством того, что читатель вправе ждать от Ю. Гордиенко новых хороших и своеобразных стихов, является стихотворение «Два портрета».

Окончены портреты. У треножника
Он много дней работал не спеша.
Ошиблась кисть китайского художника,
Но не ошиблась чуткая душа.

И люди смуглые, темноволосые,
Назавтра на шанхайских мостовых
Увидели с глазами чуть раскобymi
Вождей России близких и живых.

Узнали их в предместьях фанзы тёмные,
А в доках — грузовые корабли,
Вождей, которым верят угнетённые,
Которых ждут во всех концах земли.

Так Ленин, вдохновляя демонстраций,
Так Сталин, глядя вдаль из-под руки,
Обходят мир, приходят к разным нациям,
Как самые родные земляки.

Эти стихи достойны посвящения, которое предпослано книге.

А. КОВАЛЕНКОВ.

★

Героика повседневного труда

Есть такие люди. Поговорите с ними и вы услышите: «Вот если бы у нас были условия, тогда и мы могли бы развернуться, тогда и мы могли бы показать себя. А то что у нас за работа? О каком тут росте может идти речь, когда приходится всё время возиться с разными мелочами? Ютишься на задворках, где никто тебя не замечает».

О людях, склонных рассуждать таким образом, невольно вспоминаешь, читая роман Анатолия Рыбакова «Водители». И в самом романе мы встречаемся с персонажами, которые так именно судят о своей профессии, которые видят в ней только обыденную, будничную сторону.

Анатолий Рыбаков. «Водители». Роман. Журнал «Октябрь» №№ 1, 2, 3 за 1950 год. Главный редактор Ф. Панфилов.

«Новый мир» № 10.

В «Водителях» А. Рыбакова изображается работа автобазы в областном городе Загряжске. Давно, пожалуй, не было в нашей литературе книги, в которой так детально рассказывалось бы о всех тех бесконечных и подчас весьма надоедливых мелочах, с которыми неизбежно сталкивается любой производственный. Загряжская автобаза — предприятие небольшое, невидное, с индустриальными гигантами его не сравнить, да и «продукция» у него особого рода, — и это обстоятельство, эту «невидимость» работы на автобазе всячески подчёркивает автор.

Вот, например, описание будничных мелочей, накопившихся к концу рабочего дня загряжской автобазы.

«В одном месте груз оказался незатянутым, в другом его долго вытаскивали

18

из подвала, в третьем груза совсем не было, — пришлось гнать машину за десять километров порожнем. Один клиент затребовал бортовую машину вместо самосвала, другой своевременно не выкупил свой груз на станции, третий не подготовил грузчиков, четвёртый раньше времени закрыл склад.

Шофёра Павлова задержал автоинспектор, у Самойленко неизвестно куда девались два часа. У Комаровой и Спорикова не были оформлены путевые документы и т. д. и т. п.

Трудности и препятствия, с которыми приходится иметь дело работникам автобазы, ничего эффектного в себе не заключают, наоборот, — и так об этом и говорит в романе на производственном совещании шофёр Нюра Воробьёва, порывистая, невсдержанная на язык девушка: «Приезжаешь на склад — агента нет: в пивной сидит. Найдёшь агента — груз не готов. Погрузились, наконец, — некому пропуск подписать, кладовщик обедает. Приезжаешь на разгрузку, — опять двадцать пять: некуда принимать, вези в другое место. Ругаться нельзя — требуют от нас вежливого обращения, а какое тут вежливое обращение, когда он сам по морде напрашивается...»

Обострённое «внимание к мелочам» (о которых, понятно, не везде говорится таким «колоритным» языком, каким пользуется Нюра Воробьёва) — одна из характерных особенностей романа «Водители». И изображение этих мелочей помогает А. Рыбакову не просто констатировать, что некоторым действующим лицам его романа свойственны отсталые, нездоровые настроения, но и обрисовать — очень конкретно, наглядно, с полным знанием и учётом специфических профессиональных черт, — какова та почва, на которой подобные настроения вырастают.

Возьмём, к примеру, Антошкина — персонаж в романе почти эпизодический. Когда передовой водитель автобазы отчитывает его за недостойное поведение, он только горестно вздыхает: «Ничего не поделаешь, должность такая... Шофёр... автотранспорт, наше дело извозчицье.»

«Подумаешь, какой Магнитострой! — с раздражением кричит Максимов, озлобленный тем, что директор автобазы снял его с работы на автобусе за нарушение правил внутреннего распорядка и перевёл на

старую, изношенную грузовую машину. — Таких паршивеньких гаражей, как наш, по Советскому Союзу тысячи. Вон Электроламповый завод. О нём, что ни день, в газетах пишут, все туда; там одних рабочих, может, десять тысяч человек, и каждый на виду. Уж если стахановец, так стахановец; уж если что сделал, так на весь Союз гремит... А мы что?.. Провезёшь пассажира чсть-честью, а он на тебя и не посмотрит. А посмотрит, так подумает: ага, шофёр — левак, аварийщик... автотранспорт, чёрт бы его брал! Всегда он был на втором плане, всегда и будет».

Антошкины и Максимовы ищут причину и оправдание своей нерадивости в той обстановке, в которой они работают. Однако весь роман, все его образы полемически направлены против неправильного, обывательского взгляда на профессию шофёра, против утверждения, будто возможна в нашей стране работа, которая не позволяет советскому трудовому человеку вернуть свои силы и таланты.

Такие герои «Водителей», как Дёмин, Поляков, Королёв, Валя Смирнова и другие, в тех же «неблагодарных», казалось бы, условиях загрязской автобазы находят простор для подлинно творческого труда, глубоко захватывающего их, делающего их жизнь содержательной, значительной. Писатель на ряде примеров показывает, что и на маленьком предприятии возможностей для роста — множество. Была бы лишь глубокая заинтересованность в работе, живое, настоящее советское отношение к своему делу.

Характерен разговор между Валей Смирновой и Максимовым в одной из первых глав романа. Максимов не понимает поведения Вали: «Зачем всё-таки ей понадобилось переходить в диспетчерскую, тем более на линейный пункт?.. Разве интересно ругаться с шофёрами да мотаться в такую даль на попутных машинах? Чем плохо на автобусе? Конечно, кондукторская должность невидная, да ведь что толку в этой видимости, когда диспетчер сидит на одной ставке, а кондуктор — на премии: заработок вдвое больше, и ответственности никакой». Валя отвечает коротко: «Работа интересней».

Этот разговор многое раскрывает в облике и Максимова, и Вали. Максимов является водителем первого класса, ио

ясно, что при его умонастроенности вперёд он не пойдёт, нет у него для этого данных. Валя же обладает теми качествами, которых лишён Максимов, — она хозяйски подходит к своей работе, по-хозяйски заботится о том, чтобы её автобаза работала как можно лучше. Оттого-то она так охотно меняет спокойную кондукторскую «должность» на место линейного диспетчера и, сидя в диспетчерской, не довольствуется лишь простым выполнением получаемых ею заданий, а проявляет инициативу, улучшает работу. И когда в конце книги Валя становится одним из руководителей погрузочной конторы при автобазе, мы этому ничуть не удивляемся; рост девушки на производстве происходит вполне закономерно, и автору не приходится этот процесс «подгонять».

В образе бригадира грузчиков Королёва А. Рыбаков показывает, как хозяйское отношение к своему делу становится у советского человека отношением творческим. Королёв озабочен как будто бы малым — тем, что грузчики недостаточно производительно используют своё время. Он говорит: «..наше дело — грузить, а не на машинах раскатываться». Но из этой неудовлетворённости Королёва темпами работы возникает новый метод организации и погрузочных работ и работы диспетчеров, имеющий значение не только для одного Загряжска.

Большим обаянием наделён в романе лучший водитель автобазы — Дёмин. Если в образах Королёва и Смирновой писатель выделяет в первую очередь их организаторские способности, то в Дёмине нас пленяет его влюблённость в машину, ощущение поэтичности своего труда. Точные, выразительные слова находит А. Рыбаков для рассказа о дальнем рейсе, в который отправляется Дёмин: «Дальний рейс! Только шофёр знает поэзию двух этих слов. В них шум ветра, знойное солнце, вечерняя прохлада бескрайних полей, запахи леса, серебро озёр и рек, города и сёла, случайные ночёвки, новые люди, новые места. Широта и простор! Ни светофоров, ни милиционеров, жми на всю железку, мчись, только песни пой!»

Королёв, Смирнова, Дёмин — выдающиеся стахановцы; Нюра Воробьёва — рядовой работник автобазы, она всего год работает на стареньком, уродливом грузовике, полу-

чившем нелестное прозвище «колдун». Но как она старается не отстать от других, как она заботится, чтобы её «колдуна» отремонтировали получше! Здесь, конечно, сказывается и самолюбие девушки (чего автор не скрывает), боязнь показаться смешной, но вместе с тем в поступках и помыслах Нюры мы улавливаем и нечто большее, стремление быть достойным членом коллектива, работать, как подобает светскому человеку.

С тонким юмором и неподдельным лиризмом обрисованы в романе отношения Нюры и Дёмина. И то, что автор показывает этих своих героев многосторонне, выходя за пределы только производственных взаимоотношений людей, помогает ему полнее изобразить их и как производственников. Нельзя не пожалеть, однако, что писатель редко обращается к личной жизни героев романа, сознательно, повидимому, в этом отношении ограничивая себя. Он суживает свои художественные возможности.

Наибольшая удача романа — образ директора автобазы Полякова. На первый взгляд, Поляков — человек прозаичный и даже суховатый. Иному, быть может, покажется, что в его требовательности есть оттенок формализма. Но А. Рыбаков убедительно раскрывает, какое душевное богатство присуще этому его герою, на какую большую высоту поднимает Полякова его большевистская принципиальность. Образ директора автобазы раскрывается автором в будничной обстановке. Занимаясь как будто «мелочами», Поляков не склонен, однако, под тем предлогом, что мелочам не стоит придавать значения, соглашаться на компромиссы, идти на нарушение государственных интересов. Он из тех, кто не боится «портить отношения» с людьми. Требовательность к себе во всём, начиная с мелочей, и делает Полякова работником большого размаха.

Полякова можно смело отнести к тем героям нашей литературы, у которых хочется — и следует — учиться жить и работать. Зря только в некоторых случаях автор принимается расхваливать своего героя («Поляков никогда не принимал в кабинете решений, как бы ни была очевидна их полезность.. У него была неиссякаемая свежесть восприятия, жизнь непрерывно обогащала его, он видел вещи в их раз-

витии» и т. д. и проч.). Такие места лишь расхляпывают читателя, который хочет судить о героях книги по их делам, а не по авторским декларациям.

Среди положительных персонажей «Водителей» наименее удался образ секретаря партбюро Тимошина. В обрисовке этого образа у автора проявляется не свойственная ему дидактичность.

Коллективу советских людей, выведенных в романе, противостоят двое — Вертилин и Канунников. Внешние различия этих субъектов, — подчёркивает А. Рыбаков, — «не уменьшают их внутреннего сходства: они питаются из общего источника буржуазной морали. Вертилин олицетворял эту мораль в чистом виде, Канунников — её пережитки». Снабженец Вертилин — просто мелкий жулик, «хитроумные» махинации которого неизбежно приводят его на скамью подсудимых. Что касается управляющего автотрестом Канунникова, то он, должно быть, всерьёз считает себя честным человеком. Но на самом деле он перестраховщик и приспособленец, рутинёр, глушащий инициативу передовиков, и склочник, готовый ради личных своих интересов «закопать» любого, кто смеет нарушить его покой. Писатель показывает, откуда берутся у Канунникова эти его качества. Он — «директор-профессионал, человек, для которого заведывание чем-нибудь стало специальностью». Подлинных знаний у него нет, от живого дела он оторван, но обнаружить это он боится, цепляясь за насиженное местечко. Отсюда его стремление во что бы то ни стало избежать риска, ответственности, недоверие и ненависть к новаторам, у которых неизвестно, что получится, и которые могут его «подвести».

И Вертилин, и Канунников — жизненные,

реально существующие фигуры. Но следует отметить, что в романе они занимают слишком большое место и неправдоподобно долго держатся на «поверхности». В реальной жизни при столкновении с Поляковым оба эти персонажа, несомненно, гораздо раньше сошли бы со сцены, чем это показано писателем. Повидимому, именно для того, чтобы оттянуть развязку, А. Рыбаков заставляет Полякова отказаться от активной борьбы против Канунникова, хотя такая пассивность отнюдь не в натуре директора.

Роман во многом выиграл бы, если бы Поляков и весь коллектив автобазы были изображены в борьбе с более серьёзным противником, нежели Канунников, которого в конце концов легко распознать. Ведь для того чтобы убрать Канунникова, достаточно было приезда на автобазу заместителя председателя областного исполкома Иванова. Некоторая облегчённость в показе борьбы нового со старым — едва ли не самый серьёзный недостаток интересного и ценного романа «Водители».

«Водители» — второе крупное произведение А. Рыбакова. В 1948 году была опубликована его повесть «Кортик», которая привлекла к себе внимание живым, реалистическим изображением действующих лиц, хорошим, четким языком, но вместе с тем построена была на совершенно искусственном «приключенческом» сюжете, извлечённом из старых литературных арсеналов. «Водители» — большой шаг молодого писателя вперёд. Эта книга многое даёт читателю и позволяет в дальнейшем ждать от Анатолия Рыбакова новых, ещё более значительных художественных произведений.

Г. ЛЕНОБЛЬ.

★

Новые люди Туликсааре

Зелёное золото — так назвал эстонский народ прекрасные леса, которыми столь богата Советская Эстония. В своём романе Освальд Тооминг как бы увлекает читателя в глубь густых сосновых боров, ведёт его извилистыми тропинками сквозь величест-

венные, устремлённые к небу еловые леса, раскрывает перед ним суровую красоту северного пейзажа.

Рисую поэтические картины эстонской природы, проникнутые глубокой любовью к ней, автор сумел создать произведение, свободное от элементов созерцательности, пассивного любования своеобразной «романтикой леса». Тооминг написал книгу о людях новой, Советской Эстонии, в единстве с другими народами Советского Союз

Освальд Тооминг. «Зелёное золото». Роман. Авторизованный перевод с эстонского. Ответственный редактор Д. Руднев. Литературный редактор В. Бергман. Эстонское государственное издательство, Таллин, 1956.

воплощающих в жизнь великий Сталинский план преобразования природы.

Писателю удалось раскрыть творческий характер труда советских людей, направленного на благо народа, их упорную борьбу с силами природы. Книга О. Тооминга убедительно показывает, что сталинская идея преобразования природы является выражением насущнейших потребностей народа, строящего коммунизм, и что советские люди, обогащённые этой идеей, меняют лицо своей земли, чудесно меняя вместе с тем и характер всего своего жизненного уклада.

В основе романа — реальный жизненный конфликт: борьба передовых советских людей за научные методы ведения лесного хозяйства. Действие разворачивается на Туликсаарском лесопункте. Туда приезжает новый лесничий Реммелгас, первые же поступки которого не встречают никакой поддержки со стороны заведующего лесопунктом Осмуса.

Осмус предстаёт перед читателем твёрдым, энергичным, уверенным в себе человеком. Он как будто целиком предан своему делу и гордо заявляет, что интересы государства для него на первом месте. Но почему-то, однако, он сдержанно относится к вновь прибывшему лесничему Реммелгасу. И почему-то ещё до того, как Осмус лично встретился с новым лесничим, сдержанность эта перерастает в плохо скрываемое недоброжелательство. Действия нового лесничего, направленные на разумное ведение лесного хозяйства, вполне обоснованны, — поэтому недоброжелательство Осмуса к Реммелгасу уже с самого начала настораживает читателя.

Между Реммелгасом и Осмусом счесь быстро возникает и разрастается борьба, в которую вовлекается всё более широкий круг людей. Она затрагивает интересы каждого жителя Туликсаарского сельсовета и, вместе с тем, имеет общегосударственное значение. В процессе этой борьбы перед нами всё более отчётливо выступают два противоположных характера главных действующих лиц — Реммелгаса и Осмуса.

Борьба за новое показана О. Тоомином художественно убедительно. Молодой писатель раскрыл глубоко принципиальный смысл происходящей борьбы, её идейное и политическое существо и её значение для развития судьбы каждого героя книги.

Как и в прошлые годы, заведующий лесопунктом Осмус снова перевыполняет план. Он добивается успеха тем, что ведёт разработки вблизи узкоколейки и больших дорог, губит молодой лес, предпочитая не забираться, как он выражается, «в глушь», хотя в этой глуши имеется замечательный лес, давно уже нуждающийся в разработке. Дорогой ценой он добивается нескольких процентов перевыполнения плана. Он «жертвует» большими штабелями хорошей древесины, оставляя её на несколько лет гнить в лесу, и вывозит взамен неё то, что находится под боком. Постепенно выясняется, что Осмус ведёт хищническую, противоречащую интересам народа разработку леса.

Одна из героинь романа, лесной техник Хельми Киркма, ранее находившаяся под властью «авторитета» Осмуса, правильно определяет подлинные стимулы поведения этого дельца: «Его ведь не интересует и не волнует, будет ли в будущем здесь, в Туликсааре, пустыня, или здесь зашумят леса. Осмус строит своё собственное будущее, а не будущее Туликсааре».

Для коммуниста Реммелгаса, прошедшего школу Великой Отечественной войны, интересы партии, интересы народа — на первом плане. Это человек с широким кругозором, умеющий смотреть в будущее, живущий большими перспективами коммунизма. Самодовольству и зазнайству Осмуса противостоит творческое беспокойство Реммелгаса, его смелое новаторство, безбоязненное отношение к трудностям, основанное на вере в силы партии и народа.

Реммелгас начинает как будто бы с малого. Он категорически противится дальнейшей хищнической разработке леса и отводит под будущие лесосеки не те массивы, на которых Осмусу легче выполнять план, а те участки леса, которые надо вырубить в первую очередь. И сразу же Реммелгас сталкивается с большими препятствиями: из отдалённых мест, которых так избегает Осмус, и впрямь очень трудно организовать вывозку леса.

Реммелгас сталкивается не только с противодействием природы, но и с противодействием Осмуса и лесника Нугнса. И если намерение Реммелгаса разрабатывать глухие суррукские леса вызывает резкий отпор Осмуса, который не любит леса и не дорожит народным добром, то старый суррукский лесник Нугис вначале настроен

против Реммелгаса потому, что он очень любит леса, в которых провёл сорок лет жизни, и необычайно дорожит ими. Реммелгас представляется ему человеком, способным лишь вырубать леса, но не насаждать их.

Убедительно обрисованы в романе сложные взаимоотношения Реммелгаса и Нугиса. Под воздействием молодого лесничего старый лесник, который в глубине души яснее других понимает, насколько вредной и антигосударственной является практика Осмуса, понемногу отрешается от своей ревнивой, по-своему трогательной, но по существу бесплодной любви к лесу. Нугис начинает по-новому любить свои леса: он уже не ждёт милостей от природы, он становится одним из активнейших её преобразователей. Путь старика Нугиса вполне естественно приводит его к вступлению в партию большевиков.

Любимые Нугисом суррукские леса окружены топким болотом. Болотная вода пробирается всё дальше и, как яд, превращает лесной грунт в мягкую топь — деревья начинают хиреть и засыхать, вместо кряжистого леса остаются приземистые сосенки и чахлые берёзки. Нугис с болью и горечью наблюдает за разрушительным действием болота. «Болото надо укротить», — говорит ему дочь Аннемари. «— Надо! Говоришь как ребёнок. Болото — сила, что против него человек». Нугис недоверчиво относится к словам дочери, рассказывающей о том, что в других советских республиках осушаются болота и прокладываются новые русла рек, а пустыни превращены в плодородные поля. Жизнь доказывает, что права Аннемари, а не Нугис.

Проблема сохранения суррукского леса, столь волнующая Нугиса, оказывается неотделимой от проблемы плановой разработки и научного разведения этого леса, которой занимается Реммелгас.

Но поля Туликсаарского колхоза так же страдают от избытка влаги, от постепенного заболачивания, как и полозина лесов Туликсааре. Таким образом, насущнейшие интересы всех жителей посёлка оказываются неразрывно связанными с интересами государства. Как выход из положения возникает смелый план больших мелиоративных работ, связанных с прорытием нового русла для реки Куллиаре. «До сих пор, — говорит Реммелгас, — у нас

не было силы, которая поставила бы природу на службу людям, в том числе и людям Туликсааре. Теперь у нас такая сила есть! Эта сила — наш единый народ, эта сила — советская власть, эта сила — партия большевиков!»

Трудную борьбу за преобразование природы возглавляет небольшая партийная организация сельсовета. В эту борьбу включаются жители окрестных деревень, она получает поддержку республиканских организаций. Работы по осушению оказываются только началом преобразования жизни Туликсааре: ещё гудят экскаваторы, прокладывая новое русло, а народное собрание уже готовится обсуждать вопрос об электрификации Туликсааре...

О. Тооминг написал хорошую книгу о жизни простых людей Советской Эстонии, о том, что их сейчас горячо волнует, о борьбе нового со старым, о росте нового, социалистического сознания в широких массах эстонского народа. Книга эта, правдиво отражающая процессы, характерные для Советской Эстонии сегодняшнего дня, сама, в свою очередь, поможет, как и многие другие книги наших писателей, людям Советской Эстонии освобождаться от пережитков прошлого и смело прокладывать пути в коммунистическое будущее.

«Зелёное золото» свидетельствует о росте художественного мастерства О. Тооминга. Сравнивая это произведение с первой повестью писателя — «Новые люди» (1947), нетрудно уловить сходство некоторых ситуаций, хотя в первой повести действие происходит на шахте. Но при этом важно то, что прежние сюжетные положения обогатились в новом произведении подлинно жизненным содержанием.

Вместо схематических, порою бегло и односторонне обрисованных образов первых книг О. Тооминга, в романе «Зелёное золото» мы встречаем реалистические, яркие образы Реммелгаса, Нугиса, объездчика Питкасте, который на наших глазах «выпрямляется» и из осмусовского холоуя превращается в сознательного и честного труженика.

Однако и в новом романе даёт себя чувствовать известный схематизм: например, образ секретаря волостного комитета партии Тяхни намечен бегло, односторонне, автор подчёркивает только точность и пунктуальность, проявляемую Тяхни в работе.

У писателя здесь явно нехватило мастерства для создания психологически убедительного образа.

Но дело не только в подобном схематизме. Если в первых двух третях книги писателю удаётся создать сюжетное напряжение через борьбу характеров, сталкивающихся вокруг насущно важных вопросов жизни, то последняя треть романа свидетельствует о том, что писатель ещё не до конца освободился от неправильного отождествления сюжетного драматизма с внешней занимательностью.

Чтобы возбудить интерес читателя к развёртываемым в романе событиям, О. Тооминг вводит в повествование некоторые загадочные обстоятельства, требующие распутывания и разгадок. В конце романа эти обстоятельства занимают несколько больше места, чем они того заслуживают. Например, Осмус, подлинное лицо которого уже ясно читателю, разоблачается автором и как браконьер, занимающийся запрещённой охотой.

Браконьерство Осмуса, то есть то, что могло служить лишь вспомогательным мотивом в характеристике этого отрицательного персонажа, в конце романа неправомерно выдвигается на первый план, несколько оттесняя мотивы основные и более веские. Стройная композиция первых частей книги, отвечающая развитию главной идеи, в этой части книги нарушается.

Интересно намечены женские образы романа — лесного техника Хельми Киркма и дочери суррукского лесника Аннемари. В обеих девушках пленяет глубокая, искренняя любовь к своему делу, душевная чистота. Но эти образы не получают в романе достаточного развития.

Аннемари и Реммелгас полюбили друг друга. Автор стремится к углублённому

показу развития этого чувства, но это ему мало удаётся. «—Какие мы с тобой дурные — других таких не сыщешь! Мучаем друг друга и себя...» — говорит Реммелгас Аннемари. Но читатель ясно видит, что эти мучения совершенно излишни, они основаны на недоразумении.

Иногда автор оказывается в плену шаблона. Так, мы читаем, что Реммелгас уже собрался сообщить председателю колхоза Тамму о назначении вместо Осмуса начальником лесопункта Хельми Киркма, «но шаловливый бесёнок взял в нём верх», и он воздерживается от своего сообщения. Этот «шаловливый бесёнок» высказывает совсем неожиданно для читателя, он его у Реммелгаса ранее не замечал, а присущие Реммелгасу остроумие и жизнерадостность никак не может связать с образом бесёнка, да ещё шаловливого.

Над переводом романа работало четыре человека (В. Бергман, О. Наэль, Н. Пановская, Ф. Рандел), и в основном он сделан неплохо. Но всё же на страницах книги попадаются неуклюжие, а порой и неграмотные обороты. Укажем, к примеру, на фразы: «Направляясь в Туликсааре, его больше всего смущала неизбежная встреча с Питкасте»; «Такой же сплюснутый и безликий, как и всё выстроенное в буржуазное время здание школы, был и его зал»; «Выстрел прервал мысли Нугиса, которых в связи с приездом бригады по проверке было в последнее время больше, чем Нугису нравилось».

Следует пожелать, чтобы в следующих произведениях Тооминг преодолел недостатки нового романа, смелее развивая всё то полезное и ценное, что найдено им в работе над «Зелёным золотом».

Б. КОСТЕЛЯНЕЦ.

★

Горький и Сибирь

В 1896 году А. М. Горький, познакомившись с экспонатами Сибири на Всероссийской Промышленной и Художественной

«Горький и Сибирь». Сборник составлен С. Кожевниковым и А. Колтеловым. Редактор Н. Кремнитцер. Иркутское областное издательство, 1949.

«М. Горький и сибирские писатели». Сборник воспоминаний. Составили С. Кожевников и А. Колтелов. Редактор Б. Александровский. Новосибирское областное издательство, 1950.

выставке в Нижнем Новгороде, писал в корреспонденции для «Одесских Новостей»: «Просветить Россию, ознакомить её с Сибирью следует особенно теперь, когда Сибирь по милости железной дороги продвинулась к нам так близко». А в одной из бесед с писателем В. Шишковым в 1914 году Горький сказал: «...Сибирь я знаю лишь по наслышке, ни разу не бывал там. А хорошая страна. И народ в ней настоя-

щней, верный народ. Я многих сибиряков перевидал на своём веку».

Интерес великого писателя к Сибири был длительным и постоянным. С особенным вниманием относился он к Сибири в советские годы, когда в этом огромном крае начался грандиозный экономический и культурный подъём. Правда, писателю так и не удалось побывать за Уральским хребтом. Но несостоявшееся посещение Сибири Горькому в известной мере заменила обширная переписка с сибиряками, которую он вёл на протяжении десятилетий. Со многими литераторами из Сибири Горький, кроме переписки, поддерживал тесные личные отношения.

Книга «Горький и сибирские писатели», вышедшая в Новосибирске, представляет собой сборник воспоминаний о великом художнике. Книга «Горький и Сибирь», изданная в Иркутске, включает письма Алексея Максимовича к сибирякам и некоторые воспоминания, которые не вошли в новосибирское издание.

Таким образом, рецензируемые книги дополняют одна другую. Обе они открываются вступительными статьями С. Кожешникова, содержащими обстоятельный обзор высказываний Горького о Сибири и подробную характеристику его взаимоотношений с писателями этого края.

В обоих сборниках читатель найдёт собранный воедино интересный материал, характеризующий отношение классика социалистического реализма к Сибири и сибирякам.

Но ценность книг не только в этом. Содержащийся в них материал выходит далеко за пределы темы, обозначенной в их названии. Переписка Горького с сибиряками охватывает множество самых разнообразных проблем, сохранивших своё значение и в наши дни. Когда перелистываешь страницы писем Горького, с трудом верится, что они были отправлены адресатам двадцать—тридцать лет назад, настолько свежо и сильно звучат сегодня горьковские слова. И здесь сказались великая творческая сила, глубокая идейность гениального советского художника, публициста и критика, который каждым своим словом служил и продолжает служить родному народу в его борьбе за коммунизм.

К кому бы ни обращался Горький с письмом — к рабочим-золоторазведчикам Алда-

на, к колхозникам-ударникам западной Сибири или к пионерам и школьникам Игарки — он прежде всего подчёркивал великую историческую миссию Страны Советов и исключительную роль советского человека — строителя нового мира.

«В России совершается то, чего никогда и нигде не было, — пишет Горький Первому съезду литераторов Сибири, — русский рабочий народ действительно объединяет всех иноплеменных людей в одном великом деле — в творчестве новых форм жизни. Все племена Союза Советов получили право свободно говорить своим языком, свободно работать для развития своих способностей. Идёт процесс взаимного обмена свойств и качеств, создаётся тип нового человека. Россия даёт миру великий урок, показывая, как надо соединять разнородное и единое по духу, по цели».

Воспевая нового человека — творца коммунистического общества, писатель тревожится об опасностях, которые грозят советскому народу. Алданским золоторазведчикам Горький писал в январе 1931 года: «Успехи социалистического строительства и пятилетки, рост социалистического соревнования, развитие ударничества, развитие колхозов и многое другое, творимое рабочим классом и партией, — всё это, убивая надежды наших врагов на то, что у рабочего класса нехватит сил кончить начатое им великое дело создания своего, трудового государства, — всё это, убивая надежды врагов, возбуждает у них отчаяние и страх перед неистощимой рабочей силой Союза Советов».

Характеризуя в этом письме агрессивные намерения империалистов, Горький говорит: «Понимают и чувствуют, что могучий рост рабоче-крестьянского государства грозит им неизбежным уничтожением, гибелью. Со страха, с отчаяния они давно бы уже бросились на нас с пулемётами, танками, авропланами, с ядовитыми газами, но их бессмысленная и бесчеловеческая жадность к наживе создала такое положение, что, вот, сейчас в Европе и Америке около тридцати миллионов рабочих не имеют работы, а поставить все эти миллионы под ружьё да послать против нас — дело очень рискованное, — вполне возможно, что ружья и пулемёты начнут стрелять не туда, куда хочется капиталистам».

Слова эти, написанные в 1931 году, со-

храняют свою актуальность и в наши дни. В них слышится могучий, живой голос Горького-публициста, борца против империализма, писателя, обличающего коварные замыслы интервентов, в какие бы одежды они ни рядились.

В 1912 году Горький узнал о том, что ещё в 1612 году англичане составили план оккупации восточной России. Английский король Яков I в мае 1613 года «тронулся нежным состраданием к бедствиям москвитов» и одобрил этот захватнический проект. Горький писал по этому поводу сибирскому литератору и научному работнику В. И. Анучину: «А относительно сибирской интервенции совсем сногшибательно,— почему в истории Сибири ничего об этом не говорится? Вон когда ещё английская рука к нашему пирогу тянулась! И как необходимо знать прошлое, чтоб понимать настоящее!».

Разоблачению буржуазного общества, с его хищническими инстинктами, лживой моралью и гнилой культурой, Горький посвящает много пламенных строк. Молодой литератор из Новосибирска обратился в 1927 году к Горькому с вопросом о социальном характере писаний английского моралиста Смайльса. Алексей Максимович откликнулся глубоким по содержанию и острым по форме письмом, направленным против буржуазной реакционной литературы, стремящейся скрыть эксплуататорскую сущность капиталистического общества. Это забытое письмо великого писателя представляет исключительный интерес.

«Смайльс, — писал Горький, — типичный английский мещанин, очень лицемерный, как и надлежит быть мещанину, — и очень бездарный. Основная идея его книг такова: «Если тебе плохо живётся, ты в этом сам виноват». Как видите, вы избрали себе неудачного учителя. В России книги Смайльса были популярны в 80-х, в начале 90-х годов, т. е. в годы тяжёлой реакции, когда наши «смайльсы», вроде нововременца Меньшикова, учили молодёжь: «Наше время — не время великих задач».

А как раз наоборот, — всякое время есть именно время великих задач.

Вы не желаете, чтобы «жизнь исчерпывалась только едой и сном». Смайльс проповедует именно это и ещё необходимость подчинения законам, которые устанавливаются людьми, живущими за счёт чужого

труда. «Знай сверчок свой шесток», вот что найдёте вы у Смайльса, если внимательно вдумаетесь в его проповедь.

Беспокоящее вас «различие людей» есть главным образом результат их социального неравенства, которое поддерживается такими вот господами, как Смайльс».

Сборник «Горький и Сибирь» содержит много подобных писем, опубликованных в разное время в малораспространённых изданиях или вовсе не опубликованных. Составители книги, собрав воедино и прокомментировав эти письма, дали возможность советским читателям вновь встретиться со своим любимым писателем и снова убедиться в том, какой неутомимостью и последовательностью отличалась его борьба против буржуазной идеологии, борьба за мир и счастье народов. Указывая на вопиющие пороки капиталистического общества, развенчивая господствующие в нём ложь и лицемерие, великий патриот противопоставляет ему наш советский общественный строй. С искренней радостью отмечает Горький каждую новую чёрточку, свидетельствующую о победе коммунистического начала в сознании советского человека. Писатель восторженно отзывается о трудовых достижениях рабочих и колхозников, он радуется успехам детей в школе, приветствует каждое интересное произведение литературы и искусства. Великий писатель исполнен оптимистического пафоса и веры в победу жизни над смертью, добра над злом, в победу коммунизма в борьбе против капитализма.

Вдохновенно пишет Горький о будущем нашей великой Родины в письме к пионерам Игарки:

«...Большие, изумительные радости ждут вас, ребята! Через несколько лет, когда, воспитанные суровой природой, вы, железные комсомольцы, пойдёте на работу строительства и на дальнейшую учёбу, перед вами развернутся разнообразнейшие красоты великой нашей страны, увидите Алтай, Памир, Урал, Кавказ, поля пшеницы, размером в тысячи гектаров, гигантские фабрики, заводы, колоссальные электростанции, хлопковые плантации Средней Азии, виноградники Крыма, свекловичные поля, фабрики сахара, удивительные города: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Тифлис, Эривань, Ташкент, столицы маленьких братских республик — например, Чувашии, сто-

лицы, которые до революции очень мало отличались от простых сёл...

Много прекрасного в стране Союза Социалистических советов, и оно всё растёт. Всё это — ваше...»

Со времени написания этих строк прошло более пятнадцати лет. Вчерашние ученики иркутской школы имени Максима Горького или школьники заполярной Игарки, к которым обращался писатель, — ныне активные строители коммунизма. Но и сегодня слова Горького звучат призывом, зажигающим сердца новых поколений молодёжи. Такова неослабеваемая сила пламенного патристического слова великого художника.

Много внимания уделял Горький социалистическому строительству Сибири. Этот богатейший, исконно русский край привлекал пристальное внимание писателя. Он гордился Сибирью.

В каждом письме Горького в Сибирь сквозит забота писателя о процветании края. Он вдохновляет сибиряков на трудовые подвиги, зовёт их к новым успехам в промышленности, в сельском хозяйстве, в культурном строительстве. Особое значение придаёт писатель развитию советской литературы в Сибири. Многие литераторы — выходцы из этого края не только испытали на себе благотворное влияние Горького-художника, но и его непосредственную помощь и поддержку. К числу таких писателей относятся Вяч. Шишков, Вс. Иванов, Л. Сейфуллина, Е. Пермитин, Н. Чертова, А. Коптелов, Н. Емельянова и многие другие. По первым произведениям этих авторов Горький безошибочно определил характер и особенности их литературного дарования. Советы и наставления Горького в письмах и личных встречах с писателями сыграли исключительную роль в творческом росте каждого из них. Об этом рассказывают в своих воспоминаниях, опубликованных в рецензируемых сборниках, Вс. Иванов, Вяч. Шишков, Л. Сейфуллина и другие. В этих воспоминаниях мно-

го метких наблюдений, выразительно характеризующих облик Горького. Живые штрихи и малоизвестные подробности из богатой событиями биографии писателя читатель найдёт также в воспоминаниях Е. Замысловской, Н. Емельяновой, И. Молчанова-Сибирского и других авторов, в судьбе которых Алексей Максимович принимал самое близкое участие.

Горький всегда учил чутко и внимательно относиться к молодым талантам. Заботой о молодых проникнуты почти все его письма и выступления. Он требователен и строг, он взыскательно относится к каждому произведению начинающего литератора, он требует от него знания жизни, правды и высокой идейности. Но в то же время Горький не забывает, что перед ним начинающий литератор, который нуждается в помощи и поддержке. Критикуя произведения молодых авторов, Горький призывает к внимательному и тактичному отношению к ним.

На первый взгляд может показаться, что тема рецензируемых сборников носит частный характер и имеет, так сказать, местное значение. В действительности это далеко не так. Сборники несомненно привлекут внимание широких кругов читателей, так как они открывают перед нами некоторые новые стороны многогранной деятельности классика социалистического реализма. В письмах и мемуарных документах снова и снова мы видим величие Горького — художника, критика, публициста. Черты любимого писателя нашего народа, великого патриота страны Советов, осязаемы в каждой строке его писем и обращений к советским людям. Материалы сборников рисуют перед нами образ пролетарского художника, который не мыслил творческой жизни вне постоянного живого общения со своими бесчисленными читателями. В этом — безусловная ценность новых книг о Горьком, выпущенных сибирскими издательствами.

В. ЖДАНОВ.

★

Боевой жанр

Пародии, эпиграммы, иронические портреты — радуется уже сам этот подзаголовок книжки Сергея Васильева «Взирающая на лица». Наши поэты, к сожалению, не балуют читателя такими сборниками. А жаль! Ведь хорошая пародия подчас не хуже критической статьи вскрывает идейно-художественные недостатки произведения.

Пародия — превосходное оружие для разоблачения формалистических, эстетских, натуралистических пережитков в литературе. Во многих своих пародиях и эпиграммах С. Васильев обнаружил умение пользоваться этим боевым оружием, умение сатирически обнажить наиболее уязвимые места в творчестве того или иного писателя.

К числу наиболее удачных относится пародия на П. Антокольского «Бурбоны из Сорбонны»:

Здесь побывали все под сводом книжной арки:
 Аркебузиры, лучники прошли,
 Вийоны, Дон-кихоты, Тьеры,
 Жанны д'Арки.
 В жабо. В ботфортах. В пудре. И в пыли.
 ...Здесь морг времён. Кладбище. Свалка.
 Нашу жалость
 К усопшим завернём в остатки от портьер.
 Здесь всё перемешалось и слежалось:
 Макс Линдер, Командор и Робеспьер.

Этот калейдоскопический «парад героев», рисуя который С. Васильев чётко воспроизводит ритм и синтаксис стихов П. Антокольского, не только и не столько забавен, сколько поучителен. Пародия в сочетании с остроумными рисунками Б. Ефимова подчёркивает свойственное многим произведениям этого талантливого поэта тяготение к романтике сугубо книжного толка.

«Какие обручи, какая упаковка! Клеймо на нём московское стоит»; — пишет С. Васильев в пародии на А. Софронова «Казачки с багром», рассказывая о бочонке, найденном казаками. Но открыв бочонок, казаки вместо доброго вина обнаружили там... сырец.

«Сказка ложь, да в ней намёк». Советский читатель, который знает и любит мно-

Сергей Васильев. «Взирающая на лица. (Пародии, эпиграммы, иронические портреты)». Редактор И. Рябов. «Библиотека Крокодила», М. 1950.

гие стихи и песни А. Софронова, не может примириться с тем, что в последних стихотворениях поэта частенько «тлеет» то самое «слово-сырец», против которого непримиримо воевал Маяковский.

Великий поэт любил сравнивать себя с поэтической фабрикой, он чувствовал себя советским заводом, «вырабатывающим счастье». И живи Маяковский сейчас, с какой готовностью он отнёс бы к себе призыв бороться за честь фабричной марки, как страстно стал бы агитировать он за отличное качество в литературе!

Пародия «Речь по поводу» предостерегает А. Безыменского от однообразной абстрактной риторичности и многословия, подменяющих во многих его стихах подлинно поэтическое раскрытие темы:

Коробку спичек,
 пачку папирос —
 И я статью любую зарифмую!
 Итак, борьба!
 Борьба к борьбе!
 Труба трубит
 в трубу трубою!
 Труба
 трубою
 по трубе!
 В боях,
 на бой
 от боя
 к бою!

Метко вскрывает С. Васильев манерность многих стихов Л. Мартынова, отсутствие в них сколько-нибудь значительной темы:

Я понимаю язык вороний,
 Деревья со мной разговор ведут.
 Я посторонний, потусторонний,
 Я, может быть, даже не там и не тут.

С. Васильев высмеивает чуждое советской литературе словесное изобретательство Д. Петровского.

Отличная пародия на А. Прокофьева — «Перепевки-повторилки» — уже названием своим указывает на главную беду творчества поэта и, следовательно, определяет «направление главного удара» самой пародии.

Но подчас точность прицела изменяет С. Васильеву. Так, пародия на С. Кирсанова — «Зизгаги», которая с точки зрения художественной формы является, пожалуй, наибольшей авторской удачей, страдает, однако, некоторым анахронизмом.

На прицел не взяты многие существенные недостатки поэзии С. Кирсанова.

Не достигает цели и пародия на Б. Пастернака, ибо она не затрагивает самых отрицательных сторон его творчества — сугубой индивидуальности, оторванности от современности, от народа, чрезвычайной субъективности художественных образов. С. Васильев пошёл по линии наименьшего сопротивления, объявив стихи Пастернака простой бессмыслицей. Из всех характерных особенностей стиля поэта, которые, кстати, не так уж трудно пародировать, С. Васильев отобразил — и то неудачно — только сближение поэтом далёких по смыслу, но близких по звучанию слов («принципиально я надел на космос коромысло»).

Б. Ефимов, проявивший своё замечательное мастерство в рисунках к пародиям на А. Адалис, А. Безыменского, Е. Долматовского, С. Кирсанова и др., в данном случае не смог создать ничего удачного. Пародия «вдохновила» художника на очень слабую карикатуру.

Второй раздел книги озаглавлен: «Из иронической смеси». Некоторые из вошедших сюда стихов довольно остры: о «бедной Лизе», которая «стряхала тексты для джаза» и по милости «добрых дядей» из Музгиза «Лизой стала богатой», о «некоторых авторах некоторых песен», по поводу «творческого лица» которых поэт замечает: «ловкость рук прекрасно вижу, а лицо не разгляжу».

Но некоторые стихи этого раздела оставляют чувство неудовлетворённости. Они написаны поспешно, часто представляют собой общеизвестные истины и выражения (иногда довольно вульгарные), на скорую руку зарифмованные («Диагноз» и др.).

Этот же недостаток свойствен отдельным стихотворениям первого раздела книги.

Если эпиграмма С. Васильева на А. Жарова содержит допустимую дозу резкости, то эпиграмма на И. Молчанова — «Факт, а не реклама», начиная с заглавия, носит характер грубой дешёвой остроты.

Разделяя отношение сатирика к плохим стихам И. Молчанова, мы вправе напомнить

С. Васильеву выдающийся пример пародирования, который дан Маяковским в знаменитом «Письме к любимой Молчанова» (несмотря на то, что в этом стихотворении пародийный отрывок является лишь составной частью всего произведения).

Приведем вначале строки И. Молчанова —

За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить, —

Маяковский затем пародийно очищает эту декларацию от псевдопоэтической шелухи, обнажая то, что кроется за «красивым» слогом поэта, музой венчанного:

Шёл я верхом,
шёл я низом,
строил
мост в социализм,
недостроил
и устал
и уселся
у моста.
Травка
выросла
у моста,
по мосту
идут овечки,
мы желаем—очень просто! —
отдохнуть
у этой речки.

В результате — мещанский характер «философии» этого стихотворения И. Молчанова и убожество его поэтических средств предстают перед читателем как на ладони.

Пародия Маяковского подчинена общему замыслу произведения. Интересно отметить, что прямая, откровенная грубость, к которой прибегает Маяковский в дальнейшем («Череп, што ль, пустеет чаном, выбил мысли грохот лирный? Это где же вы, Молчанов, небосвод узрели мирный?»), полностью обоснована и подготовлена предыдущим «пародийным анализом», вскрывшим порочность стихов И. Молчанова (отметим кстати, что именно отсутствием такого анализа отличается неудачная пародия С. Васильева на Б. Пастернака, тоже очень грубая). Боль-

ше того, не будь этой резкости и грубости, пародийная часть стихотворения не получила бы надлежащего завершения, а всё произведение сильно проиграло бы.

Нельзя не упрекнуть С. Васильева за недостаточную взыскательность к себе, проявленную при составлении книги. Будь поэт требовательней к себе, оцени он по заслугам всё значение, которое имеют сатирические стихи в деле дальнейшего развития советской литературы, он едва ли бы стал давать в печать такие стихи, как «Детская шутка», представляющая собой лишь игру словами.

Переносить застольные шутки и бездумные экспромты, создаваемые из побужде-

ний, которые имеют мало общего с подлинно литературными интересами, на страницы книг, адресованных широкому читателю, не только не нужно, но и вредно.

Слишком много в маленьком разделе. «Из иронической смеси» стихов о корыстных нравах «окололитературных» проходимцев и ремесленников. Читателю не так уж интересны остроты об «авансах», «переводах на сберкнижку» и т. п.

И однако в целом книжка пародий и сатирических стихов С. Васильева является ценным вкладом поэта в дело борьбы за дальнейший идейно-художественный подъём советской литературы.

А. ТУРКОВ.

★

Американские гангстеры в военной форме

Беспорно, характеристика империализма США, которую даёт американский писатель Стефан Гейм в своём романе «Крестоносцы», является недостаточной, смягчённой. Доказательства этого могут быть в изобилии почерпнуты в наши дни из любого номера газеты, из любой передачи «последних известий» по радио.

Всем известно, что именно Соединённые Штаты возглавляют империалистический лагерь, что американские экспансионисты являются главными поджигателями новой войны. Миллионеры из Нью-Йорка, Питсбурга и Сан-Франциско, политики из Вашингтона вкупе с эйзенхауэрами и мак-артурами уже много лет вынашивают кровавые планы превращения всего земного шара в колонию США, в этакий всемирный концентрационный лагерь под американским флагом. По своей алчности и крокодиальности правящие круги Америки превзошли всех и вся. Американские захватчики жаждут установить новые «рекорды» массового уничтожения людей, Заправила монополистического капитала ускоренными темпами выращивают чумных крыс фашизма и в самой Америке, и за её пределами. При помощи долларовой приманки они хотят превратить молодёжь многих стран, в

частности, Западной Германии, в своих наёмных солдат.

Всё это — совершенно очевидные факты. Между тем в своём романе «Крестоносцы», действие которого происходит в конце второй мировой войны, а также в послевоенный период, Гейм создаёт впечатление, будто пропагандистами и идеологами третьей мировой войны являются главным образом немцы. Далеко идущие агрессивные планы американских колонизаторов в книге не раскрыты.

Недостаточно глубоко показал Гейм и корни американского фашизма, связи фашистов с финансовой олигархией. Должным образом не разоблачена автором взаимозависимость фашистской внутренней политики, проводимой властью имущими в США, с их наглой, захватнической внешней политикой.

Стефана Гейма нельзя причислить к тем американским писателям, которые, разделяя мировоззрение пролетариата, до конца понимают, куда ведёт Америку реакция в послевоенные годы и как должны простые люди бороться против войны и фашизма. Свойственные Гейму буржуазно-либеральные иллюзии мешают ему делать все необходимые выводы даже из собственных наблюдений. Надо сказать, однако, что Гейм ненавидит фашизм, и эта ненависть проявила себя не только в ранее опубликованной книге Гейма «Заложники», но и в его новом романе, изданном в Америке в 1948 году.

Стефан Гейм. «Крестоносцы». Сокращённый перевод с английского Н. Волжиной, Н. Дарузес и Е. Калашниковой. Редактор В. Топер. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

В «Крестоносцах» описываются действия американских войск на европейской земле с момента их высадки в Нормандии; в заключительной части произведения американцы изображены уже в качестве оккупантов западных районов Германии. Главные персонажи романа — офицеры и сержанты специальных частей, созданных для ведения пропаганды среди гитлеровских войск и немецкого населения. Во время войны Гейм сам служил в одном из подобных формирований, и многое из того, что он описал, очевидно отражает личный опыт автора.

Гейм недостаточно хорошо понимает природу, сущность фашизма. Но ещё во время второй мировой войны автор не мог не почувствовать нарастания фашистских тенденций в американской армии. Слишком велики и слишком очевидны были мерзости, которые творила реакционная американская военщина на французской и немецкой территориях в годы войны и — тем более — после её окончания, чтобы можно было пройти мимо них. И возмущённый виденным, писатель приподнял краешек американской пропагандистской завесы, прикрывающей эти мерзости от глаз «достоверных». Гейм показывает правду далеко не во всей её чудовищности, но и то что узнаёт читатель из его книги, говорит об очень многом.

Из романа явствует прежде всего, что ещё во время войны против гитлеровской Германии в американской армии задавали тон люди фашистского склада. Гейм нарисовал целую галерею американских офицеров — стяжателей, воров, бандитов разных масштабов, бесчеловечных, морально растленных. В числе их — генерал Фарриш, подполковник Уиллоуби, капитан Люмис и повар — сержант Дондоло.

С наибольшей откровенностью раскрывает своё фашистское нутро самый младший по чину — Дондоло. Именно его автор заставляет воскликнуть: «...Гитлер отлично знал, что делает, и Муссолини тоже. Всё — шиворот-навыворот. Нам надо было воевать вместе с ними против коммунистов».

Гейм убедительно даёт понять при этом, что жизненный опыт Дондоло, участвовавшего в политической деятельности крупнейших американских буржуазных партий, вполне подготовил его к роли фашистского молодчика. Гангстерские методы, шантаж,

убийства давным-давно служат в Америке важнейшим орудием буржуазной политики.

Не столь прямо говорит Гейм о фашистском характере «философии» Люмиса, Уиллоуби и Фарриша, но смысл и их деятельности ясен читателю.

Капитан Люмис (в мирной жизни — владелец магазина радиозделий) видит в войне только средство разбогатеть, удовлетворить свою страсть к власти и разврату. Повар Дондоло распродал спекулянтам провиантские запасы своей части. У Люмиса аппетиты побольше — он разэорывает горючее, предназначающееся для танков. Когда война заканчивается, Люмис облагает торговцев немецкого города, в котором он представляет американскую армию, «налогом» в десять процентов с оборота — доходы от этого мероприятия поступают, конечно, в его карман. Не задумываясь, посылает Люмис негодных ему подчинённых на смерть, он насилует, грабит, убивает. По своему «мировоззрению» американец Люмис — типичный эсэсовец.

Выше Люмиса на служебной лестнице стоит Уиллоуби. Это — один из наиболее ярких образов романа. Являясь партнёром в крупной юридической фирме, которая представляет интересы американского сталелитейного треста, Уиллоуби наделённую форму для того, чтобы успешнее осуществлять свой «бизнес». Гейм показывает, как Уиллоуби пытается захватить контроль сначала над французским, а затем и немецким сталелитейными концернами. Смертельно боясь народа, с ужасом думая о социализме, Уиллоуби ещё во время военных действий против Германии делает ставку на союз с французскими квислингами и германскими финансовыми магнатами, выпестовавшими Гитлера.

Из всех персонажей романа самым высоким воинским званием наделён Фарриш. Этот генерал американской армии по сути дела претендует на генеральское место и в американском фашистском движении. Фарриш всячески раздувает свои военные «подвиги», готовя почву для осуществления реакционнейших политических планов. Решение сделаться сенатором — только первый шаг на пути Фарриша к «большой политике».

В образе генерала Фарриша воплощены черты, характерные для заокеанских империалистов — безудержная жажда власти, грубейший милитаризм, презрение ко всем

иным народам (Фарриш предлагает не только немцам, но и «союзникам»-французам «знать своё место»), безграничная жестокость и лицемерие. Запоминается сцена пребывания Фарриша в тельюко что занятом американцами немецком концентрационном лагере. Генерала не интересуют заключённые — немецкие антифашисты, он проявляет больше заботы об их тюремщиках. Фарриш использует любую возможность для саморекламы в типично американском духе — охотно фотографируется у разверстой общей могилы, красуется перед аппаратом с книгой, переплетённой в человеческую кожу, и т. д. Один из персонажей романа с полным основанием указывает, что если бы гитлеровский комендант лагеря не был убит восставшими заключёнными, «он позировал бы сейчас перед аппаратом вместе с Фарришем».

Гейм подмечает также ещё одну важную черту, присущую Фарришу, — его стремление пошире использовать в демагогических целях всякого рода «демократические» словечки и лозунги. Как известно, подобное сочетание «демократической» фразеологии с фашистскими постулатами в высшей степени характерно для правящих кругов современной Америки.

О засилении фашистов в американской армии говорится уже в самых первых эпизодах романа. Солдат Торп, который сильнее всех ощущает это засилие, с тоской говорит: «...то самое, против чего ты сражаешься, оказывается у тебя за спиной». Появившись однажды среди пьяных офицеров своей части, Торп в ужасе восклицает: «Фашисты лезут отовсюду... Я вижу, своими глазами вижу, как они подбираются к нам. Вот здесь, в этой комнате, в замке, в армии, дома...». В отместку за это выступление Дондоло организует расправу над Торпом, зверски избивает его и, в конце концов, доводит до сумасшествия.

Американская «демократия» выразительно охарактеризована одним из персонажей романа: «Равенство перед законом! Вы знаете не хуже меня, что миллионы людей в Америке не имеют даже права голоса!.. Самим управлять своей судьбой! Я кое-что знаю о том, кто управляет страной, — я сам работал в крупных концернах. И война ничего не изменила. Эта же порода людей хозяйничает в Европе, она же хозяйничает и в Германии. И не говорите мне о разли-

це в методах. В Америке мы ещё не дошли до концентрационных лагерей и массового истребления национальных меньшинств. Но если люди, стоящие у власти, решат, что так нужно, всё это у нас будет — и безотлагательно!.. Помяните моё слово, если только фашизм восторжествует в Америке, то по сравнению с ним его германская разновидность покажется просто идиллией». Приходится сделать оговорку — данное высказывание вложено автором в уста не антифашиста, а душевно опустошённого представителя высших кругов.

Довольно ярко рисует Гейм гнусное поведение американских офицеров в освобождённом от гитлеровцев Париже. Типичные представители командного состава американской армии — это грязные животные, мзродёры, которые развратничают, спекулируют, грабят.

Трусость и шкурничество американских офицеров особенно наглядно показаны на страницах (носящих, повидимому, документальный характер), где идёт речь о совершенно неоправданной эвакуации американцами Люксембургской радиостанции во время германского контрнаступления зимой 1944—45 гг.

Значительное место занимает в романе описание методов, при помощи которых Уиллоуби, выступая от имени американских монополий, стремится прикарманить французскую металлургию. Он пускает в ход угрозы, шантаж, мошенничество, а одновременно и елейные речи о «демократии» и т. д. Недаром французский капиталист из русских белогвардейцев, который имеет дело с Уиллоуби, признаёт, что перед американцами «немцы... — сущие младенцы». Ведь американцы, — иронически говорит он, — «осуществили полное слияние бога, демократии и дивидендов».

В романе рассказывается, что в период немецкой оккупации интересы французской сталелитейной монополии защищал гитлеровец Петтингер. Когда в Париж пришли американские войска, эту миссию принял на себя американец Уиллоуби. Он полностью сохраняет введённую Гитлером систему рабского труда и даёт распоряжение использовать на каторжных работах в шахтах русских девушек и юношей, насильственно пригнанных фашистами в Германию.

Наиболее богаты разоблачительным материалом последние главы романа, в которых

изображена американская оккупационная армия в послевоенной Германии.

Фарриш, Уиллоуби и Люмис становятся вершителями судеб населения немецкого города Креммен, резиденции наследников «стального короля» Ринтелена. Уиллоуби сразу же начинает плести сеть, при помощи которой стоящие за ним американские монополисты хотят прибрать к рукам ринтеленевские владения. Разумеется, Ринтеленевы, благодаря содействию Уиллоуби, остаются хозяевами своих заводов и своего дворца. Мэром Креммена Уиллоуби назначает управляющего ринтеленевским трестом Лемлейна. В награду за свои «благодейния» подполковник американской армии получает пакет акций немецкого сталелитейного треста.

Под эгидой американских военных властей Лемлейн восстанавливает в городе порядки, существовавшие при Гитлере. По-прежнему всем заправляют богачи, торговая палата проводит ту же линию, что и при Гитлере. Антифашистов же преследуют, травят, морят голодом. Один из персонажей романа — немецкий антифашист Келлерман справедливо заявляет: «В Креммене всё осталось, как было... Я был в отделе гражданского обеспечения. Там сидит тот же самый чиновник, который при республике отказывал нам в пособии, а при Гитлере выдавал нас нацистам».

Даже американский либерал полковник Девитт, противопоставленный автором Фарришу, вынужден признать, что в Креммене «всеми предприятиями общественного пользования руководит тот, кто руководил ими раньше... Люди, которых... освободили из лагеря Паула, живут в трущобе, очень мало чем отличающейся от концентрационного лагеря. А ринтеленевские заводы находятся в руках тех же Ринтеленев, которые производили снаряды для убийства» американских солдат.

Лемлейн, в частности, помогает гитлеровскому полковнику Петтингеру прятаться — до поры до времени — и одновременно развивать активную фашистскую деятельность. Матёрый нацист Петтингер несколько не сомневается, что в «оркестре», который создают американцы для осуществления своих реакционных целей, ему суждено занять виднейшее место.

Роман Гейма не даёт ясного представления о том, какое место отводят Германии

американские агрессоры в своих людоедских планах разжигания новой мировой войны. Но автор наглядно показывает, что американские власти в Германии осуществляют волю монополистического капитала, что руководящие деятели американских оккупационных сил являются экспансионистами, агентами Уолл-стрита.

Картины, нарисованные Геймом, живо напоминают читателю о том, что творится в западных зонах Германии сегодня. Действительность, надо сказать, несравненно более мрачна, нежели её отображение в романе. Остановившаяся на полпути, Гейм, например, проводит некоторую грань между милитаристом Фарришем и бизнесменом Уиллоуби. На самом же деле, конечно, между американскими генералами, правителями Западной Германии и финансовым капиталом США существует самая прямая и тесная связь.

Ни для кого не секрет, что американский верховный комиссар в Западной Германии Макклой связан с юридической фирмой, представлявшей в США крупнейший германский химический трест «И. Г. Фарбениндустри» — опоры гитлеровского режима. Экономический советник американских властей в Западной Германии Дрейпер является не только генералом, но и крупнейшим деятелем Уолл-стрита — он близок к банкирскому дому «Диллон, Рид», который ещё до войны финансировал германскую тяжёлую промышленность, то есть подготовку Гитлера к войне. Даже буржуазная американская печать признаёт, что «ключевые посты» в американской администрации в Германии заняты людьми, имеющими «особые интересы» и «финансовые связи» с Германией.

Глава западногерманского «правительства» Аденауэр ещё более подл, чем изображённый Геймом мэром Креммена, ещё более активно служит американским империалистам и их немецким «младшим партнёрам». Гейм отнюдь не сгустил краски, характеризуя деятельность Уиллоуби в империи ринтеленев. Американский капитал всё более быстрыми темпами заглатывает промышленность Западной Германии. Примером этого может служить хотя бы положение немецкой автомобильной промышленности западных зон, полностью перешедшей под контроль американских монополий — фирмы «Форд», «Дженерал Моторс»,

и др. В руках американцев находится большая часть германской сталелитейной промышленности, они захватили в свои руки химические заводы и т. д.

Рассказанная в «Крестоносцах» история назначения Лемлейна мэром не может никого удивить, поскольку нацист Динкельбах и подобные ему капиталисты, занимавшие командные посты в германской промышленности при Гитлере, руководят тяжёлой индустрией Рура и при англо-американцах.

Автор стоит на твёрдой почве реальности, показывая коррупцию, царящую в американских войсках, бандитские нравы, насаждаемые в прибывшей из-за океана армии, реакционную политику властей США, предельную аморальность и бездарность руководителей американской военной.

Разоблачительные стороны романа и определяют, в основном, его ценность и значение, придают книге Гейма большой интерес.

Гейм показывает в своём произведении также простых людей Америки, искренне желавших разгрома фашизма. К сожалению, однако, идейная ограниченность писателя помешала ему создать яркие, впечатляющие образы американцев, воплощающих дух борьбы против фашизма. Образ Торпа интересен, но этот солдат-антифашист изображён лишь в качестве жертвы реакционеров и быстро сходит со сцены. То же приходится сказать и об образе солдата Толачьяна, вступившего в американскую армию добровольцем, чтобы помочь разгрому фашистов. Гейм убедительно показывает, что Толачьян погиб именно потому, что был враждебен фашизму и неизбежно вызвал ненависть Люмиса. Однако и образ Толачьяна не получает в книге должного развития.

В своём большом романе Гейм вовсе не нашёл места для изображения наиболее активных представителей рабочего класса, коммунистов.

Больше всего внимания уделяет Гейм образу лейтенанта Иетса. Этот преподаватель колледжа, всю жизнь старательно избегавший «осложнений» с начальством, отнюдь не отличался широтой воззрений. Но по мере того, как перед Иетсом раскрываются страшные картины деятельности Фарриша, Уиллоуби и их последователей, он начи-

нает прозревать. После окончания войны Иетс попадает на недолгий срок на германскую территорию, занятую советскими войсками. Он завидует советским людям, весело празднующим победу над гитлеровской Германией, но разделить их радости не может. На душе у Иетса грустно и тревожно, ибо он стал понимать, что в американских войсках, да и во всей Америке, хозяйничают люди типа Уиллоуби и Фарриша.

Иетс, как видим, переходит на антифашистские позиции. Впрочем, правильному раскрытию этого образа мешают ложные концепции автора книги. У Иетса мелькает мысль противопоставить как «верхам», так и «низам» некую «третью» силу, воплощением которой, по его мнению, должны явиться «бескорыстные» буржуазные интеллигенты. Нечего и говорить, что «идея» эта глубоко порочна, враждебна задачам борьбы за мир против фашизма. В романе она должным образом не разоблачается.

Буржуазные предрассудки автора проявляются также и в том, какое значение он придаёт вопросу о создании во дворце Ринтеленів общезнания для жертв гитлеровского режима. Проблема эта в книге Гейма необычайно раздута. Можно подумать, что выселение Ринтеленів определит дальнейшие пути демократизации Германии. Большую дань либеральным иллюзиям автор отдаёт в заключительных главах книги, где он изображает «победу» Иетса над Уиллоуби, арест Лемлейна, уничтожение Петтингера и изгнание Ринтеленів из их дворца.

Правда, нужно добавить, что и сам автор почувствовал несоответствие картин, нарисованных им в заключительной части романа, с действительным положением вещей в американской зоне оккупации. «Под занавес» Гейм показал, что Фарриш всё же оставил пойманного с поличным Уиллоуби безнаказанным и изгнал из армии тех, кто осмелился его критиковать.

Важнейшим недостатком книги является то, что в ней не нашло отражения решающее значение великих побед советского народа для разгрома гитлеровской армии, хотя Гейм и говорит о советских войнах в весьма дружественных тонах, с чувством большой симпатии. В частности, автор совершенно проходит мимо обстоятельности, что лишь грандиозное наступление со-

ветских войск в начале 1945 года спасло американцев от разгрома, который грозил им в результате немецкого контрнаступления в Арденнах.

Идейные провалы, присущие роману, неизбежно сказались, конечно, и на его художественных качествах. Об этом прежде всего говорит отмеченная уже слабость положительных образов романа. Подлинного героя, борца против фашизма Гейм нарисовать не смог. В книге имеются явно нежизненные, надуманные образы. Чувствуется влияние современной буржуазной литературы США — от многих страниц книги несёт духом бульварного романа. Сцены эротического характера, которые занимают в книге большое место, безусловно рассчитаны на самого непритязательного буржуазного читателя.

Издательство иностранной литературы опубликовало перевод романа «Крестоносцы» в сокращённом виде, с полным основанием опустив некоторые лишние эпизоды и сцены. Однако налёт бульварщины кое-где всё ещё чувствуется.

Идейные и художественные недостатки романа носят серьёзный характер. Американские империалисты ещё более хищны и опасны для дела мира, ещё более отвратительны, чем это показывает писатель. Но и то, о чём рассказывается в «Крестоносцах», вызывает гнев и возмущение, вызывает ненависть к современным американским рабовладельцам, поджигателям новой мировой бойни, мечтающим захватить земной шар в свои грязные лапы.

М. МЕНДЕЛЬСОН.

★

Два романа австралийской писательницы

Имя Катарини Сусанны Причард, крупной прогрессивной австралийской писательницы, неумолимого борца за мир, хорошо известно в Советском Союзе. С первых дней существования советской страны К. Причард неизменно была её другом. Горячая поклонница русской классической и советской литературы, Причард в своих выступлениях широко пропагандирует и популяризирует среди австралийских читателей творчество Чехова, Горького, Маяковского, Алексея Толстого и других.

В 1933 году писательница посетила Советский Союз и посвятила ему книгу очерков «Подлинная Россия», в которой взволнованно и восторженно говорит о жизни, о достижениях нашей страны.

Долгое время Катарина Сусанна Причард возглавляла лигу австралийских писателей, была членом австралийского комитета борьбы против войны и фашизма.

Ныне, в условиях ожесточённой борьбы с реакцией, писательница продолжает активно участвовать в борьбе прогрессивных кругов австралийского народа за мир. Она

является председателем западно-австралийского отделения Совета защиты мира, который начал свою деятельность в 1950 году.

В своём творчестве К. С. Причард даёт широкую картину жизни трудового народа страны — картину правдивую, неприкрашенную, свободную от налёта дешёвой экзотики.

Её произведения проникнуты глубокой любовью к австралийскому народу. Рисуя гажёлую беспросветную жизнь простых людей, она сурово обличает правящие круги, продающие оптом и в розницу богатства страны английским и американским капиталистам.

Впервые выступила Причард на литературном поприще в 1915 году с романом «Пионеры», о жизни горняков Нового Южного Уэльса. Затем она написала ряд романов: «Охотники за брэмби» (русский перевод издан в 1928 году), «Цирк Хэксби», «Кунард», «Близкие-далёкие» и т. д., лучший из которых — «Кунард» — посвящён изображению трагической судьбы темнокожей девушки. Несмотря на прогрессивность мировоззрения писательницы, эти произведения содержали ряд существенных недостатков идейного и художественного характера. В этих книгах ещё недостаточно громко звучали социальные мотивы, сильны были элементы натурализма.

К. Причард. «Девяностые годы». Сокращённый перевод с английского Г. Озерской и В. Станевич. Редактор В. Топер. Издательство иностранной литературы, М. 1949.

К. Причард. «Золотые мили». Перевод с английского Т. Кудрявцевой и С. Серпинского. Редактор К. Бучинская. Издательство иностранной литературы, М. 1949.